Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ДЖЕФФРИ ЧОСЕР

КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1973

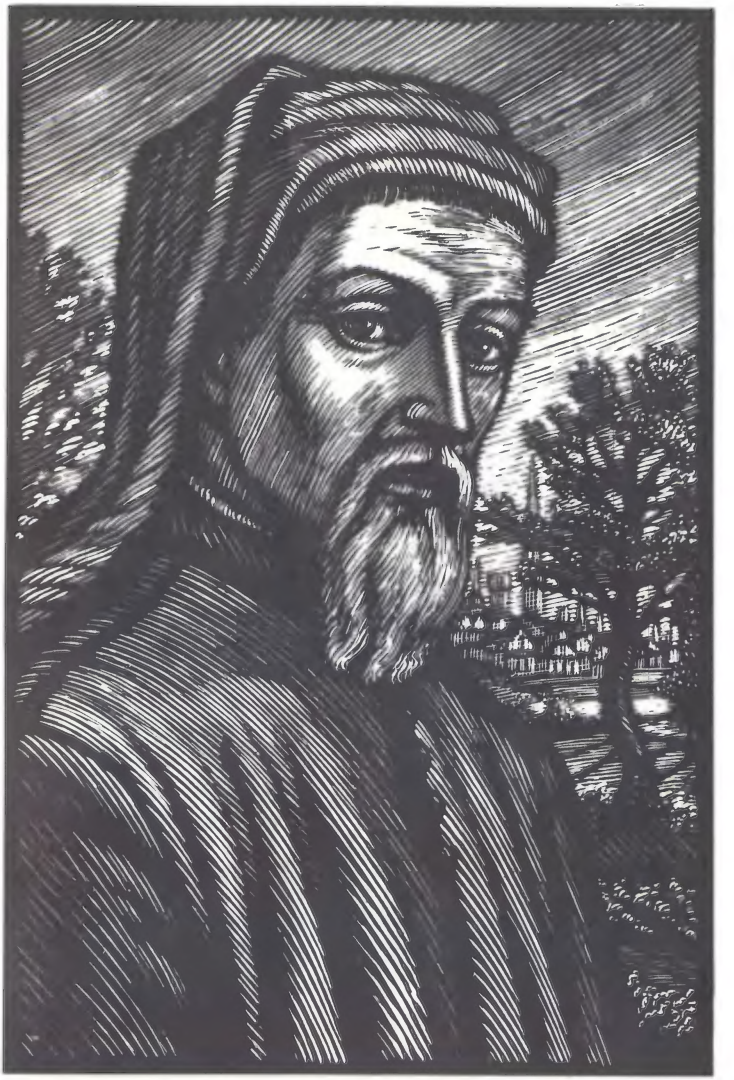
Вступительная статья и примечания
Н. Кашкина

Перевод
Н. Кашкина и О. Румера

Иллюстрации
Ф. Константинова

Н(Англ.)
475

7—3—4
подп. изд.



ДЖЕФФРИ ЧОСЕР

Джеффри Чосер — «отец английской поэзии» — жил в XIV веке, когда родина его была очень далека от Возрождения, которое в Англии заставило себя ждать еще чуть ли не два столетия. Вплоть до Спенсера и Марло в английской поэзии не было ничего не только равного, но просто соизмеримого с «Кентерберийскими рассказами» Чосера. Отражая свой век, книга эта по ряду признаков все же не укладывается в рамки своего времени. Можно сказать, что Чосер, живя в средние века, предвосхитил реализм английского Возрождения, а свои «Кентерберийские рассказы» писал для всех веков.

До XIV века Англия сильно отставала от других европейских стран, особенно от Италии. Расположенная на отлете, вдали от главных средиземноморских путей, это была в ту пору бедная страна охотников, пастухов и землепашцев, страна, еще не скопившая будущих материальных богатств и культурных традиций, страна без развитых промыслов и цеховых ремесел, без крупных городских центров. Лондон времен Чосера насчитывал не более сорока тысяч жителей, а второй по размерам город — Йорк — менее двадцати тысяч, между тем как в Париже того времени, по очень осторожным подсчетам, жило свыше восьмидесяти тысяч.

XIV век стал для Англии периодом бурного и трудного роста, который болезненно отзывался на людях того времени. Им, а в том числе и Чосеру, довелось стать современниками и свидетелями больших социальных потрясений, из которых особенно грозными были: Столетняя война (1337—1453), «черная смерть» — чума (1348-го и следующих годов) и крестьянское восстание 1381 года.

Англия, как и вся Европа, была уже на пороге великого перелома, который расчистил почву для нового и сделал возможными большие социальные сдвиги, ускорившие распад феодального строя и приблизившие начало английского Возрождения. XIV век стал временем сплочения английской нации, оформления единого общеанглийского языка и зарождения самобытной английской литературы.

Процесс сплочения нации, вовлекая в начавшийся сдвиг разнородные, противоречивые и даже взаимно враждебные силы, подчинял их упорному движению вперед. Такую противоречивую роль сыграла, в частности, и Столетняя война. Парламент недаром стремился строго ограничить свое участие в этом «королевском деле». Ведь война изнуряла страну. Но она же закаляла и сплачивала народ. Уже два века существовало в Англии королевство норманнов, но единство его, даже территориальное, было неполным в этой многоплеменной и многоязыковой стране, где еще далеко не ассимилированные завоеватели норманны властвовали над глухо враждебной англосаксонской деревней. Норманнские бароны и англосаксонская знать скоро породнились, но в нижних слоях долгое время продолжалось враждебное сосуществование несливших ся пластов. Еще в XIII веке разбойные завоеватели-бароны сидели на страже своей добычи, запершись в неприступных замках от закабаленных англосаксонских данников. Города были крепче связаны с Фландрией и Италией, чем с полунищей деревней.

Эдуард III впервые сумел поставить перед Англией общенародные цели внешней политики. Он искусно сочетал свои династические притязания на французский престол с насущными потребностями купеческой и ремесленной Англии в прочных торговых связях с фландрскими городами. Война английского короля с королем Франции переросла в Столетнюю войну двух стран и на целый век определила историю воюющих народов.

Король возглавил все это крупное заморское предприятие, его сын — «Черный Принц», бароны и рыцари руководили экспедиционными армиями и отрядами; свободные хлебопашцы-йомены и согнанные со своих мест батраки, разного рода наемники и любители приключений пополняли ряды победоносных английских лучников; моряки перевозили армию на континент и добычу с континента, городские ремесленники и деревенские родичи ветеранов, осваивая эту добычу, приобщались к континентальному уровню культурных потребностей; наконец, купец-арматор и заимодавец, как инициатор всего предприятия, прежде всего пожинал плоды побед, спеша использовать выгоды новых международных связей.

Война неузнаваемо изменила и деревню. Именно она, эта полудикая, темная вотчина норманнских баронов, помогла Англии одержать победу. Исход сражений при Креси, Пуатье и Азенкуре решило не копье ры-

царя — равное оружие давало равные турнирные шансы,— а тактически новое оружие: большой лук. Оценив его мощь, английские короли сумели против французской, чисто феодальной армии, сила которой исчислялась количеством рыцарских копий, выставить народное ополчение свободных землепашцев-лучников. Народ был вовлечен в армию, обучен военному делу. Простолюдин-йомен стал равноправным участником войны, испытал горделивое чувство победы не просто над чужаком французом, но над рыцарем. В турнирной войне рыцарь мог пасть лишь от руки такого же рыцаря и только, если он не сулил богатого выкупа, поверженного рыцарским копьем его мог прикончить нож раба-вилана. Теперь охотники-йомены сами стали стрелять свою рыцарскую дичь.

В народе росло чувство собственного достоинства и уверенность в своей силе. Народ креп, разгибал спину, расправлял плечи, поднимал голову.

Между тем феодальные угнетения и бесчинства, возросшие военные налоги, наступление помещиков и короны на кое-какие уже отвоеванные батраками и ремесленниками льготы (законы против батраков и подмастерьев 1349 года и т. п.), проникновение в Англию конкурентов, особенно фландрских ткачей, пользовавшихся особым покровительством и привилегиями,— все это усиливало недовольство и деревни, и низших слоев города. Народ все охотнее прислушивался к голосу своих лучших людей и «бедных проповедников», к их призывам не смиряться перед феодалами как светскими, так и церковными. Достаточно было искры (а такой искрой стала новая подушная подать 1380 года), чтобы в южных графствах Англии вспыхнуло Великое крестьянское восстание 1381 года, известное также как восстание Уота Тайлера, по имени одного из трех предводителей движения (двумя сподвижниками Тайлера были Джек Стро и «мятежный поп» Джон Болл).

Восстание было предательски подавлено. В страшные дни разгрома у наиболее смелых и смышленых людей из народа головы полетели с плеч; однако добить восставших и вновь согнуть спину народа феодалам уже не удалось.

Грозная опасность образумила правящие классы Англии, которые вскоре пошли на большие уступки, только бы добиться невмешательства города и деревни в развернувшиеся феодальные усобицы, когда недавно объединившаяся нация вновь раскололась на два враждующих лагеря. Феодальная Англия предалась братоубийственному самоуничтожению в войне Алой и Белой Розы, а тем временем город и деревня, замкнувшись и ограничив свои культурные потребности, занялись накоплением средств и сил. Пока феодалы резали друг другу горло и сжигали замки, деревня обзаводилась стадами, а города отстраивались и богатели.

Современник и свидетель социальных бедствий XIV века, Чосер чаще и охотнее отмечает не картины нищеты и разорения (хотя и они находят место в его произведениях), а великую мощь и живучесть народа. Кажется, что ему уже видны были тенденции и силы, в полной мере раскрывшиеся только в XV веке.

В эту эпоху даже социальные бедствия только сильнее перемешивали и перемалывали разнородные элементы населения Англии, цементируя их в единую нацию, и этот процесс роста вовлек и подчинил себе даже консервативные силы. В данной связи наибольший интерес представляет та среда, с которой, вероятно, теснее всего общался Чосер.

Как паж, он еще мальчиком был допущен к рыцарскому двору, окружавшему короля. Тут он увидел много тяжелого и отвратительного. Английский королевский двор в XIV веке был гнездом самовластия и произвола, пристанищем порока и подкупа. Олицетворением последнего был не только образ «госпожи-взятки» у Лэнгленда, но и сама Алиса Перрерс, любовница дряхлеющего Эдуарда III. Двор был центром интриг и авантюр. Он был расточителен и дорого обходился налогоплательщикам.

Но королевская власть, иноязычная и чужеплеменная, все же была для народа некоторой защитой от феодалов. Не говоря уже о ничтожном Ричарде II или беспринципном честолюбце Ричарде III, не приходится идеализировать даже Эдуарда III, особенно в годы старческой его прострации. Однако именно молодой Эдуард, как позднее Генрих V, первым из английских правителей сплотил свой народ для разрешения больших государственных задач и сделал его участником больших исторических событий. Именно короли, опираясь на поддержку крепнущего города и освобожденной деревни, пытались этим рычагом своротить с дороги государства преграждавшую путь глыбу феодализма. Они первые дали английскому народу вкусить от сладости побед и сознания собственной мощи.

Социальные сдвиги и потрясения не могли не сказаться и в области культуры. Двор становился меценатом и потребителем своих, английских изделий. Вслед за итальянской парчой он требовал добротного английского сукна, он получал от монастырей не только индульгенции и молитвенники, но и псалтыри, изукрашенные вязью и миниатюрами, и переписанные монастырскими клерками рукописи поэтов античности.

Двор в лице лучших своих людей, чаще всего оставшихся на положении безыменных певцов и безликих наемников, был и проводником более утонченной французской культуры. Если двор выполнял среди прочих и такую функцию, то в этом была доля участия и «придворного поэта» Чосера.

Как всякий образованный человек того времени, Чосер не мог не испытать влияния церкви. Католическая церковь, а особенно папство, и во времена Чосера была, по словам Энгельса, по-прежнему «крупным интернациональным центром феодальной системы» [1], «наиболее общим синтезом и наиболее общей санкцией существующего феодального строя» [2] и оплотом всего средневекового уклада.

Феодальная церковь требовала слепого подчинения авторитету и преклонения перед установившейся иерархией. «Всякий да стоит на своем месте и остается на нем всю свою жизнь»,— учил Фома Аквинат, виднейший богослов средневековья. Это подкреплялось авторитетом церкви, папы, наконец, бога. В ходу были ссылки на авторитеты действительные и мнимые. Иерархия была строго установлена, это была папская система, построенная по типу феодальной, такая же надгосударственная и вненациональная.

Даже самые образованные из церковных магнатов свирепо защищали незыблемость этой системы. Таков был просвещенный гонитель просвещения Томас Арундел, представитель старой родовитой семьи, архиепископ и глава английской церкви. Первый английский ученый-гуманист, он той же рукой, которой переписывался с последователями Петрарки, составил акт 1401 года о том, что еретики подлежат сожжению на костре. А в конце XIV века в Англии появились не просто еретики, но и социальные реформаторы в религиозном обличье, носившие у врагов презрительную кличку лоллардов («бормотунов»). Это были последователи известного английского богослова — вольнодумца Джона Уиклифа, переводчика Библии и учителя «бедных священников», из среды которых вышел и «мятежный поп» Джон Болл, идеолог крестьянского восстания 1381 года.

Все они, оставаясь в границах религии, ожесточенно нападали на папство и католическую иерархию. Они стремились лишить церковь феодальных владений и освободить ее от функций сборщика папских поборов. Лолларды обвиняли монастыри и церкви в том, что, проводя и ограждая папское влияние, они были оплотом схоластики и мракобесия, что они жертвовали национальными интересами для вящей славы и выгоды папской.

Критическая религиозная мысль еретиков становилась страшным оружием в руках плебейского духовенства и его мятежной паствы. Лучшие люди английского духовенства, Уиклиф и Джон Болл, «бедные священники» и следовавшие их примеру клерки стремились разбудить живую мысль народа и вооружить его в борьбе за раскрепощение личности. И хотя в Англии XIV века возобладали ортодоксальные круги

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 22, с. 306.
[2] Там же, т. 7, с. 361.

церкви, хотя Уиклиф вскоре умер, Джон Болл был казнен, а лоллардов отправляли на костер, но дело «бедных священников» было сделано. Чосер застал лишь посев, но богатые всходы учения Уиклифа взошли и в Чехии Яна Гуса, и в Германии Мюнцера, и в Швейцарии Кальвина, и в Англии пуритан-левеллеров XVII века.

Как сын виноторговца и служащий лондонской таможни Чосер общался и с новой для того времени средой зажиточных горожан — как лондонских, так и заморских. На континенте, особенно в Германии, это тоже была косная, устойчивая среда, в которой средневековая статичность сказывалась и в цеховой иерархии, и в цеховой замкнутости и ограниченности.

Однако в молодой Англии цеховая система еще не окостенела, а бурное время беспрестанно освежало ее. При Чосере среднее сословие было еще создателем реальных ценностей. Это были мастера: каменщики, суконщики, мебельщики и другие безымянные маленькие люди, закрепившие свое большое дело созданием соборов, колледжей и их внутреннего убранства. Очень быстро развивающаяся торговля и быстро растущий лондонский порт требовали все больше английской шерсти и кожи, все лучшего качества английские сукна и ткани. Обогащалось купечество, а из рядов искусных шерстобитов, ткачей и сукновалов выходили все новые и новые удачники.

Из этой пестрой торговой среды уже выделялась при Чосере купеческая аристократия — патрициат.

Тогда как еще в XIII веке популярен был рассказ о том, как король на турнире при многотысячной толпе дергает своего банкира еврея за бороду и выхватывает у него из-за пояса кошель с золотом, теперь, в конце XIV века, в ходу был рассказ совсем другого рода — о лондонском купце, который, пригласив к себе в гости короля, припас ему напоследок поистине королевское угощение: он сжег на жаровне все скопившиеся в его руках королевские векселя.

В культурный обиход лондонского горожанина уже проникли, прижились и бытовали в нем многие произведения ранней буржуазной литературы континента: «Роман о Розе», переведенный Чосером, «Роман Лиса», посрамляющий разбойных баронов Изенгримов и отраженный в рассказе Чосерова капеллана; и, наконец, «фламандской кухни пестрый сор», заметенный в Англию сатирической метлой французских и фландрских фаблио.

Показанное на страницах Чосера новое среднее сословие в лице лучших своих представителей — искусных мастеров и предприимчивых затевал — не только переносило в Англию материальную культуру континента, но, в отличие от космополитического двора и церкви, укоре-

няло ее в своей английской земле и прививало чужие черенки к своему английскому дичку, и в этом есть доля участия Чосера.

Именно в этой среде, освобождаясь от чужих влияний и вкусов, Чосер нашел себя и обрел путь к английской жизни своего времени. А это было особенно важно для писателя, неотделимого от своей страны.

Намеренное и безоговорочное пользование родным языком способствовало обращению Чосера к начаткам родной литературы, и особенно к тому, что было в ней самостоятельного и самобытного. Правда, именно эта сторона в ней была весьма элементарна и зачаточна. Отражение в ней английской жизни было в лучшем случае наивно эмпирично. Большинство таких произведений было если и не безлико, то чаще всего безымянно. Но зато они сохраняли первые проблески свежего, непосредственного восприятия окружающего и свою, народную, точку зрения на жизнь.

Таковы были в особенности памятники народного творчества: народные представления-мистерии, песни, поговорки и присловья. Перебранка Ноя с супругой, самый мотив потопа и своеобразного ковчега-бадьи перешли в рассказ мельника, как и многие другие детали, прямо с церковных подмостков, где Чосеров Абсалон разыгрывал роль Ирода или подвизался в мистерии «Ной и потоп». Отвратительный облик Чосерова пристава церковного суда — это маска, которой народ наделил в своих представлениях ненавистного вымогателя. Внешний облик лесника-йомена возникает у Чосера до того, как образ Робин Гуда был закреплен в письменной традиции, живя еще только в песнях, сценках и представлениях о «Зеленом лесе». Такова бытовая сценка «Спор инструментов», построенная по типу духовных нравоучений и «споров души с телом». Здесь же инструменты пьянчуги плотника обсуждают характер и поведение хозяина, и в их спор вмешивается, наконец, и его ругательница-жена. Таково «Видение о Петре Пахаре» современника Чосера, Вильяма Лэнгленда,— эта детальная бытовая картина неимущей Англии и жизни ее больших дорог и харчевен, картина бедственного положения крестьянства и его туманных чаяний небесного избавителя. Все это настолько детально было показано у Лэнгленда, что в этой области даже Чосеру нечего было добавить в частностях.

Однако Лэнгленд в основе своей аллегоричен. Вместо живых людей у него действуют люди-схемы, воплощение добродетелей и пороков. Для художественных обобщений у Чосера оставалось широкое поле, и он наполнил его своей толпой паломников, такой же пестрой и шумной, как и у Лэнгленда, но гораздо более живой, осязательной и полнокровной.

Чем бы ни был обязан Чосер своим предшественникам в деле создания самобытной английской литературы, все ими достигнутое было уже

вчерашним днем. Чосер был свидетелем того, как все вокруг него пришло в движение. Все сдвинулось со своего места, но сдвинулось еле заметно. Так, особенно в культурной сфере, возник своеобразный хаос предвозрождения, который сменил недвижную схематичность установившихся норм средневековья. Однако еще очень далеко было до ясности целей, широты охвата и мощного синтеза Высокого Возрождения.

Во времена Чосера ничего еще не было готово, но уже все было подготовлено к его приходу. А сам он, и в этом его чисто английская особенность, ничего не регламентировал. Зато он все оживил и воплотил в художественных образах.

Так определяются некоторые существенные факторы, воздействовавшие на первого национального писателя Англии.

О жизни Джеффри Чосера нам известно очень мало, и сведения эти большей частью маловажны. Чосер родился около 1340 года в семье состоятельного лондонского виноторговца. Отец писателя Джон Чосер определил сына ко двору на скромную должность пажа. Пажом, а потом оруженосцем Джеффри дважды участвовал в походах на Францию, и в первом его походе, 1359 года, ему не посчастливилось: он попал в плен к французам, но был выкуплен королем.

По возвращении ко двору на него возложена была обязанность развлекать своими рассказами супругу Эдуарда III. Королеве, а позднее и первой жене Ричарда II — Анне Богемской — Чосер сначала читал или пересказывал чужие произведения, переводил «Роман о Розе», а потом стал сочинять и собственные «стихи на случай». Около 1369 года он написал поэму «На смерть герцогини Бланш», супруги его патрона и покровителя Джона Гонта, герцога Ланкастерского, затем поэму «Птичий парламент» (около 1382 года) — о сватовстве Ричарда II к Анне Богемской. Все это не выходило за рамки обычной куртуазной поэзии; но уже следующие произведения Чосера обнаружили незаурядную для самоучки начитанность и большой поэтический талант.

Библиотека Чосера насчитывала шестьдесят книг, немалая цифра для XIV века, когда иной раз цена одной книги равнялась стоимости постройки целой библиотеки. Среди его любимцев были французские поэты его времени, ранние поэмы Боккаччо, Вергилий, Стаций, Лукан и особенно Овидий, Данте и философ Боэций. Как «сведущий и надежный» человек, он в звании эсквайра неоднократно выполнял в 70-х годах ответственные и секретные дипломатические поручения короля во Франции и в Италии.

Особенно значительный след оставило двукратное посещение Чосером Италии: в 1373 и 1378 годах. Эти путешествия расширили его кругозор. Кроме непосредственного влияния, которое, несомненно, оказала

на Чосера страна Данте, Петрарки и Боккаччо, он из первых рук познакомился там с лучшими произведениями этих авторов. Отголоски знакомства с «Божественной комедией» Данте многократно встречаются у Чосера, начиная с «Птичьего парламента» и поэмы «Храм Славы» (1384), вплоть до ряда мест «Кентерберийских рассказов». «Достославные женщины» Боккаччо послужили прообразом для его «Легенды о Добрых Женах» (середина 80-х годов). «Тезеида» Боккаччо была сжата Чосером в рассказ рыцаря о Паламоне и Арсите, а перевод Петраркой на латинский язык «Гризельды» Боккаччо, переложенный в «Чосеровы строфы», стал у Чосера рассказом оксфордского студента.

У всех своих учителей Чосер отыскивал и брал то, что он мог считать уже своим. В этом отношении особенно показательна поэма «Троил и Хризеида» (конец 70-х — начало 80-х годов). И по содержанию и по форме это настолько самостоятельная и тонкая разработка «Филострато» Боккаччо, что она намного превосходит свой образец. «Троил и Хризеида» — единственное законченное из крупных произведений Чосера — по праву может быть названо психологическим романом в стихах.

Во времена Чосера неимущий поэт жил подачками меценатов и всецело зависел от своих покровителей. Король выкупил Чосера из плена, заплатив шестнадцать ливров, но «каждая вещь имеет свою цену»,— и за две одновременно выкупленные королевские лошади было заплачено пятьдесят и семьдесят ливров. Его посылали с ответственными поручениями, но, даже преуспев в них, он оставался в тени. В 1374 году как великую королевскую милость Чосер получил за свою службу место таможенного надсмотрщика лондонского порта по шерсти, коже и мехам. Это была далеко не синекура: должность была пожалована Чосеру со строгим наказом «писать все счета и отчеты собственной рукой и неотлучно находиться на месте», и только в 1382 году Чосер получил право передоверить свои обязанности заместителю, а до этого он весь день проводил в лондонском порту, записывая кули шерсти, кипы кожи и мехов, осматривая товары, взимая пошлины и штрафы и встречаясь со всяким народом. Вечером он шел в отведенное ему помещение в башне над городскими воротами Олдгэйт и, разогнув спину от работы за счетной книгой, до рассвета трудил глаза над другими, любимыми книгами. В поэме «Храм Славы» орел Юпитера так упрекает Чосера за то, что он тяжел на подъем и не интересуется ничем, кроме книг:

Лишь только, подведя итог,
Ты свой дневной закончишь труд,
Не развлечения зовут
Тебя тогда и не покой,—
Нет, возвратясь к себе домой,
Глух ко всему, садишься ты
Читать до полуслепоты

Другую книгу при свечах;
И одинокий, как монах,
Живешь, смиряя пыл страстей,
Забав чуждаясь и людей,
Хотя всегда ты солнцу рад
И воздержаньем не богат [1].

Судьба не баловала Чосера. Сегодня в милости, завтра в опале, временами в достатке, а случалось, и в нищете. Из ранга королевского посла он попадал в таможенные смотрители, а далее из обеспеченного чиновника становился банкротом, которого спасало от долговой тюрьмы только заступничество и новые милости короля.

Взлеты и падения Чосера были тем круче и неожиданнее, что самым своим положением Чосер вовлечен был в придворные интриги. Уже при Эдуарде III, после смерти наследника — «Черного Принца», взял силу второй сын короля — Джон Гонт, герцог Ланкастерский. Однако после смерти Эдуарда III ему пришлось вести непрерывную борьбу со своим братом герцогом Глостерским за влияние на малолетнего короля Ричарда II. С Джоном Гонтом Чосер был связан уже много лет и своим литературным дебютом, и через Уиклифа, и совместным участием во французских походах, и тем, что жена Чосера была фрейлиной второй герцогини Ланкастерской, и тем, что свояченица Чосера стала третьей женой Гонта. Чосер оставался верен своим покровителям и в трудную минуту. Вскоре он поплатился за это. После победы сторонников Глостера он был смещен со всех должностей и лишен всяких средств к существованию. Только в 1389 году, когда возмужавший Ричард II наконец взял власть в свои руки, Чосер получил некоторое возмещение и был пожалован королем должностью смотрителя королевских поместий и хранителя кладовых и сараев с негодной «королевской рухлядью». Затем, в 1391 году, после очередного смещения, Чосер не мог заплатить своих долгов и был признан несостоятельным. Его устраивали лесничим, сделали надсмотрщиком «стен, валов, канав, сточных труб, прудов, дорог и мостов» вдоль Темзы,— словом, последние годы жизни он жил случайными подачками и поручениями.

Чосер любил и ценил хорошую книгу. В свои затворнические годы, проведенные в башне Олдгэйт, он много читал, а позднее, в одинокой старости, книга заменяла ему и семью, и немногочисленных друзей. На многие годы его спутником стал трактат Боэция «Об утешении философией», который он не только читал, но и перевел. Однако книги не могли заслонить от Чосера жизнь. Бывали дни, когда он изменял книгам.

---

[1] Переводы стихов, кроме особо оговоренных, выполнены автором статьи.

Хотя в науке я и очень слаб,
Но силы нет, которая могла б
Меня от книги новой оторвать —
Я более всего люблю читать.
Но май придет, деревья зацветут,
Услышу я, как соловьи поют,—
Прощайте, книги! Есть любовь сильней,
Попробую вам рассказать о ней.

(«Легенда о Добрых Женах»)

Чосер давно собирался рассказать об этом. Заканчивая свою «маленькую трагедию» (в восемь тысяч строк) о Троиле и Хризеиде, Чосер писал:

Я с маленькой трагедией моей
Без сожаленья расстаюсь, ничуть
Не обольщаясь тем, что вижу в ней.
Ступай, книжонка, отправляйся в путь!
А встретится тебе когда-нибудь
Поэт, что Дантом некогда венчан,
Гомер, Овидий, Стаций иль Лукан,—
Соперничать не смей ты, будь скромна,
Лобзай смиренно прах у этих ног,
Будь памяти учителей верна,
Тверди тобой заученный урок.
Во мне ж надежда теплится одна,
Что, может быть,— пусть сгорбленный и хилый,—
В комедии я попытаю силы.

По существу, такой «комедией», таким светлым повествованием о любви к земному, к жизни и явились «Кентерберийские рассказы», основной тон которых на редкость бодр и оптимистичен и которым не чуждо ничто земное. Лучшей их характеристикой может служить одна строфа из поэмы Чосера «Птичий парламент». Это надпись на воротах, но не у входа в узилище, у порога которого надо оставить всякую надежду. Это не Дантова надпись над вратами ада. Чосеровы ворота ведут в цветущий сад,— это врата жизни, а надпись гласит следующее:

Через меня проникнешь в дивный сад,
Дарящий ранам сердца исцеленье;
Через меня придешь к ключу услад,
Где юный май цветет, не зная тленья,
И где полны веселья приключенья.
Читатель мой, заботы все забудь
И радостно вступи на этот путь.

(Перевод О. Румера)

Основное ядро «Кентерберийских рассказов» было создано Чосером в конце 80-х годов, быстро, в течение нескольких лет. А потом, к середине 90-х годов, работа над книгой оборвалась и все творчество Чосера стало

замирать. Все реже и скупее добавлял он отдельные мазки к своему огромному полотну. В позднем рассказе слуги каноника, в проповеди священника чувствуются следы творческой усталости.

Трудным и одиноким было последнее десятилетие жизни Чосера, которое пришлось на последнее десятилетие его века. Поэмы Чосера «Великое шатание» и «Былой век» показывают, насколько трезво и безотрадно оценивал он общее положение. Он, видимо, отдалился от двора и чуждается своих былых друзей и покровителей. Однако мягкий и не склонный к крайностям, он не пошел до конца и за другими своими друзьями — реформаторами, последователями Уиклифа. Это им, соратникам Джона Болла, рубили голову наравне с мятежниками 1381 года. Это их как еретиков отправлял теперь на костер просвещенный епископ Томас Арундел. 1381 год видел подавление экономических требований восставших и головы Уота Тайлера и Джона Болла на кольях. 1401 год увидит подавление свободы мысли и совести и еретиков-лоллардов на костре. Чосер был теперь одинаково далек от тех, кто рубил головы, и от тех, чьи головы летели с плеч. Самоограничение стало трагедией его старческих лет. Творческое одиночество стало их горестным уделом. Вокруг Чосера не было той литературной и общекультурной среды, которая окружала Боккаччо и Петрарку, которую нашли во Франции времен Маргариты Наваррской и Клеман Маро и Рабле,— среды, которая выделила из своих рядов Шекспира, «первого среди равных»,— гениального елизаветинца в плеяде талантливых елизаветинцев. Неутешительно было то состояние, в котором Чосер оставлял английскую литературу.

Трудно было Чосеру и в житейском отношении. По-видимому, в эти годы он жил один, материальное положение его было незавидное, иначе не сложилась бы тогда под его пером «Жалоба пустому кошелю».

Незадолго до его смерти, в 1399 году, фортуна последний раз улыбнулась ему. Престол был захвачен сыном его былого покровителя Ланкастера — Генри Болинброком. Генрих IV вспомнил о Чосере и позаботился о нем. Но жизнь была уже кончена. В октябре 1400 года Чосер умер и был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Как раз в наиболее трудные для него годы Чосер создает самую яркую, самую жизнерадостную свою книгу. Правда, почти все, что и до этого написал Чосер, также согрето юмором, но в «Кентерберийских рассказах» смех — это основная, всепобеждающая сила. Здесь Чосер все охотнее обращается к народному здравому смыслу, народной басне, народной насмешке над толстопузыми. При этом Чосер не отказался от того, чему научили его великие учителя, и все вместе сделало его «Кентерберийские рассказы» основным его вкладом в мировую литературу. Замысел книги очень прост. Собрав со всех концов страны на богомолье

тех, кто составлял «его» Англию, и бегло обрисовав в прологе их общий облик, Чосер в дальнейшем предоставляет каждому из них действовать и рассказывать по-своему. Сам он как автор неторопливо повествует о том, как они уговорились ехать в Кентербери, к мощам Фомы Бекета, и сообща коротать дорожную скуку, рассказывая друг другу всякие занимательные истории; как они осуществляли свой замысел; как в дороге они ближе узнавали друг друга, подчас ссорились, подчас трунили; как они спорили о достоинствах и недостатках рассказов, обнаруживая при этом всю свою подноготную.

Трудно определить жанр этой книги. Если рассматривать в отдельности рассказы, из которых она складывается, то она может показаться энциклопедией литературных жанров средневековья. Однако суть и основа книги — это ее реализм. Она включает портреты людей, их оценку, их взгляды на искусство, их поведение — словом, живую картину жизни. В отличие от других сборников новелл, даже от Декамерона, «Кентерберийские рассказы» скреплены далеко не механически. Замысел Чосера не был им завершен, но и по тому, что он успел сделать, видно, что у книги есть движение темы и внутренняя борьба, в результате которой намечаются и проясняются новые цели, может быть, не до конца ясные и самому Чосеру. Однако всякому ясно, что все в этой книге — о человеке и для человека; в основном о человеке своего времени, но для создания нового человека. Поэтому она и пережила свой век.

Книга состоит из общего пролога, свыше двух десятков рассказов и такого же числа связующих интермедий. Пролог занимает немногим больше восьмисот строк, но в нем, как в увертюре, намечены все основные мотивы книги, и все ее семнадцать с лишком тысяч стихов служат для раскрытия и развития характерных образов, намеченных в прологе.

Связующая часть, так называемая обрамляющая новелла, показывает паломников в движении и в действии. В их препирательствах о том, кому, когда и что рассказывать, в их трагикомических столкновениях и ссорах уже намечено внутреннее развитие, к сожалению, не получившее разрешения в неоконченной книге Чосера. Именно тут, в связующей части, сосредоточен драматический элемент. Так, например, фигура трактирщика Гарри Бэйли, главного судьи этого состязания рассказчиков,— это как бы сценическая роль. Она вся складывается из реплик, рассеянных по всей книге. Вступления к отдельным рассказам часто разрастаются в монологи, в которых дана автохарактеристика рассказчика. Таковы прологи продавца индульгенций, батской ткачихи, слуги каноника и отчасти мельника, мажордома и купца.

Рассказы книги очень разнородны, и для удобства обозрения их можно группировать в разных разрезах. Очень большая по объему группа — это «старинных былей, благородных сказок, святых преданий драгоценный клад». Это заимствованные Чосером или подражательные

рассказы юриста, монаха, врача, студента, сквайра, игуменьи, второй монахини. Пародийны и заострены, как оружие борьбы против прошлого, рассказ Чосера о сэре Топасе, рассказы рыцаря, капеллана, ткачихи. Сатирично даны многие фигуры общего пролога, в особенности служитель феодальной церкви и мельник; сатиричны прологи продавца индульгенций и пристава, рассказы слуги каноника, кармелита и пристава. Характер нравоучения носит притча о трех повесах в рассказе продавца индульгенций, рассказ экономa. Часто эти назидания тоже приобретают пародийный и сатирический тон в поучениях пристава, кармелита, в трагедиях монаха или в рассказе о Мелибее.

Четыре рассказа так называемой «брачной группы» — это как бы диспут, в котором обсуждаются и пересматриваются старые взгляды на неравный брак. Открывает этот диспут батская ткачиха, проповедуя в своем прологе полное подчинение мужа жене и иллюстрируя это своим рассказом. Рассказы студента о Гризельде и купца об Януарии и прекрасной Мае подходят к вопросу с другой стороны, а в рассказе франклина тот же вопрос разрешается по-новому, на основе взаимного уважения и доверия супругов. Диспут этот назревал и раньше — уже в рассказе мельника о молодой жене старого мужа; в рассказе шкипера про обманутое доверие, в сетованиях Гарри Бэйли. И он не затихает до самого конца книги, вспыхивая в рассказе экономa, как тема раскаяния в поспешной каре за неверность.

Всего самобытнее, свободнее по трактовке, ярче и ближе всего к народной жизни основная группа самостоятельных рассказов Чосера. Хотя кое в чем рассказы мельника, мажордома, шкипера, кармелита, пристава обязаны ходячим сюжетам фаблио, но основная ценность их в том, что это мастерски развитые Чосером реалистические новеллы.

Фабульному мастерству Чосер учился у французских труверов. Но фаблио, эти смешные, жестокие и подчас циничные анекдоты, под его пером становятся неузнаваемыми. Фаблио Чосера уже не анекдот, а новелла характеров. Чосер гуманизирует жестокий французский анекдот и населяет фаблио живыми людьми, в которых при всей их грубости он рад отметить все человечное.

Демократический гуманизм Чосера — это не гелертерский кабинетный гуманизм аристократа науки, а простая и сердечная любовь к человеку и к лучшим проявлениям человеческой души, которые способны облагородить самые неприглядные явления жизни. Много высоких и верных мыслей об «естественном человеке», о благородстве не унаследованном, а взятом с бою, о новом чувстве человеческого достоинства Чосер приводит и в рассказе батской ткачихи, и в рассказе франклина, и в проповеди священника, и в особой балладе «Благородство», но эти мысли неоднократно возникали и до и после Чосера. В искусстве, пока подобные декларации не нашли художественного воплощения, «слово без дела

мертво есть». Но живое, творческое дело Чосера создало то, чем и поныне жива английская литература, то, в чем особенно ярко сказалась ее самобытность.

Знание Чосером жизни — это не равнодушные наблюдения исследователя. Любовь его к человеку не сентиментальна и не слезлива. Его смех не бездушная издевка. А из сочетания такого знания жизни, такой любви к человеку и такого смеха возникает у Чосера сочувственная всепонимающая улыбка.

«Все понять — все простить»,— говорит поговорка. В этом смысле Чосер действительно многое прощает. В этом смысле гуманистичен и пролог батской ткачихи, как трагедия стареющей жизнелюбивой женщины, и рассказы мельника и купца о молодой жене старого мужа, хотя Чосер в этих рассказах отнюдь не закрывает глаза на суровую правду жизни.

Вложив в уста оксфордского студента очень подходящий для него рассказ о безропотной страстотерпице Гризельде, Чосер берет под сомнение поступок матери, жертвующей детьми в угоду супружеской покорности. Он делает это уже от своего имени в особом послесловии, вспоминая при этом батскую ткачиху:

Гризельда умерла, и вместе с ней
В могильный мрак сошло ее смиренье.
Предупреждаю громко всех мужей:
Не испытуйте ваших жен терпенье.
Никто Гризельды не найдет второй
В своей супруге,— в этом нет сомненья.

Все средневековые представления о браке, покорности, о божеском воздаянии, о правах, обязанностях и достоинстве человека — все вывернуто наизнанку и основательно перетряхнуто. Исповедь батской ткачихи написана в тонах грубоватого фарса, а в то же время она по существу трагична, такой исповеди не мог бы создать ни один средневековый автор.

Ситуации фаблио часто рискованны и требуют «подлого языка», но у Чосера все это омыто наивной и свежей грубостью народных нравов его века. «В то время был обычай в Альбионе по имени все вещи называть»,— говорил Вольтер, а тем, кого это все же коробит, Чосер прямо заявляет: «Добра скоромного здесь целый воз; Но шуток тех не принимай всерьез».

В другом месте он обращается к своему читателю с призывом: «Зерно храни, а шелуху откинь». Шелуха чосеровских фаблио — некоторая их анекдотичность и грубость — это дань жанру и дань веку. А здоровое зерно — это то новое, что мы в них находим: меткий и ядреный народный язык; здравый смысл, уравновешенный трезвым, насмешливым критицизмом; яркое, живое, напористое изложение; к месту пришедшаяся соленая шутка; искренность и свежесть; всеоправдывающая

сочувственная улыбка и победоносный смех. Легко спадающая шелуха не может скрыть озорного, бодрого задора и беззлобной насмешки над тем, что осмеяния достойно.

И все это служит Чосеру средством для изображения земного человека его времени, уже вдохнувшего первые веяния приближающегося Возрождения, но еще не всегда умеющего осознать и закрепить свойственное ему «жизнерадостное свободомыслие» в отвлеченных терминах и понятиях.

Все у Чосера дано на противоречии контраста. Грубость и грязь жизни подчеркивают нарождающуюся любовь, увядание — тягу к жизни, жизненные уродства — красоту юности. Все это происходит на самой грани смешного. Смех еще не успевает стихнуть, слезы не успевают навернуться, вызывая этим то смешанное и хорошее чувство, которое позднее определено было в Англии как юмор.

Композиционное мастерство Чосера проявляется прежде всего в его умении соединять как бы несоединимое. С великолепной непринужденностью он изображает своих разноликих спутников, и постепенно из отдельных штрихов возникает живой образ человека, а из накопления отдельных портретов — картина всего средневекового общества Англии.

«Кентерберийские рассказы» пестры и многоцветны, как сама жизнь, временами яркая, временами тусклая и неприглядная. Многие рассказы, сами по себе малоценные, в общем контексте приобретают смысл и находят свое место именно через контрастное сопоставление.

Именно это композиционное новаторство Чосера позволило ему разрешать в реалистической доминанте все противоречивые звучания книги. Именно поэтому даже фантастические, аллегорические и нравоучительные рассказы реалистически оправданы, как вполне, а иной раз и единственно возможные в устах данного рассказчика.

Основную фабулу рассказа Чосер излагает точно, сжато, живо и стремительно. Примером этого может служить конец рассказа продавца индульгенций о трех повесах, конец рассказа капеллана о погоне за лисом, вся сложная фабульная ткань и стремительная концовка рассказа мельника.

Чосер сдержан и скуп как рассказчик, но когда это надо для обрисовки его персонажей, он искусно рисует и горницу Душки Николаса, и лачугу вдовы, хозяйки Шантиклера, и превосходную жанровую сценку прихода монаха-сборщика в дом своего духовного сына Томаса.

Чосер, вообще говоря, избегает длинных самодовлеющих описаний. Он борется с ними оружием пародии, или сам одергивает себя: «Но, кажется, отвлекся я немного»,— или же отделывается от них шутливой отговоркой:

Что толку останавливаться мне
На том, какие блюда подавали
Иль как рога и трубы как звучали.
Ведь так любой кончается рассказ.
Там были яства, брага, песни, пляс.

Но когда это необходимо для уяснения характера рассказчика, Чосер ради этой основной цели поступается всем, даже любезным ему лаконизмом. Основную фабулу, лаконичную и стремительную, Чосер окружает, в духе средневековья, бесконечной вязью неторопливых рассуждений и поучений и клочковатой пестрядью шутливых пародийно-нравоучительных или сатирических интермедий. Все это он подчиняет характеру рассказчика, а самый рассказ включает в раму большой эпической формы. Повествование у Чосера течет с неслыханной по тем временам непринужденностью, свободой и естественностью. В результате эту книгу Чоссера в целом выделяет даже среди его собственных произведений исключительная яркость и реализм изображения, богатство и выразительность языка, когда надо — лаконизм, а когда надо — чисто раблезианская преизбыточность и смелость.

«Читайте Шекспира,— писал Пушкин Н. Раевскому.— Вспомните — он никогда не боится скомпрометировать свое действующее лицо, он заставляет его говорить со всей жизненной непринужденностью, ибо уверен, что в свое время и в своем месте он заставит это лицо найти язык, соответствующий его характеру». Так поступал до Шекспира и Чосер.

Знаменитый английский историк Джон Роберт Грин в своей оценке Чоссера говорит о нем следующее: «В первый раз в английской литературе мы встречаемся с драматической силой, не только создающей отдельный характер, но и комбинирующей все характеры в определенном сочетании, не только приспосабливающей каждый рассказ, каждое слово к характеру той или другой личности, но и сливающей все в поэтическом единстве».

Именно это широкое, истинно поэтическое отношение к действительности позволило Чосеру стать, по определению Горького, «основоположником реализма».

Порожденный своим бурным и кипучим веком, Чосер никогда не претендовал на роль летописца, не собирался писать историю своего времени; и тем не менее по «Кентерберийским рассказам», как и по «Видению о Петре Пахаре» Лэнгленда, историки изучают эпоху. Пережив войну, чуму и восстание, Чосер в «Кентерберийских рассказах» неохотно и мельком вспоминает о них,— это события, которые еще слишком свежи у всех в памяти и ежечасно грозят возвратом.

Но зато уже по общему прологу можно составить точное представление о том, как одевались, что пили и ели, чем интересовались и чем

жили англичане XIV века. И это не безразличное скопление случайных деталей. Нет! Чосер безошибочно отбирает самые характерные предметы обихода, в которых закреплены вкусы, привычки и повадки владельца. Потертый кольчугой, пробитый и залатанный камзол рыцаря — по одной детали сразу определяешь эту слегка архаичную фигуру, как бы сошедшую со страниц героического эпоса. Ведь этот опытный и умелый военачальник в то же время рыцарь-монах, сочетающий скромность по обету с некоторой лукавой чудаковатостью, сказавшейся и в тонкой иронии его рассказа. А пышное одеяние сквайра — это атрибут нового придворно-турнирного, галантного рыцаря, уже не Роланда, а Ланселота, затронутого новой образованностью и культурным лоском. А затем фермуар с девизом «amor vincit omnia» [1] рясофорной жеманницы аббатисы, большой лук йомена — словом, те вещи, через которые Чосер показывает человека и его место в истории.

Дальше мы узнаём, чем занимались эти люди, и опять-таки — это скупое и точное описание самых существенных черт их профессионального труда. Таковы портреты врача и шкипера, юриста и продавца индульгенций. То, что не уложилось в прологе, Чосер дорисовывает в рассказах об алхимике, о монахе-сборщике или приставе церковного суда. Бегло обрисовав купца в прологе, Чосер в рассказе шкипера показывает сборы купца на ярмарку и его взгляды на «трудный промысел» торговли. Так через профессию Чосер рисует опять-таки облик всего человека.

Уже в некоторых портретах пролога обнаружено поведение и характер человека. Мы хорошо представляем себе рыцаря и священника как людей долга и жизненного подвига, а бенедиктинца и франклина — как жуиров и прожигателей жизни; юриста, эконома и врача — как ловкачей и дельцов. А дальше поведение Задиры Симкина существенно дополняет и углубляет лишь внешне колоритный образ мельника в общем прологе. Тонкий и сложный психологический рисунок пролога батской ткачихи делает эту бой-бабу одним из самых живых и правдивых образов Чосера. Так через поведение и поступки Чосер дорисовывает облик человека.

Чосер никогда не схематизирует и не обобщает. Однако исчерпывающее и точное знание людей и событий своего времени позволило ему безошибочно находить именно ту нужную черту, именно то самое нужное ему точное слово, которое иной раз с успехом заменяет пространные описания.

Когда за столом таверны «Табард» собрались рыцарь, йомен, сквайр, купец и шкипер — они оказались живым воплощением Столетней войны. Скромный рыцарь вел их к победе. Выносливость, стойкость и могучий

---

[1] Любовь все покоряет *(лат.)*.

лук йомена решали исход сражений. Сквайр, доблестно сражаясь под началом отца, в то же время расточал рыцарскую славу в грабительских наездах на богатые города Фландрии и проматывал военную добычу на дорогие французские наряды. Ведь, в отличие от старого рыцаря, он выгодный клиент купца. Сам купец — истинный вдохновитель походов: стремясь обеспечить торговлю с Фландрией, он платит налоги королю, но хотел бы расценивать это как жалованье сторожу, с которого он требует, чтобы «охранялись воды» на главной дороге морской торговли. Наконец, шкипер — это вор и капер, выбрасывающий пленных за борт и торгующий захваченным товаром. Делая это, он только творит волю пославшего, приказ достопочтенного купца-арматора, который не прочь держать на службе такого разбойного шкипера, закрывая глаза на его подвиги и с барышом торгуя его добычей. Роли были точно установлены и поделены уже во времена Чосера. Рыцарь со сквайром и йоменом завоевывали рынки, купец эти рынки прибирал к рукам, шкипер возил товары купца, а при случае и добывал их силой для своего хозяина. Так несколько штрихов в пяти портретах пролога дают очень точное представление о характерных чертах большого исторического процесса.

Как человек переломной эпохи, Чосер не мог не задумываться над происходящим. Даже в объективных и улыбчивых «Кентерберийских рассказах» мы то и дело встречаем скорбные и негодующие слова о царящем повсюду насилии и корысти. Насилие — это страшное наследие прошлого, корысть — это новая язва продажного и бесстыдного века.

Мы читаем о вымогательствах монаха-сборщика и пристава церковного суда, чинимых с благословения его патрона викария. Читаем осторожные, но прозрачные намеки на произвол и беззакония тех, кого Чосер в рассказе пристава называет венценосными гневливцами. Призыв в рассказе капеллана: «Страшись, владыка, приближать льстецов!» — или такие отождествления в рассказе экономa:

Тиран воинственный иль император
С разбойником, как брат родимый, схож,
Ведь нрав у них по существу все то ж...
Лишь от разбойника поменьше зла,—
Ведь шайка у разбойника мала,—

наконец, предостережение тиранам в трагедиях монаха о том, что их ждет участь Креза или Навуходоносора,— в устах очень мягкого и терпимого Чосера все это достаточно недвусмысленно.

«Бедный священник» в «Кентерберийских рассказах» призывает в своей проповеди следовать естественному праву, по которому и господа и слуги равны перед господом и несут в отношении друг друга разные, но равно неизбежные обязательства.

А в балладе «Великое шатание», написанной много лет спустя после разгрома народного восстания и в самый разгар феодальных усобиц и всяческих беззаконий, сам Чосер говорит, что источник бед — это корысть и насилие, и призывает владыку исполнить свой долг — защитить слуг своих от корыстного насильника-феодала и не вводить их в искушение, подвергая чрезмерным испытаниям их преданность.

Кого-кого, только не создателя «Кентерберийских рассказов» можно упрекнуть в брюзжании и пессимизме. И действительно, у него было вполне достаточно объективных оснований, чтобы назвать происходившее в эти годы «Великим шатанием».

К концу XIV века уже в полной мере сказались отрицательные последствия пережитых Англией потрясений. Не улеглась еще разруха, вызванная чумой и разгромом крестьянского восстания. Недолгая героическая пора первого периода Столетней войны миновала. Несмотря на отдельные блестящие победы, дела англичан во Франции шли плохо. Отдельные французские отряды под предводительством талантливого организатора сопротивления Бертрана Дюгеклена местами уже поколачивали завоевателей, которые не в состоянии были десятилетиями держать в подчинении непокорившуюся страну. Для англичан война теряла всякую цель и смысл, кроме грабежа и обогащения: английские каперы грабили на море, а отбившиеся от войск «вольные компании» — на суше, но недавно достигнутое военное могущество Англии уже пошатнулось. Бретонские и нормандские корсары стали угрожать морским путям Англии, жизненному нерву ее зарождавшейся торговли шерстью. Более того: враги грозили высадкой на английских берегах. В начале 70-х годов при одной вести о сборах французского десанта смятение охватило всю Англию, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы первоочередные задачи во Фландрии не отвлекли внимания французов.

Внутри страны углублялся всеобщий моральный упадок. Надо всем властвовала «Госпожа Взятка». Разгорались придворные интриги — начало той борьбы за власть, которая в XV веке привела к братоубийственной династической войне Алой и Белой Розы.

Короли казнили феодалов. Феодалы свергали королей. «Черного Принца» — победителя французов — сменил «Делатель королей» граф Уорик. Эдуарда III и Генриха V — Ричард III. Поистине можно было сказать словами Шекспирова Ричарда II: «Везде убийства... Смерть царствует в короне королей».

Трезво и безрадостно оценив в «Великом шатании» настоящее, Чосер от мерзости корыстливого века в поэме «Былой век» уносится мыслью в «Aetas Prima», в «золотой век» безмятежно патриархальных отношений, когда царили на земле мир и справедливость, человек следовал

естественному праву и когда не был еще добыт из недр источник корысти — драгоценный металл.

Все сказанное в «Былом веке» перекликалось во времена Чосера с действительностью как лично пережитое и выстраданное. Более того: многие строки «Былого века» почти текстуально совпадают с мятежными народными песнями 1381 года, песнями Джона Болла, «Джека-возчика», «Джека-мельника», «Джека-швеца» про то, что «зависть правит, гордость и коварство, и праздности настало ныне царство», что «обман и насилье владычат кругом, а правда и совесть у вас под замком».

В «Кентерберийских рассказах» Чосер нигде прямо не обнаруживает своего отношения к историческим событиям, но и здесь по его отношению к людям можно определить и его собственную позицию. Наследие прошлого для Чосера — это прежде всего наглое насилие и тиранство разбойных баронов и их сюзеренов, это аскетическая мертвящая схема, это косная мысль схоластической псевдонауки алхимиков и астрологов-врачевателей, это льнущая к церкви шатия тунеядцев и прихлебал. Но его трогает в лучших людях прошлого их светлая вера и умиленность, их нравственная твердость и чистота. Он идеализирует бескорыстие и простую сердечность рыцаря и клерка, пахаря и бедного священника. Он хочет сохранить этих людей для настоящего такими, какими он хотел бы их видеть. Ему по душе эти чудаковатые праведники, но вся беда в том, что логика художественной правды обнаруживает их нежизненность и нежизнеспособность. На очереди были люди не этого типа, а ворюга мельник, ростовщик купец, шельма юрист, проныра эконом, обдирала управитель, бой-баба ткачиха и другие стяжатели «Кентерберийских рассказов». Все они гонятся прежде всего за материальными благами и добиваются их любыми средствами. Все они выросли и сложились еще до Чосера, но только сейчас, в пору разрухи, освободясь от тугой узды средневековья, от всякой моральной сдержки и распоясавшись, они забирают силу и становятся угрожающе активны. Они становятся типичными («ведь честный мельник, где его сыскать?») и не предвещают в будущем ничего хорошего.

Говоря о «действительном ходе развития», в условиях которого феодальный строй сменялся строем капиталистическим, Маркс пишет в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» о том, что на данном историческом этапе неизбежно должны были взять верх «движение... над неподвижностью...», «стяжательство над жаждой наслаждений...», «...изворотливый эгоизм просвещения... над... осмотрительным, простоватым, ленивым и фантастическим эгоизмом суеверия»[1]. Кого могли предпочесть люди XIV века? Кто лучше: грабитель феодал или кровосос купец?

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 579.

В сущности, оба хуже, но грабитель был рецидивистом, а кровосос еще не проявил себя в полной мере.

За стяжателями, при всей их мерзости, была тогда если не правда, то историческое оправдание: объективно именно они, как представители завтрашнего дня, делали во времена Чосера жизненно необходимое санитарное дело, как муравьи, расчищая землю от феодального мусора. Но и в изображении Чосера они делали это далеко не чистыми руками, с тем чтобы вскоре намусорить на земле еще пуще прежнего.

Вот корни реалистически правдивой противоречивости характеристик Чосера с их резкой светотенью. Рыцарь у него праведный насильник — он крестоносец, истребляющий неверных; купец — дельный плут; шкипер — вор и пират, но он же храбрец и опытный моряк; пахарь — душа-человек, но бессловесная кляча; священник — праведная душа и подвижник, но это еретик, лишенный воинствующего духа будущих пуритан.

Распределение красок и общий тон говорят о том, что часто, хотя бы и скрепя сердце, Чосер признает необходимость, но примириться с беспринципностью и беззастенчивостью он не может.

Местами кажется, что Чосер, рисуя своего стяжателя, ощущает новую реальную угрозу, но и в «Былом веке», и в «Великом шатании» он как первоочередную задачу подчеркивает необходимость стряхнуть феодализм. В уяснении того, как достигнуть этой цели, Чосер не опередил своего времени, не выработал какой-либо стройной положительной программы, не создал цельного образа нового человека. Он вместе со своим «бедным священником» разделяет наивные чаяния Петра Пахаря, что надо только убрать феодалов, побороть корысть и работать не покладая рук — и все будет хорошо. Разница со взглядами Лэнгленда лишь в том, что Чосер не ждет небесного избавителя и возлагает все надежды на врожденное чувство справедливости и здравый смысл простого земного человека, который должен сам понять, что хорошо, что плохо.

Чосер не борец по натуре, если он и борется, то оружием смеха. Он не зовет на борьбу, но эта борьба подспудно идет на каждой странице его «Рассказов», подобно тому как неприметно протекала она по всей Англии на протяжении XIV—XV веков.

В результате ее ослабленными оказались феодалы и аскеты, лицемеры и хищники, а укрепилось жизнерадостное свободомыслие, жизненная сила и уверенность народа — словом, все то, что питало собой оптимизм Чосера. Вопреки всему тяжелому и грозному, достойному осмеяния и отвратительному, всему тому, что переживал и видел Чосер вокруг себя, тому, что он обличал в своих сатирических образах, надо всеми испытаниями и бедами, которым подвергалась его страна и о которых неоднократно упоминает Чосер,— надо всей этой неприглядной действи-

тельностью возникает бодрое, жизнеутверждающее творчество Чосера, порожденное верой в живучесть, силу и одаренность своего народа.

При таком характере историзма Чосера напрасно искать у него последовательное и прямое изображение событий или обоснованный анализ того сложного и противоречивого исторического процесса, который косвенно показан в «Кентерберийских рассказах». И, однако, они стали рупором, сохранившим для нас голос людей его времени, и зеркалом, отразившим их облик. Этого мы не найдем ни у одного из современных Чосеру английских писателей.

«Основоположник реализма», Чосер проносит по большим дорогам Англии свое чудесное зеркальце, и оно отражает точно и правдиво все, что попадает в его охват.

В зеркале Чосера не отражены исторические катаклизмы, оно бы треснуло и выпало из его дрогнувшей руки, но, в меру для него возможного, оно дает больше,— оно отражает людей, руками которых творилась история.

Радостное, полное света и движения творчество Чосера обнаруживает в нем большую жизненную силу и бодрость, которые не дали ему сломиться в испытаниях и невзгодах его бурного и страшного века. Однако из противоречий и хаоса предвозрождения возникает сложный и противоречивый облик самого Чосера. Ему вообще присуща раздвоенность человека переломной поры, который хочет сочетать лучшие моральные устои вчерашнего дня с внутренней раскрепощенностью, энергией и широтой, как достоянием будущего. Еще неспособный сделать бесповоротный выбор, он в то же время не может преодолеть эти противоречия, что оказалось по силам только могучему синтезу Шекспира.

В «Кентерберийских рассказах» Чосер как бы прочел отходную феодальной Англии, не скрывая при этом грусти по отдельным праведникам прошлого. В то же время его «Кентерберийские рассказы» были как бы приветственным словом людям нового времени, причем Чосер не замалчивал их слабостей и пороков.

Двоятся и разрозненные черты, из которых еще только складываются положительные образы Чосера. Из людей нового времени пока еще встречаются Чосеру чаще всего Санчо Пансы, вроде веселого трактирщика Бэйли. Из хороших людей прошлого вспоминаются всего охотнее люди не от мира сего — Дон-Кихот в обличии студента или даже праведного рыцаря. Только в идеализированной фигуре «бедного священника» краешком отражен деятельный подвиг современников Чосера и последователей Уиклифа.

Нередко обличает Чосер венчанных гневливцев, а также их льстецов и прислужников, но все же прекрасно сознает, что в данных усло-

виях обличения эти тщетны: «Царей же наставлять остерегись, хотя б в аду они потом спеклись».

Чосер не мог не видеть истинного и очень непривлекательного лица герцога Ланкастерского, но в отношении к нему он разделял иллюзии и близорукость Уиклифа, еще усугубленные неизжитой феодальной верностью своему покровителю.

Он тянется к познанию мира, но, как для всякого человека средневековья, это упирается в астрологию и алхимию. Правда, он осмеивает астрологию шарлатанов, прорицателей и врачевателей, и сам в «Трактате об астролябии» занимается практической инструментальной астрономией, наивно щеголяя своими познаниями в этой области, а в «Кентерберийских рассказах» то и дело дает сложные астрономические определения времени. Из астрологической медицины он стремится выделить здоровое зерно старого Гиппократова учения о темпераментах. Он обличает шарлатанов алхимиков, но обнаруживает глубокую заинтересованность в той технике алхимического эксперимента, которая целиком перешла в современную науку и способствовала познанию материи.

Искренне и глубоко верующий человек, по-рыцарски страстный поклонник девы Марии и почитатель Франциска Ассизского, он в то же время свободомыслящий жизнелюбец, осуждающий монашескую аскезу, и насмешливый скептик, когда дело касается догматов, мертвящих живую веру.

Все его творчество проникнуто «жизнерадостным свободомыслием» Возрождения. Но вольномыслие Чосера — это почти инстинктивное возмущение против аскетизма и догмы, это наивно оптимистическое отрицание мрака во имя света, это прежде всего жизнелюбие и жизнеутверждение.

Только много позднее «жизнерадостное свободомыслие», углубленное новым гуманистическим содержанием, предстало как судорожный смех Рабле, горькая усмешка Сервантеса, титанические порывы мысли и чувств Марло и могучие, всеобъемлющие и скорбные прозрения Шекспира.

Во времена Чосера не достиг еще своего апогея тот яростный предсмертный отпор недобитого прошлого, который вызывал уныние Рабле, ярость Марло, раздумье Шекспира. Более того, далеко не во всей полноте раскрылись еще возможности человека Высокого Возрождения, который обрел себя и осознал свою мощь в открытой борьбе с косными силами феодального прошлого и рука об руку с друзьями и единомышленниками. А ведь именно такого общения и такой среды не хватало Чосеру.

И все же, при всех оговорках, Чосер был для своего времени художником нового типа. В его творчестве уже нарушены окостенелая сословная замкнутость и схематизм средневекового мировоззрения. Их сменяет

борьба с косной традицией, критический подход к феодальному прошлому и настоящему и тревожное вглядывание в еще неясное будущее.

Те качества, которые раньше считались неотъемлемым достоянием высшего сословия — феодалов: доблесть, благородство, самопожертвование, подвиг, чувство собственного достоинства, воспитанность, развитой ум,— у Чосера становятся доступными для всякого хорошего человека. Чувством собственного достоинства обладает не только мудрый военачальник-рыцарь, но и знающий себе цену Гарри Бэйли. Внутренним благородством наделены в рассказе франклина не только родовитые Арвираг и Аврелий, но и безродный ведун и философ.

Уже и ранее раскрывался в искусстве средневековья внутренний мир человека, но чаще всего это было пассивное созерцание, выполнение божьей воли, ее предопределения или хотя бы велений судьбы. У Чосера человек — хозяин своей судьбы и борется за нее. Внутренний мир его раскрывается не в размышлениях, а в действенном общении с другими людьми.

Человек у Чосера не одноплановая схема, не носитель отвлеченных качеств. И внешний облик, и мысли, и поведение, и все происходящее с человеком служит Чосеру для раскрытия его характера во всей его многосторонности и противоречивости, и люди его — это динамичные, живые характеры.

Как и Шекспир, Чосер не выдумывал чего-то абстрактно нового, а различал многое из того, что было заложено в характере его народа и что раскрылось позднее в его истории. Чосер борется со средневековой традицией, но принимает из нее в порядке преемственности некие обязательные элементы исторической и культурной необходимости. Обогащенные элементами новой мировоззренческой и художественной свободы, они входят в его творчество уже в новом качестве и кладут начало новой, чосеровской традиции.

Эта традиция складывалась не сразу и вполне органично, поскольку в своем творчестве Чосер выразил некоторые из существенных сторон национального характера: тягу к трезвой реальности, несгибаемую силу и уверенность в себе, оптимизм и чувство собственного достоинства — качества, особенно закалившиеся в успешной борьбе с феодализмом. В области художественного мастерства это проявлялось в свободном распоряжении материалом, в дерзком совмещении страшного и смешного, грустного и веселого, низменного и высокого, поэтичного и обыденного, наконец, в своеобразном характере гротеска и в чисто английском юморе.

После Чосера черты эти были гениально развернуты Шекспиром, особенно в светлом, комедийном плане, который неотъемлемой частью входит в его трагедии и составляет их земной, фальстафовский фон.

А вслед за Шекспиром те же черты возникают у Фильдинга, в контрастной обрисовке людей и в контрастном построении романа, а также в комических похождениях его героев на больших дорогах жизни.

Чосер вдохновлял Вальтера Скотта, когда тот в «Айвенго» воскрешал людей и нравы английского средневековья.

Смоллет и Диккенс унаследовали от Чосера внешнюю характерность персонажей, иногда сужая при этом живые образы Чосера до гротескных масок своих чудаков.

Конечно, Чосер не исчерпывает собой всех истоков и путей английского реализма. Не отсюда исходит творчество Мильтона, Дефо и Свифта. Тут лишь начало одного из путей, по которому развивался в Англии демократический бытовой реализм. Тут истоки «комической эпопеи» и начало «эпоса большой дороги», отсюда намечается поворот к роману и комедии характеров, здесь прообразы людей, типичных для одного из обличий родины Чосера, для «зеленой Англии», для «старой, веселой Англии» Диккенса и Шекспира.

Со всеми поправками на время и на вовсе не трагическое мировосприятие Чосера надо признать, что были основания у английского исследователя Коултона, когда он утверждал, что «после Шекспира Чосер самая шекспировская фигура в английской литературе». И недаром, когда думаешь о Чосере, вспоминаются слова из Гамлета: «Ученого, придворного, бойца — взор, меч, язык». Но и это емкое определение не охватывает всего Чосера. Придворный поэт и таможенный надсмотрщик, книгочий и жизнелюбец, участник войн и мирных переговоров, завсегдатай ярмарок и паломничеств и прежде всего зоркий художник, он знает народную жизнь не как ученый, не как придворный. Он смотрит на жизнь не с узко сословной точки зрения, не только как эсквайр Эдуарда III и горожанин лондонского Сити. Одновременно он сын своей страны, культурный европеец, стоящий на уровне своей эпохи, и художник, намного опередивший в Англии свой век.

Его по праву можно считать первым реалистическим писателем Англии и первым, да, пожалуй, и единственным, представителем начальной стадии английского Возрождения, которое только в творчестве Марло и Шекспира достигло зрелости и полного расцвета.

И. КАШКИН

ОБЩИЙ ПРОЛОГ

Здесь начинается книга
Кентерберийских рассказов

Когда Апрель обильными дождями
Разрыхлил землю, взрытую ростками,
И, мартовскую жажду утоля,
От корня до зеленого стебля
Набухли жилки той весенней силой,
Что в каждой роще почки распустила,
А солнце юное в своем пути
Весь Овна знак успело обойти,
И, ни на миг в ночи не засыпая,
Без умолку звенели птичьи стаи,
Так сердце им встревожил зов весны,—
Тогда со всех концов родной страны
Паломников бессчетных вереницы
Мощам заморским снова поклониться
Стремились истово; но многих влек
Фома Бекет, святой, что им помог
В беде иль исцелил недуг старинный,
Сам смерть приняв, как мученик безвинный.

Случилось мне в ту пору завернуть
В харчевню «Табард», в Соуерке, свой путь
Свершая в Кентербери по обету;
Здесь ненароком повстречал я эту

Компанию. Их двадцать девять было.
Цель общая в пути соединила
Их дружбою; они — пример всем нам —
Шли поклониться праведным мощам.
Конюшен, комнат в «Табарде» немало,
И никогда в нем тесно не бывало.
Едва обильный ужин отошел,
Как я уже со многими нашел
Знакомых общих или подружился
И путь их разделить уговорился.
И вот, покуда скромный мой рассказ
Еще не утомил ушей и глаз,
Мне кажется, что было бы уместно
Вам рассказать все то, что мне известно
О спутниках моих: каков их вид,
И звание, и чем кто знаменит
Иль почему в забвенье пребывает;
Мой перечень пусть Рыцарь открывает.

Тот рыцарь был достойный человек.
С тех пор как в первый он ушел набег,
Не посрамил он рыцарского рода;
Любил он честь, учтивость и свободу;
Усердный был и ревностный вассал.
И редко кто в стольких краях бывал.
Крещеные и даже басурмане
Признали доблести его во брани.
Он с королем Александрию брал,
На орденских пирах он восседал
Вверху стола, был гостем в замках прусских,
Ходил он на Литву, ходил на русских,
А мало кто — тому свидетель бог —
Из рыцарей тем похвалиться мог.
Им в Андалузии взят Алжезир
И от неверных огражден Алжир.
Был под Лайасом он и Саталией
И помогал сражаться с Бельмарией.
Не раз терпел невзгоды он и горе
При трудных высадках в Великом море,
Он был в пятнадцати больших боях;
В сердца язычников вселяя страх,
Он в Тремиссене трижды выходил

С неверным биться,— трижды победил.
Он помогал сирийским христианам
Давать отпор насильникам-османам,
И заслужил повсюду почесть он.
Хотя был знатен, все ж он был умен,
А в обхожденье мягок, как девица;
И во всю жизнь (тут есть чему дивиться)
Он бранью уст своих не осквернял —
Как истый рыцарь, скромность соблюдал.
А что сказать мне об его наряде?
Был конь хорош, но сам он не паряден;
Потерт кольчугой был его камзол,
Пробит, залатан, в пятнах весь подол.
Он, возвратясь из дальнего похода,
Тотчас к мощам пошел со всем народом.

С собой повсюду сына брал отец.
Сквайр был веселый, влюбчивый юнец
Лет двадцати, кудрявый и румяный.
Хоть молод был, он видел смерть и раны:
Высок и строен, ловок, крепок, смел,
Он уж не раз ходил в чужой предел;
Во Фландрии, Артуа и Пикардии
Он, несмотря на годы молодые,
Оруженосцем был и там сражался,
Чем милостей любимой добивался.
Стараньями искусных дамских рук
Наряд его расшит был, словно луг,
И весь искрился дивными цветами,
Эмблемами, заморскими зверями.
Весь день играл на флейте он и пел,
Изрядно песни складывать умел,
Умел читать он, рисовать, писать,
На копьях биться, ловко танцевать.
Он ярок, свеж был, как листок весенний.
Был в талию камзол, и по колени
Висели рукава. Скакал он смело
И гарцевал, красуясь, то и дело.
Всю ночь, томясь, он не смыкал очей
И меньше спал, чем в мае соловей.
Он был приятным, вежливым соседом:
Отцу жаркое резал за обедом.

Не взял с собою рыцарь лишних слуг,
Как и в походах, ехал он сам-друг.
С ним Йомен был,— в кафтане с капюшоном;
За кушаком, как и наряд, зеленым
Торчала связка длинных, острых стрел,
Чьи перья йомен сохранять умел —
И слушалась стрела проворных рук.
С ним был его большой могучий лук,
Отполированный, как будто новый.
Был йомен кряжистый, бритоголовый,
Студеным ветром, солнцем опален,
Лесной охоты ведал он закон.
Наручень пышный стягивал запястье,
А на дорогу из военной снасти
Был меч и щит и на боку кинжал;
На шее еле серебром мерцал,
Зеленой перевязью скрыт от взора,
Истертый лик святого Христофора.
Висел на перевязи турий рог —
Был лесником, должно быть, тот стрелок.

Была меж ними также Аббатиса —
Страж знатных послушниц и директриса.
Смягчала хлад монашеского чина
Улыбкой робкою мать Эглантина.
В ее устах страшнейшая хула
Звучала так: «Клянусь святым Элуа».
И, вслушиваясь в разговор соседний,
Все напевала в нос она обедню;
И по-французски говорила плавно,
Как учат в Стратфорде, а не забавным
Парижским торопливым говорком.
Она держалась чинно за столом:
Не поперхнется крепкою наливкой,
Чуть окуная пальчики в подливку,
Не оботрет их о рукав иль ворот.
Ни пятнышка вокруг ее прибора.
Она так часто обтирала губки,
Что жира не было следов на кубке.
С достоинством черед свой выжидала,
Без жадности кусочек выбирала.
Сидеть с ней рядом было всем приятно —
Так вежлива была и так опрятна.

Усвоив нрав придворных и манеры,
Она и в этом не теряла меры
И возбуждать стремилась уваженье,
Оказывая грешным снисхожденье.
Была так жалостлива, сердобольна,
Боялась даже мышке сделать больно
И за лесных зверей молила небо.
Кормила мясом, молоком и хлебом
Своих любимых маленьких собачек.
И все нет-нет — игуменья заплачет:
Тот песик околел, того прибили —
Не все собак игуменьи любили.
Искусно сплоенное покрывало
Высокий, чистый лоб ей облегало.
Точеный нос, приветливые губки
И в рамке алой крохотные зубки,
Глаза прозрачны, серы, как стекло,—
Все взор в ней радовало и влекло.
Был ладно скроен плащ ее короткий,
А на руке коралловые четки
Расцвечивал зеленый малахит.
На фермуаре золотой был щит
С короной над большою буквой «А»,
С девизом: «Amor vincit omnia».
Была черница с нею для услуги
И трое Капелланов; на досуге
Они вели с Монахом важным спор.

Монах был монастырский ревизор.
Наездник страстный, он любил охоту
И богомолье — только не работу.
И хоть таких монахов и корят,
Но превосходный был бы он аббат:
Его конюшню вся округа знала,
Его уздечка пряжками бренчала,
Как колокольчики часовни той,
Доход с которой тратил он, как свой.
Он не дал бы и ломаной полушки
За жизнь без дам, без псарни, без пирушки.
Веселый нравом, он терпеть не мог
Монашеский томительный острог,
Устав Маврикия и Бенедикта
И всякие прескрипты и эдикты.

А в самом деле, ведь монах-то прав,
И устарел суровый сей устав:
Охоту запрещает он к чему-то
И поучает нас не в меру круто:
Монах без кельи — рыба без воды.
А я большой не вижу в том беды.
В конце концов монах — не рак-отшельник,
Что на спине несет свою молельню.
Он устрицы не даст за весь тот вздор,
Который проповедует приор.
Зачем корпеть средь книг иль в огороде,
Зачем тощать наперекор природе?
Труды, посты, лишения, молитвы —
На что они, коль есть любовь и битвы?
Пусть Августин печется о спасенье,
А братии оставит прегрешенья.
Был наш монах лихой боец, охотник.
Держал борзых на псарне он две сотни:
Без травли псовой нету в жизни смысла.
Он лебедя любил с подливкой кислой.
Был лучшей белкой плащ его подбит,
Богато вышит и отлично сшит.
Застежку он, как подобает франтам,
Украсил золотым «любовным бантом».
Зеркальным шаром лоснилась тонзура,
Свисали щеки, и его фигура
Вся оплыла; проворные глаза
Запухли, и текла из них слеза.
Вокруг его раскормленного тела
Испарина, что облако, висела.
Ему завидовал и сам аббат —
Так представителен был наш прелат.
И сам лицом упитанный, румяный,
И сапожки из лучшего сафьяна,
И конь гнедой, артачливый на вид.

С ним рядом ехал прыткий Кармелит.
Брат сборщик был он — важная особа.
Такою лестью вкрадчивою кто бы
Из братьи столько в кружку мог добыть?
Он многим девушкам успел пробить
В замужество путь, приданым одаря;
Крепчайшим был столпом монастыря.

Дружил с франклинами он по округе,
Втирался то в нахлебники, то в други
Ко многим из градских почтенных жен;
Был правом отпущенья наделен
Не меньшим, говорил он, чем священник —
Ведь папой скреплено то отпущенье.
С приятностью монах исповедал,
Охотно прегрешенья отпускал.
Епитимья его была легка,
Коль не скупилась грешника рука.
Ведь щедрые на церковь приношенья —
Знак, что замолены все прегрешенья,
И, покаянные дары приняв,
Поклялся б он, что грешник чист и прав.
«Иные, мол, не выдавят слезы
И не заставят каяться язык,
Хотя бы сердцем тайно изнывали
И прегрешений скверну сознавали.
Так, чтоб избегнуть плача и поста,
Давай щедрее — и душа чиста».

Он в капюшоне для своих подружек
Хранил булавок пачки, ниток, кружев.
Был влюбчив, говорлив и беззаботен.
Умел он петь и побренчать на роте.
Никто не пел тех песен веселей.
Был телом пухл он, лилии белей.
А впрочем, был силач, драчун изрядный,
Любил пиров церемониал парадный.
Трактирщиков веселых и служанок
И разбитных, дебелых содержанок.
Возиться с разной вшивой беднотою?
Того они ни капельки не стоят:
Заботы много, а доходов мало,
И порову монаха не пристало
Водиться с нищими и бедняками,
А не с торговцами да с богачами.

Коль человек мог быть ему полезен,
Он был услужлив, ласков и любезен.
На откуп отпущения он брал,
К стадам своим других не подпускал.
Хоть за патент платил в казну немало,
Но сборами расходы покрывал он.

Так сладко пел он «In principio» [1]
Вдове разутой, что рука ее
Последнюю полушку отдавала,
Хотя б она с семьею голодала.
Он, как щенок, вокруг нее резвился:
Такой, да своего бы не добился!
В судах любви охотно он судил,
И приговоры брат сей выносил
Так, словно был он некий кардинал.
Он рясою своею щеголял —
Не вытертой монашеской ряднины,
А лучшего сукна, и пелерина
Вокруг тверда, как колокол, торчала.
Чуть шепелявил он, чтобы звучала
Речь английская слаще для ушей.
Он пел под арфу, словно соловей,
Прищурившись умильно, и лучи
Из глаз его искрились, что в ночи
Морозной звезды. Звался он Губертом.

Купец с ним ехал, подбоченясь фертом,
Напялив много пестрого добра.
Носил он шапку фландрского бобра
И сапоги с наборным ремешком
Да бороду. Он толковал о том,
Как получать, как сберегать доходы.
Он требовал, чтоб охранялись воды
В пути из Миддлбурга в Оруэлл.
Он курс экю высчитывать умел
И знатно на размене наживался
И богател, а то и разорялся,
Но ото всех долги свои скрывал.
Охотно деньги в рост купец давал,
Но так искусно вел свои расчеты,
Что пользовался ото всех почетом.
Не знаю, право, как его зовут.

Прервав над логикой усердный труд,
Студент оксфордский с нами рядом плелся.
Едва ль беднее нищий бы нашелся:
Не конь под ним, а щипаная галка,
И самого студента было жалко —

[1] «В начале [было слово]» *(лат.)*.

Такой он был обтрепанный, убогий,
Худой, измученный плохой дорогой.
Он ни прихода не сумел добыть,
Ни службы канцелярской. Выносить
Нужду и голод приучился стойко.
Полено клал он в изголовье койки.
Ему милее двадцать книг иметь,
Чем платье дорогое, лютню, снедь.
Он негу презирал сокровищ тленных,
Но Аристотель — кладезь мыслей ценных —
Не мог прибавить денег ни гроша,
И клерк их клянчил, грешная душа,
У всех друзей и тратил на ученье
И ревностно молился о спасенье
Тех, щедрости которых был обязан.
К науке он был горячо привязан.
Но философия не помогала
И золота ни унца не давала.
Он слова лишнего не говорил
И слог высокий мудрости любил —
Короткий, быстрый, искренний, правдивый;
Он сыт был жатвой с этой тучной нивы.
И, бедняком предпочитая жить,
Хотел учиться и других учить.

Был с ними важный, чопорный Юрист.
Он, как искусный, тонкий казуист,
На паперти был очень уважаем
И часто на объезды назначаем.
Имел патент он на свои права.
И ширилась о нем в судах молва.
Наследство от казны он ограждал,
В руках семьи именье сохранял.
Клиенты с «мантией» к нему стекались;
Его богатства быстро умножались.
Не видел свет стяжателя такого,
И все ж о нем не слышали дурного.
Ведь сколько б взяток ни дал виноватый —
Он оправдать умел любую плату.
Работник ревностный, пред светом целым,
Не столько был им, сколько слыть умел им.
Он знал законы со времен Вильяма
И обходил — уловкой или прямо—

Любой из них, но были неоспорны
Его решенья. Он носил узорный
Камзол домашний с шитым пояском.
Пожалуй, хватит говорить о нем.

С ним разговаривал шутя, Франклин.
Не знал он отроду, что значит сплин.
Не мог бы он на жизнь коситься хмуро —
Был в том достойным сыном Эпикура,
Сказавшего, что счастлив только тот,
Кто, наслаждаясь, весело живет.
Белее маргаритки борода
Была холеная. И не вода —
Вино с утра седины обмывало,
Когда на завтрак в чашу хлеб макал он.
Франклин хозяином был хлебосольным,
Святым Юльяном слыл он сердобольным:
Всегда его столы для всех накрыты,
А повара и вина знамениты.
Жара ль стоит, иль намело сугробы —
Он стол держал для всех погод особый.
Был у него в пруду садок отличный
И много каплунов и кур на птичне.
И горе повару, коль соус пресен,
И мажордому, если стол чуть тесен.
На сессиях франклин держался лордом,
В парламенте отстаивал он гордо
Свои права, обиды не спускал,
Не раз в палате графство представлял.
Он выделялся дорогим нарядом:
На белом поясе висели рядом
Богатый нож и шитый кошелек,
А в нем заморский шелковый платок.
Он был шериф и пени собирал,
Ну, словом, образцовый был вассал.

Красильщик, Плотник, Шапочник и Ткач,
Обойщик с ними — не пускались вскачь,
Но с важностью, с сознанием богатства,
В одежде пышной цехового братства
Могучего, молясь все время богу,
Особняком держались всю дорогу.
Сукно добротное, ножи в оправе —

Не медной, а серебряной. Кто равен
Богатством, мудростью таким мужам
Совета и почтенным старшинам,
Привыкнувшим к труду, довольству, холе?
Они не тщетно заседать в Гилдхолле
Надеялись — порукой был доход.
Заслуги, честность, возраст и почет.
И жены помогали в том мужьям,
Чтоб только величали их «мадам»,
Давали б в церкви место повидней
И разрешали б шлейф носить длинней.

Они с собою Повара везли,
Чтоб он цыплят варил им, беф-буйи,
И запекал им в соусе румяном
С корицей пудинги иль с майораном.
Умел варить, тушить он, жарить, печь;
Умел огонь как следует разжечь;
Похлебку он на славу заправлял;
Эль лондонский тотчас же узнавал.
Но в нем болезнь лихая угнездилась —
Большая язва на ноге гноилась.
Жаль, вкусные изготовлял он яства.

Был Шкипер там из западного графства.
На кляче тощей, как умел, верхом
Он восседал; и до колен на нем
Висел, запачканный дорожной глиной,
Кафтан просторный грубой паруспны;
Он на шнурке под мышкою кинжал
На всякий случай при себе держал.
Был он поистине прекрасный малый
И грузов ценных захватил немало.
Лишь попадись ему купец в пути,
Так из Бордо вина не довезти.
Он с совестью своею был сговорчив
И, праведника из себя не корча,
Всех пленников, едва кончался бой,
Вмиг по доске спроваживал домой.
Уже весной он был покрыт загаром.
Он брался торговать любым товаром
И, в ремесле своем большой мастак,
Знал все течения, любой маяк

Мог различить, и отмель, и утес.
Еще ни разу с курса не отнес
Отлив его; он твердо в гавань правил
И лоцию сам для себя составил.
Корабль он вел без карт и без промера
От Готланда до мыса Финистера,
Все камни знал Бретонских берегов,
Все входы бухт испанских и портов;
Немало бурь в пути его встречало
И выцветшую бороду трепало;
От Гулля и до самой Картахены
Все знали капитана «Маделены».

Был с нами также Доктор медицины.
С ним в ремесле врачебном ни единый
Врач лондонский соперничать не мог;
К тому ж он был искусный астролог;
Он, лишь когда звезда была в зените,
Лечил больного; и, связав все нити
Его судеб, что гороскоп дает,
Болезней он предсказывал исход,—
Выздоровления иль смерти сроки.
Прекрасно знал болезней он истоки:
Горяч иль холоден, мокр или сух
Больного нрав, а значит, и недуг.
Как только он болезнь определял,
Он тотчас же лекарство назначал,
А друг аптекарь эту рецептуру
Вмиг обращал в пилюли и микстуру.
Они давно тем делом занимались
И с помощью взаимной наживались.
Ученостью и знаньем был богат он.
Он Эскулапа знал и Гиппократа,
Диоскорида, Цельса, Гильбертина,
Знал Руфа, Аверройса, Константина,
Дамаскина, Гали и Галиена,
Знал Авиценну, также Гатисдена.
Был осмотрителен, во всем умерен,
Раз навсегда своей диете верен:
Питательный, но легкий рацион.
В писании не очень был силен.
Носил малиновый и синий цвет,
И шелковый был плащ на нем надет.

А впрочем, тратился он неохотно,
Со дней чумы сберег мешочек плотный;
И золото — медикамент целебный —
Хранил, должно быть, как припас лечебный.

А с ним болтала Батская ткачиха,
На иноходце восседая лихо;
Но и развязностью не скрыть греха —
Она была порядочно глуха.
В тканье была большая мастерица —
Ткачихам гентским впору подивиться.
Благотворить ей нравилось, но в храм
Пред ней протиснись кто-нибудь из дам,
Вмиг забывала, в яростной гордыне,
О благодушии и благостыне.
Платков на голову могла навесить,
К обедне снаряжаясь, сразу десять,
И все из шелка иль из полотна;
Чулки носила красные она
И башмачки из мягкого сафьяна.
Лицом бойка, пригожа и румяна,
Жена завидная она была
И пятерых мужей пережила,
Гурьбы дружков девичьих не считая
(Вокруг нее их увивалась стая).
В Булонь и в Бари, в Кельн, в Сантьяго, в Рим
И трижды в град святой — Иерусалим —
Ходила на поклон святым мощам,
Чтобы утешиться от горя там.
Она носила чистую косынку;
Большая шляпа, формой что корзинка,
Была парадна, как и весь наряд.
Дорожный плащ обтягивал ей зад.
На башмачках она носила шпоры,
Любила шутки, смех и разговоры
И знала все приманки и коварства
И от любви надежные лекарства.

Священник ехал с нами приходской,
Он добр был, беден, изнурен нуждой.
Его богатство — мысли и дела,
Направленные против лжи и зла.
Он человек был умный и ученый,

Борьбой житейской, знаньем закаленный.
Он прихожан Евангелью учил
И праведной, простою жизнью жил.
Был добродушен, кроток и прилежен
И чистою душою безмятежен.
Он нехотя проклятью предавал
Того, кто десятину забывал
Внести на храм и на дела прихода.
Зато он сам из скудного дохода
Готов был неимущих наделять,
Хотя б пришлось при этом голодать.
Воздержан в пище был, неприхотлив,
В несчастье тверд и долготерпелив.
Пусть буря, град, любая непогода
Свирепствует, он в дальний край прихода
Пешком на ферму бедную идет,
Когда больной иль страждущий зовет.
Примером пастве жизнь его была:
В ней перед проповедью шли дела.
Ведь если золота коснулась ржа,
Как тут железо чистым удержать?
К чему вещать слова евангелиста,
Коль пастырь вшив, а овцы стада чисты?
Он не держал прихода на оброке,
Не мог овец, коснеющих в пороке,
Попу-стяжателю на откуп сдать,
А самому в храм лондонский сбежать:
Там панихиды петь, служить молебны,
Приход добыть себе гильдейский, хлебный.
Он оставался с паствою своей,
Чтоб не ворвался волк в овчарню к ней.
Был пастырь добрый, а не поп наемный;
Благочестивый, ласковый и скромный,
Он грешных прихожан не презирал
И наставленье им преподавал
Не жесткое, надменное, пустое,
А кроткое, понятное, простое.
Благим примером направлял их в небо
И не давал им камня вместо хлеба.
Но коль лукавил грешник закоснелый,
Он обличал его в глаза и смело
Епитимью на лордов налагал.
Я лучшего священника не знал.

Не ждал он почестей с наградой куппо
И совестью не хвастал неподкупной;
Он слову божью и святым делам
Учил, но прежде следовал им сам.

С ним ехал Пахарь — был ему он брат.
Терпеньем, трудолюбием богат,
За век свой вывез в поле он навоза
Телег немало; зноя иль мороза
Он не боялся, скромен был и тих
И заповедей слушался святых,
Будь от того хоть прибыль, хоть убыток,
Был рад соседа накормить досыта,
Вдовице брался землю запахать:
Он ближнему старался помогать.
И десятину нес трудом иль платой,
Хотя имел достаток небогатый.
Его штаны кругом в заплатах были.
На заморенной ехал он кобыле.

И Мельник ехал с ними — рыжий малый,
Костистый, узловатый и бывалый.
В кулачных схватках всех он побеждал
И приз всегда — барана — получал.
Был крепок он и коренаст, плечом
Мог ставню высадить, вломиться в дом.
Лишь подзадорь — и, разъярясь, как зверь,
Сшибить он с петель мог любую дверь.
Лопатой борода его росла
И рыжая, что лисий мех, была.
А на носу, из самой середины,
На бородавке вырос пук щетины
Такого цвета, как в ушах свиньи;
Чернели ноздри, будто полыньи;
Дыханьем грудь натужно раздувалась,
И пасть, как устье печки, разевалась.
Он бабник, балагур был и вояка,
Кощун, охальник, яростный гуляка.
Он слыл отчаянным лгуном и вором:
В мешок муки умел подсыпать сора
И за помол тройную плату взять.
Но мельник честный — где его сыскать?

Взял в путь он меч и щит для обороны;
В плаще был белом с синим капюшоном.
Он на волынке громко заиграл,
Когда поутру город покидал.

Был рядом с ним, удачливый во всем,
Судейского подворья Эконом.
На всех базарах был он знаменит:
Наличными берет он иль в кредит —
Всегда так ловко бирки он сочтет,
Что сливки снимет и свое возьмет.
Не знак ли это благости господней,
Что сей невежда богу был угодней
Ученых тех, которых опекал
И за чей счет карман свой набивал?
В его подворье тридцать клерков жили,
И хоть меж них законоведы были,
И даже было среди них с десяток
Голов, достойных ограждать достаток
Знатнейшего во всей стране вельможи,
Который без долгов свой век бы прожил
Под их опекой вкрадчивой, бесшумной
(Будь только он не вовсе полоумный),—
Мог эконом любого околпачить,
Хоть научились люд они дурачить.

Тщедушный ехал рядом Мажордом.
Он щеки брил, а волосы кругом
Лежали скобкою, был лоб подстрижен,
Как у священника, лишь чуть пониже.
Он желт, и сух, и сморщен был, как мощи,
А ноги длинные, что палки, тощи.
Так овцам счет умел вести он, акрам
И так подчистить свой амбар иль закром,
Что сборщики все оставались с носом.
Он мог решать сложнейшие вопросы:
Какой погоды ждать? И в дождь иль в зной
С земли возможен урожай какой?
Хозяйский скот, коровни и овчарни,
Конюшни, птичник, огород, свинарни
У мажордома под началом были.
Вилланов сотни у него служили.

Он никогда не попадал впросак.
Пастух ли, староста, слуга ль, батрак —
Всех видел он насквозь, любые плутни
Мог разгадать, лентяи все и трутни
Его страшились пуще злой чумы:
За недоимки не избыть тюрьмы,
В уплату ж все имущество возьмет,
В своем отчете дыры тем заткнет.
Он сад развел и двор обнес свой тыном,
В усадьбе пышной жил он господином.
Милорда своего он был богаче.
Да и могло ли быть оно иначе?
Умел украсть, умел и поживиться,
К хозяину умильно подольститься,
И лорда деньги лорду он ссужал,
За что подарки тут же получал.
А впрочем, ревностный он был работник
И в молодости преизрядный плотник.
Коня он взял за стать и резвый ход,
Конь серый в яблоках, а кличка: «Скотт».
Жил в Норфолке почтенный мажордом,
Под Болдсуэллом, коль слышали о нем.
Хоть ржав был меч, но, как пристало тану,
Его носил он; синюю сутану,
Как рясу, подобрал, в седле согнулся
И до конца в хвосте у нас тянулся.

Церковного суда был Пристав с нами.
Как старый Вакх, обилен телесами,
Он угреват был, глазки — словно щелки.
И валик жиру на багровой холке.
Распутен и драчлив, как воробей,
Пугал он красной рожею детей.
И весь в парше был, весь был шелудивый;
А с бороды его, с косматой гривы
Ни ртуть, ни щелок, ни бура, ни сера
Не выжгли бы налета грязи серой,
Не скрыли бы чесночную отрыжку
И не свели бы из-под носа шишку.
Чеснок и лук он заливал вином
И пьяным басом грохотал, как гром.
Напившись, он ревел в своей гордыне,
Что изъясняется-де по-латыни.

А фраз латинских разве три иль две
В его тупой застряли голове
Из формул тех, что много лет подряд
В суде при нем твердили и твердят
(Так имя Вальтер повторяет бойко
Хозяином обученная сойка).
А вот спроси его и, кроме дури,
Одно услышишь: «Questio quid juris?» [1]
Прожженный был игрок он и гуляка,
Лихой добытчик, дерзкий забияка.
За кварту эля он бы разрешил
Блудить пройдохе, хоть бы тот грешил
Напропалую, с простака ж он шкуру
Сдирал, чтоб рот не разевал тот сдуру.
Найдя себе приятеля по нраву,
Его учил церковному он праву:
Как отлучением пренебрегать,
Коль в кошельке не думаешь скрывать
Свои деньжонки. «Каждому понятно,
Что рай никто не обретет бесплатно.
И ты себя напрасно, друг, не мучь.
Скрыт от викариева рая ключ
В твоей мошне». Он в этом ошибался:
Насколько б человек ни заблуждался,
Но хоть кого на верный путь направит
Викарьев посох иль «Significavit».
Знал молодежь во всем он диоцезе
И грешникам бывал не раз полезен:
Им в затруднениях давал совет.
Был на челе его венок надет
Огромный, словно с вывески пивной.
В руках не щит был — каравай ржаной.

С ним Продавец был индульгенций папских
Он приставу давно был предан рабски.
Чтобы его получше принимали,
Он взял патент от братства Ронсеваля.
Теперь, с товаром воротясь из Рима,
Он, нежной страстью к приставу томимый,
Все распевал: «Как сладко нам вдвоем!» —
Своим козлиным, жидким тенорком,

[1] «А что говорит закон?» *(лат.)*.

И друг его могучим вторил басом,
Мог голос зычный спорить с трубным гласом.
Льняных волос безжизненные пряди
Ложились плоско на плечи, а сзади
Косичками казались, капюшон
Из щегольства давно припрятал он
И ехал то совсем простоволосый,
То шапкой плешь прикрыв, развеяв косы
По новой моде — встречным напоказ.
В тулью был вшит Нерукотворный Спас.
Он индульгенций короб, с пылу с жару,
Из Рима вез по шиллингу за пару.
Глаза его, как заячьи, блестели.
Растительности не было на теле,
А щеки гладкие желты, как мыло.
Казалось, мерин он или кобыла,
И хоть как будто хвастать тут и нечем —
Об этом сам он блеял по-овечьи.
Но что касается святого дела —
Соперников не знал, скажу я смело.
Такой искусник был, такой был хват!
В своем мешке хранил чудесный плат
Пречистой девы и клочок холстины
От савана преславныя кончины.
Еще был крест в цветных камнях-стекляшках,
Была в мешке и поросячья ляжка,
С их помощью, обманщик и нахал,
В три дня он денег больше собирал,
Чем пастырь деревенский за полгода
Мог наскрести с голодного прихода;
И, если должное ему воздать,—
Умел с амвона петь он, поучать.
Умел и речь держать пред бедным людом,
Когда по церкви с кружкой шел иль с блюдом.
Он знал, что проповедью, поученьем
Народ склонить нетрудно к приношеньям.
И на амвоне, не жалея сил,
Он во всю мочь акафист голосил.

Теперь, когда я рассказал вам кратко,
Не соблюдая должного порядка,
Про их наряд, и званье, и причину
Того, что мы смешались не по чину,

Расположась просторно и привольно
В таверне, возле старой колокольни,—
Пора сказать, как время провели
Мы в этот вечер, как мы в путь пошли,
И чем досуг в дороге заполняли.
Чтоб в озорстве меня не упрекали,
Вас попрошу я не винить меня
За то, что в точности припомню я
Все речи вольные и прибаутки.
Я это делаю не ради шутки:
Ведь знаю я, что, взявшись рассказать
Чужой рассказ, не надо выпускать
Ни слова из того, что ты запомнил,
Будь те слова пространны иль нескромны,
Иначе все неправдой извратишь,
Быль в небылицу тотчас обратишь,
И брату не давай при том пощады:
Рассказывай о всех поступках кряду.
Спаситель путь указывал нам верный:
Он прямо обличал, и нет в том скверны.
Кто сомневается, пускай прочтет,
Как говорил Платон на этот счет:
Велел он слову действиям быть братом.
Коль не сумел в сем сборище богатом,
Где знать и чернь, и господа и слуги,
Всем должное воздать я по заслуге,—
Что ж, видно, было это не под силу,
Ума, уменья, значит, не хватило.
Трактирщик наш, приветливо их встретив,
За ужин усадил и, чтоб согреть их,
Сготовил снедь и доброе вино
На стол поставил, и текло оно
Весь вечер за веселым разговором,
Шутливой песней, дружелюбным спором.
Хозяин наш — осанкой молодецкой
С ним не сравнялся б виндзорский дворецкий —
Был статен, вежлив и во всяком деле
Сноровист, весел и речист. Блестели
Его глаза и речь была смела.
И только что мы все из-за стола
Успели встать и заплатить за ужин,
Как он сказал, смеясь, что хоть не нужен
Наш тост ответный, но он даст совет,

Который помогал от многих бед,
Первей всего от скуки: «Вас всегда,
Друзья почтенные и господа,—
Так молвил он,— я видеть рад сердечно:
Такой веселой и такой беспечной
Беседы я давно уж не слыхал,
И целый год мой дом не принимал
Таких веселых и простых гостей.
У радости я не хочу в хвосте
Плестись и ваши милости делить —
Я мысль одну хочу вам подарить.
Идете в Кентербери вы к мощам,
И благость божия воздастся вам.
Но вижу, что — на отдыхе ль, в дороге ль —
Не будете вы чопорны и строги:
Свой дух рассказом будете бодрить,
Кому веселость может повредить?
Коль с рожей постной едет путник бедный,
Вот это плохо, это даже вредно.
Но вы, друзья, послушавши меня,
По вечерам, слезаючи с коня,
Свежи и веселы и не усталы
Пребудете,— тоски как не бывало.
Так соглашайтесь! Если ж не удастся
Мой замысел, пусть гром с небес раздастся
И прах отца из гроба пусть встает,
Меня ж земля пусть тотчас же пожрет».
Недолго мы и в этот раз чинились,
И выслушать его все согласились.
«Друзья,— сказал он,— мой совет примите,
Меня ж не очень рьяно вы хулите,
Хоть он, быть может, незамысловат,
Я думаю, что каждый был бы рад
В пути соседей сказкой позабавить,
Иль вспомнить быль, иль доблести прославить.
Пусть два рассказа каждый подберет,
А два других вдобавок припасет,
Чтоб рассказать их нам в пути обратном.
Кто лучше всех полезное с приятным
Соединит — того мы угостим,
Когда, воздав хвалу мощам святым,
Ко мне воротимся. На общий счет
Устроим пир мы. Я же в свой черед

Свою веселость с вашей разделить
Готов охотно, чтобы рассудить,
Кому из вас награда подобает.
Не надо платы мне. Кто ж не признает
Решенья моего, расходы тот
Поездки всей пусть на себя берет.
Коль подчиниться моему приказу
Согласны вы, так говорите сразу,
И к утру я в дорогу соберусь».
Мы рады были всей затеи груз
Ему доверить, принесли присягу,
Что без него не сделаем ни шагу.
Его же обязали быть судьей
И предоставить дом просторный свой,
Чтоб победителя в нем угостить,
А плату самому определить.
Без возражений это порешив,
Опять мы выпили и, отложив
На утро сборы, улеглися спать.
А поутру, чуть стало рассветать,
Хозяин встал, и, поддавая пару,
Нас кукареканьем он сбил в отару.
Гурьбой, верхом, с волынкой вместо флага,
Мы поплелись чуть побыстрей, чем шагом.
Но вот хозяин придержал коня.
«Друзья, вскричал, послушайте меня:
Когда согласна утреня с вечерней,
Тому из вас, кто слово держит верно,
Пора начать и нам служить примером,
А увильнет — тогда приму я меры.
И пусть не пить мне эля и вина,
Коль не заплатит он за все сполна!
Потянем жребий, на кого падет
Рассказывать, тот первый пусть начнет.
Почтенный рыцарь, тянете вы первый;
Мать аббатиса, бросьте четок перлы;
Вам, господин студент, пора забыть
Застенчивость и перестать зубрить.
Сюда, ко мне, пусть каждый тянет жребий».
И, видно, было суждено на небе
Иль тут судьею нашим решено,
Но только все мы дружно, заодно,
Судьбы разумной встретили решенье,

Чтоб рыцарь выдумку иль приключенье
По жребью первым тут же рассказал.
Когда тот жребий рыцарь увидал,
Решенью судьбы он покорился
И рассказать нам повесть согласился:
«Коль рок велит мне,— он сказал,— начать,
То помоги мне, пресвятая мать.
Не будем прерывать, друзья, дорогу.
Держитесь ближе, я же понемногу
Рассказывать вам буду той порой».
Мы тронулись, и вот рассказ он свой
Неторопливо начал и смиренно,
С веселостью и важностью почтенной.

Тут конец пролога к этой книге
и начало первого рассказа,
а именно рассказа Рыцаря

РАССКАЗ РЫЦАРЯ

Здесь начинается рассказ Рыцаря

Предания давно минувших дней
Нам говорят, что некогда Тезей
Афинами единовластно правил,
Что он себя победами прославил,
Которым равных не было дотоле,
И подчинил своей могучей воле
Немало крупных и богатых стран.
Он покорил и славный женский стан,
Что Скифией когда-то назывался,
С отважной королевой обвенчался,
Прекрасной Ипполитой, и с сестрой
Эмилией повез ее домой.
Под музыку и радостные клики
В Афины герцог двинулся великий;
Делило с ним победы торжество
Все воинство блестящее его.
Когда б я мог без счета тратить время,
Я б рассказал с подробностями всеми,
Как амазонок победил Тезей
Коварством и отвагою своей,
Как разыгралось главное сраженье,
Приведшее наездниц к пораженью,
Как осажден был Ипполитин град
Афинским храбрым воинством и взят,
Как свадьбу их отпраздновали в храме,

Украшенном огнями и цветами.
Но это все оставлю в стороне:
Идти за плугом долго нужно мне,
А он волами тощими влечется;
Вам рассказать мне много остается,
Я не хотел бы помешать другим
Успеть с рассказом выступить своим.
Посмотрим, ужин ждет кого из нас!
Итак, продолжу прерванный рассказ.
Когда мной упомянутый герой
Стоял почти под городской стеной
В слепящем блеске торжества и славы,
Он увидал, что перед ним заставой
Вдруг вырос ряд одетых в траур дам,
Склонивших головы к его стопам.
Все, на коленях стоя, к паре пара,
Рыдали так отчаянно и яро,
Что можно утверждать: никто на свете
Не слышал воплей горестней, чем эти.
Рыдая и судьбу свою кляня,
Они схватили под уздцы коня.
«Что означает в праздничный сей миг,—
Спросил Тезей,— ваш исступленный крик?
Ужель из зависти внести отраву
В мою победную хотите славу?
Иль кто-нибудь нанес обиду вам?
Скажите мне, и я ему воздам.
Зачем вы в платье черное одеты?»
Тут старшая в толпе несчастной этой,
Издав предсмертному подобный стон,
Которым каждый был бы поражен,
Сказала: «Господин, себе по праву
Победой ты стяжал и честь и славу,
И нам нельзя завидовать тебе;
Но нашей горестной внемли мольбе
И смилуйся над жалкой долей нашей,
Хоть капля сострадания из чаши
Твоих щедрот на нас пусть упадет,
Ведь каждая из нас ведет свой род
От княжеской иль королевской крови,—
Меж тем в пыли влачим мы век свой вдовий,
Коварный рок, увы, неумолим:
Всех давит злобным колесом своим.

О господин, мы ждем тебя с войсками
Уж целую неделю в этом храме
Богини милосердья. Помоги нам,
Яви себя всесильным властелином.
Я, что сдержать рыданий не умею,
Была женой владыки Капанея,
Который в Фивах пал в проклятый час.
Проклятие да ляжет и на нас,
Рыдающих теперь перед тобою.
Мужей лишились мы во время боя,
Когда был город Фивы осажден.
Теперь же — горе нам! — старик Креон,
Что ныне царствует в пределах Фив,
Исполнен гнева и несправедлив,
Тиранства ради и из жажды зла,
Чтоб обесчестить мертвые тела
Фиванцев, павших в лютой битве той,
Велел сложить из трупов холм большой,
И ни за что не допускает он,
Чтобы сожжен был кто иль погребен:
Всех псам обрек он мерзостным приказом».
И с этими словами дамы разом
Все пали ниц, издав плачевный стон: —
«О, пожалей нас, безутешных жен,
Чтоб горесть наша в грудь твою вошла».
Тут знатный герцог вмиг сошел с седла,
Скорбя об их несчастье и позоре.
Он думал, сердце надорвется с горя,
Узнав о том, что довелось снести
Недавно жившим в славе и в чести.
Фиванок он в объятья заключил,
Стал тихо утешать по мере сил
И в том им дал торжественное слово,
Что всей своею мощью так сурово
Мучителю Креону отомстит,
Что в Греции народ заговорит
О том, как поступил Тезей с Креоном,
Достойным казни по любым законам.
И в тот же час, не мешкая ничуть,
Он, распустив свой стяг, помчался в путь —
К твердыне Фивам во главе дружины.
Не въехал он и не вошел в Афины,
Не отдыхал и половины дня,

Всю ночь в походе не слезал с коня,
Царицу ж Ипполиту той порой
С красой Эмилией, ее сестрой,
Послал в Афины жить в чести и в холе,
А сам на бранное помчался поле.
С копьем и со щитом, багряно ал,
Бог Марс на белом знамени сиял,
По складкам стяга всюду блеск свой сея,
А рядом трепетал флажок Тезея,
Весь златом тканный: там набит, глядите,
Тот Минотавр, что им сражен на Крите.
Так ехал герцог, славный сын побед,
А с ним и рыцарства блестящий цвет,
Пока у Фив не стал он на лугу,
Где дать решил сражение врагу.
Но сокращу я повести объем.
Креона он, что в Фивах был царем,
В бою открытом поразил геройски,
Посеял страх и бегство в фивском войске
И приступом их град завоевал,
Разбивши стены крепкие и вал.
Несчастным вдовам возвратил он прах
Супругов их, поверженных в боях,
Чтоб, по обряду древних, трупы сжечь.
Но чересчур бы затянулась речь
Про скорбный плач, про вопли без числа,
Про горе дам, покуда жгли тела,
Про почести, что в милости своей
Сей победитель доблестный, Тезей,
При расставанье оказал тем вдовам...
Прослыть я не желаю многословом.
Победоносный вождь Тезей, сразив
В бою Креона, стал владыкой Фив.
Проночевал он ночь в открытом поле,
И край перед его смирился волей.
Чтоб обобрать тела убитых всех,
Чтоб с них совлечь одежду и доспех,
Трудились тати рьяно и исправно
На утро той победы достославной
И вот нашли средь груды бездыханной
Покрытых не одной кровавой раной
Двух рыцарей младых, лежавших рядом,
В доспехах сходных, с дорогим окладом,

Из коих звали одного Арситой,
Другой же Паламон был знаменитый.
Смерть овладела ими не вполне,
И тотчас в них герольды по броне
Признали августейших двух господ,
Ведущих от владыки Фив свой род —
Двух сыновей от царственных сестер.
К Тезею братьев отнесли в шатер,
Отрывши из-под кучи мертвых тел.
А он тотчас отправить их велел
В Афины век в неволе коротать
(За них он отказался выкуп взять).
Великий вождь, отдав приказ такой,
Со всею ратью поспешил домой,
Чело победным лавром увенчав,
И там со славой и среди забав
До смерти жил. (Что говорить нам доле?)
Но в тесной башне в страхе и неволе
Томился Паламон с Арситой-братом...
Не откупить их ни сребром, ни златом...
Так день за днем идет и год за годом,
Когда однажды в мае пред восходом
Эмилия, чей образ был милее,
Чем на стебле зеленом цвет лилеи,
Свежей, чем мая ранние цветы
(Ланиты с розами сравнил бы ты:
Не знаю я, которые алей),
Покорствуя привычке юных дней,
Оделась, встав до света на востоке:
Не по душе ведь маю лежебоки.
Все нежные сердца тревожит май,
От сна их будит и кричит: «Вставай
И верно мне служи, расставшись с ленью».
Эмилия, исполненная рвенья
Приветить май, на луч рассвета глядя,
Предстала свежей в утреннем наряде.
Златые кудри, в косу сплетены,
На добрый ярд свисали вдоль спины.
Она по саду, чуть взошло светило,
Меж распускавшихся дерев бродила.
Срывая цвет, то розовый, то белый,
Для головы венок плела умело
И пела, словно ангел неземной.

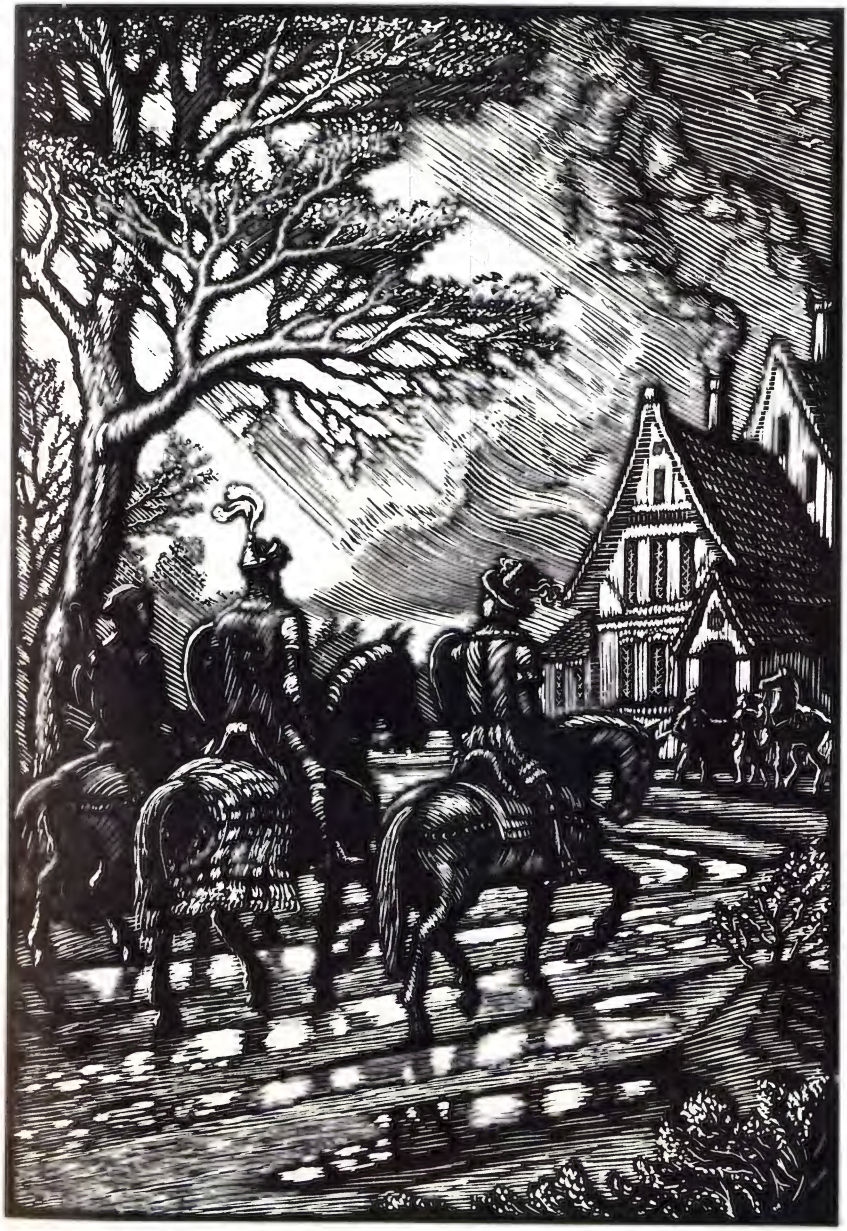
Большая башня с толстою стеной,
Главнейшая темница в той твердыне
(Где рыцари в плену томились ныне,
О коих был и дале будет сказ),
Над садом этим высилась как раз,
Где весело Эмилия бродила.
Над морем воссияло дня светило,
И бедный узник Паламон тогда же,
Как ежедневно, с разрешенья стражи,
Шагал по верхней горнице темницы,
Преславный город видя сквозь бойницы
И садик, где под зеленью ветвей
Во всей красе и свежести своей
Эмилия гуляла по дорожкам.
Так грустный Паламон перед окошком
Своей тюрьмы шагает взад-вперед
И сам с собой печально речь ведет.
«Зачем рожден я?» — молвит в скорби жгучей.
И вышло так,— судьба ли то иль случай? —
Что сквозь литые прутья на окне,
Подобные бревну по толщине,
Он вдруг узрел Эмилию в саду.
«Ах!» — крикнул он, качнувшись на ходу,
Как бы стрелой жестокою пробитый.
Проснувшийся от возгласа Арсита
Спросил его: «Что у тебя болит?
Твой лик смертельной бледностью облит!
Как? Плачешь ты? Кто оскорбил тебя?
Сноси в смиренье, господа любя,
Плененья гнет мучительный: ведь он
Самой Фортуной, видно, нам сужден;
Сатурна ли враждебным положеньем
Иль прочих звезд злосчастнейшим стеченьем
Ниспослан он,— таков, как ни борись,
Был вид небес, когда мы родились.
Итак, терпи: вот краткий мой совет».
Тут Паламон промолвил так в ответ:
«Мой милый брат, оставь такое мненье,
Тебе его внушило заблужденье.
Нет, не тюрьма исторгла этот стон:
Я сквозь глаза был в сердце поражен
До глубины, и в этом — смерть моя.
Да, прелесть дамы, что, как вижу я,

По саду там гуляет взад-вперед,—
Причина слез моих и всех невзгод.
Богиня ль то иль смертная жена?
Самой Венерой мнится мне она».
И, в увлечении не зная меры,
Он, ниц упав, воскликнул: «О Венера,
Коль ты явилась в вертограде том
Передо мной, презренным существом,
То помоги нам выйти из тюрьмы.
Но если повеленьем рока мы
До смерти здесь обречены невзгодам,
То смилуйся хотя б над нашим родом,
Низверженным по прихоти злодея».
Меж тем Арсита, обозрев аллеи,
Где дама та бродила взад-вперед,
Ее красою дивной в свой черед
Не менее был ранен и пленен,
А может быть, сильней, чем Паламон,
И, жалостно вздохнув, он говорит:
«Увы, я дивной прелестью убит
Красавицы, гуляющей по саду!
И если я не вымолю отраду
Лик созерцать ее хотя порою,
Ждет смерть меня — я от тебя не скрою».
Когда услышал эти речи брат,
Он молвил, злобный обративши взгляд:
«Ты говоришь, должно быть, для забавы?»
А тот в ответ: «Мне не до шуток, право:
Свидетель бог, тебе я не солгал».
Тут Паламон, нахмурив бровь, сказал:
«Не много чести обретешь ты в том,
Что станешь предо мною подлецом.
Я брат тебе по крови и обету.
Мы крепкой клятвой подтвердили это,—
Мы поклялись, что коль нас не замучат
И смерть сама навек нас не разлучит,
В делах любви не будешь мне врагом,
Мой милый брат, как и ни в чем другом,
Меня во всем поддержишь ты, любя,
Как и во всем я поддержу тебя.
Так ты клялся, и так клялся я тоже.
От клятвы отрекаться нам негоже.
Ты, спора нет, советник мой и друг,

Но, как изменник, возмечтал ты вдруг
О той, кому служу я, полюбив,
И буду так служить, покуда жив.
Нет, злой Арсита, не бывать тому!
Я первый полюбил и своему
Наперснику и брату по обету
От всей души доверил тайну эту.
И ты, что клятвой рыцарскою связан,
По мере сил мне помогать обязан.
Иль ты — изменник, в том сомненья нет».
На то Арсита гордый дал ответ:
«О нет, изменник здесь не я, а ты;
Ты изменил, скажу без клеветы.
К ней раг amour[1] я первый воспылал.
А ты где был? Ведь ты тогда не знал,
Назвать ее женой или богиней!
Ведь у тебя — почтенье пред святыней,
А здесь — любовь к живому существу.
И сей любви в свидетели зову
Я кровного и названого брата.
Пусть первый ты,— ужели это свято?
Ты знаешь, древний вопрошал мудрец:
«Кто даст закон для любящих сердец?»
Любовь сама — закон; она сильней,
Клянусь, чем все права земных людей.
Любое право и любой указ
Перед любовью ведь ничто для нас.
Помимо воли человек влюблен;
Под страхом смерти все же служит он
Вдове ль, девице ль, мужней ли жене...
Но нет надежды ни тебе, ни мне
При жизни милость дамы обрести.
Ты знаешь сам: сидим мы взаперти;
Обречены мы жить в темнице сей
Без выкупа до окончанья дней.
Так спорили два пса за кость большую,
Дрались весь день, а вышло все впустую:
Явился коршун вдруг, у драчунов
Под носом кость стащил и был таков.
В палатах царских правило такое:
Всяк за себя, других оставь в покое!

[1] Любовью *(франц.)*.

Люби, коль хочешь. Я люблю ее
И буду впредь ей верен. Вот и все,
Мы здесь в тюрьме должны страдать жестоко.
Так пусть же каждый ждет веленья рока!»
В сердцах и долго спорили друзья.
Но повесть мне затягивать нельзя.
Вернемся к сути. Приключилось раз
(Путем кратчайшим поведу рассказ),
Что знатный герцог, славный Перитой
(Который был Тезею друг большой
С младенчества и в детские года)
В Афины прибыл, чтобы, как всегда,
С приятелем покоротать досуг,—
Милее всех ему был этот друг;
А тот его любил с таким же жаром,
И даже (если верить книгам старым),
Когда один изведал смертный хлад,
Другой его искать спустился в ад.
Рассказывать о том охоты нет.
Тот Перитой с Арситой много лет
Был связан в Фивах дружбою святой.
И, по мольбам и просьбам Перитоя,
Тезей Арсите разрешил свободно
Вон из тюрьмы уйти куда угодно,
Без выкупа, с условием одним,
Рассказ о коем следует за сим.
Тезей с Арситой ясно меж собой
Установили уговор такой,
Что если бы Арситу кто застиг
В Тезеевой земле хотя б на миг,
Иль днем, иль ночью, иль в любую пору,
То пойманный герой, по уговору,
Главы своей лишится под мечом,
И нет ему спасенья нипочем.
Вот он простился и спешит домой...
Эй, берегись, ответишь головой!
Какую же Арсита терпит муку!
Он в сердце чует хладной смерти руку.
Он плачет, стонет, жалостно рыдает,
С собой покончить втайне помышляет.
«Зачем,— он думает,— родился я?
Теперь еще тесней тюрьма моя.
Я из нее вовеки не уйду:



Общий пролог

Я не в чистилище — уже в аду.
Узнал меня на го́ре Перитой:
Мне у Тезея в башне запертой
Остаться бы в оковах, на запоре!
Там в радости текла бы жизнь, не в горе.
Лишь видом той, которой я служу
(Хоть милости вовек не заслужу),
Уже вполне я был бы услажден».
«Мой милый брат,— он молвит,— Паламон!
Победа — ах! — осталась за тобой!
В тюрьме сидишь ты, взысканный судьбой...
В тюрьме? О нет! Верней сказать — в раю.
Судьба на счастье мечет зернь твою.
Ее ты видишь, я же так далек;
А раз ты с ней и так изменчив рок
(Ведь рыцарь ты, отважен и удал),
То, может быть, и то, чего ты ждал,
Тебе пошлет судьба когда-нибудь.
А я изгнанник, и к блаженству путь
Мне без надежд отрезан навсегда.
Земля, огонь, и воздух, и вода,
И существа, что сделаны из них,
Не утолят ужасных мук моих.
Погибну я, истерзанный тоской.
Прощайте, жизнь, и радость, и покой!
Увы, напрасно от людей так много
Поклепов слышим на судьбу и бога,
Что жалуют нас лучшими благами,
Чем можем мы порой придумать сами.
Иной богатство вымолит,— оно ж
Недуг накличет иль убийцы нож.
А тот покинул, помолясь, тюрьму,
Но челядью убит в своем дому.
Нас караулят беды что ни шаг.
Не знаем мы, каких мы просим благ.
Мы все — как тот, кто опьянен вином.
Пьянчуга знает — есть, мол, где-то дом,
Не знает только, как пройти домой,
И склизок путь под пьяною ногой.
Вот так же мы блуждаем в сей юдоли:
Мы жадно ищем путь к счастливой доле,
Но без конца плутаем, как на грех,
Все таковы; и сам я хуже всех.

Не я ли мнил и тешился мечтой,
Что, чуть я выйду из темницы той,
И ждут меня веселье и услады.
А ныне лучшей я лишен отрады.
Эмилия! Нельзя мне видеть вас!
Спасенья нет, настал мой смертный час».
Тем временем несчастный Паламон,
Узнав, что он с Арситой разлучен,
Так возрыдал, что стены бастиона
Тряслись от причитания и стона
И кандалы, что на ногах он нес,
Намокли от соленых горьких слез.
Он восклицал: «Арсита, брат, о горе!
Ты плод сорвешь, бог видит, в нашем споре!
Свободно ты по Фивам ходишь ныне
И мало тужишь о моей кручине.
С твоим умом и мужеством, я мню,
Собрать ты можешь войско и родню
И край весь этот разорить войной.
По договору ль, хитростью ль иной,
Ты женишься на той прекрасной даме,
По коей здесь я изойду слезами,
Ведь если все возможности учесть,—
С тех пор как ты свободу смог обресть,
Ты — государь, соперник слишком сильный,
А я погибну в клетке сей могильной,
Воня и воя до скончанья дней
От всех тягот и мук тюрьмы моей.
К тому ж любви терзанье роковое
Скорбь и кручину умножает вдвое».
Тут дико ревность разгорелась в нем,
Проникла в сердце, грудь сожгла огнем.
И стал похож наш узник безотрадный
На букс засохший иль на пепел хладный.
Он говорил: «Богиня, злой кумир,
Что вечным словом сковываешь мир
И на плите из твердого алмаза
Навек законы пишешь и указы,
Мы все, твоей подвластные короне,—
Толпа овец, толкущихся в загоне.
Ведь человека бьют, как скот рогатый,
Сажают в тюрьмы, башни, казематы;
Он терпит боль, несчастье и тревогу,

И часто незаслуженно, ей-богу.
Скажите, где же мудрость провиденья,
Когда невинность терпит зря мученья?
Ведь человек страдает тем сильней,
Что должен по религии своей
Во имя бога страсти побороть,
А скот творит, чего желает плоть.
Подохнет скот — и нет ему забот,
А человека наказанье ждет,
Хоть он и в жизни зло и скорбь терпел.
Поистине, таков его удел.
Пусть богослов на это даст ответ,
Одно я знаю: полон муки свет.
Увы, я вижу, вор и подлый змей,
Изведший многих праведных людей,
Свободно ходит и живет прекрасно,
А я — в узилище томясь всечасно,
Гоним Юноной бешеной, ревнивой,
Почти что обескровившею Фивы
(Хоть крепки были стены и брустверы),
Терплю к тому еще и от Венеры,
Боясь Арситы и к нему ревнуя».
Но тут о Паламоне речь прерву я,
Его в тюрьме оставлю и в плену
И об Арсите вновь рассказ начну.
Проходит лето, удлинились ночи,
Страдают вдвое горше и жесточе
И узник и влюбленный, и, ей-ей,
Не знаю я, чей жребий тяжелей.
Сказать короче: бедный Паламон
Пожизненно в темницу заключен,
Чтоб в ней томиться до скончанья дней;
Арсита ж изгнан из державы сей,
И никогда под страхом смерти впредь
Возлюбленной ему не лицезреть.
Кому ж теперь — влюбленные, решите!—
Тяжеле? Паламону иль Арсите?
Ведь этот даму видит день за днем,
Но сам он скрыт в узилище своем,
А тот повсюду ходит без труда,
Но дамы не увидит никогда.
Судите сами: вам оно видней,
Я ж возвращаюсь к повести своей.

Арсита в Фивах жил и сокрушался,
Твердил: «Увы!» — и часто чувств лишался:
Он с дамою своей навек в разлуке.
Я вкратце вам скажу об этой муке,
Что не был и не будет так убит
Тоской никто — с тех пор как свет стоит.
Еда, питье и сон на ум нейдут,
И стал он тощ и высох, словно прут.
Глаза ввалились, смотрит мертвецом,
Как хладный пепел, бледен, желт лицом.
Он, как отшельник, вечно одинок,
Всю ночь рыдает, сетуя на рок,
А чуть услышит песнь иль струнный звон,
Безудержно и долго плачет он.
Так пал в нем дух и вместе естество
Так изменилось, что узнать его
По голосу и речи невозможно,
А вид изобличает непреложно
Не тот недуг, что бог Эрот дарит,
А манию, которую родит
Сок черной желчи в чаше головной,
Седалище фантазии шальной.
Ну, словом, повернулось все вверх дном
В Арсите, воздыхателе больном,—
Обличье, обхождение и стать...
Что мне о том весь день повествовать?
Претерпевал бедняжка год-другой
Всю эту муку, скорбь и непокой,
Как сказано, в стенах родимых Фив.
Вот раз лежал он, крепко опочив;
Меркурий, бог крылатый, над постелью
Явился вдруг, зовя его к веселью.
Волшебный жезл в руке его подъят,
А из-под шляпы волосы блестят.
Так он одет (Арсита видит сон),
Как в час, когда был Аргус усыплен.
И молвил бог: «Направь стопы в Афины:
Там ждет тебя конец твоей кручины».
При сих словах Арсита встал от сна.
«Поистине, сколь мука ни сильна,—
Он молвил,— я тотчас помчусь в Афины,
Меня не сдержит страх лихой кончины.
Увижу ту, кому, любя, служу,

И голову к ее ногам сложу».
Сказавши так, он в руки взял зерцало
И видит, что с лица вся краска спала,
Что стал его неузнаваем лик.
Тут помысел в уме его возник,
Что если так сменилось естество
От злой болезни, мучившей его,
То он, назвав себя простолюдином,
Ходить неузнан мог бы по Афинам
И дамой тешить день за днем свой взор.
Не медля, он переменил убор
И, нарядившись скромным бедняком,
С одним лишь сквайром, что уж был знаком
С его делами всеми без изъятья,
Одетым, как и он, в простое платье,
Вошел в Афины по прямой дороге
И, появившись в герцогском чертоге,
Там предложил услуги у ворот
По части всяческих ручных работ.
Чтоб повесть вам моя не докучала,
Скажу тотчас: попал он под начало
К дворецкому Эмилии самой.
Хитро пред тем узнал он стороной
О каждом, кто служил любимой даме,
К тому ж он был могуч и юн годами,
Был костью крепок, преисполнен сил.
Дрова рубил он, воду приносил,
Все делал, словом, что ни повелят.
Так прослужил он года два подряд
И вот пажом приставлен был к палатам
Эмилии, назвавшись Филостратом.
Никто из всех людей такого чина
Так не был чтим, и даже вполовину.
Так был учтив Арситы разговор,
Что весть о нем весь облетела двор:
Все говорили, что по благостыне
Тезей его повысить должен в чине
И на такой его поставить путь,
Где доблестями может он блеснуть.
Так слава Филострата процвела,
Хваля и речь его, и все дела,
Что милостью его взыскал Тезей
И сделал сквайром в горнице своей,

Дав золота, чтоб жил он, процветая,
К тому ж вассалы из родного края
Из года в год несли ему добро.
Но тратил он так скромно и хитро,
Что не дивил людей его доход.
Так прожил он в Афинах третий год
Во дни войны, в годины мира тоже,
Тезею ж был он всех других дороже.
Его оставлю я в такой чести,
Чтоб речь о Паламоне повести.

В ужасной, мрачной башне заключен,
Семь долгих лет страдает Паламон,
Надежд лишенный, от любви больной.
Кто злой кручиной отягчен двойной?
То — Паламон: боль от любовных дум
Ему едва не помутила ум;
К тому ж он узник, под ярмом невзгод
Стенящий век, а не один лишь год.

О, кто бы спеть в стихах английских мог
Про муки те? Не я, свидетель бог!
Итак, рассказ я быстро поведу...
Раз, в третье мая на седьмом году
(Как говорят нам книги старых дней,
Что этот сказ передают полней)
Так учинил благоприятный рок
(Что суждено, свершится в должный срок),
Что Паламон, среди полночной тьмы,
Друзьями вызволенный из тюрьмы,
Из города бежал что было сил;
Тюремщика же так он напоил,
В вино, помимо пряностей, вложив
Снотворных трав и опия из Фив,
Что до утра, не чуя ничего,
Тот крепко спал, как ни трясли его.
Бежал он, под собой не слыша ног.

Ночь коротка, и день уж недалек,
И надобно прибежище найти.
Вот в рощицу, в сторонке от пути,
Вступает робким шагом Паламон.
Сказать вам вкратце, собирался он
Весь день скрываться в роще как-нибудь,
А ночью снова продолжать свой путь
До града Фив и там просить свой род

Против Тезея двинуться в поход.
Он был намерен честно пасть в бою
Иль в жены взять Эмилию свою.
Вот — мысль его, ее легко понять...
Но я к Арсите возвращусь опять...
Не знал Арсита, как близка забота,
Пока к Фортуне не попал в тенета.
Вот жаворонок, шустрый вестник дня,
Зарю встречает, трелями звеня.
И так прекрасно всходит бог на небо,
Что весь восток ликует, видя Феба.
И сушит пламенем красы своей
Серебряные капли меж ветвей.
Как я сказал, тем временем Арсита,
Что первым сквайром был придворной свиты,
Проснулся; светлый день его влечет;
Он хочет маю оказать почет.
И, вспомнив о своей любимой даме,
На скакуна вскочил он, что, как пламя,
Был резв, и поскакал по мураве
Прочь от двора на милю или две.
К дубраве той, о коей шел рассказ,
Случайно он направился как раз,
Чтоб, если ива, жимолость там есть,
Из них гирлянду в честь любимой сплесть.
Он встретил солнце песнею живой:
«О светлый май с цветами и листвой!
Привет тебе, прекрасный, свежий май!
Мне свежих листьев для гирлянды дай!»
С веселою душой с коня он слез
И быстрым шагом углубился в лес.
Бродя по чаще, он пришел на тропку,
Где бедный Паламон скрывался робко
От глаз людских, таясь в густых кустах:
Силен был в нем безвинной смерти страх.
Он про Арситу знать всего не мог,
А знал бы, не поверил — видит бог.
Но поговорку старую послушай:
У поля есть глаза, у леса — уши.
Порой себя полезно поберечь:
Немало может быть нежданных встреч.
Что друг его оттуда недалек
И слышит все, Арсите невдомек:

Тихонько тот сидит в кустах ракиты.
Когда довольно погулял Арсита
И спел рондель на превеселый лад,
Он вдруг замолк, мечтаньями объят.
Чудно порой ведет себя любовник:
То на деревья лезет, то в терновник,
То вверх, то вниз, как на колодце ведра,
Как пятница — то сильный дождь, то вёдро —
Поистине, изменчива без меры,
Сердца людей всегда мутит Венера:
Как пятница, любимый день ее,
Меняет вмиг обличие свое.
Да, у нее семь пятниц на неделе.
Едва Арситы песни отзвенели,
Он наземь сел, издав протяжный стон.
«Зачем,— сказал он,— я на свет рожден?
Доколь от всех жестокостей Юноны
У града Фив не будет обороны?
Увы! Уже повержен, посрамлен
Ваш царский род, о Кадм и Амфион!
Да, Кадм! Увы, он первый строить стал
Фиванский град, воздвиг вкруг града вал
И первый принял царскую корону.
Я — внук его, наследник по закону.
Природный отпрыск племени царей,—
Кто я теперь? Невольник у дверей
Смертельного жестокого врага.
Как бедный сквайр, служу я, как слуга.
Мне горшее велит Юнона злая:
Свое прозванье всюду я скрываю.
Арситой был я в оны времена,—
Теперь я — Филострат: мне грош цена.
Увы, Юнона! Лютый Марс, увы!
Все наше семя истребили вы.
Остались я и Паламон-бедняжка.
Его Тезей в тюрьме терзает тяжко.
А чтоб меня кончине неминучей
Предать, любовь стрелой пронзила жгучей
Мне сердце. Ах, навылет ранен я.
Меня подстерегает смерть моя.
Увы, сражен я вашими глазами,
Эмилия! И смерть моя — вы сами.
Все, все, что прежде душу занимало,

Поистине, я не ценю нимало,
Лишь только б мог я быть угоден вам».
Без чувств упав, лежал он долго там.
Придя ж в себя, шагов услышал звук:
То Паламон, почувствовавший вдруг,
Как меч холодный в грудь его проник,
Дрожа от гнева, бросил свой тайник;
Едва он брата речь уразумел,
Как, обезумев, бледный словно мел,
Он поднялся из-за густых ветвей:
«Арсита подлый! Подлый лиходей!
Ты пойман. Даму любишь ты мою,
Из-за которой муку я терплю.
Ты кровь моя, ты названый мой брат,—
Уже корил тебя я в том стократ,—
Оплел ты ложью герцога Тезея,
Чужое имя принял, не краснея.
Иль сам умру я, иль тебя убью.
Тебе ль любить Эмилию мою?
Один люблю я, и никто другой.
Я — Паламон, смертельный ворог твой.
Хоть чудом я избавился от пут
И хоть со мною нет оружья тут,
Я не боюсь тебя! Погибнешь ты
Иль бросишь об Эмилии мечты.
Так выбирай. Ты не уйдешь, злодей».
Арсита в грозной ярости своей,
Его узнав и слыша эту речь,
Свирепо, как лев, из ножен вынул меч.
«Клянусь,— он молвил,— господом всевластным!
Не будь ты одержим безумьем страстным
И будь ты тут с оружием своим,
Из рощи ты бы не ушел живым,
А здесь погиб бы от руки моей.
Я отрекаюсь ото всех цепей,
Которыми сковали наш союз.
О нет, глупец, любовь не знает уз!
Ее люблю тебе наперекор,
Но так как ты ведь рыцарь, а не вор
И даму порешил добыть в бою,
То завтра же — я слово в том даю —
Тайком от всех я буду в этом месте,
Как рыцарской моей пристойно чести.

И лучшую тебе доставлю сбрую,
А для себя похуже отберу я.
Тебе дам на ночь пищу и питье
И для ночлега принесу белье,
И если даму ты добудешь с бою
И буду я в лесу убит тобою,
Она — твоя, коль нет других препон».
«Согласен я»,— ответил Паламон.
И разошлись, друг другу давши слово
Сойтись в дубраве той же завтра снова.
О Купидон, чьи беспощадны стрелы!
О царство, где не признают раздела!
Недаром говорят: в любви и власти
Никто охотно не уступит части,
Познал Арсита это с Паламоном.
Арсита мчится в город быстрым гоном.
А поутру, в передрассветный час,
Две ратных сбруи тайно он припас,
Достаточных, чтобы в честно́м бою
На поле распрю разрешить свою.
Он, на коне скача тайком от всех,
Перед собой везет двойной доспех,
И скоро он на месте сговоренном.
Сошлись в лесу Арсита с Паламоном.
Вся краска вмиг сошла у них с лица,
Как у того фракийского ловца,
Что у теснины сторожит с копьем
И встречи ждет с медведем или львом;
Он слышит, как сквозь чащу зверь спешит,
Ломает сучья и листву крушит,
И думает: «Вот страшный супостат,
Один из нас уж не уйдет назад:
В теснине здесь в него всажу я дрот,
А промахнусь, так он меня убьет».
Так оба побледнели от испуга,
Когда в лесу увидели друг друга.
Не молвя «добрый день» иль «будь здоров»,
Тотчас же безо всяких дальних слов
Один другого одевает в латы,
Услужливо, как бы родного брата.
Они друг друга копьями ретиво
Спешат разить, и длится бой на диво.
Сказал бы ты, что юный Паламон

В бою, как лев, свиреп и разъярен.
Арсита ж, словно тигр, жесток и лют;
Как кабаны, они друг друга бьют,
Покрывшись белой пеною от злобы.
Уже в крови по щиколотку оба.
Но я в бою оставлю их сейчас
И о Тезее поведу рассказ.
Судьбина — управитель неизменный,
Что волю провиденья во вселенной
Творит, как нам заране бог присудит,
И хоть весь свет клянись, что так не будет,—
Нет, нет и нет,— судьбина так сильна,
Что в некий день нам вдруг пошлет она
То, что затем в сто лет не повторится.
По правде, всем, к чему наш дух стремится,—
К любви иль мести, к миру иль войне,—
Всем этим Око правит в вышине.
Пример тому Тезей могучий даст нам:
К охоте он влеком желаньем страстным;
Так лаком в мае матерой олень,
Что вождь, с зарей вставая каждый день,
Уж вмиг одет и выехать готов
С ловцами, рогом и со сворой псов.
Так сладостен звериный лов ему;
Вся страсть и радость в том, чтоб самому
Оленя сбить ударом мощной длани;
Как к Марсу, он привержен и к Диане.
Был ясный день, как я вам говорил,
И вот Тезей, веселый, полный сил,
С Эмилией, с прекрасной Ипполитой,
В зеленое одетой, и со свитой
На лов звериный выехал с утра.
Он к роще, недалекой от двора,
Где был олень, как молвили Тезею,
Дорогой ближней мчит со свитой всею
И на поляну едет напрямик,
Где тот олень искать приют привык;
Там — чрез ручей и дальше до леска...
Желает герцог поскакать слегка
Со сворою, что под его началом,
Но, поравнявшись с тем лесочком малым,
Взглянул он против солнышка — и вот
Арситу с Паламоном застает.

Как два быка, ярятся в рукопашной
Противники, мечи сверкают страшно.
И мнится: бой их так свиреп и яр,
Что свалит дуб слабейший их удар.
Но кто они — Тезею невдомек.
Коня пришпорив, он в один скачок
Пред разъяренною возник четой
И, вынув меч свой, грозно крикнул: «Стой!
Под страхом смерти прекратить сейчас!
Клянусь я Марсом: если кто из вас
Ударит вновь — лишится головы.
Теперь скажите, кто такие вы.
Что бьетесь здесь, по дерзости своей,
Без маршалов, герольдов и судей,
Как будто выйдя на турнир придворный?»
И Паламон ответствовал покорно:
«О государь, скажу без долгих слов:
Лишиться оба мы должны голов.
Мы здесь два пленника, два бедняка,
Которым жизнь несносна и тяжка.
Как от сеньора и судьи, не надо
Нам от тебя приюта и пощады:
Сперва меня из милости убей,
Но и его потом не пожалей.
Хоть от тебя его прозванье скрыто,
Но он — твой злейший ворог, он — Арсита,
Под страхом смерти изгнанный тобой.
Погибели он заслужил лихой.
Он к воротам твоим пришел когда-то
И ложно принял имя Филострата;
Немало лет обманывал он вас
И главным щитоносцем стал сейчас.
Знай, что в Эмилью тайно он влюблен.
Но так как близок мой предсмертный стон,
Тебе во всем покаюсь откровенно.
Я — Паламон, пожизненный твой пленный,
Расстался самовольно я с темницей.
Я — твой смертельный враг и к светлолицей
Эмилии давно питаю страсть.
У ног ее готов я мертвым пасть.
Суда и смерти жду я без боязни,
Но ты его подвергни той же казни:
Мы оба стоим смерти, спора нет».

Достойный герцог тотчас дал ответ,
Сказавши так: «Задача тут проста.
Признаньем вашим ваши же уста
Вас осудили. Это памятуя,
От строгой пытки вас освобожу я.
Но Марсом вам клянусь, что ждет вас плаха».
От состраданья нежного и страха
Рыдает королева Ипполита,
И плачут с ней Эмилия и свита.
Казалось, им безмерно тяжело,
Что без вины постигло это зло
Двух юношей владетельного рода,
И лишь любовь — причина их невзгоды.
Заметив раны, что зияли дико,
Вскричали все от мала до велика:
«О, ради дам не будь неумолим»,—
И на колени пали перед ним,
Готовые припасть к его стопам.
Но наконец Тезей смягчился сам
(В высоких душах жалость — частый гость),
Хотя сперва в нем бушевала злость,
Но после обозрел он в миг единый
Проступки их, а также их причину,
Хоть гнев его обоих осудил,
Но разум вмиг обоих их простил.
Он знал, что всякий человек не прочь
По мере сил себе в любви помочь,
А также жаждет выйти из неволи.
К тому ж Тезей не мог смотреть без боли
На дам, рыдавших в горе безысходном.
Приняв решенье в сердце благородном,
Он так подумал: «Стыд тому владыке,
Что жалости не знает к горемыке
И одинаково, как грозный лев,
Рычит на тех, что плачут, оробев,
И на упорного душой злодея,
Который зло свершает, не краснея.
Да, неразумен всякий властелин,
Который мерит на один аршин
Гордыню и смирение людей».
Когда от гнева отошел Тезей,
Взглянул на все он светлым оком снова
И громко молвил всем такое слово:

«О бог любви! о benedicite! [1]
Какую власть несешь в деснице ты!
Препоны нет, чтоб ты сломать не мог,
Поистине ты — чудотворный бог!
Ведь можешь ты по прихоти своей
Как хочешь изменять сердца людей.
Вот Паламон с Арситой перед нами,
Что, распростясь с тюремными стенами,
Могли бы в Фивах жить средь всяких благ
И знали, что я им смертельный враг
И что убить их я имею власть,
И все же поневоле эта страсть
Сюда на смерть их привела обоих.
Не дивное ль безумье увлекло их,
Которым лишь влюбленный заражен?
Взгляните же на них со всех сторон:
Прелестный вид, не правда ль? Все — в крови!
Так им воздал сеньор их, бог любви.
Вот им достойная за службу плата,
А оба мнят, что разумом богаты,
Служа любви все жарче и бойчей.
Смешней всего, что та, для чьих очей
И начато все это шутовство,
Ничуть не благодарна за него
И ведает о распре их не боле,
Чем та кукушка или заяц в поле.
Но в жизни все мы испытать хотим,
Не в юности, так в старости дурим.
Я признаюсь, что много лет назад
Служить любви и сам бывал я рад.
И знаю я, как зло любовь нас ранит
И как жестоко род людской тиранит.
И, бывши сам не раз в тенетах тех,
Я вам обоим отпускаю грех
Из-за горячих слез как королевы,
Так и Эмилии, прекрасной девы.
А вы теперь же поклянитесь мне
Впредь не чинить вреда моей стране,
Не нападать ни ночью и ни днем,
Но быть друзьями мне всегда во всем,
Я ж вам прощаю все бесповоротно».
Тут братья поклялись ему охотно,

[1] Благословенный *(лат.)*.

Прося прощенья и вассальных прав.
И молвил он, прощенье даровав:
«Ваш род высок и велика казна,
Вам полюбись царица иль княжна,
Достойны оба вы такого брака,
Когда настанет время. И, однако
(Я говорю вам о своей сестре,
Подавшей повод к ревности и пре),
Вы знаете, что, спорьте хоть до гроба,
Венчаться с ней не могут сразу оба,
А лишь один, и, прав он иль не прав,
Другой уйдет, не солоно хлебав.
Двоих мужей возьмет она едва ли,
Как вы б ни злились и ни ревновали.
И вот я вам даю такой урок,
Чтоб всяк из вас узнал в кратчайший срок,
Что рок судил. Услышьте ж уговор,
Которым я хочу решить ваш спор.
Конечную вам объявляю волю,
Чтоб возражений мне не слышать боле
(Угодно ль это вам иль неугодно).
Отсель пойдете оба вы свободно,
Без утесненья, выкупа иль дани.
А через год (не позже и не ране)
Возьмите по сто рыцарей оружных
Во всех доспехах, для турнира нужных.
Чтоб этот спор навек покончить боем.
А я ручаюсь честью вам обоим
И в том даю вам рыцарское слово,
Что, коль осилит здесь один другого,—
Сказать иначе, если ты иль он
С дружиною возьмет врага в полон,
Убьет его иль сгонит за межу,—
Эмилией его я награжу,
Раз он так щедро одарен судьбою.
Ристалище же здесь я вам устрою.
Как верно то, что бог мне судия,
Так вам судьей бесстрастным буду я.
И спор тогда лишь будет завершен,
Коль кто падет иль будет взят в полон.
Скажите «да», коль этот мой приказ
Вам по сердцу. Теперь довольно с вас:
На том конец, и ваш вопрос решен».

Кто просветлел тут ликом? Паламон.
А кто от счастья подскочил? Арсита.
Все лица были радостью залиты
За двух соперников, когда Тезей
Их осчастливил милостью своей.
Все, без различья звания и пола,
В признательности сердца пали долу,
Фиванцы ж много раз и особливо.
И вот с надеждою в душе счастливой
Они, простясь, отправились назад
В свой крепкостенный и старинный град.
Меня, пожалуй, люди упрекнут,
Коль щедрости Тезеевой я тут
Не помяну. Он тщился всей душой
По-царски пышным сделать этот бой,
И не было подобного турнира,
Могу сказать, от сотворенья мира.
Округой в милю там была стена —
Из камня вся и рвом обнесена.
Амфитеатр из многих ступеней
Был вышиною в шестьдесят пядей.
Кто на одной ступени восседал,
Уже другому видеть не мешал.
Врата из мрамора вели к востоку,
Такие ж — к западу, с другого боку.
И не найти нигде, скажу по чести,
Сокровищ столько на столь малом месте.
Обрыскан был весь край и вдоль и вширь;
Кто геометром был, кто знал цифирь,
Кто был создателем картин иль статуй —
Им всем Тезей давал и стол и плату,
Стремясь арену выстроить, как надо.
Чтоб совершались жертвы и обряды,
Велел он на вратах восточных в честь
Венеры, божества любви, возвесть
Молельню и алтарь, а богу битвы
На западе для жертв и для молитвы
Другой алтарь украсил он богато,
Потребовавший целой груды злата;
А с севера на башенке настенной
Из глыбы алебастра белопенной
С пурпуровым кораллом пополам

Диане чистой драгоценный храм
Возвел Тезей, как лишь царю под стать.
Но я забыл еще вам описать
Красу резьбы, и фресок, и скульптур,
Обличье и значенье тех фигур,
Что дивно украшали каждый храм.
В Венериной божнице по стенам
Ты увидал бы жалостные лики:
Разбитый Сон, и хладный Вздох, и Крики,
Святые слезы, скорбный вопль Тоски
И огненных Желаний языки,
Что слуг любви до смерти опаляют,
И Клятвы те, что их союз скрепляют.
Тут Мощь и Прелесть, Лесть и Хвастовство,
И Хлопотливость тут и Мотовство,
Безудержная Роскошь и Богатство,
Надежда, Страсть, Предерзость и Приятство,
И Ревность в гелиантовом венке,
С кукушкою, сидящей на руке,
Пиры и Песни, Пляски и Наряды,
Улыбки, Похоть — словом, все услады
Любви, которых не исчислить мне,
Написаны все кряду на стене;
Их больше, чем сумею передать я:
Весь Киферон, пожалуй, без изъятья
(Где водружен Венерин главный трон)
В картинах на стене изображен
И сад ее во всем своем веселье.
Не позабыты тут: вратарь-Безделье,
Нарцисс, красавец тех былых времен,
Безумствующий в страсти Соломон,
Все подвиги Геракла самого,
Медеи и Цирцеи волшебство,
Свирепый Турн, столь храбрый в ратном поле,
Богатый Крез, томящийся в неволе,—
Все учит нас, что ум и горы блага,
Краса и хитрость, сила и отвага
Не могут разделить с Венерой трон.
Венера правит миром без препон.
Весь этот люд в ее сетях увяз.
«Увы, увы!» — твердят они не раз.
Два-три примера вдосталь говорят,
Но я б набрал и тысячу подряд.

Там статуя Венеры, вся сверкая,
В обширном море плавала нагая;
Ее до чресел море облегло
Волной зеленой, ясной, как стекло.
В ее деснице — лютня золотая,
Над головой голубок реет стая,
А на кудрях, являя вид приятный,
Лежит из роз веночек ароматный.
Пред ней стоит малютка Купидон,
Два крылышка на спинке носит он,
К тому ж он слеп (как всякий часто зрел),
В руке же лук для светлых острых стрел.
А почему мне не поведать вам
О живописи, украшавшей храм,
Что герцог Марсу ярому обрек?
Расписан был он вдоль и поперек,
Подобно недрам страшного чертога,
Большой божницы яростного бога
В краю фракийском, хладном, ледяном,
Где, как известно, Марсов главный дом.
Там на одной стене была дубрава,
Где все деревья стары и корявы,
Где остры пни, ужасные на вид,
Откуда зверь и человек бежит.
Шел по лесу немолчный гул и стук,
Как будто буря ломит каждый сук.
А под холмом, прижат к стене откосной,
Был храм, где чтился Марс Оруженосный,
Из вороненой стали весь отлит;
А длинный вход являл ужасный вид.
Там слышен был столь дикий вой и рев,
Что ворота дрожали до основ.
Лишь с севера сквозь дверь струился свет:
Отсутствовал окошка всякий след,
Откуда б свет мог доходить до глаза,
А дверь была из вечного алмаза,
Обита крепко вдоль, и вширь, и вкось
Железом; и чтоб зданье не тряслось,
Столп каждый изумительных палат,
Сверкавший сталью, с бочку был в обхват.
Там мне предстал Измены лик ужасный,
Все Происки и Гнев багряно-красный,
Как угли раскаленные в кострах,

Карманная Татьба и бледный Страх,
С ножом под епанчою Льстец проворный,
И хлев горящий, весь от дыма черный,
И подлое убийство на постели,
Открытый бой, раненья, кровь на теле,
Раздор с угрозой и с кровавой сталью...
Весь храм был полон воплем и печалью.
Самоубийцу я увидел там:
Живая кровь течет по волосам
И гвоздь высоко меж волос торчит;
Там настежь хладной Смерти зев раскрыт;
Средь храма там стоит Недоли трон,
Чей лик унылой скорбью омрачен;
Там слышал я Безумья хохот дикий,
Лихую Ругань, Жалобы и Крики;
Там искаженный труп лежит в кустах;
Там тьма поверженных кинжалом в прах;
Добычу там тиран подъял на щит;
Там град, который до основы срыт;
Там флот сожженный пляшет средь зыбей;
Хрипит охотник в лапах медведей;
Младенца в зыбке пожирает хряк;
Ошпарен повар, в чьих руках черпак.
Марс не забыл во злобе ни о ком:
Раздавлен возчик собственным возком,
Под колесом лежит он на земле.
Клевреты Марса там — в большом числе:
Там оружейник, лучник и коваль,
Что в кузне для мечей готовит сталь.
А выше всех — Победа в бастионе
Сидит с великой почестью на троне;
Преострый меч у ней над головой
Висит на тонкой ниточке одной.
Как пал Антоний, как Нерон великий,
Как Юлий пал, изображали лики.
Их не было еще в те времена,
Но их судьба там наперед видна,
Как Марсова угроза. Те фигуры
Все отражали точно, как с натуры.
Ведь в вышних сферах Судьбы начертали,
Кто от любви умрет, а кто от стали.
Довольно сих примеров. Много есть
Их в старых книгах, всех не перечесть.

На колеснице — Марсов грозный лик;
Он весь в оружье, взор безумен, дик.
И две звезды над ним горят, сверкая,
Одна — Пуэлла, Рубеус — другая:
Им в книгах эти имена даны.
Так был написан грозный бог войны:
Кровавоглазый волк у ног лежал
И человечье мясо пожирал.
Все тонкой кистью выведено строго
С почтеньем к славе ратоборца-бога.
Теперь Дианы-девственницы храм
Как можно кратче опишу я вам.
Как по стенам от пола до вершины
Написаны различные картины
Лесной охоты девственницы чистой.
Я видел там, как бедная Калисто
Под тяжестью Дианиного гнева
Медведицею сделалась из девы,
А вслед за тем — Полярною звездой
(Так понято все это было мной),
А сын ее был превращен в светило.
Там Дану страсть во древо обратила
(Здесь мыслится не божество Диана,
А дочь Пенея, по прозванью Дана).
Вот Актеон, в оленя превращенный
За то, что зрел Диану обнаженной.
Там псы его (так видел я воочью),
Не опознавши, растерзали в клочья.
А поодаль картина там видна,
Где Аталанта гонит кабана,
И Мелеагр, и множество других,
За что Диана поразила их.
И не одно еще я видел чудо,
О коем вам рассказывать не буду.
Богиня, на олене восседая,
У ног своих щенят держала стаю,
А под ногами — полная луна
Взошла и скоро побледнеть должна.
Хоть весел плащ зеленый на Диане,
И лук в руке, и туча стрел в колчане,
Но взор богини долу обращен,
Где в мрачном царстве властвует Плутон.
Пред ней лежала женщина, стеная:

Ее терзала схватка родовая,
И так взывала бедная к Люцине:
«О, помоги! Ты всех сильней, богиня!»
Был мастером создатель сих картин,
Извел на краски не один флорин.
Построили арену, и Тезей,
С большим расходом для казны своей
Воздвигший и ристалище и храм,
Доволен делом был по всем статьям.
Но про Тезея слушать подождите:
Вернусь я к Паламону и Арсите.
Уже подходит близко день возврата,
Чтоб, с сотнями явившись, оба брата,
Как я сказал, свой разрешили спор.
И вот к Афинам, помня уговор,
Противники ведут по сто бойцов:
В оружье — все, и каждый в бой готов.
Поклясться мог бы всякий человек,
Что с той поры, как создан мир, вовек
(Поскольку дело доблести касалось)
На море иль на суше не сбиралось
Героев столько на столь малом месте:
Всяк, кто привержен был к военной чести
И кто себя хотел прославить в мире,
Просился быть участником в турнире.
И рад был тот, кто избран был в тот час:
Случись хоть завтра это все у нас,
То ль в Англии, то ли в стране иной,—
Как вам известно, паладин любой,
Что любит par amour и полон сил,
С охотою бы в этот бой вступил.
За даму биться каждый рыцарь рад:
Такой турнир — отрада из отрад.
Не менее удачлив Паламон:
Бойцы к нему идут со всех сторон.
Один приехал на лихом коне,
В кафтане боевом или в броне;
Другой в двойной кирасе в бой спешит,
Держа иль круглый, или прусский щит;
Гордится третий пóножей красою;
Секирою иль палицей стальною:
Все то, что ново, старина знавала.

Так всякий был, как я сказал сначала,
По вкусу своему вооружен.
Смотрите: вот с Ликургом Паламон.
Ликург, кого фракийский чтит народ,—
Воинственен лицом, чернобород,
Горят во лбу очей его орбиты,
Багряно-желтым пламенем залиты.
Глядит он, грифа грозного страшней,
Из-под густых расчесанных бровей.
Он крупен телом, крепок и высок,
Отменно длиннорук, в плечах широк.
Он, по обычаю своей земли,
Стоял на колеснице, что везли
Волы четверкой, все белее мела.
Взамен камзола сверх брони висела
Медвежья шкура, угольев черней,
Горя, как златом, желтизной когтей.
Его власы спадают вдоль спины;
Как ворона крыло, они черны.
Венец тяжелый, в руку толщиной,
На волосах горит, весь золотой,
Алмазами, рубинами блистая.
Вкруг колесницы — белых гончих стая,
Бычков по росту, двадцать штук — не мене,
Чтоб натравить на льва их иль оленя.
На псах, что все в намордник тугом,
Златой ошейник с кольцами кругом.
Вассалов сотню царь ведет с собой
Свирепых, ярых, снаряженных в бой.
С Арситой ехал (книги говорят)
Индийский царь Эметрий в стольный град.
Гнедой скакун, весь в стали вороненой,
Покрыт расшитой золотом попоной.
Сам царь подобен богу воинств Марсу.
Камзол с гербом — чистейший шелк из Тарса,
На нем же — жемчуг белый, крупный, скатный.
Седло обито золотом презнатно.
А с плеч его свисает епанча,
Горя в рубинах, алых, как свеча,
И волосы, все в кольца завитые,
Блестят на солнце, словно золотые;
Глаза — лимонно-желты, нос — высок,
Округлы губы, свеж румянец щек.

Слегка веснушки лик его пестрят,
Как исчерна-шафранных пятен ряд.
Взор, как у льва свирепого, горит;
Лет двадцать пять царю ты дашь на вид.
Уж в бороде его густеет волос,
Как трубный грохот, громыхает голос,
Венок лавровый вкруг его главы
Пленяет свежей зеленью листвы.
А на деснице держит он для лова
Орла лилейно-белого ручного.
Сто рыцарей владыке служат свитой;
Все — в латах, но с главою непокрытой.
Все пышностью похвастаться могли:
Ведь графы, герцоги и короли
Сошлись, чтоб защищать любовь и честь
И рыцарство на высоту вознесть.
Ручные львы и барсы там и тут
Во множестве вслед за царем бегут.
Так весь синклит владетельных господ
В воскресный день сошелся у ворот
И на заре вступает в город сей.
Достойный герцог и герой Тезей,
Введя их всех в свой стольный град Афины
И посадивши каждого по чину,
Всех угощал и не жалел хлопот,
Чтоб всем достойный оказать почет.
И было мненье общее гостей,
Что мир не знал хозяина щедрей.
О музыке, об услуженье в залах,
О всех подарках для больших и малых,
О пышности Тезеевых хором,
О том, как разместились за столом,
Какая дама всех красой затмила
Иль пеньем, пляской, или говорила
Про жар любви чувствительнее всех,
И сколько было соколиных вех,
И сколько псов лежало под столом,—
Ни слова вам я не скажу о том.
Я к самой сути перейти спешу
И вашего внимания прошу.
Под воскресенье ночью Паламон
Услышал ранний жаворонка звон;
Хоть до зари еще был час-другой,

Но жаворонок пел, и наш герой
С благоговеньем в сердце, духом бодр,
Для богомолия покинув одр,
Пошел к богине, что царит в Кифере,
Сказать иначе, к благостной Венере.
В час, посвященный ей, герой пошел
К арене, где стоял ее престол,
И, в скорби сердца ставши на колени,
Излил поток смиреннейших молений:
«Краса красот, владычица всех стран,
Юпитерова дщерь, чей муж — Вулкан!
Ты радуешь вершины Киферона!
О, ради давней нежности к Адону,
На горький плач мой с жалостью взгляни,
К смиренной просьбе слух свой преклони.
Увы! я слов достойных не найду,
Чтоб описать тебе свою беду.
Ах, сердце мук моих не выдает,
Я так смятен, что слов недостает.
Пресветлая, меня ты пожалей!
Ты знаешь злую скорбь души моей.
Все мудро взвесь и помоги, богиня!
Тебе клянусь, что я готов отныне
Всей силою служить одной тебе
И с девственностью в вечной жить борьбе,
Я в том клянусь, но помоги сперва.
Я взял оружье не для хвастовства
И не прошу на завтра ни победы,
Ни почестей, ни славы-непоседы,
Что вверх и вниз колеблется волной,—
Владеть хочу Эмилией одной,
До самой смерти только ей служа.
К ней путь мне укажи, о госпожа!
Мне все равно, как мы закончим прю:
Они меня иль я их поборю,
Лишь деву мне бы сжать в тисках объятий!
Ведь сколь ни властен Марс, водитель ратей,
Но в небе ты владеешь большей силой:
Коль ты захочешь — завладею милой,
Век буду чтить я храм твой за победу;
Куда я ни пойду и ни поеду,
Тебя не поминать я не смогу.
Но если ты благоволишь к врагу,

Молю, чтоб завтра погрузил копье
Арсита в сердце бедное мое.
Мне все равно, пусть я паду убитый,
Раз под венец она пойдет с Арситой.
Не отвергай моленья моего,
Дай мне Эмилию, о божество!»
Свою молитву кончил Паламон,
И вслед за тем богине жертву он
Принес, прежалостно верша обряды,
О коих мне повествовать не надо.
И вдруг... качнулась статуя богини
И знак дала, что в силу благостыни
Услышан голос был его в сей раз.
Хоть знак отсрочивал блаженства час,
Но знал он: вняло божество мольбе,
И радостный вернулся он к себе.
Неравных три часа минуло там
С тех пор, как он пошел в Венерин храм.
Тут встало солнце, и Эмилья встала
И дев своих с собою в путь собрала.
Во храм Дианы шествуют девицы,
Неся огонь зажженный для божницы
И разные куренья и покров
Для принесенья жертвенных даров,
И мед в рогах — и все, что только надо
По правилам старинного обряда.
Дымится убранный роскошно храм...
Благочестивая Эмилья там
В воде проточной тело искупала...
Не смея выдать тайну ритуала,
О нем лишь краткий сделаю отчет,
Хотя подробностей тут каждый ждет;
В них нет для благомыслящих вреда,
Но сдержанным быть лучше иногда.
Волос блестящих расчесав поток,
Дубовый зеленеющий венок
На них она надела, а потом
Два пламени зажгла над алтарем
И все обряды в том свершила виде,
Как описал их Стаций в «Фиваиде».
Смиренья бесконечного полна,
Диане так промолвила она:
«О ты, богиня зелени лесной,

Ты видишь море, твердь и круг земной,
С Плутоном правишь в мрачной глубине.
Все мысли, все желания во мне
Ты знаешь уж давно, богиня дев!
Не дай познать мне месть твою и гнев,
Которыми, богиня, Актеона
Ты покарала зло во время оно.
Хочу я девой круг свершить земной,
Не быть ничьей любезной иль женой:
В твоей я свите (знаешь хорошо ты)
Люблю свершать веселую охоту;
Меня влечет бродить в лесной чащобе,
А не детей вынашивать в утробе,
И не ищу я близости к мужчине.
Ведь ты сильна, так помоги ж мне ныне
Во имя сущности твоей трехликой!
Вот Паламон, что полн любви великой,
И вот Арсита, что зачах, любя.
По милости им дай, молю тебя,
Покой и дружбу снова обрести,
Сердца их от меня ты отврати.
Неугомонность мук и пыл страстей,
Желанье их и жар, как дым, рассей
Иль обрати их на другой предмет.
Но коль в тебе благоволенья нет
И неугодный рок меня принудит
Взять одного из них, пусть это будет
Тот, кто меня желает горячей.
Взгляни, богиня чистоты: ручей
Горючих слез бежит с моих ланит!
Ты — чистая, ты — страж, что нас хранит!
Ты честь мою спаси и сохрани!
Служа тебе, да кончу девой дни».
Сияли два огня на алтаре,
Пока молилась дева на заре,
И вдруг узрел ее смущенный глаз
Чудесный знак: один огонь погас
И ожил вновь; затем другой из двух
Затрепетал и вдруг совсем потух,
Но, угасая, прошипел сперва,
Как в очаге намокшие дрова,
А из концов поленьев вновь и вновь,
За каплей капля, засочилась кровь.

Эмилию объял столь грозный страх,
Что, чуть не помешавшись, вся в слезах
Она глядела на чудесный знак
И от испуга растерялась так,
Что страшным воплем огласила храм.
И вдруг Диана появилась там:
Охотницей она предстала с луком
И молвила: «Не предавайся мукам!
Среди богов небесных решено,
Записано и клятвой скреплено:
Ты одному из тех дана в удел,
Кто зло и муку за тебя терпел.
Которому из двух, я не скажу.
Теперь прощай. Отселе ухожу.
Огни, что мне ты засветила в храме,
Перед твоим уходом скажут сами,
Что уготовлено тебе отныне».
При сих словах в колчане у богини
Издали стрелы громкий звон и стук...
И вот она из глаз исчезла вдруг.
Эмилия, в смятении лихом,
Воскликнула: «Увы, что пользы в том?
Вверяю я себя твоей охране;
Во всем теперь подвластна я Диане».
Затем она пошла к себе домой,
А я рассказ сейчас продолжу мой.
В ближайший час, что Марсу посвящен,
Пришел Арсита к богу на поклон,
К свирепому, чтоб принести, как надо,
Ему дары по отчему обряду,
И с тяжким сердцем к Марсу, богу битвы,
Благочестивые восслал молитвы:
«О мощный бог, что средь студеных стран
Фракийских и возвышен и венчан,
В любом краю, в любой земной державе
Ты ведаешь войной, ведущей к славе,
По прихоти даря успех в бою!
Прими ты жертву скромную мою.
И если я, хотя и юный воин,
Величью твоему служить достоин
И числиться подвижником твоим,
Не будь к моей тоске неумолим.
О, вспомни муки, вспомни те огни,

Что жгли тебя желаньем в оны дни,
Когда Венерой услаждался ты,
Во цвете свежей, светлой красоты
Твоим объятьям отданной в неволю.
Ведь сам тогда познал ты злую долю,
Когда, застав с женой своей, Вулкан
Тебя поймал в тенета, как в капкан.
Во имя этих мук души твоей
Меня в страданьях тяжких пожалей.
Ты ведаешь: я юн и несмышлен
И, мню, сильней любовью уязвлен,
Чем все живые существа на свете.
Той, для кого терплю я муки эти,
И горя нет, тону я иль плыву.
Я знаю: тщетно к ней я воззову,
Покуда силой не добуду в поле.
Я знаю: от твоей зависит воли,
Добуду ль я любимую мою.
Так помоги же завтра мне в бою,
Огонь, тебя сжигавший, памятуя
И тот огонь, в котором здесь горю я.
О, дай мне завтра над врагом управу.
Мой будет труд, твоя да будет слава.
Твой главный храм сильнее чтить я буду,
Чем храмы все; тебе в угоду всюду,
Всегда блистая в мастерстве твоем,—
Повешу у тебя пред алтарем
Свой стяг и все оружие дружины,
И никогда до дня моей кончины
Перед тобою не угаснет свет.
А на себя я наложу обет:
И бороду и кудри, что доселе
Еще вовек обиды не терпели
От бритв и ножниц, я тебе отдам,
Твоим слугой до гроба буду сам.
Услышь молитву твоего раба,
В твоих руках теперь моя судьба».
Умолкла речь могучего Арситы.
Тут кольца те, что в двери были вбиты,
И сами двери загремели вдруг.
На миг Арситу обуял испуг.
Огни, что он на алтаре возжег,
Сияньем озаряли весь чертог,

И сладкий аромат струился там.
Арсита поднял длань и, фимиам
В огонь подбросив, всех обрядов круг
До самого конца свершил. И вдруг
Кольчугой идол загремел, и глухо
Сквозь гул, как шепот, донеслось до слуха:
«Победа»,— и Арсита воздал честь
Владыке сеч за радостную весть.
Надежды полон, с радостной душой
Арсита полетел на свой постой,
Как птах, что свету солнечному рад.
Но в небесах пошел такой разлад,
Так за своих боролись подопечных
Венера, божество страстей сердечных,
И грозный Марс, оруженосный бог,
Что сам Юпитер их унять не мог.
Но вот Сатурн, холодный, бледный царь,
Что много знал случившегося встарь,
Сноровкою и опытом силен,
Нашел исход для спорящих сторон.
Недаром старость, говорят, сильней,
Чем юность, зрелой мудростью своей:
Юнца всегда перемудрит старик.
Сатурн, чтобы утишить шум и крик
(Хоть мир противен был его натуре),
Нашел благое средство против бури.
«О дочь моя,— промолвил он Венере,—
Мой бег, вращаясь по обширной сфере,
Мощней, чем мыслит слабый ум людской:
Я корабли топлю в волне морской,
Я в темной келье узника сушу,
Я вешаю за шею и душу́.
Мне служат распря, грубая расправа,
Крамола, ропот, тайная отрава;
Я мщу, казню, нещадно кровь лия,
Когда в созвездье Льва вступаю я.
Я — разрушитель царственных палат;
Мигну, и трупы плотников лежат
Под башней иль стеною сокрушенной.
Я схоронил Самсона под колонной.
Я — повелитель недугов холодных,
Предательств темных, козней подколодных,
Я насылаю взором злым чуму.

Итак, не плачь! Все меры я приму,
И будет твой ревнитель Паламон,
Как ты сказала, девой награжден.
Хоть Марсом защищен второй боец,
Но все же мир наступит наконец,
Хоть столь у вас двоих различен норов,
Что не проходит дня без свар и споров,
Но я, твой дед, готов тебе помочь,
Твое желанье я исполню, дочь».
Теперь оставлю я богов верховных,
И Марса, и богиню мук любовных,
И изложу — сколь можно, без прикрас —
Конец того, о чем я начал сказ.
Великий праздник зашумел по граду,
К тому же месяц май дарил отраду
Сердцам людей, и вот за часом час
Шли в понедельник игрища и пляс,
И там Венере все служили рьяно.
Но так как все же надлежало рано
Заутра встать, чтоб видеть грозный бой,
Все к ночи удалились на покой.
А поутру, едва лишь день блеснул,
От скакунов и сбруи громкий гул
Загромыхал по всем дворам подряд,
К дворцу помчалось много кавалькад
Из знатных лиц на скакунах проворных.
Там много сбруй сверкало — светлых, черных,
Сработанных роскошно и богато,
Стальных, расшитых, кованных из злата.
Сверкают щит, кольчуга, пышный стяг,
С златой насечкой шлем, камзол, чепрак.
На скакунах — нарядные вельможи.
Здесь ратный муж (с ним щитоносец тоже)
Вбивает гвоздь в копье иль чистит щит,
Подвязывает шлем, копье крепит,
У всех работа, все про лень забыли:
Грызет узду златую конь, весь в мыле;
Проворный мастер оружейных дел
С напилком, с молотком везде поспел;
Все граждане и йомены пешком
Валят толпой, и каждый с посошком.
Гудки, литавры, трубы и рожки,
Чей клич кровавый так бодрит полки.

Дворец набит народом до отказа;
Здесь трое, десять там, гадают сразу,
Кто выйдет победителем из боя.
Один твердит одно, другой — другое.
Одним чернобородый витязь мил,
Других кудрявый юноша пленил:
Он, молвят, лют и сильный даст отпор:
Ведь в двадцать фунтов у него топор.
Толпа шумела громко и гадала,
А между тем давно уж солнце встало,
И пробудился сам Тезей великий
Под этот говор, музыку и клики.
Но не расстался он с дворцом богатым,
Пока соперников к его палатам
Не проводили с почестью большой.
Вот у окна сидит Тезей-герой,
Как бог на троне, пышно разодет;
Внизу ж — народ, собравшийся чуть свет
Владыке своему воздать почет
И выслушать, что им он изречет.
Герольд с помоста возгласил: «Молчанье!»
И все утихли сразу в ожиданье.
Когда в толпе угомонились крики,
Он огласил желание владыки:
«Наш государь по мудрости державной
Решил, что было б тратой крови славной
Рубиться тут с повадкою такой,
С какой бойцы вступают в смертный бой.
И вот, чтоб им не дать погибнуть в поле,
Он прежнюю свою меняет волю.
Под страхом смертной казни на турнир
Да не возьмет никто пращей, секир,
Ни самострела, лука иль ножа;
Пусть колющего малого меча
Никто из них не носит на боку;
Противникам лишь раз на всем скаку
С копьем наточенным сойтись обоим
И, защищаясь, биться пешим боем.
Пусть побежденный будет взят в полон,
Но не убит, а к вехам отведен
И по взаимному пусть уговору
Он там стоит до окончанья спора.
Но если вождь ваш (этот или тот)

Сам будет взят иль ворога сгубет,
Немедленно закрыто будет поле.
Бог в помощь вам! Вперед! Сражайтесь вволю.
Оружье — длинный меч и с ним дубина.
Начните ж бой по воле властелина».
Тут глас народа до небес достиг,
Все радостно вскричали в тот же миг:
«Благословен наш добрый воевода:
Он не желает истребленья рода».
Всем возвещает струн и труб игра,
Что поспешить к ристалищу пора.
Широких улиц проезжают ряд;
Роскошною парчой увешан град.
Величественно едет герцог сам,
А два фиванца рядом по бокам;
Вослед за ним с сестрою Ипполита,
А позади — вся остальная свита:
Все по двое по должности и чину.
И так они спешат через Афины
И на арену прибывают к сроку:
Светило не ушло еще с востока.
Высоко, пышно восседал Тезей,
Супруга же его с сестрой своей
И с дамами уселись все по сходам.
А скамьи все кишмя кишат народом.
С закатных врат под Марсовой защитой
Въезжает сотня, что пришла с Арситой.
Под алым стягом выступает он.
И в тот же миг с востока Паламон
Вступает в круг с лицом и видом смелым —
Венерин паладин под стягом белым.
Хоть обыщи весь мир и вдоль и вкось,
Тебе бы отыскать не удалось
Других дружин, столь сходных меж собой;
Признал бы, думаю, знаток любой,
Что были в них все качества равны:
И доблести, и возраст, и чины —
Подобраны все были так, как надо.
Их всех построили тотчас в два ряда
И имена прочли, чтоб знать по чести
И без обмана, что их ровно двести.
Закрыли круг, и клич пошел вдоль строя:
«Свой долг свершите, юные герои!»

Пролог мельника

Герольды уж не ездят взад-вперед,
Гремит труба, и в бой рожок зовет.
Вот в западной дружине и в восточной
Втыкаются древки в упоры прочно,
Вонзился шип преострый в конский бок,
Тут видно, кто боец и кто ездок.
О толстый щит ломается копье.
Боец под грудью чует острие.
На двадцать футов бьют обломки ввысь...
Вот, серебра светлей, мечи взвились,
Шишак в куски раздроблен и расшит,
Потоком красным грозно кровь бежит.
Здесь кость разбита тяжкой булавою,
А там ворвался витязь в гущу боя.
Споткнулся дюжий конь, что несся вскачь.
Тот под ноги другим летит, как мяч,
А этот на врага идет с древком.
Вот рухнул конь на землю с седоком.
Один пронзен насквозь и взят в полон
И. горемыка, к вехам отведен,
Чтоб ждать конца, как правила гласят;
Другой противной стороною взят.
Бой прерывал владыка не однажды
Для отдыха и утоленья жажды.
Фиванцы оба в этот день нередко
Встречались там, разя друг друга метко;
С коней друг друга сбросили на поле.
Такой тигрицы нет в Галадском доле
(Хоть у нее тигренка отнимите),
Что лютостью равнялась бы Арсите,
Чье сердце распалил ревнивый гнев.
Найдется вряд ли в Бельмарии лев,
Что, голодом иль псами разъярен,
Так крови жаждал бы, как Паламон
Убить врага Арситу жаждал яро.
На шлемы злые рушились удары,
Струею алой кровь текла с бойцов.
Но есть всему предел в конце концов.
Еще не село солнце на покой,
Как царь Эметрий налетел стрелой
На Паламона, что с Арситой бился,—
И в тело глубоко клинок вонзился.
Вмиг двадцатью был схвачен Паламон

И силою за вехи отведен.
На выручку ему Ликург спешит,
Могучий царь, но тут же наземь сбит.
Эметрий сам, хоть слыл за силача,
С коня слетает на длину меча:
То сшиб его до плена Паламон.
Но все напрасно: взят герой в полон.
Ему отвага тут не пособила;
Он должен плен снести: ведь держит сила,
А также уговор первоначальный...
Страдает тяжко Паламон печальный!
Уже не в силах он продолжить спор...
Едва Тезей на поле бросил взор,
Дружинам, что сражались меж собой,
Он крикнул: «Эй! Довольно! Кончен бой!
Я — беспристрастен, суд мой — справедлив.
Эмилию Арсита, князь из Фив,
Получит; честно выиграл он бой».
Тут поднялся в толпе восторг такой,
Так загудел широкий круг арены,
Что вот, казалось, сокрушатся стены.
А что владычица любви Венера
На это скажет? В горести без меры,
Она теперь рыдает так со зла,
Что даже цирк слезами залила.
«Посрамлена я, в том сомненья нет!»
«Дочь, успокойся,— ей Сатурн в ответ.—
Марс победил, и рад его боец,
Но ты, клянусь, осилишь под конец».
Тут подняли герольды кверху трубы
И музыкой, торжественной сугубо,
Хвалу воздали славному Арсите...
Но будьте-ка потише и внемлите:
Вот что внезапно там стряслось затем.
Арсита лютый отвязал свой шлем
И на коне, чтоб всем явить свой лик,
Чрез всю арену скачет напрямик,
Подняв глаза к Эмилиной ложе.
Та нежным взором отвечает тоже
(Ведь вообще благоволенье дам
Всегда идет за счастьем по пятам),
Уж льнет она к нему душой и взглядом...
Вдруг фурия, извергнутая адом,

Из-под земли явилась от Плутона
По происка Сатурна. Конь с разгона
Шарахнулся и рухнул на песок.
Арсита и одуматься не мог,
Как вдруг был оземь сброшен головой,
Вот на песке лежит он чуть живой:
Лукой седельной грудь его разбита.
Кровь бросилась в лицо, и стал Арсита
Вороньих перьев, угольев черней.
С арены с плачем горестным скорей
Несут его в Тезеевы палаты.
Чтоб с тела снять, пришлось разрезать латы;
Уложен он на мягкую постель —
Он жив еще и в памяти досель.
Свою Эмилию зовет все время.
Тезей со свитой и гостями всеми
Немедленно отправился назад
С великой пышностью в свой стольный град.
Хотя беда случилась, как на грех,
Но не желал он опечалить всех;
К тому ж все полагали, что жених
Излечится от страшных ран своих.
Еще и то им сердце веселит,
Что не был там никто из них убит.
Все ранены; один лишь тяжело,
Сквозь кость грудную острие прошло.
От прочих ран, поломов рук и ног
Кому бальзам, кому колдун помог.
Пьют зелия, настойки и шалфей.
Ведь жизнью кто не дорожит своей,
А знатный герцог всем им воздает
По мере сил и помощь и почет.
Всю эту ночь пропировал Тезей
В кругу приехавших к нему князей,
И, кроме игр военных и турнира,
Меж них ничто не нарушало мира,
Ничто обиды не рождало жгучей:
Упасть с коня — ведь это только случай,
И случай — к вехам удалиться с поля,
Когда хватают двадцать или боле
Вас одного, и нет у вас подмоги,
И держат вас за руки и за ноги,
И палкой лупят вашего коня,

С арены прочь его в обоз гоня;
Для рыцаря нет посрамленья в том;
Никто его не назовет трусом.
Итак, Тезей велел кричать по граду,
Чтоб все забыли зависть и досаду,
Что отличились обе стороны
И, словно сестры, в доблести равны.
Когда он роздал по чинам дары,
Три полных дня шли игры и пиры.
Царей сопроводил он за ворота
На день пути для вящего почета.
И все вернулись по прямым дорогам,
Звучало только: «Добрый путь» и «С богом».
Теперь от боя мне вы разрешите
Вернуться к Паламону и Арсите.
Все больше пухнет у Арситы грудь,
И язва к сердцу пролагает путь,
Свернулась кровь, всем лекарям назло,
И отравленье в глубину пошло.
Не помогают банки и ланцет,
И от целебных зелий пользы нет.
Животной силы, названной природной
За свойство вытеснять весь груз негодный,
Не стало в нем, чтоб вон извергнуть гной.
Раздулись бронхи, на груди больной
Уже не может мышечная сеть
Гниения и яда одолеть.
Слабительных и рвотных средств уж нет,
Чтоб уничтожить гноя страшный вред;
Раздроблены все раненые части.
Природа тут своей лишилась власти.
А раз природа потеряла силу —
Прощай, наука! Надо рыть могилу.
Итак, Арсита должен ждать конца.
И шлет он за Эмилией гонца,
А также и за братом дорогим.
Послушайте, что́ он промолвил им:
«Не в силах жалкий дух в груди моей
Пересказать и доли всех скорбей
Вам, госпоже над всеми дорогой;
Но дух свой завещаю вам одной,
Из всех людей владейте им одна,
Раз жизнь моя закончиться должна.

Увы, о скорбь! Увы, о мука злая!
Я из-за вас давно терплю, страдая.
Увы, о смерть! Эмилия, увы!
Со мной навеки расстаетесь вы!
Рок не судил нам общего удела,
Царица сердца и убийца тела!
Что́ жизнь? И почему к ней люди жадны?
Сегодня с милой, завтра в бездне хладной!
Один как перст схожу в могилу я,
Прощай, прощай, Эмилия моя!
Сожми меня в объятьях горячо
И выслушай, что я скажу еще.
Мы с Паламоном-братом с давних пор
Вели борьбу великую и спор
Из-за любви и ревности своей.
Юпитер пусть научит, как верней
Мне все поведать о служенье даме
Со всеми надлежащими чертами,
А это — верность, честь и знатность рода,
Смиренье, ум и доблесть и свобода,
И сан, и все, что нужно в ратном поле.
Пускай Юпитер не получит доли
В душе моей, коль есть на свете воин,
Что так, как Паламон, любви достоин.
Тебе служить он мнит венцом всех благ,
И если ты вступить захочешь в брак,
О Паламоне вспомни, честном муже...»
Тут речь Арситы стала течь все хуже.
Смертельный холод поднялся от ног
К его груди, и бедный изнемог.
В его руках ослабла вслед за тем
Живая мощь и скрылась вдруг совсем.
Сознание, что направляло тело
Из горестного сердца, онемело,
Когда для сердца пробил смертный час.
Потом дыханье сперлось, взор угас.
От дамы глаз не мог он отвести.
Последний вздох: «Эмилия, прости!» —
И дух, сменив свой дом, помчался к краю,
Где не был я; где этот край — не знаю.
Итак, молчу; ведь я не иерей,
Которому уделы душ ясней.
И не хочу я излагать все мненья

Писавших про загробные селенья.
Арситы нет. Марс, душу упокой!
К Эмилии рассказ вернется мой.
Эмилия вскричала, скорбный глас
Возвысил Паламон. Тезей тотчас
Сестру без чувств унес от тела прочь.
Описывать ли мне, как день и ночь
Она скорбит, встречая плачем зори?
Ведь все супруги предаются горю,
Когда мужья от них уходят вдаль:
Их всех томит великая печаль,
А многие, не выдержавши мук,
Венчают смертью тяжкий свой недуг.
Безмерна скорбь, и слез поток безбрежен
У тех, кто стар, и тех, чей возраст нежен,
В Афинах всюду; все — и стар и млад —
О павшем юном рыцаре скорбят.
Ручаюсь вам, не так был страшен стон,
Когда убитый Гектор был внесен
В троянский град. В Афинах скорбь царит.
Терзанье кос, царапанье ланит.
«Зачем ты умер,— жены голосят,—
Эмилией любим, казной богат!»
Никто не мог унять тоску Тезея,
Опричь отца, маститого Эгея.
Он знал всех дел земных круговорот
И видел их падение и взлет —
Грусть после смеха, после горя смех.
И притчи знал для обстоятельств всех.
Он молвил так: «Из жителей могил
Любой на свете хоть немного жил,
И так же всякий, кто на свет рожден,
В свой срок покинуть мир сей принужден.
Что этот мир, как не долина тьмы,
Где, словно странники, блуждаем мы?
Для отдыха нам смерть дана от бога».
Об этом говорил еще он много,—
Все для того, чтоб вразумить людей,
Заставить их утешиться скорей.
Тезея между тем томит забота,
Где сделать, для воздания почета,
Последнее Арсите торжество,
Согласное со званием его.

И наконец решенье принял он,
Что в месте, где с Арситой Паламон
Из-за любви затеял бой нещадный,
В той рощице, зеленой и отрадной,
Где юноша мечты свои укрыл,
Где сетовал и охлаждал свой пыл,
Свершиться должен горестный обряд:
Пусть там останки на костре сгорят.
Повелевает герцог бить-рубить
Столетние дубы и в ряд сложить
Шпалерами, чтоб их огонь зажег.
Клевреты скачут иль не слыша ног
Бегут, куда послал их господин.
А он велел доставить паланкин
И весь устлать парчою золотой,
Ценнейшею из тех, что в кладовой.
Арситу обрядили в те же ткани,
Надев перчатки белые на длани,
Зеленым лавром увенчав чело.
В деснице острый меч горит светло,
А лик открыт под сенью катафалка.
Тезей рыдает так, что слушать жалко.
Чтоб весь народ Арситу видеть мог,
При свете дня его внесли в чертог,
Где слышен неумолчный крик и стон.
И вот фиванец скорбный Паламон,
С брадой косматой, с пеплом в волосах,
Вошел туда весь в черном и в слезах.
Коль не считать Эмилии печальной,
Он всех несчастней в свите погребальной.
Чтоб был обряд богаче и пышней,
Как для вельможи высших степеней,
Тезей велел трех скакунов богатых
Вести вослед в стальных блестящих латах,
Украшенных Арситиным гербом.
На белых крупных скакунах верхом —
Три всадника. Один копье держал,
Другой Арситин щит в десницу взял,
А третий вез турецкий лук героя
(Колчан при луке — золото литое).
Послушайте, как все происходило.
Все едут к роще тихо и уныло.
Знатнейшие всей греческой земли

Носилки с телом на плечах несли.
Нетверд их шаг, суров и влажен взгляд.
Идут по главной улице чрез град,
Что в черном весь до самых крыш домов,
И улицу такой же скрыл покров.
У тела справа шел старик Эгей,
А по другую руку — вождь Тезей,
Неся златые чаши пред народом
С вином и кровью, молоком и медом.
Шел Паламон среди большой дружины,
За ним Эмилия, полна кручины,
Несла огонь: обычаем тех дней
Обряд сожженья был поручен ей.
С большим трудом, при пышном ритуале
Священный одр Арсите воздвигали.
Главой зеленой в твердь ушел костер,
На двадцать сажен руки он простер —
Столь, значит, были ветки широки.
Соломы клали целые вьюки.
Ни как костер уложен был сполна;
Ни как деревьям были имена
(Дуб, ель, береза, тополь, терн, платан,
Лавенда, ива, явор, букс, каштан,
Вяз, бук, орех, тис, ясень, липа, клен);
Ни как рубили их для похорон;
Ни как засуетились божества,
Когда пришлось покинуть дерева,
Где жизнь текла их, полная отрады,—
Все нимфы, фавны и гамадриады;
Ни как бежали в страхе зверь и птица,
Когда деревья начали валиться;
Ни как объял испуг чащобу эту,
Что не привыкла к солнечному свету;
Ни как солому клали, слой на слой;
Ни как раскалывали лес сухой,
Затем бросали пряности и хвою
И самоцветы с тканью парчевою;
Ни как повис венков душистых ряд;
Ни как струился мирры аромат;
Ни как среди костра лежал Арсита,
Блестящим светом роскоши залитый;
Ни как, по чину древних похорон,
Рукой Эмильи был костер зажжен;

Ни как она, поднесши трут, сомлела
И что-то молвила, взглянув на тело;
Ни как бросали в пламя вещи в дар,
Когда огня распламенился жар;
Ни как одни кидали щит, копье,
Другие — одеяние свое,
Мед, молоко или вино из чаши
В костер, что полыхал все выше, краше;
Ни как большой толпой во весь опор
Три раза слева обскакав костер,
Три раза греки вскрикнули в печали,
Три раза копья с грохотом подъяли
И трижды жены подымали вой;
Ни как везли Эмилию домой,
И хладным пеплом стал Арситы прах,
Ни как всю ночь стояли на часах,
А после к играм обратились снова,—
Об этом всем я не скажу ни слова,
Как и о том, кто там, борясь нагим
И намащенным, был непобедим,
И как затем, окончивши игру,
Вернулись все в Афины поутру...
Я к самой сути возвращусь сейчас,
Чтобы закончить длинный свой рассказ.

Когда прошло довольно много лет,
Стал грекам вновь желанен солнца свет.
По общему меж ними уговору,
В Афинах, мнится, был совет в ту пору,
Что обсуждал различные дела,
И, между прочим, речь о том зашла,
Чтоб, разные союзы заключив,
Добиться полной верности от Фив.
И вот великий властелин Тезей
За славным Паламоном шлет людей,
И тот, не зная цели и причины,
Весь в черном платье, полон злой кручины,
На зов вождя великого спешит,
А тот призвать Эмилию велит.

Уселись все, и стих гудевший зал;
Тезей сперва немного пережда́л,
Не в силах слово из груди извлечь,
Потом повел к собранью тихо речь.
Вздохнув слегка, со взором, полным боли,

Он августейшую поведал волю:
«Великий Перводвигатель небесный,
Создав впервые цепь любви прелестной
С высокой целью, с действием благим,
Причину знал и смысл делам своим:
Любви прелестной цепью он сковал
Персть, воздух и огонь и моря вал,
Чтобы вовек не разошлись они.
И тот же Двигатель в седые дни
Установил своей святою волей
Известный срок — вот столько и не боле,—
Для всякого, кто женщиной рожден,
И этот срок не может быть прейден;
Порою может он лишь сокращаться.
Ни на кого не буду я ссылаться:
То опытом доказано давно.
Мной будет только следствие дано.
Поняв порядок сей, мы заключим,
Что Двигатель вовек несокрушим.
Часть целым обусловлена: кому
Неведомо об этом, враг уму.
Вселенная, быв хаосом сперва,
Не из обломков вышла вещества,
А из основы вечной, совершенной
И, только вниз спустившись, стала бренной.
А провиденье в мудрости благой
Столь благолепный учредило строй,
Что виды и движенья всех вещей
Должны всегда сменяться в жизни сей;
Они не вечны — это непреложно,
Увидеть это даже глазом можно.
Дуб, например: растет он долгий срок,
С тех пор как из земли пустил росток;
Вы видите, как долго он живет;
Но все же ствол в конце концов сгниет.
Взгляните вы на камень при дороге,
Который трут и топчут наши ноги:
И он когда-нибудь свой кончит век.
Как часто сохнут русла мощных рек!
Как пышные мертвеют города!
Всему предел имеется всегда.
Мы то же зрим у женщин и мужчин:
Из двух житейских возрастов в один

(Иль в старости, иль в цвете юных лет)
Король и паж — все покидают свет.
Кто на кровати, кто на дне морском,
Кто в поле (сами знаете о том).
Спасенья нет: всех ждет последний путь,
Всяк должен умереть когда-нибудь.
Кто всем вершит? Юпитер-властелин;
Он царь всего, причина всех причин.
Юпитеровой воле все подвластно,
Что из него рождается всечасно,
И ни одно живое существо
В борьбе не может одолеть его.
Не в том ли вся премудрость, бог свидетель,
Чтоб из нужды нам сделать добродетель,
Приемля неизбежную беду,
Как рок, что всем написан на роду?
А тот, кто ропщет,— разуменьем слаб
И супротив творца мятежный раб.
Поистине, прекрасней чести нет,
Чем доблестно скончаться в цвете лет.
Уверенным, что оказал услугу
Ты славою своей себе и другу.
Приятней вдвое для твоих друзей,
Коль испустил ты дух во славе всей,
Чем если ты поблек от дряхлых лет
И всеми позабыт покинул свет.
Всего почетней пред молвой людской
В расцвете славы обрести покой.
Упрямец только будет спорить с этим.
Чего ж мы ропщем? С гордостью отметим,
Что наш Арсита, ратоборцев цвет,
Исполнив долг, покинул с честью свет
И этой жизни грязный каземат.
Зачем, любя его, жена и брат
Его счастливую судьбу хулят?
Он благодарен им? О нет, навряд.
И душу друга и себя позоря,
Они досель унять не могут горя.
Из длинной речи что же извлеку?
Одно: пусть радость сменит им тоску.
За милость мы Юпитера восславим
И, прежде чем сии места оставим,
Мгновенно сделаем из двух скорбей

Одно блаженство до скончанья дней.
Смотрите ж: где всего сильней страданье,
Оттуда и начну я врачеванье.
Сестра, мое решенье таково:
С согласия совета моего,
Пусть Паламон, ваш рыцарь, что примерно
Вам сердцем всем и силой служит верно
И так служил с тех пор, как знает вас,
Любовью вашей взыщется в сей час.
Отныне муж вам юноша прекрасный.
Мне дайте руку в том, что вы согласны.
По-женски будьте кротки, а не строги:
Ведь он — племянник царский, видят боги
Но если бы простой вассал он был,
Ведь то, что столько лет он вам служил
И столько ради вас терпел тягот,
Вы, верьте мне, должны принять в расчет.
Не знает милость никаких препон».
А рыцарю он молвил: «Паламон,
Вам увещанья надобны едва ли,
Чтобы на это вы согласье дали,
Приблизьтесь и подайте руку даме.
Согласие моих баронов с вами».
Тут узами, которым имя брак,
Связали их; для жизни, полной благ,
С веселием под нежных лютней звон
С Эмильей повенчался Паламон.
О, если б бог-зиждитель так дарил
Любовь всем тем, кто так ее купил!
Наш Паламон, блажен своей любовью,
Живет в богатстве, радости, здоровье.
Эмилией любим он столь же нежно
И служит ей по-рыцарски прилежно,
И нет меж ними ни худого слова,
Ни ревности, ни спора никакого.
О Паламоне кончен мой рассказ,
И да хранит господь всевышний нас!

Здесь кончается рассказ Рыцаря

ПРОЛОГ МЕЛЬНИКА

Следуют слова, коими обменялись
Трактирщик и Мельник

Когда закончил рыцарь свой рассказ,
И юные и старые средь нас
Одобрили все выдумку его
За благородство и за мастерство.
Рассказ его, мол, каждому занятен,
А особливо тем из нас, кто знатен.
Но тут трактирщик всех прервал божбой:
«Ах, черт! А ведь пошло! Очаг я свой
Разжег на славу. Вертел знай крути!
Теперь историей нас угости
Ты, сэр монах. Начни и тут же, разом,
Его ты переплюнь своим рассказом».
Но мельник яростно разбушевался,
Он пьян был вдрызг; как он в седле держался,
В толк не возьму. Да и вообще нахал
Он был, буян и шапки не ломал
Ни перед кем, а тут как разорался —
Без удержу клялся он и ругался.
«Мне слово дай, и слов я наскребу
И рыцарев рассказ перешибу.
Ты не гляди, что я мужлан негодный,—
Я вам припас рассказец благородный».
Трактирщик молвил, видя, что он пьян:
«Послушай, Робин, ты хоть и буян,

А все держись-ка, знаешь, поскромнее,
Не то получишь тумака по шее».
«А! В крест и в душу! — мельник завопил.—
Ты хочешь, чтоб тебя я проучил?»
«Идет, рассказывай, будь ты неладен.
Ты думаешь, что мы с тобой не сладим?»
«Так слушайте же,— мельник заорал,—
Готов брехать, лишь бы монах не врал.
Не дуйтесь так. Хоть я, конечно, пьян,
Но пьяница все лучше, чем болван.
Коль ляпну что,— виной тому не хмель,
А твой, хозяин, препаршивый эль,
И если слов я всех не позабуду,
Про плотника и про жену здесь буду
Рассказывать и как ее студент
Увел и обольстил в один момент».
«Ну, ну, не очень-то ты чертыхайся
И сквернословием не увлекайся,—
Его одернул желчный мажордом.—
Ведь этот пьяница, когда захочет,
Он каждого ругнет иль опорочит.
Ну, что тебе марать всех женщин честь?
Ведь, право ж, и другие темы есть».
На это мельник возопил в ответ:
«Дражайший брат мой Освальд, нет и нет.
Ты прав лишь в том, что тот, кто не женат,
Тот, следственно, не может быть рогат.
Но ведь женат ты,— значит, кто же прав?
А я уж знаю женский слабый нрав.
Из жен верна на тысячу одна.
Но на кой бес такая мне жена?
Ты знаешь сам, на что уж ты святоша,
Как тяжела такого брака ноша.
Чего ты взъелся так на мой рассказ?
Я сам женат и был женат не раз.
Да ведь как будто бы и ты женат?
Так вот. Быть может, трижды я рогат
И ты рогат не раз. Беда какая!
В таких делах — покуда мы не знаем
Всего наверно — нечего спешить:
Рога всегда успеешь нацепить.
Попы твердят, что велика, мол, тайна,—
Так без нужды не испытуй без крайней

Господню тайну и тайник жены,
Беды в том нет, что утечет избыток
Воды из пруда,— это не корыто,
И он опять с краями натечет.
А как? Уж это как господь пошлет».
И тут плотину мельника размыло,
И нас потоком буйным захватило,
И удержать его никто не мог.
Едва ли мне удастся сей поток
В русло ввести пристойными словами,—
Я в том винюсь смиренно перед вами.
Но что мне делать: правду передать
Иль все с начала лживо сочинять?
Поэтому кого из вас коробит
Скоромное, пусть важной той особе
Не кажется, что озорству я рад.
Переверни страницу,— дивный сад
Откроется, и в нем, как будто в вазах,
Старинных былей, благородных сказок,
Святых преданий драгоценный клад.
Сам выбирай, а я не виноват,
Что мельник мелет вздор, что мажордом,
Ему назло, не уступает в том.
Не ступит шагу без божбы и брани.
Я вас хочу предупредить заране:
Добра скоромного здесь целый воз;
Но шуток тех не принимай всерьез.

РАССКАЗ МЕЛЬНИКА

Здесь начинает Мельник свой рассказ

Однажды жил в Оксфорде некий плотник,
По дереву он знатный был работник,
Но, хоть достаток был его не мал,
Он в дом к себе нахлебников пускал.
Жил у него один школяр смышленый,
Ученьем неустанным изможденный.
Бывало, сутки он не пьет, не ест,
До дыр читает ветхий Альмагест.
Он всем семи искусствам обучился
И в астрономию весь погрузился.
Посредством уравнений, теорем
Он уйму всяких разрешал проблем:
И засуху предсказывал, и ливни.
Поистине, его познанья дивны
Казалися в ту пору для всех нас.
А звали клерка — Душка Николас.
Он знал ловушки всякие, секреты
Любви сокрытой, знал ее приметы,
Но, все ее уловки изучив,
Как девушка, был скромен и стыдлив.
Он поселился в горнице особой.
Следил прилежно за своей особой.
Душился крепко и благоухал,
Как с корнем валерьяновым фиал.
И горница, сияя чистотою,
Пропахла вся душистою травою.

Он полки примостил у изголовья,
И там, расставленные им с любовью,
В ряду с деяньями святых отцов
Стояли книги древних мудрецов.
Необходимы для его работы,
Там были астролябия и счеты.
Комод был красным полотном покрыт,
И лютня — друг, что сердце веселит,—
Над ним в чехле на гвоздике висела.
И «Angelus ad virginem»[1] с ней пел он,
И песни светские. Так проводил
Школяр тот время и беспечно жил.
Когда же денег из дому не слали,
Провизией друзья его снабжали.

А вдовый плотник сызнова женился.
Как никогда в жену свою влюбился,
Когда ей восемнадцать лет минуло.
При сватовстве он щедр был на посулы,
Теперь ее он страстно ревновал
И в комнатах безвыходно держал.
Она была юна и своенравна,
А он старик, и этот брак неравный
Ему сулил, он знал и сам, рога.
Не допустить старался он врага
К жене своей. Простак не знал Катона,
Который написал во время оно:
«Жениться следует ровне с ровней,
И однолеткам в паре быть одной».
Попав, однако, в старую ловушку,
Он не пролить старался счастья кружку.

Она была стройна, гибка, красива,
Бойка, что белка, и, что вьюн, игрива.
На ней был пояс, вышитый шелками,
И фартук стан ей облегал волнами
Как кипень белыми. А безрукавка
В узорах пестрых. На сорочке вставки
Нарядные и спереди и сзади.
Коса черна, что ворон на ограде.
Завязки чепчика того же цвета;
И лента шелковая, в нем продета,
На лбу придерживала волоса;

[1] «Ангел к пречистой» *(лат.)*.

Волной кудрявою вилась коса.
Глаза ее живым огнем сияли;
Чтоб брови глаз дугою огибали,
Она выщипывала волоски,
И вот, как ниточки, они узки
И круты стали. Так была нарядна,
Что было на нее смотреть отрадно.
Нежна, что пух, прозрачна на свету,
Что яблоня весенняя в цвету.
У пояса, украшена кругом
Шелками и точеным янтарем,
Висела сумка. Не было другой
Во всем Оксфорде девушки такой.
Монетой новой чистого металла
Она, смеясь, искрилась и блистала.
Был голосок ее так свеж и звонок,
Что ей из клетки отвечал щегленок.
Дыханье сладко было, словно мед
Иль запах яблок редкостных пород.
Как необъезженная кобылица,
Шалить она любила и резвиться.
Пряма, что мачта, и гибка, что трость,
Была она. Не щит — резная кость
Огромной брошки ей была защита.
Была высоко, туго перевита
Завязками нарядных башмачков
Лодыжка тонкая. Для знатоков
Она прелакомый была кусочек,
Могла б затмить легко баронских дочек,
Позора ложе с лордом разделить,
Могла б она женой примерной быть
Какого-нибудь йомена, который
По возрасту пришелся бы ей впору.
И вот, друзья, случилось как-то раз,
Завел возню с ней Душка Николас
(Весь день тот был супруг ее в отлучке).
Сначала приложился Душка к ручке,
Но дальше — больше, волю дал рукам
(Умел он ублажать девиц и дам):
«О, утоли любви моей томленье,
Непереносны от тебя мученья!»
Вздохнул и обнял клерк ее за талью;
«О милая, я изойду печалью!»

Но, как кобыла, что, ярмо почуя,
Брыкнет, взовьется разом, негодуя,
И, отбежав, оцепенеет вдруг,
Она рванулась у него из рук.
«Нет, нет, тебе не дам я поцелуя.
Пусти меня сейчас же! Закричу я!
Прочь руки, говорю тебе, и встань!»
Тут Николас свою отдернул длань,
Но так умильно начал он ласкаться
И убеждать, просить и извиняться,
Что под конец, склонясь к его мольбам,
Стенаниям, и смеху, и слезам,
Она любую милость обещала,
Но не сейчас. «Супруг мой,— объясняла
Она при этом,— бешено ревнив,
И надо, нетерпенье победив,
Ждать случая, не то меня убьет,
Коль ненароком вместе нас найдет!»
А он в ответ: «На что школяр годится,
Коль плотника надуть не изловчится?»
Но все-таки на том и порешили,
Что надо ждать, немного поостыли,
И на прощанье снова Николас,
Обняв ее за талью, много раз
В уста поцеловал, потом, взяв лютню,
Стал воспевать вино, любовь и плутни.
Вот снова наступило воскресенье,
И, получив от мужа позволенье,
Пошла она, нарядна и чиста,
К обедне — славить господа Христа,
Ведь каждый раз, как хлопоты кончала,
Она до блеска шею оттирала
И в церковь шла, сияя, словно день,
Стряхнув забот и огорчений тень.
А там с амвона возглашал псалом
Причетник молодой, Авессалом.
Кудрей льняных сияющая грива
Ему ложилась на плечи красиво,
И чист был ровный и прямой пробор,
А серых глаз неотразим был взор,
И рядом с ними меркли свечи, тухли.
Носил всегда он вырезные туфли.
Что так нарядны были и мягки;

Предпочитал он красные чулки.
Любил наряд изысканный и чистый:
Подрясник синевато-серебристый
И густо изукрашенный шнуром,
Стихарь с нашитым на него крестом,
Весь белоснежный, как бутон на ветке.
Он весельчак был и красавец редкий,
Умел он кровь пустить, постричь, побрить,
Составить просьбу, опись учинить,
Знал он всех танцев сложные фигуры,
Поклоны, выверты и позитуры.
Как их в Оксфорде принято плясать;
На скрипке мог он песенку сыграть,
Пел дискантом, пуская громко трели,
И посещал таверны и бордели.
Он, не смутясь, входил в веселый дом,
Но был конфузлив кое в чем ином:
Не выпускал он ветра на простор,
Не ввязывался в вольный разговор.
С кадилом шел он в церкви по рядам,
Испепеляя взором многих дам,
Но видел он лишь плотника жену,
Любил ее, хотел ее одну.
Глядеть, и то какая сердцу радость,
Побыть же с ней — немыслимая сладость!
Ему она казалася Венерой;
Будь он котом, она же мышью серой,—
Расправился бы с нею он тотчас,
Но превосходство укрощает нас.
Носил он в сердце к ней любовь такую,
Что и взглянуть не мог бы на другую:
Хотя б сама ему навстречу шла,
Она б одно презренье в нем нашла.
Лишь поднялась на небосвод луна,—
Не находя ни отдыха, ни сна,
С гитарой вышел он, в надежде смутной
Расшевелить в красавице минутный
Порыв сочувствия, коль не любви;
И, подавляя полымя в крови,
Приблизился он к плотникову дому,
Он всю любовь и всю свою истому,
Все обожание и тягу к ней
Вложил в куплеты песенки своей.

Лишь только замолчали петухи,
Как голосом, от робости глухим,
Запел он первые свои куплеты.
Подобные слагали все поэты:
«К моей любви, миледи, снизойдите
И жалостью своею подарите».
И струны он слегка перебирал,
Проснулся плотник, песню услыхал
И прошептал жене: «Эй, Алисон!
Ты слышишь, как мяучит Абсолон,
И, кажется, у нашего забора?»
«Ну, этакого не страшусь я вора»,—
Так, не смущаясь, не боясь нимало,
Ему жена сердито отвечала.
И вот пошло день ото дня все хуже,
Авессалом увяз, как боров в луже.
Так рьяно он любимой домогался,
Что все забыл, бедняк, всего чуждался.
Не спал ни часа он ни днем, ни ночью,
Волос вычесывал гребенкой клочья,
А все чесал их, все-то наряжался,
Он через своден к милой обращался,
Он трели выводил, как соловей;
Быть скромным пажем обещался ей;
Он посылал ей пряное вино,
Чтоб кровь ей будоражило оно.
И пряники, и вафли, и конфеты,
И золотые звонкие монеты —
Приманку для ее ушей и ока.
Он знал: чтобы увлечь на путь порока,
Пригодны разнородные пути:
Любого можно лестью обойти,
Смирить ударами, склонить смиреньем.
И он старался с неослабным рвеньем
Всем угождать красавице своей.
Роль Ирода не раз он перед ней
Играл в мираклях,— все не помогало
И отклика у милой не встречало:
Так нравился ей Душка Николас.
Авессалом остался в этот раз
С предлинным носом. Так ему и надо.
На все старания — в ответ досада;
Все рвение — одна забава ей.

Его игрушкою считать своей
Она привыкла. Говорит присловье:
«Далекому не одолеть в любови,
Когда сосед-искусник завелся».
И как псаломщик к милой ни рвался,
А Николас был ей стократ милее.
Что ж, Николас, гляди же веселее!
И вот однажды, в самую субботу,
Когда супруг отправился работать,
Договорилась милая с дружком,
И порешили, наконец, на том,
Что Николас супруга одурачит
И что тогда же, в случае удачи,
Они в постели вечер проведут.
И стал готовиться к проделке плут:
Отнес тайком к себе наверх в светлицу
Запас еды, которым прокормиться
Дня два он мог, и Алисон сказал,
Чтобы никто решительно не знал
Об этом в доме, что недуг, мол, гложет
Его жестокий, что никто не может
Докликаться его, все нет ответа,
И что становится ей странно это;
Весь день в субботу он не выходил
И в воскресенье дверь не отворил,
Лежал в своей постели, пил и ел
И про себя тихонько песни пел.
И растревожился миляга плотник:
«Как, он не выходил весь день субботний?
Наверняка, клянусь святым Томасом,
Недоброе слу́чилось с Николасом!
А вдруг пожрал его огонь геенны?
Во всем, глядишь, такие перемены.
Гроб отнесли сегодня на погост.
А мы с покойником рубили мост
Еще в четверг.— И приказал мальчишке: —
Иди, пострел, к светлице, там, на вышке,
Кричи, стучи, хоть камнем, хоть ногою,
Тогда жилец, наверное, откроет,
Коль жив еще, ну, а коль умер он...»
И тут такой раздался стук и звон,
Что и в гробу проснулся бы покойный.
А в горнице все тихо и спокойно,

И все сильней дубасил озорник:
«Да напились вы, что ли, мистер Ник?
Ну можно ль спать без перерыва сутки?
Хозяин сердится на эти шутки».
Опять молчание, ну как в гробу.
Он приналег, тряхнул рукой скобу,—
Не поддается. Тут нашел лазейку
Кошачью он. Но поглядеть посмей-ка!
Все ж, наконец, мальчишка осмелел.
Прилег на брюхо, в дырку поглядел
И видит: Николас сидит в кровати,
Он в колпаке и в вышитом халате,
И вверх глазеет он, разиня рот,
На гребень крыши, где мяучит кот
И месяц новый рогом зацепился
За край трубы и набок покосился.
Все рассказать сбежал мальчишка вниз,
И плотник с горя тут совсем раскис
И принялся и ахать, и дивиться,
И уверять: он знал, что так случится.
«Спаси его, святая Фридесвида!
Такой был скромный и пригожий с вида,
Вот астроломия к чему приводит:
Всегда с ума она безумцев сводит.
Нет доступа нам к божиим секретам.
Благословен, кто не мечтал об этом,
Кто входит с верою в господень дом.
Вот и другой когда-то астролом
Ходил вот этак ночью, в небо пялясь,
И хвастал, что, мол, тайны раскрывались
Ему небесные. Ходил, ходил,
Да в темноте в овраг и угодил.
Туда же, тайны раскрывать хотел он,
А ямы-то как раз недоглядел он!
Но видит бог и пресвятой Томас,
Меня печалит бедный Николас.
Пойду скажу, что это лжеученье
Его лишит надежды на спасенье.
Скорее, Робин, и тащи-ка шест,
Ведь он, бедняга, там не пьет, не ест».
И Николас им снова не ответил;
Шестом подперли дверь они, и с петель
Дверь сорвалась и рухнула в покой.

А Николас в кровати, как немой,
Сидел недвижно и глядел на небо.
Его напрасно пичкал мясом, хлебом
Добряга плотник: нем и недвижим
Студент сидел, как статуя, пред ним.
И за плечи старик его схватил,
Затряс его и в ухо завопил:
«Очнись! Меня послушай, Николас!
Не пяль ты в небо неразумных глаз,
И что это тебе, бедняк, замстило?
Чур, чур тебя, и сгинь, лихая сила!»
Он все углы подряд перекрестил,
Три раза плюнул и окно открыл
И произнес вечернее заклятье,
Которое всегда читают братья:
«О Христос пречистый! Бенедикт-угодник!
Дом наш сохраните ото зла сегодня!
Отче наш, спаси нас нынче до утра,
Утром осени нас, преславная сестра».
И Николас сказал тогда со страхом:
«Ужель весь мир пойдет так скоро прахом?»
Тут вздрогнул он и глухо застонал,
И плотник с ужасом ему внимал.
«Брось ты дурить! Побойся, милый, бога!» —
Сказал ему старик довольно строго.
«Дай мне воды! — несчастный попросил.—
Мне надо подкрепиться, нету сил
Тебе поведать, другу дорогому,
Чего я не поведал бы другому».
Спустился плотник и, принесши пива,
Стал тормошить юнца нетерпеливо.
Вот Николас полкварты враз отмерил,
Пришел в себя, приладил снова двери
И старику стал на ухо шептать:
«Тебе лишь, Джон, хочу я рассказать,
Но поклянись, что не нарушишь тайны,
Которая открылась мне случайно.
Страшнее этой тайны в свете нет!
Коль разболтаешь важный сей секрет,
Ты в наказание ума лишишься.
Клянись сейчас же, если не страшишься».
«Клянусь Христовой кровию! — простак
Ему ответил.— Но к чему ты так?

К чему все эти клятвы и условья?
Когда ты слышал, чтоб я празднословил?
Свидетель мне Христос, кем попран ад!»
«Ты знаешь, Джон, я сам теперь не рад.
Я ход ночного проследил светила,
И астрология беду открыла.
Ты думаешь, чудак я и бездельник,
Мне ж звезды говорят, что в понедельник,
В тот час, когда потухнет месяц хилый,
Такой свирепой и безумной силы
Польется ливень, что поглотит нас.
Для всех людей придет последний час,
Никто не сможет даже помолиться.
Все это в одночасье совершится».
Взмолился плотник: «Как? Ну, а жена?
Ужель погибнуть Алисон должна?
Ужели нет спасенья никакого?»
«Внемли велениям господня слова,—
Ответил Николас,— и будешь цел,
Как некогда в ковчеге уцелел
Отец наш Ной. Но не надейся, друже,
Спастись от бед и дом спасти к тому же.
Что говорил об этом Соломон?
Какой наказ всем нам оставил он?
«Внемли советам — и не пожалеешь».
Прочти сам в Притчах, коль читать умеешь.
Но если ты послушаешь меня,
То, жизнь свою от ливня сохраня,
С женою вместе будешь мной спасен
И выше всех людей превознесен,
Как новый Ной, которого всевышний
Сберег от кары, для него излишней».
«Что ж делать надо?» — плотник возопил.
«А ты не слышал,— Николас спросил,—
Что весь ковчег пойти бы мог ко дну,
Так трудно было Носву жену
В него втащить? И Ной, наш праотец,
Последних отдал бы своих овец,
Чтоб для нее иметь ковчег особый,
Тогда б без драки уцелели оба.
Поэтому теперь же должен ты,
Без промедления, без суеты
(В серьезном деле вредно это крайне),

Пророчество храня в глубокой тайне,
И в однодневный срок, никак не дольше,
Достать в пекарне три квашни побольше
Иль три бродильных чана поновей,
Чтоб в них могли мы, как в ладье своей,
Лишь сутки над волнами продержаться:
Потоп не может дольше продолжаться.
И запаси в квашнях ты провиант,
Я ж захвачу с собой в ладью секстант.
Но никому, прошу тебя, ни слова!
Спасти нельзя мне никого другого,
Ни Робина, как ни люблю его,
Ни Джиль, служанку. Спросишь — отчего?
Ответить не могу. Запрет господень.
Воздай хвалу, что богу ты угоден.
Запретной только не нарушь черты,
Иль обезумеешь сейчас же ты.
Теперь иди и заготовь бадьи те,
И вместе с Алисон их укрепите
На чердаке, но так, чтобы про то
Не догадался из друзей никто.
И про еду запомни уговор.
И каждому ты заготовь топор,
Чтобы веревку нам перерубить
И беспрепятственно на волю всплыть
Через отверстия, что надо в крыше
Заранее устроить, да повыше.
И лучше прорубить их над амбаром,
Чтоб новой крыши нам не портить даром.
Тогда всплывем мы без помехи в сад.
И вот, когда все люди завопят
От смертной муки, в лодочке своей
Ты поплывешь и не утонешь в ней.
За селезнями утицей пригожей
Всплывет и Алисон в бадейке тоже.
И крикну я: «Эй, Алисон! Эй, Джон!
Потоп прошел, нас не поглотит он».
И ты ответишь: «Отче Николае,
Ты прав, я вижу, что вода сбывает».
И будем мы владыками земли,
Какими не были и короли.
И будем править миром мы с тобою,
Как правил миром старый Ной с женою.

Еще хочу тебя предупредить:
В тот вечер постарайся не забыть,
Что лишь войдем в ладьи — конец, ни слова,
Ни шепота, ни знака никакого.
Молитвою займи греховный разум,
Так божьим мне повелено наказом,
Бадью свою подальше от жены
Повесишь ты, чтоб козни сатаны
Вас не склонили мыслью или делом
К греху, что порожден несытым телом.
Жене ни взгляда, так гласит наказ.
Ну, кажется, и все на этот раз.
Беги! Спеши! И завтра поздно ночью
Увидишь, друг мой, чудеса воочью.
Как все уснут, усядемся в бадьи
И будем ждать. И грозный бич Судьи
Не тронет нас, и вознесем хвалу мы,
Что не причислены Судьей ко злу мы.
Но не к чему тебе и назиданье:
«Послу разумному наказ — молчанье»,—
Сказал пророк. Тебя ли мне учить?
Но поспеши, иль нам в живых не быть».
Едва держась на гнущихся ногах
И под нос бормоча «увы» и «ах»,
Спустился плотник и тотчас жене
Все рассказал, лишь умолчав о дне.
Она же, зная, что все это значит,
Как закричит притворно, как заплачет!
Мол, до смерти ее он напугал.
«Беги скорей, ведь раз он обещал,
Спасемся мы. И ты спасешь нас, милый,
От ранней, незаслуженной могилы.
Иди, иди и делай, что велел он».
И за бадьями тут же полетел он.
Подумать только, что воображенье
Такое может вызвать потрясенье.
От выдумки ведь можно умереть,
И плотника нам надо пожалеть.
Он представлял себе господень суд,
Как Алисон, голубку, унесут
Потопа волны. Плакал он, дрожал
И горестные вопли испускал.
Кой-как купил он чан, квашню, бадью

И в мастерскую приволок свою.
Когда же ночь соседей усыпила,
Бадьи подвесил рядом на стропила
На чердаке и укрепил стремянки
Подъемные; водой наполнил банки
И кувшины, разлил в бутылки эль,
Нарезал хлеб и сыр, принес постель,
Чтоб не было жене в бадейке жестко.
Он в Лондон отослал слугу-подростка,
И женину спровадил он служанку,
Все это сделал плотник спозаранку,
Чтобы соседи им не помешали
И как-нибудь про ливень не узнали.
А в понедельник, еле солнце село,
Тотчас же принялись они за дело:
Закрыли окна, крепко заперлись
И на чердак все трое поднялись,
А там в бадьях, как куры на насесте,
В молчании потопа ждали вместе.
Молчали долго, и шепнул студент:
«Теперь решительный настал момент,
Молчите! Тс! И про себя прочтите
Вы «Отче наш» и трижды повторите».
«Тс!» — Джон сказал. «Тс!» — Алисон сказала,
И плотника волненье обуяло.
Сидел он тихо, «Отче наш» читал
И наступления потопа ждал.
И скоро сон сковал его глубокий.
Он позабыл запреты все и сроки
И стал браниться, плакать и вздыхать
И, вздрагивая, чан свой колыхать.
Тогда тихонько шалуны спустились
И до утра в кровати веселились,
В той самой, где трудился ночью плотник,
Хоть нерадивый часто был работник.
И к утрене давно уж зазвонили,
Псалмы монахи в церкви забубнили,
И замерцали свечи алтаря,
И на небе забрезжила заря.
Но не смолкали в спальне поцелуи,
И время провели они ликуя.
А между тем бедняк Авессалом,
Измученный томленьем, не трудом,

В харчевне Оссенейской освежался,
Где по секрету он осведомлялся,
Когда подрядом занят плотник Джон.
И от монаха вдруг услышал он,
Что не был Джон ни нынче, ни в субботу.
«Наверное, он взял еще работу,
За дранью посылал его аббат,
А с нею он воротится назад
Дня через два иль три, никак не раньше.
Иль, может быть, сидит он дома. Драпь же
Готовит Робин. А наверняка
Сказать вам не могу про старика».
Авессалом обрадовался очень,
И счастье попытать решил он ночью.
«С утра,— сказал он,— в доме никого.
Должно быть, Робин попросил его
На месте показать, как драпь готовят,
И, значит, муженек меня не словит.
Я ночью постучусь в окно их спальной,
И повесть о моей любви печальной
Я милой расскажу. Меня, как знать,
Умилостивится поцеловать.
Хоть это получу я в утешенье.
Недаром у меня в губах свербенье,—
Ведь это поцелуя верный знак.
Потом под утро, то есть натощак,
Меня во сне обедом угощали.
Пойду усну, пока не помешали.
Раз я собрался бодрствовать всю ночь».
Когда петух, стремясь заре помочь,
Лишь первый раз под утро кукарекнул
И рог луны еще на небе меркнул,
Авессалом проснулся, приоделся
И в зеркальце еще раз погляделся.
Он волосы прилежно расчесал,
Корицы, кардамона пожевал,
«Листок любовный» сунул под язык
(Он верить в снадобье сие привык)
И, добредя до плотникова дома,
Прильнул к ее окошечку резному
Так, что ему косяк вдавился в грудь,
Откашлялся, чтобы передохнуть,
И начал так: «Сладчайшая богиня,

К моей мольбе склонися ты хоть ныне,
Дыханье уст твоих мне что корица.
Души моей пресветлая денница,
Скажи хоть слово другу своему,
И мысленно тебя я обойму.
Жестокая! Ведь нет тебе заботы,
Что я ослаб не от ночной работы,
Что от тоски меня бросает в пот,
Что стражду я уж скоро целый год.
Я — что теля, от вымени отъято,
Что голубок, любовию объятый.
Мне внутренность сжигает огневица,
И ем я мало, словно я девица».
«Пойди ты прочь, напыщенный осел! —
Она ответила.— Зачем сюда пришел?
Выклянчивать улыбки, поцелуя,
Ты знаешь сам, что не тебя люблю я.
Ступай же прочь и не мешай мне спать,
Не то тебя сумею наказать».
«Увы! О, горе мне! — заохал он.—
Бывал ли так поклонник награжден?
Ну поцелуй меня хоть раз, голубка,
Узнать хочу, твои сколь сладки губки».
«Тогда уйдешь?» — спросила тут она.
«Фиал печали изопью до дна,
Но все ж послушаюсь».— «Так обожди же,
Ну, подойди к окошку, и поближе».
Авессалом к стеклу совсем приникнул,
И Николас с досады чуть не крикнул.
Но Алисон его слегка толкнула
И тихо на ухо ему шепнула:
«Тс! Тише! Будешь ты, мой друг, доволен,
И посмеемся мы с тобою вволю».
А у окна Авессалом стонал,
Но в глубине души он ликовал:
«Вот наконец предел моих желаний.
Сей поцелуй — залог ночных лобзаний.
Приди, любовь моя! Мой добрый гений!»
И встал перед окном он на колени.
«Скорей! — она ему.— Ко мне нагнись,
Пока соседи все не поднялись».
Запекшиеся облизнул он губы,
От нетерпенья застучали зубы

И забурчало громко в животе;
Руками он зашарил в темноте.
Тут Алисон окно как распахнет
И высунулась задом наперед.
И ничего простак не разбирая,
Припал к ней страстно, задницу лобзая.
Но тотчас же отпрянул он назад,
Почувствовав, что рот сей волосат.
Невзвидел света от такой беды:
У женщины ведь нету бороды.
«Фу! Что за черт! Ошибся я немножко».
«Ошибся? Да!» — и хлоп его окошком.
И повалился на землю простак.
«Ох, не могу. Ошибся он! Дурак! —
Покатывался Николас в светлице.—
Да от такого впору удавиться».
И это слышал все Авессалом
И понял, что забрался кто-то в дом.
«Ну ладно, смейтесь»,— он ворчал сквозь зубы.
Кто трет, кто оттирает рот и губы
Песком, листвой, соломой, тряпкой, пальцем?
Авессалом. Не будем над страдальцем
Смеяться мы и жалобам мешать:
«Я душу сатане готов продать,
Чтоб он помог мне с ними расквитаться.
Глупец! Глупец! Не мог я догадаться
И пакостное место оплевать!»
Тут начала любовь его сбывать
И ненавистью вскоре обратилась,
Когда представил он, что с ним случилось.
Вмиг исцелясь от своего недуга,
Неверную он клял, и клял он друга.
Как выдранный мальчишка, плакал он
При мысли, сколь позорно посрамлен.
И тошно стало тут ему до рези,
И вспомнил он о кузнеце Жервезе.
Кузнец в ту пору сошники ковал,
А ученик горнило раздувал.
Авессалом позвал его: «Жервез!»
А тот в ответ: «Кто это там прилез?»
«Да это я».— «Кто я?» — «Авессалом».
«Чего ж ты ломишься в семейный дом

В такую пору? Прямо от красотки?
Иль обалдел ты от любви и водки?
И что за спех? Иль ты не можешь лечь
И надо что-нибудь тебе прижечь?»
Авессалому было не до шуток,
Он весь дрожал, растрепан был и жуток.
«Друг дорогой,— сказал он тут Жервезу,—
Сошник горячий нужен до зарезу.
Тебе его сейчас же возвращу,
А днем в харчевне пивом угощу».
Жервез в ответ: «Хотя бы расплавлял
Я золото, а не простой металл,
И то бы другу не было отказу.
Опять затеял ты, малец, проказу.
Какую же? А ну-ка расскажи».
«Потом, мой друг. Сошник ты одолжи
Мне раскаленный». Натянув перчатку,
Он ухватил сошник за рукоятку
И поскорее побежал к окну.
А шалунов клонило уж ко сну,
Когда в стекло опять он постучал
И, горло прочищая, заперхал.
«Кто там стучит? Чей слышу разговор?
Смотри, поплатишься ты, мерзкий вор».
«Да это я, мой свет,— ответил он,—
К тебе пришел опять твой Абсолон.
Тебе принес в стихах я письмецо,
В нем золотое матери кольцо,
Прощального я жажду поцелуя.
Еще один! Кольцо тебе вручу я».
Приспичило Никласу помочиться
И вздумалось в черед свой порезвиться.
Он поднял руку и, потехе рад,
Наружу выставил свой голый зад.
Авессалом проворковал ехидно:
«Где ты, мой свет? Мне ничего не видно».
И, увлеченный на стезю проказ,
Тут разошелся Душка Николас
И выдохнул из заднего прохода
Руладу исключительного рода,
Столь громкую, что, услыхав сей гром,
Чуть устоял пред ним Авессалом.
Но, мстить стремясь за смерть своей любови,

Рассказ мельника

Сошник держа все время наготове,
Не отступил ни шага он назад
И припечатал Николасов зад.
И кожа слезла, зашипело мясо,
И ужас обессилил Николаса.
Боль нестерпимая пронзила тело,
И голосом истошным заревел он:
«Воды! Воды! На помощь мне! Воды!»
Но не избыть водой такой беды.
От вопля страшного проснулся Джон.
Он разобрал: «Вода!» — и, потрясен,
«Пришел потоп»,— подумал он в испуге,
Схватил топор и, крякнув от натуги,
Перерубил канат и рухнул вниз,
Вспугнув всех кур, и петухов, и крыс.
И, докатившись вплоть до самой двери,
Там в обморок упал. Он был уверен,
Что ум его объяла смерти тьма,
Что в наказанье он сошел с ума.
Тут Алисон и бедный Николас,
Любовный пыл которого погас,
На улицу метнулись, где соседи,
Торговцы, няньки, слуги, лорды, леди,
Чей странный вид еще скрывала ночь,
Сбежалися, чтоб старику помочь.
А он лежал весь бледный, без сознанья,
Со сломанной рукою, и стенанья
Его ужасны были. До сих пор
Переживает он былой позор.
Ведь только что он выговорил слово,
Как Алисон и Николас сурово
Его одернули, сказав, что он
Болтает вздор, что он ума лишен,
Что он, страшась какого-то потопа,
Все блоки мастерил и ладил стропы,
Купил квашню, бадью, бродильный чан,
И, умоисступленьем обуян,
Подвесил их под самые стропила;
Вчера же со слезами умолил он
Жену и друга, чтоб всю ночь они
В бадьях сидели с ним «pour compagnie» [1].

[1] За компанию *(франц.)*.

Все хохотали, полуправду слыша,
Глазели на бадью, на блок, на крышу,
Пробитую им ровно в трех местах.
И все его несчастия и страх —
Все обратилось в шутовство и шутку;
Что б ни сказал — в ответ лишь прибаутку
Всегда он слышал. Старым дураком
Его считали в городе потом.
Школяр не выдаст друга, без сомненья:
«Сошел с ума старик наш, к сожаленью».
Один шепнет, другой еще добавит,—
Кого угодно школяры ославят.
Так плотника красивая жена
Была студентом сим соблазнена;
Так был красавчик юный Абсолон
В своей назойливости посрамлен:
Во тьме облобызал ее «глазок»,
А Николасу задницу прижег.
Вам избежать такой судьбы желаю
И с божьей помощью рассказ кончаю.

Тут кончает Мельник свой рассказ

ПРОЛОГ МАЖОРДОМА

Мы все над тем шутили и смеялись,
Как Абсолон и Николас сквитались.
Свое сужденье каждый произнес,
Но, в общем, хохотали все до слез.
Один лишь Освальд, желчный мажордом,
Все недовольнее смотрел кругом.
Он сам, как помните, был раньше плотник
И плотников хулить был не охотник.
«Что ж, я б тебе мог тем же отплатить,
Когда б хотел похабником прослыть.
Но я уж стар и не хожу в ночное.
Я сеном сыт, мечтаю о покое.
Уже не веселит стакан вина,
Когда проглянет плешь иль седина.
Вы знаете, должно быть, мушмулу:
Чуть перезрела — лишь на корм ослу
Да на подстилку только и годится.
Чего нам возрастом своим кичиться?
Чуть перезрел — ложись, приятель, в гроб,
Чуть позабылся — смерть тотчас же хлоп!
А как не заплясать тут по старинке,
Когда заплачут, запоют волынки?
Ведь вот порей — старик упорный, ловкий:
Все зелен стебель при седой головке.
Хотя бывалой силы не вернуть,
А хочется той силой прихвастнуть.
В костре потухшем, средь золы, все тлеют
Четыре угля; жгут они все злее:

Ложь, хвастовство, придирчивость и скупость —
Вот угли те, их раздувает глупость.
Хоть тело наше немощей полно,
А похоть старая твердит одно.
И я, на что уж стал я слаб и скуп,
И то сберег свой жеребячий зуб.
Хотя с рожденья живоносный кран
Природой мне в употребленье дан,
Давно уж смерть его нашла, открыла,
И хоть в бочонке жизни много было,
Осталось мало. Высох ли? Ослаб ли
Тот кран? Но из него не выжмешь капли.
Осталось хвастовство, пустые бредни,
Как старых скучных дней удел последний».

Трактирщик, выслушав сию слезницу,
Не стал корить его, не стал браниться.
Высокомерно он ему сказал:
«Кто сей премудрости из нас не знал?
Нам эта песенка самим знакома.
Лишь сатана скроить из мажордома
Мог бы рассказчика и ездока,
А из сапожника хоть моряка.
Кто не читал из нас Екклезиаста?
Наплакался теперь ты вволю? Баста!
Смотри, уж Детфорд близко — полпути
До Гринвича осталось нам пройти.
Не мешкай, Освальд, если свой рассказ
Поведать нам ты хочешь в этот раз.

«Так вот, друзья, меня вы не корите,
Коль мельника в рассказе том узрите
В обличии не слишком-то честно́м.
С огнем бороться буду я огнем.
Сей пьяный враль здесь плотников порочил
И плел про то, как плотника морочил
Студент,— не потому ль, что плотник я?
Вы больше не услышите нытья.
В моем глазу соринку он заметил,
Его ж бревно у всех нас на примете.
С мольбой к создателю я обращаюсь:
Пусть сдохнет враг,— я плюну, не раскаюсь».

РАССКАЗ МАЖОРДОМА

Здесь начинается рассказ Мажордома

Под Кембриджем, в селенье Трэмпингтон,
Стояла мельница, со всех сторон
Ветлой, кустарником от глаз укрыта.
Была она ничем не знаменита.
И жил в ней мельник, как павлин, чванлив,
Со всеми груб, надменен и сварлив.
Он похвалялся, что в ничьей услуге.
Мол, не нуждается, умел на круге
Гончарном чашку иль горшок слепить,
Умел рыбачить, неводы чинить,
Боролся ловко и стрелял из лука,
Играл на дудке, коль томила скука,
И мог любого спорщика допечь.
Носил он на боку широкий меч;
На поясе ж нарядный был кинжал,
И кортик из-за пазухи торчал.
И ни один драчун иль плут прожженный
Не смел задеть его. Клинок каленый
Держал он для удобства за чулком,
Чем хвастался, когда был под хмельком.
Был он курносый, круглый и румяный,
Залысиной похож на обезьяну,
На рынках он ворюгою прослыл,
В мешках муки немало сору сбыл.
Но, вор искусный, избегал поимки.
Его прозвали все — Задира Симкин.

Он дочь священника в супруги взял.
Отец посуды медной много дал
В приданое: хотел, чтоб породнился
С ним мельник и на дочери женился.
Отец растил в монастыре девицу,
И Симкину такую голубицу
Хотелось в жены, чтоб она блюла
Цвет целомудрия и не лгала.
В науке монастырской мало прока:
Жена была болтлива, как сорока.
Их надо было видеть в воскресенье,—
На них глазело с завистью селенье:
Нарядный Симкин важно выступал,
Колпак свой длинный он чалмой свивал;
За ним жена в пурпуровой накидке.
И если кто-нибудь, не в меру прыткий,
Ее улыбкой, взглядом задевал,
Проститься с жизнью мог такой нахал:
Ее тотчас готовился пресечь
Кинжал иль кортик, ножик или меч.
Ревнивый муж, ведь он подобен зверю,
Иль слыть он хочет им, по крайней мере,
Хотя бы только для своей жены.
Так вот по наущенью сатаны
Ей не давал покою брак неравный,
И все заносчивей и своенравней,
Все неприглядней становилась — хуже,
Чем застоялая вода из лужи.
Из страха звали все ее «мадам»,
Но чудилась всегда ее ушам
Насмешка в этом: ей, мол, подобало
Почтение, она ведь много знала
И, вышколенная в монастыре,
Блеснуть могла бы даже при дворе.
Давно уже постель они делили
И двух детей за те года прижили.
Дочь старшая была лет двадцати,
А сын-наследник — месяцев шести.
Мальчишка был горласт, румян, смешлив
И в колыбели буен и брыклив.
Дочь не болела отроду ни разу;
Кругла была, курноса, светлоглаза,
Широкобедра и высокогруда.

Давно уж ей жилось в девицах худо.
Прельстить могла в ней разве что коса,
Но не смущала никого краса
Ее девичья: мельника боялись,
А матери надменной все чурались.
Священник-дед любимицу свою
Хотел бы выдать в знатную семью,
Из старого дворянства, не иначе.
Тогда б в приданое он ей назначил
Все, что принес ему его приход.
Священник думал, что духовный род
Родниться должен с древними родами,
А не с безродными, пусть богачами.
Он кровь духовную хотел прославить,
Хотя б пришлось при этом поубавить
Сокровища, что церковь накопила:
Ведь в ризнице немало денег было.
Зерном с помола много наживал
Задира Симкин и подряды брал
Молоть зерно со всей своей округи.
«Повадки знаем этого ворюги,
Но где ж молоть? Честней его ведь нет же»,—
Так рассудили в Кембриджском колледже,
И Симкину достался их подряд,
И он молол им много лет подряд.
Случилось раз, лихой весенней стужей,
Их эконом смертельно занедужил,
А мельник, случаю такому рад,
Стал воровать наглее во сто крат.
Бывало, он отсыплет втихомолку,
Теперь же в тайне он не видел толку.
И сколько бы декан ни возмущался,
Наш мельник пренахально отпирался,
И, хвастая, как ловко их провел,
Он, не смущаясь, знай себе молол.
Училось в Кембридже студентов двое;
Не оставляли никого в покое
Буяны шалые, но много раз
Прощали им неслыханных проказ
Лихое озорство за незлобивость,
И нрав открытый, и за их ретивость.
И вот они декана попросили,
Чтоб их с зерном на мельницу пустили;

Побиться, мол, готовы об заклад,
Что полной мерой привезут назад
Муку с помола; мельник не посмеет
Ее коснуться, хоть он и умеет
Уловками иль силой оттягать
Себе сверх следуемого раз в пять.
Декан прочел тут кстати поученье,
Но, поразмыслив, дал им разрешенье,—
И школяры в дорогу собрались.
Их звали Джон и Алан, родились
На севере, но места их рожденья
Я в точности не знаю, к сожаленью.
Джон в кладовой мешок зерна добыл,
На мерина его кой-как взвалил,
И Алан, прихвативши меч и щит,
За ним бегом на мельницу спешит.
У насыпа они зерно сгрузили.
«Здорово, Симон. Нас тут попросили,—
Так начал Алан,— этот вот мешок
К тебе свезти. Ну, как живешь, дружок?»
«А, здравствуй, Алан! — мельник закричал.—
И Джон с тобой? Давненько не видал
Я вас, друзья. Как будто бы с весны?
Что, разве слуги тоже все больны?»
«Да, знаешь, Симон, голод ведь не тетка,
А у птенцов прожорливая глотка.
И учат нас, что, если нет слуги,
Ты сам себе посильно помоги.
Наш эконом уже в преддверье ада,
Чему мы все в колледже очень рады.
Но нам-то надо что-нибудь жевать.
Ну, и взялись мы с Аланом слетать
К тебе на мельницу с мешком вот этим.
Мели скорей, чтоб засветло согреть им
Пустые животы наш пекарь смог».
«Ах, бедные, чтоб я да не помог?
Ссыпай зерно. Я жернов загружу».
«Давай-ка, Симон, я здесь погляжу,
Как насып наполняешь ты зерном.
Ведь, говорят, он ходит ходуном.
Мне это трудно даже и представить».
Второй сказал: «Ты будешь при поставе?
Тогда внизу я постою пока

И погляжу, как сыплется мука.
Когда еще на мельнице случится
Нам мельничному делу подучиться?
В нем нет у нас покуда что сноровки».
Но мельник мигом понял их уловки.
«Вам хочется, птенцы, меня словить,—
Подумал он,— так нет, тому не быть.
Напрасно лезете, глупцы, из кожи,
Премудрость ваша делу не поможет:
Пущу в глаза со всех поставов пыль,
В мешки подсыплю вам труху и гниль —
И угостит вас эконом ваш новый
Крупитчатою булкой из половы.
На опыте поймете, наконец,
Что «грамотей не то же, что мудрец».
Ведь с волка спеси половину сбыло,
Когда его лягнула в лоб кобыла».
Удобную минуту улучив,
Когда от пыли Джона пронял чих,
Он выскользнул украдкою из двери,
Пошел туда, где ждал студентов мерин,
Уздечку потихоньку отвязал,
И конь на луг тотчас же поскакал
С внезапно вспыхнувшим, но тщетным пылом
Сквозь заросли, к резвившимся кобылам.
А мельник воротился к жерновам,
Откуда он покрикивал друзьям.
И не стихал его скрипучий голос,
Пока зерно на славу не смололось.
Когда мешок увязан крепко был,
Джон вышел в дверь и вдруг заголосил:
«На помощь! Чертова скотина! Эй!
Скорее, друг! Беги сюда скорей!
Ах, черт! ушел-таки треклятый мерин.
Что делать нам, коль будет он потерян?»
И Алан, позабыв о всем на свете,
Мешок оставил в мельниковой клети.
Спешит, крича: «Держи его, держи!
И к изгороди крепче привяжи».
Он с мельничихой в воротах столкнулся.
Она ему: «Ваш конь в табун метнулся.
Теперь его и в сутки не разыщешь,
Пока болот и рощ всех не обрыщешь.

Должно быть, укусил лошадку овод.
Вязать покрепче надо было повод».
А Джон кричит: «Брось там и щит и меч,
Ему дорогу надо пересечь,
Пока еще он не ушел за речку.
Ты что ж, дурак, не закрепил уздечку?
В конюшню надо бы замкнуть одра:
Там простоял бы он хоть до утра».
И вот они спешат не чуя ног
К мосту на перекрестке трех дорог.
Лишь только скрыл студентов сумрак серый,
Отсыпал мельник из мешка полмеры,
Взамен муки прибавил отрубей
И хлеб жене велел испечь скорей
Из краденой муки в укромном месте.
«Молокосос! Меня хотел провесть он.
Да я сто раз такому ротозею
И волосы и бороду обрею,
Пока меня хоть раз обманет он.
Задаст теперь учитель им трезвон!
Со мной тягаться захотел, дурак.
Пускай теперь поскачет до утра».
А бедные студенты по болоту
Набегалися до седьмого поту.
«Лови!» — «Постой!» — «Да слушай, бога ради!
Его пугну, а ты останься сзади».
Стемнело, а потом спустилась ночь,
Они ж беде все не могли помочь:
От них коварный мерин уходил,
Пока в потемках в ров не угодил.
Студенты, словно под дождем коровы,
Запарились. А меринок соловый
Послушно плелся, и заохал Джон:
«Так никогда я не был посрамлен.
Все потому, что поступили наспех.
Мешок хоть брось. Ведь нас подымут на смех
Декан и клерки все. Вот чертов мельник!
Поддел он нас и осрамил, бездельник».
Он всю дорогу шел и причитал,
А взнузданный Баярд за ним шагал.
У очага сидел, их поджидая,
Ворюга Симкин, радость не скрывая.

Уж поздно было в Кембридж ворочаться:
На мельнице пришлося им остаться
И со слезами Симкина просить
Хоть где-нибудь их на ночь приютить
И просушить намокнувшее платье,—
За угощенье, мол, сполна заплатят.
«Да было б чем, а угощать я рад,
Особенно коль гость мой тороват.
Мой скуден стол, и дом мой очень тесен,
Но разум ваш на выдумки чудесен.
Пустите в ход ученые приемы
И обратите клеть мою в хоромы.
Так как же мы — в клетушке потеснимся
Иль к вашим заклинаньям обратимся?»
«Шутник ты, Симон! Будет с нас и чарки,
А голод, что искуснее кухарки,
Нам сдобрит снедь. Ведь надо по присловью,
Чтоб всяк вкушал на доброе здоровье
Одно из двух: что на столе нашел
Иль то, с чем в дом к хозяину пришел.
Так вот, прошу, добудь еды, питанья нам
И позабавь. Хоть ты слывешь смутьяном,
Но шутника такого не сыскать.
За все наличными с нас можешь брать,
И серебра кошель с тобой размелем».
Тут мельник дочь послал за хлебом, элем,
Зажарил гуся, лошадь напоил
И до утра в конюшне затворил.
В своей каморке постелил постели,
Где дочь спала и где у колыбели
Он сам с женой в одной кровати спал.
И вправду дом его был очень мал,
Чуланами наполовину занят,
И всякому теперь понятно станет,
Что иначе не мог двоих гостей
Он уложить на мельнице своей.
Поужинали плотно, пошутили,
Бочонок элю впятером распили,
И в полночь завалились на покой
Юнцы и мельник с дочкой и с женой.
А мельник здорово в тот раз упился
И на кровать свою, как сноп, свалился.
Он бледен был, ворочался, икал

И вслух свои проделки вспоминая.
С ним улеглася вскоре и жена.
Хлебнула элю также и она
И, весела, болтлива, словно сойка,
С гостями перешучивалась бойко,
А колыбель поставила в ногах,
Чтоб ей дитя не уронить впотьмах,
Коль ночью грудь ему придется дать
Или спросонья зыбку покачать.
Когда на дне не видно стало элю,
Тогда лишь улеглись в свои постели
Дочь мельника и Алан с Джоном тож.
Студентам слушать стало невтерпеж,
Как спящий мельник храпом оглашал
Всю комнату и ветры испускал.
Жена ему подсвистывала тонко,
На четверть мили слышен храп был звонкий,
И дочь храпела с ней «pour compagnie».
Студентов сон нарушили они,
И Алан, в бок толкнув свирепо Джона,
Сказал ему: «Не слышишь ты трезвона?
Давно звонят они втроем к вечерне.
Чтоб им погрязнуть всем в греховной скверне!
Геенны пламя пусть их всех пожрет!
Не спать теперь всю ночь мне напролет.
Переварить не может он добычи.
Клянусь, он горе на себя накличет.
Разодолжу я Симкина-милягу
И к дочери его сейчас прилягу.
И почему бы нет? Ведь есть закон,
Что, если кто обидой ущемлен,
Искать обиде может возмещенья.
Украл муку, в том нет для нас сомненья,
И целый день украл, старик отвратный,
Зерно и время сгибли безвозвратно.
Теперь он ночью не дает нам спать.
Ну можно ли его не наказать?
Он сам учил, как олухов дурачить.
Так я и сделаю, а не иначе».
А Джон ему: «Смотри, будь осторожней
И не сложи башки пустопорожней.
Ведь если только мельника разбудишь,
Злодеем Симкиным зарезан будешь».

Присвистнул Алан: слышал, мол, и знаю.
И откатился к дальнему он краю,
Где на спине дочь мельника спала,
И овладел ей так, что не смогла
Она ни вскрикнуть, ни позвать подмогу.
Так Алан Джону указал дорогу.
А тот с минуту пролежал спокойно,
К возне прислушиваясь непристойной.
Но вот лежать ему не стало сил
И про себя он горько возопил:
«Опередил меня, наглец негодный,
За огорчения и за невзгоды
Получит он с полтины четвертак,
Мне ж ничего. Лежи тут, как дурак!
Он утешает мельникову дочку,
Уже он снял, должно быть, и сорочку,
А я один здесь, словно куль мякины,
И некому утешить дурачину.
Да то ли будет! Завтра изведут
Товарищи, разиней назовут;
И Алан первый станет издеваться:
Нет счастья трусу. Надо отыграться».
И, ухватясь за ножку колыбели,
Он потянул дитя к своей постели.
От рези мельничиха пробудилась,
Прошла во двор и вскоре воротилась.
Постельки сына не найдя на месте,
Зашарила во тьме, куда же лезть ей.
«Уж не студента ль здесь стоит кровать?
Да сохранит меня святая мать.
Вот было б скверно! — шепчет, ковыляя.—
Да где ж он? Фу-ты, темнота какая».
Вот колыбель она с трудом нашла,
Дитя укутала, в постель легла
И только что заснуть уже хотела —
Был Джон на ней и принялся за дело.
Давно уж мельник так не ублажал
Свою жену, как ловкий сей нахал.
И так резвилися без лишних слов
Студенты вплоть до третьих петухов.
Ослаб наш Алан только на рассвете,
Когда восток уж становился светел.

«Прощай, мой друг,— девице он сказал,—
Тебя бы я без счету целовал,
Но скоро день, нам надобно расстаться,
Позволь твоим любимым называться».
«Прощай, мой милый. Приходи опять.
Найдешь у двери то, что своровать
Велел отец мне: хлеба каравай,—
Его спекли вчера мы, так и знай,
Из той муки, что утром вы мололи.
Иди, любимый. Будь господня воля».
И, чувствуя, что ей сдавило грудь,
Шмыгнула носом, чтобы не всплакнуть.
Поднялся Алан и пошел искать
Впотьмах покинутую им кровать.
На колыбель он по пути наткнулся
И про себя в досаде чертыхнулся.
«Ну, счастливо отделался испугом.
А голова пошла, как видно, кругом.
Должно быть, ночью я переборщил.
Я к мельнику чуть-чуть не угодил».
Пошел он дальше; бес его попутал,
И мельника он с Джоном перепутал.
Он, наклонясь, тряхнул его легонько
И на ухо шепнул ему тихонько:
«Проснись! Вставай, дубина! Поросенок!
Да не визжи, не хрюкай ты спросонок.
Пока ты тут храпел, болван, и дрых,
Я поработал знатно за двоих,
И мельника проклятого ославил,
А дочку дурня трижды позабавил».
Проснулся мельник, и как услыхал он,
Что говорит и хвастает чем Алан,
Он разъярился, как стоялый бык,
И поднял вой отчаянный и крик:
«А, чтоб тебе ни выдоха, ни вздоха.
Ах, чертов сын, развратник и пройдоха.
И что за наглость этакая в хаме!
Заплатишь ты своими потрохами.
Да знаешь ли, чернильная ты муть,
На чью ты кровь решился посягнуть?»
И, чтобы отомстить скорей злодею,
Он Алану вцепился прямо в шею
И кулаком ему расквасил нос,

А тот ему в ответ скулу разнес,
И сок кровавый из него закапал.
И покатилися с кровати на пол,
Барахтаясь, как две свиньи в мешке,
Дубася и в живот и по башке.
Поднялся мельник, Алан снова ухнул,
И на жену с размаха мельник рухнул.
А та, усталая, чуть задремала
В объятьях Джона и не понимала,
Под тяжестью двойной погребена,
Что с ней случилось. Взвизгнула она:
«Ой, шишка у меня на лбу раздулась,
Спаси меня Христос. In manus tuas [1].
Проснись же, Симон. Навалился враг!
Один на голове, другой в ногах.
Скорее, Симкин, прогони же беса.
А, вот ты кто, негодный? Ах, повеса!»
Тут Джон вскочил и шарить стал дубину,
Она за ним, поняв наполовину,
Где враг, где друг: рванула впопыхах
И оказалась с палкою в руках.
Луна едва в окошечко светила,
И белое пятно ей видно было.
И вверх и вниз то прыгало пятно,
У ней в глазах маячило оно.
Его приняв за Аланов колпак,
Она ударила наотмашь. «Крак!» —
По комнате раздалось. Мельник сел
И от удара вовсе осовел.
Пришлась ему по лысине дубина.
И в обморок упала половина
Его дражайшая, поняв свой грех.
Студентов разобрал тут дикий смех.
В постель они обоих уложили,
Мешок с мукой и хлеб свой прихватили
И тотчас же отправилися в путь,
Чтоб поскорей удачей прихвастнуть.
Так гордый мельник натерпелся зол:
Не получил он платы за помол,
А заплатил за эль, и хлеб, и гуся
И, в глубине души пред всеми труся,

[1] В руки твои [предаю дух мой] *(лат.)*.

Не стал вести он счета тумакам,
Не стал и взыскивать за горший срам:
Позор жены и дочери бесчестье
Он утаил, не думая о мести.
И с этих пор он тих и смирен был.
Не жди добра, кто злое сотворил.
Обманщик будет в свой черед обманут,
И все над ним еще смеяться станут,
Не взыщет бог с тех, кто над ним смеялся.
Ну вот я с мельником и расквитался.

Здесь кончается рассказ Мажордома

ПРОЛОГ ПОВАРА

А повар, слушая рассказ, кивал
И мажордома по спине трепал,
«Хо-хо, вот это славная потеха,
А мельнику, должно быть, не до смеха!
Таких ночлежников к себе пустить,—
Да это надо полоумным быть.
Сам Соломон в своих сказал нам притчах:
«Не каждого в свой дом пускай». А прытче
Студентов никого в таких делах
На свете нет. Остался в дураках
Заносчивый наглец, пройдоха мельник.
Пускай его почешется, бездельник.
Но нам на этом застревать негоже,
И я хочу, господь мне да поможет,
Вам рассказать один забавный случай
И закрутить ту басенку покруче».
«Что ж, Роджер, хоть незнатного ты чина,
Рассказывай, пожалуй, старичина.
Но моего послушайся совета:
Остывших дважды, дважды подогретых
Немало подавал ты пирогов,
Смотри, чтоб не был твой рассказ таков,
Тобой накормленные на пирушке
Гусиным салом, луком и петрушкой,
Рыгали долго, боже их прости,
Не раз паломники и по пути
Бранились, что, мол, ты их оскоромил,
Что в тесто, кроме патоки и кроме

Корицы, мух порядочно запек
И что мясным ты сделал свой пирог.
Не говори, что я зажарил утку,
Иной раз правду скажешь даже в шутку».
«Хоть это, правда, и не раз бывало,
Но чтоб шутить, одной лишь правды мало:
«Правдива шутка, значит, не смешна»,
Как говорят фламандцы, и верна
Та мысль их. Значит, так-то, Гарри Бэйли!
Мою стряпню ты слушай, ешь ли, пей ли,
А только на меня ты не ворчи.
Про поваров же лучше помолчи,
Не то трактирщиков я осмею.
Но не сейчас побасенку свою
Поведаю. Придет пора расстаться,
Тогда с тобой попробую сквитаться».
И он со смехом начал свой рассказ,
Не про трактирщика на этот раз.

РАССКАЗ ПОВАРА

Здесь начинается рассказ Повара

Жил подмастерье в городе удалый,
Задира, озорник и затевало.
Певун и щеголь, что в лесу щегол.
Помадил он упрямый свой хохол,
И в локоны завить его хотел он:
Не у прилавка стоя, загорел он,
А на гулянках; знатный был танцор
Гуляка Перкин, даже до сих пор
Ту кличку помнят вдовы и девицы;
И медом сладким лести поживиться
Охотниц глупых вдоволь находилось,
И много женщин в Перкина влюбилось.
Где свадьба, там он пел и танцевал.
Таверну лавке он предпочитал.
Устроит Чипсайд празднество, и он
Наверное туда уж приглашен;
И до тех пор как праздновать не кончат,
Всех веселей он пляшет и всех звонче
Поет, и не заманишь за прилавок
Его во мрак подвалов, складов, лавок.
Себе компанию он подобрал
И в карты резался и пировал,
Ходил к подружкам ежедневно в гости,
Чтоб петь и пьянствовать, играть там в кости.
А в кости обыграть или в очко

Хмельного шулеру совсем легко.
Так, в целом городе его никто бы
Не разыскал в тех щелях и трущобах,
Куда лишь Перкин находил пути,
Чтоб денежки скорей порастрясти
Хозяйские. Подозревал не раз
Его хозяин: то исчез запас
Товара ценного и гол пустой
Прилавок, то во всех делах застой.
Но Перкин-плут увертывался ловко,
И с помощью какой-нибудь плутовки
Всегда деньжонок в долг он добывал
И временно растрату покрывал.
Коль завелся такой приказчик в лавке,
Хозяину не то что на булавки
Своей любезной, и на хлеб не хватит —
Он за приказчичьи проказы платит.
Кутеж и кража — дети той же плутни,
Хотя б грабитель и играл на лютне.
С хозяином веселый подмастерье
Так горевал о порче, иль потере,
Или просчете, что законный срок
Он ученичества пройти бы мог,
Хотя не раз в Ньюгетскую тюрьму
С компанией бродяг пришлось ему
Наведаться и до тех пор там быть,
Пока друзья прощение купить
Не успевали взяткой иль подарком.
Когда же, наконец, он в споре жарком
Хозяина стал горько упрекать,
Что тот свидетельства не хочет дать,
Хозяин вспомнил старое присловье:
«Гнилую грушу срежь, чтобы с любовью
Свой сад от гнили лучше уберечь».
Был дан расчет, обуза пала с плеч.
«Иди не подобру, не поздорову
И к моему не приближайся крову,
Не то спущу я на тебя собак,
Другой слуга впредь не посмеет так
Меня обманывать и так морочить».
И вот наш подмастерье дни и ночи
Мог пьянствовать, кутить и бушевать
И жизнь свою в беспутстве прожигать.

А раз всегда друзей найдется шайка,
Чтоб вора приютить и попрошайку,
И вместе с ним кутить и пировать,
И наворованное им сбывать,—
То Перкин-плут, на все худое прыткий,
Связал тотчас же в узел все пожитки
И свез к приятелю. Его жена,
Хотя была торговкою она,
Но в городе о ней ходили слухи
Как о доносчице и потаскухе...

. . . . . .
. . . . . .

ПРОЛОГ ЮРИСТА

Трактирщик наш увидел, что пройти
Успело больше четверти пути
На небе солнце. Был ему неведом
Углов расчет, однако же с обедом
Еще ни разу он не опоздал
И время с точностью определял.
Что восемнадцатый был день апреля,
Трактирщик знал (лучи в то утро грели
По-майскому). Дерев равнялась тень
Их росту, следовательно, в тот день
И в этой широте — пробило десять;
И это правда, если здраво взвесить:
Ведь ясно и без точного промера,
Что сорок пять делений угломера
Прошло светило с наступленья дня.
И вот трактирщик придержал коня.
«Друзья,— сказал он,— утро на исходе,
И я скажу при всем честном народе,
Что времени не следует терять,
Оно имеет свойство уплывать,
И в час ночной, когда мы сладко спим,
И днем, когда не знаем, как нам с ним
Управиться. Оно ручью подобно,
Что с гор течет, дробясь о камни злобно,
И вверх его на кручи не поднять.
Сенеке довелось не раз писать,
Что времени потеря горше смерти,
А этому философу вы верьте.

Ведь, разорясь, вновь злато наживешь,
А времени, увы, уж не вернешь,
Как девства... Утеряв его беспечно,
Девчонке не вернуть его, конечно.
Что ж, сэр юрист, наш крепок уговор,
Вы не вступайте в бесполезный спор,
Коль добровольно приняли решенье
Быть у меня сегодня в подчиненье.
Так вот извольте тотчас начинать
И наш порядок строго соблюдать».

«Что ж, depardieu [1],— сказал юрист,— согласен,
Что я в долгу, и смысл закона ясен.
Долги всегда оплате подлежат,
И не напрасно люди говорят:
«Кто для других законы составляет,
Пусть те законы первым соблюдает».
Рассказывать готов я, господа,
Но что рассказывать, вот в чем беда.
Хотел бы я, чтоб был рассказ прекрасен,
Да нету подходящего в запасе.
Вот Чосер, он хоть мало понимает
В различных метрах и стихи слагает
Нескладно очень, но по мере сил
По-английски как мог переложил
Рассказов много о несчастных дамах.
Не там, так здесь, но о любовных драмах
Он в каждой книге без конца твердил.
Пример Овидия его прельстил.
Не стоит мне те сказки повторять,
Которые успел он рассказать.
Ведь с юности привержен Аполлону,
Встарь Кейка он воспел и Альциону,
А также многих достославных дам.
Лишь для примера приведу я вам
Весь сонм святых угодниц Купидона:
Как закололась от любви Дидона,
Когда покинул бедную Эней;
Как Филлис смерть нашла среди ветвей;
Как Ариадна, или Ипсипилла
Свои стенанья к небу возносила;

[1] Клянусь богом *(франц.)*.

Мечом пронзенные, как умирали
Лукреция и Фисба, мы читали
В его стихах, как мучилась Елена
Вдали от родины в годину плена
И как Леандр в пучине утопал
И Геро, умирая, призывал;
Как Лаодамия и Брисеида
Оплакивали пленников Аида;
Как победителя героев мира
Невольно погубила Деянира;
Как королева злобная Медея
Детей своих повесила за шею,
Чтоб наказать изменника Ясона;
И то, как вопияла Гермиона;
Особо воспевал он Ипермнестру
И Пенелопу, выше ж всех Альцесту.
Но, вспоминая дам несчастных тех,
Не рассказал про Канацеи грех,
Что к брату страсть греховную питала
(Таких историй хоть бы не бывало!),
Ниже́ про Аполлония из Тира
Не рассказала Чосерова лира,
Как тот от скорби тяжкой изнемог,
Когда король проклятый Антиох,
Объятый похотью и жаждой мести,
Дочь Аполлониеву обесчестил,
И горше всех в той повести строка мне,
Как девушку злодей швырнул на камни.
Нет, Чосер никогда таких страстей
Не допускал. Ужасных повестей
Не любит он, уродств и извращенья —
И в том он прав, без всякого сомненья.

Так что же, братья, рассказать мне вам?
Вы помните несносную богам
Кичливость дев, что Пиерид прозванье
Носили встарь и были в наказанье
В сорок обращены. Так вот боюсь,
Что с сущею безделицей явлюсь.
Но все ж, друзья, откину ложный страх,
Я прозой говорю, а он — в стихах».
И начал он рассказ неторопливо,
И все ему внимали терпеливо.

РАССКАЗ ЮРИСТА

Здесь начинается рассказ Юриста

О бедность, мать бесчисленных обид!
Тебе, морозом, голодом томимой,
Взывать о помощи мешает стыд.
Но так твои страданья нестерпимы,
Что ты всегда принуждена, помимо
Желания, взаймы у ближних брать,
Иль попрошайничать, иль воровать.

Христа ты осуждаешь, негодуя,
Что правды нет в распределенье благ.
И сердцем злобствуешь напропалую,
Коль твой сосед не нищ, как ты, и наг.
«Вот погоди,— сжимая свой кулак,
Ты говоришь,— тебя поджарят черти
За то, что скрягою ты был до смерти».

Недаром мудрецы нам говорят,
Что смерть куда желанней нищей доли.
Того лишь уважают, кто богат,
А бедняка-соседа поневоле
Всего лишь терпят кое-как, не боле.
И правы мудрецы, что человек
Несчастен, если нищим прожил век.

Кто беден, ненавистен даже брату,
И от него, увы, друзья бегут.
Искусные купцы с сумой богатой,
Как правильно вы действуете тут!
Приносит вам ваш благородный труд
Лишь крупные очки, не единицы,—
В сочельник можете повеселиться.

Вы рыщете по волнам всех морей,
Вы посещаете края чужбины,
И вам, отцы вестей и новостей,
Краев земных все ведомы судьбины.
Я прославляю вас не без причины:
Ведь от купца услышал я рассказ,
Которым нынче позабавлю вас.

В далекой Сирии жила когда-то
Компания купцов, державших склад
Шелков и тканей с вышивкой из злата
И всяких пряностей. И стар и млад
В чужих краях вести был с ними рад
Продажу-куплю,— знали повсеместно
Товары их и нрав отменно честный.

И вот однажды,— то ль чтоб отдохнуть,
То ль по делам торговым, я не знаю,—
Сирийцев наших часть решила путь
Направить в Рим, туда не высылая
Гонцов заране из родного края.
Себе роскошный снявши в Риме дом,
Они все вместе поселились в нем.

Дни потекли чредой неутомимой,
И доносилась до купцов хвала
Констанце, дочери владыки Рима,—
Хвала, что на устах у всех была.
Ее красу и добрые дела
Все граждане превозносили дружно;
Об этом рассказать подробней нужно.

Все говорили: «Дочь родил на свет
Наш добрый император,— многи лета
Дай бог ему! — которой ровни нет
И не было от сотворенья света.

Так добродетельна принцесса эта
И хороша собой, что впору ей
Владычицею стать Европы всей.

В ней красота не связана с гордыней,
В ней юность легкомыслию чужда,
К участливой готова благостыне
Прелестная рука ее всегда.
Хоть молоды еще ее года,
Душа ее уже святою стала,
Всех добродетелей она зерцало».

Народный голос, видит бог, был прав.
Теперь опять к рассказу перейду я.
Вновь погрузив суда и повидав
Прекрасную принцессу молодую,
Купцы вернулись в Сирию родную,
Чтоб снова приступить к своим делам.
Подробности не интересны вам.

Султан сирийский очень благосклонно
Всегда тех славных принимал купцов,
Расспрашивал про берег отдаленный,
Про нравы и дела чужих краев.
Их угостить всегда он был готов,
Чтоб разузнать за чашей браги пенной
О чудесах неведомых вселенной.

В повествованье их на этот раз
Констанца много места занимала,
И про принцессу дивную рассказ
Султану душу взволновал немало.
Она ему такой желанной стала,
Что он хотел бы до скончанья дней
Любить ее и думать лишь о ней.

А в необъятной книге, той, что нами
Зовется небом, рок султана злой
Был звездными начертан письменами:
Смерть от любви. В огромной книге той
Начертано невидимой рукой,—
Ясней стекла для тех, кто понимает,—
Какая смерть любого ожидает.

До их рожденья был начертан рок
Помпея, Юлия и Ахиллеса,
Определен войны фиванской срок,
Предсказана кончина Геркулеса,
Сократа, Турна. Но лежит завеса
На нашем зренье,— к звездным письменам
Мы слепы, их язык невнятен нам.

На заседанье тайного совета
О замысле своем сказал султан,
Прибавив (сообщить спешу вам это),
Что он погибнет от сердечных ран,
Коль знак любви ему не будет дан.
Должна Констанца стать его женою,
Дотоль он не найдет себе покоя.

Разнообразных мнений ряд потом
Был высказан при этом обсужденье;
Не позабыли вспомнить и о том,
Что надо опасаться наважденья,
Все споры прекративши, в заключенье
Совета члены порешили так:
Единственный хороший выход — брак.

Но овладело членами совета
Сомнение. Принцесса и султан
Различной веры,— не преграда ль это?
Захочет ли владыка христиан
Дочь отпустить в ему враждебный стан,
Чтоб стал ее супругом некрещеный,
Закону Магомета подчиненный?

«Мне от Констанцы отказаться? Нет,—
Ответил он,— скорей приму крещенье;
Без этой женщины не мил мне свет.
Поэтому оставьте возраженья
И помогите мне обресть спасенье.
Лишь в ней оно,— душе моей покой
Даст лишь Констанца, став моей женой».

Обмен посольствами, переговоры,
Содействие святейшего отца,
И рыцарства, и церкви, для которой
Сбылась мечта неверье до конца

Сразить во славу вящую творца,
К трактату привели, чье содержанье
Я предлагаю вашему вниманью.

Султан сирийский должен быть крещен
С баронами и всей дружиной ленной;
Тогда в супруги получает он
Констанцу с суммой золота отменной
И обещанье помощи военной.
Трактат скреплен был клятвою двойной.
Констанца, в путь! С тобою всеблагой.

Подробного рассказа вы не ждите
О брачном поезде, о тех, кто был
К ее блистательной причислен свите,
Которую отец ей снарядил.
Нет у меня ни времени, ни сил
Для описания столь славной свиты,
Составленной из знати именитой.

Лишь кратко сообщить могу я вам:
В нее вошли епископы, вассалы
И много видных рыцарей и дам.
Народу власть молиться приказала
В церквах о том, чтоб небо ниспослало
Младой чете во всех делах успех
И чтоб их путь свершился без помех.

И наступил отплытья день тревожный,
Отплытья день забрезжил роковой.
Охвачены горячкою дорожной,
Все стали собираться в путь морской.
Томима безотчетною тоской,
Констанца встала, бледная, с постели
И попросила, чтоб ее одели.

Как было слез не лить горячих ей,
Властителя заморского невесте?
Вдали от родины и всех друзей
Ей предстояло в незнакомом месте
Всю жизнь прожить с супругом чуждым вместе.
Лишь между близкими удачен брак,—
Всегда и всюду это было так.

«Отец, тобой взлелеянное чадо,—
Шептали бледные ее уста,—
Благослови! О мать, моя отрада
(Нежней люблю лишь одного Христа),
Прости навек! Родимые места
Я покидаю, вашей ласки милой
Я больше не увижу до могилы.

Я уезжаю к варварам от вас,
Покорно вашу исполняя волю.
Мне тот, кто умер на кресте за нас,
Поможет с горькою смириться долей,
Хотя б томилась я от тяжкой боли.
Мы, женщины, для рабства рождены
И слушаться мужей своих должны».

Когда твердыня Илиона пала,
Когда разрушил Фивы супостат,
Когда теснили рати Ганнибала
Им трижды побежденный вечный град,—
Звучали стоны горестней навряд,
Чем при прощанье девы безутешной,
Все ж надо было в путь сбираться спешно.

О твердь жестокая, чей бег дневной
Все увлекает к западу с востока
И твари всей, живой и неживой,
Велит покорствовать веленью рока!
Ты, при отплытье, в небесах высоко
Расположила хор созвездий так,
Что было ясно: Марс расстроит брак.

Извилистый восход, бедой чреватый,
С чьего пути в темнейший входит дом
Владыка часа, немощью объятый!
О Марс, о Атизар в стеченье том!
Луна, ты по небу скользишь тайком
Оттоль, где пребывала ты в покое,
Туда, где дверь закрыта пред тобою.

Ужели, император, ты не мог
Найти философа в своей столице,
Который бы вам день избрать помог?

Должны бы быть благоразумней, мнится,
Столь выдающегося сана лица.
Ведь гороскоп Констанцы знали вы.
Глуп смертный и невежествен, увы!

Принцессу, полную немой печали,
Торжественно на палубу внесли;
Ее уста чуть внятно прошептали:
«Христос вам дни счастливые пошли!»
И вот корабль отчалил от земли.
Прощай, Констанца! К своему рассказу,
С тобой расставшись, возвращаюсь сразу.

Султана мать, всех подлых гадин злей,
Узнав, что сын, наперекор обетам,
От веры отрекается своей,
Тотчас послала за своим советом.
Они пришли, и на собранье этом,
Когда уселись все вокруг стола,
Она к ним речь такую повела:

«Известно вам намеренье султана?
Пренебрегая верою отцов,
Отречься от закона Алькорана,
Нам данного пророком, он готов.
Но я, на ветер не бросая слов,
Скажу одно: не соглашусь на это,—
Милей, чем жизнь, мне вера Магомета.

От новой веры нам не ждать добра!
Всех нас она поработит жестоко,
И мы в аду, когда придет пора,
Сгорим за отреченье от пророка.
Но если буду я не одинока
В горячем рвенье защитить ислам,
Вас всех спасти я обещаю вам!»

Все поклялись ей помогать всемерно,
Во всех ее делах при ней стоять
Дружиной крепкой и до гроба верной
И тьму сообщников завербовать.
Их клятву выслушав, султана мать
Свершить намеренье решила злое.
И с речью обратилась к ним такою:

«Притворно примем веру христиан,—
Что стоит окунуться, в самом деле? —
И пир такой задам я, что султан
Не заподозрит нашей тайной цели.
Его жена — хотя бы из купели
Овечкой вышла чистою она —
С себя не смоет алого пятна».

Султанша мерзкая, исчадье ада,
Семирамида новая, змея,
Таящая в себе источник яда!
Притворство — внешность женская твоя.
В твоей груди безбожная семья
Порочных и зловредных сил гнездится,
Готовых с добродетелью сразиться.

О сатана завистливый, с тех пор
Как изгнан ты из нашего предела,
Чрез женщину, творцу наперекор,
Свое проклятое творишь ты дело.
Спокон веков душа ее и тело —
Твои орудья. Этот брак святой
Решил ты раздавить своей пятой.

Султанша, эта подлая гадюка,
Свой тайный тут же распустив совет
(Подробности вам были бы в докуку)
И во дворец придя за этим вслед,
Сказала сыну, что уж много лет
К язычеству питает отвращенье,
Одну мечту хранит — принять крещенье.

Она лишь просит, чтобы ей султан
Дал разрешенье пир устроить знатный,
Чтоб угостить на славу христиан;
Султан, которому была приятна
Такая просьба, с радостью понятной
Согласье дал. Поцеловав его,
Она пошла готовить празднество.

И вот под гром народных восклицаний
В сирийский край с великим торжеством
На кораблях явились христиане.

Пролог шкипера

И вестника послал султан о том,
Что, мол, грядет к нему супруга в дом;
Пусть мать и все ее достойно встретят
И этим Сирии любовь отметят.

Сверкающей нарядами толпой
Сирийцы с моря шли с гостями вместе,
И матерью султана был такой
Прием оказан молодой невесте,
Какой лишь дочери пристал по чести;
В ближайший город, под приветствий гром,
Бок о бок прибыли они верхом.

Я думаю, что менее прекрасен
Был Юлия триумф, что нам Лукан
Представил сказочнее всяких басен,
Чем этот двойственный чудесный стан,
Когда бы не султанши злой обман.
Змея гремучая, она скрывала
Смертельное под речью льстивой жало.

Великолепной свитой окружен,
Явился вскоре и властитель края
К своей невесте юной на поклон.
В сей ликованья час их оставляя,
Про дня конец вам только сообщаю:
Когда умолк веселой встречи гул,
Все спать легли, и стан двойной уснул.

День наступил, когда султаншей злою
Был пир устроен, роскошью богат.
И вкруг столов нарядною толпою
Уселись христиане — стар и млад.
Был бесконечен блюд отменных ряд,
Но дорого им стали эти блюда
Пред тем, как пробил час уйти оттуда.

Тут, на земле, блаженства каждый час
Бедой венчается,— счастливой доли
Всегда мучителен конец для нас.
Нет под луною радости без боли.
Свое доверье к року побороли
Лишь те, кто помнит в миг счастливый свой,
Что будет этот миг сменен бедой.

Чтоб лишних слов не тратить, вам скажу я,
Что римская дружина и султан
Убиты были, за столом пируя.
Констанце лишь — одной из христиан —
Спастись от гибели был случай дан.
Султаншей, власти жаждавшей, заране
Знак подан был к кровавой этой бане.

Убиты были также наповал
Сирийцы все, принявшие крещенье.
Из них никто не смог покинуть зал.
Констанцу же — о злое преступленье! —
Морскому предоставили теченью
В ладье, руля лишенной, чтобы в ней
Она плыла к Италии своей.

Ей положили, должен вам сказать я,
Немалый продовольствия запас,
А также деньги все ее и платья,
И по волнам, исчезнувши из глаз,
Ладья Констанцы быстро понеслась.
Моя принцесса, за твое смиренье
Тебе пусть кормчим будет провиденье!

Перекрестившись трепетной рукой,
Она взмолилась ко кресту Христову.
«О ствол животворящий и святой,
От крови агнца павшего багровый!
Ты, мир омывший от греха лихого,
Мне от когтей врага защитой будь,
Когда в пучине стану я тонуть.

О дивный ствол, достойнейшим сочтенный
Того, чтоб на тебе в ночи и днем
Небесный царь страдал, окровавленный,
Невинный агнец, проткнутый копьем!
Не страшен сатана тому, на ком
Покоятся твои святые члены!
Мне дай Христу быть верной без измены».

Скиталась так она из года в год,
Покуда к марокканскому проливу
Не приплыла по воле бурных вод.

Не раз, обед вкушая сиротливый,
Она молила, чтобы рок счастливый
Послал ей смерть, но, нет, ее волной
В конце концов прибило в край чужой.

Вы спросите: как во дворцовом зале.
Она от общей гибели спаслась?
Хочу, чтоб вы ответ мне прежде дали:
Кто Даниила из пещеры спас,
Где лев свирепый пожирал тотчас
Любого — и раба и господина?
Хранимый в сердце бог — оплот единый.

На нем всю мощь своих деяний нам
Явил всевышний, наш отец небесный;
Христос для человечьих ран бальзам,
Порой — как это мудрецам известно —
Дела творит, чей тайный смысл чудесный
Нам недоступен, ибо ум людской
Неисцелимой болен слепотой.

Ей, на пиру от гибели спасенной,
Кто не дал утонуть в пучине вод?
А к Ниневии кто примчал Иону,
Пророка в рыбий поместив живот?
Мы знаем все, что это сделал тот,
Кто избранному дал пройти народу
По яростной пучине, как по броду.

Кто приказал всем четырем ветрам,
Которые, друг с другом вечно споря,
Моря и сушу режут пополам,
Не трогать суши, и лесов, и моря?
Кто, как не тот, кто на морском просторе
Хранил Констанцу и в ночи и днем
От бурь, несущих молнию и гром?

По чьей чудесной длился благостыне
Три года пищи и питья запас?
А кто в пещере и в глухой пустыне
От голода святую деву спас?
Христос, который уж насытил раз
Пятью хлебами множество народа,
Поил, кормил Констанцу все три года.

В наш океан Констанцы утлый челн
К Нортумберландии приплыл далекой,
Где замок высился у самых волн
(В его названье много ли вам прока?).
В песок зарылся челн, да так глубоко,
Что никакой отлив его не брал:
Ей эту пристань сам Христос избрал.

Дворецкий поспешил спуститься к морю,
Чтоб посмотреть, что́ принесла волна,
И увидал: в ладье с тоской во взоре
Сидит, казну держа в руках, жена.
Его с мольбою горестной она
Пресечь ей дни тотчас же попросила,
Освободить от жизни, ей постылой.

Он понял речь ее, хотя она
Испорченной латынью объяснялась,
И снял ее с разбитого челна,
К ней ощутив почтение и жалость,
Себя назвать Констанца отказалась
И к господу, колени преклонив,
В слезах горячий вознесла призыв.

Потом сказала, что от мук скитанья
Давно лишилась памяти она.
Дворецкий слушал, полон состраданья,
Растрогалась до слез его жена.
Констанца рвения была полна
Всем угодить, всем оказать услугу,
И нрав ее очаровал округу.

Дворецкий, как весь край в то время, был
Язычником, жена Гермгильда тоже;
Но добрую язычницу пленил
Нрав чужестранки тихой и пригожей.
И вот Констанца, этот ангел божий,
Гермгильде вымолила благодать,
И та решила христианкой стать.

На Севере в то время участь злая
Над головой повисла христиан;
Язычники, закон свой утверждая,
Их изгоняли из подвластных стран.

В Уэльс бежал крещеный бриттов стан,
И там себе пристанище на время
Нашло гонимое судьбою племя.

Но втайне кое-кто из христиан
Христово исповедовал ученье
И лишь вводил язычников в обман.
Из трех таких, под самой замка сенью
Ютившихся, один лишен был зренья;
Но зрение духовное ему
Давало видеть сквозь густую тьму.

В день солнечный и жаркий это было,
Дворецкий вместе со своей женой
В сопровождении Констанцы милой
На берег вышли побродить морской,
И повстречался им старик слепой,
Который шел походкою нескорой,
Закрыв зрачки невидящего взора.

«Гермгильда, именем Христовым вас,—
Внезапно старец крикнул,— заклинаю,
Верните свет моих потухших глаз!»
Гермгильду испугала речь такая;
Она остановилась, ожидая
От мужа кары. Но Констанца ей
Внушила долг исполнить свой скорей.

Дворецкий, чудеса увидев эти,
«Что это значит?» — крикнул, и в ответ
Ему Констанца молвила: «Из сети
Нечистого Христов спасает свет».
О вере истинной за этим вслед
Она ему сказала поученье,
И к вечеру он воспринял крещенье.

Дворецким управлялся много зим
Тот замок, близ которого пристала
Ладья Констанцы, обладал же им
Король страны Нортумберландской Алла,
Он мудрым был, и длань его держала
Шотландцев в трепете, как слышал я.
Меня, однако, повесть ждет моя.

Нечистый дух, который постоянно
Стремится чистых соблазнять людей,
Теперь решил Констанцу, окаянный,
Мишенью сделать подлости своей.
Им юный рыцарь избран был и к ней
Безумной страстью разожжен такою,
Что от желанья он не знал покою.

Но тщетно он искал ее любви:
Была греху Констанца недоступна.
Тогда обиду утопить в крови
Задумал он и начал неотступно
Преследовать свой замысел преступный.
Когда дворецкий к ночи раз ушел,
Он тихо в спальню женскую вошел.

Констанца и Гермгильда, долгим бденьем
Утомлены, сладчайшим спали сном,
И рыцарь, сатанинским наущеньем
К постели Гермегильдиной ведом,
Ей горло перерезал, а потом
Констанце в руку нож вложил кровавый,—
Казни его за это, боже правый!

Дворецкий, вскоре возвратясь домой
Совместно с Аллою, владыкой края,
Увидел труп супруги дорогой
И зарыдал, персты свои ломая.
С Констанцей рядом он — о участь злая! —
Нашел кровавый нож. Как было ей
Невинность доказать руки своей?

И королю подробно рассказали,
Когда и где и как разбитый челн
С Констанцей из морской прибило дали
К Нортумберландии игрою волн.
Король был чувства состраданья полн,
Когда узнал, какие испытанья
Постигли это чистое созданье.

Как агнец, что к закланью приведен,
Пред королем невинная стояла,
А подлый рыцарь утверждал, что он
Ее вину докажет перед Аллой.

Но было шепота кругом немало
О том, что совершить такое зло
Столь чистое созданье не могло.

Была отлично всем известна в доме
Ее к убитой госпоже любовь;
Я повторяю, всем известна, кроме
Преступника, который пролил кровь.
Король внимал ему, нахмурив бровь,—
Он усомнился в правде показанья
И углубить решил свое дознанье.

Кто выступит, Констанца, за тебя?
А ты сама — увы! — молчать должна ты.
Коль тот, кто, род наш грешный возлюбя,
Господнего низвергнул супостата
(Он в прахе и теперь лежит, проклятый!) —
Коль сам Христос тебя не защитит,
Тебе, невинной, гибель предстоит.

Колени преклонив, к владыке света
Взмолилась бедная: «О ты, что спас
Невинную Сусанну от навета,
И ты, Мария, что туда взнеслась,
Где ангельский тебя восславил глас,—
Коль я чиста, то будьте мне защитой
В моей беде,— не то мне быть убитой!»

Случалось ли из вас кому-нибудь
В лицо тому, кого за преступленье
Среди толпы на казнь ведут, взглянуть?
Оно покрыто страшной смертной тенью,
И выделяется из окруженья
Несметных лиц. Так вот, с таким лицом
Стоит Констанца перед королем.

О вы, благополучные царицы,
Принцессы, дамы все! Пускай у вас
От жалости слезою взор затмится.
Дочь императора стоит сейчас
Одна, в тоске, поднять не смея глаз,
Над этим августейшим сжальтесь чадом.
В ее нужде нет близких сердцу рядом.

Король был благороден; он приток
Почувствовал такого состраданья,
Что удержать невольных слез не мог.
Он книгу приказал внести в собранье:
«Пускай под клятвой рыцарь показанье
Свое повторит,— молвил он,— и суд
Мы нарядим тогда, не медля, тут».

Поклялся рыцарь над британской книгой,—
Господний в ней записан был закон,—
В том, что не лжет, но не прошло и мига,
Как наземь, словно камень, рухнул он,
Рукою тайной в темя поражен,
С глазами вне орбит, и сразу люди
Узрели божью кару в этом чуде.

Внезапно глас раздался: «Клеветой
Пред августейшим властелином края
Дочь очернил ты церкви пресвятой,
Твоя нашла возмездье воля злая».
И вся толпа, от ужаса стеная,
Ждала возмездья знаков огневых;
Лишь дух Констанцы ясен был и тих.

Страх и раскаянье на тех напали,
Кто на Констанцу без ее вины
Смел подозренье высказать вначале.
Все были чудом так поражены,
Что при содействии святой жены
У многих совершилось обращенье,
И сам король подверг себя крещенью.

Клятвопреступный рыцарь был казнен
По приказанью короля поспешно;
Констанцей все же был оплакан он
За то, что ад грозил ему кромешный.
И скоро в брак с принцессою безгрешной
Вступил король,— Христова благодать
Дала Констанце королевой стать.

Мать короля, что Донегильдой звали,
Одна лишь проклинала этот брак.
(Другую душу женскую едва ли
Окутывал столь беспросветный мрак.)

Казалось ей, что, поступивши так,
Сын опозорился: она считала,
Что странную избрал супругу Алла.

Не столь о плевелах, сколь о зерне
Рассказывать я собираюсь дале.
Что толку останавливаться мне
На том, какие блюда подавали
Иль как рога и трубы как звучали.
Ведь так любой кончается рассказ.
Там были яства, брага, песни, пляс.

В опочивальню со своей женою
Король отправился. Любой из жен,
Какой бы ни была она святою,
Ночь уделить одну велит закон
Той радости, которой брак силен.
Велит он святость отложить на время
И быть супругой наравне со всеми.

В ту ночь Констанца сына зачала.
Когда же короля, к ее печали,
Как раз в те дни военные дела
В далекую Шотландию призвали,
Над ней, беременной, опеку взяли
Епископ и дворецкий. День за днем
Сидит она, беседуя с Христом.

И в срок родился сын, что при крещенье
Был наречен Маврикием. С гонцом
Тотчас послал дворецкий извещенье
Родителю в Шотландию о том,
Как все произошло. И вот с письмом,
В котором было много и другого,
Гонец помчался, в путь давно готовый.

Но он решил, что королеву-мать
Ему полезно известить сначала.
Явившись к ней, он молвил: «Исполать
Вам, госпожа моя, и дому Аллы!
Узнайте: наша королева стала
Сегодня матерью. В покоях там
Рожден наследник на отраду нам

Я королю в посланье при печати
Везу об этом радостную весть;
От вас, что вам угодно будет, кстати
Могу я, государыня, отвезть».
«У нас еще подумать время есть,—
На это Донегильда отвечала.—
Ты у меня переночуй сначала».

Напился элем и вином гонец,
И выкрали письмо ночной порою,
Когда он, как свинья, храпел, подлец,
А в сумку было вложено другое
С поддельною дворецкого рукою,
Где было сказано на этот раз
То, что вы все услышите сейчас.

В нем сообщалось вот что: королева
Чудовище на свет произвела;
Из адского как будто выйдя чрева,
Похож ребенок на исчадье зла.
Должно быть, мать от эльфов к нам пришла
И колдовские применяет чары.
Все эту ведьму ненавидят яро.

Прочтя письмо, король загоревал,
Но, никому об этом ни полслова
Не сообщив, домой ответ послал:
«Дар принимаю от Христа благого,
Моя душа всегда к тому готова,
Чтоб перед волею его святой
Склониться ниц покорной головой.

Дитя храните и супругу тоже,
Покуда не вернуся я домой;
Я верю,— даст наследника пригожей,
Коль пожелает, мне спаситель мой».
Смочив письмо обильною слезой,
Его вручил гонцу король печальный,
И вот гонец пустился в путь свой дальний.

Негодный, пьянству преданный гонец!
Ты на седле не держишься от хмеля,
Без умолку болтая, как скворец,
Все тайны выдаешь ты, пустомеля!

Себя не помня, мыслишь еле-еле.
Вино — плохой советчик: от него
Хорошего не ждите ничего.

О Донегильда, слов я не найду,
Чтоб подлость описать твою лихую.
Пускай же тот, кто царствует в аду,
О ней расскажет, с торжеством ликуя.
О женщина проклятая,— нет, лгу я,
Не женщина... Ты, утверждаю вслух,
Под женскою личиной — адский дух.

Когда гонец обратно возвратился,
У королевы-матери опять
С дороги прямо он остановился.
Так угостила королева-мать,
Что он, напившись, завалился спать
И прохрапел до самого рассвета,—
Был он великим мастером на это.

Письмо, которое король послал,
Подделкой заменили вновь, в которой
Король дворецкому повелевал
Под страхом смертной казни и позора
В три дня и три часа без разговора
Констанцу удалить из края вон:
Он требовал, чтоб срок был соблюден.

Пусть поместят Констанцу с сыном рядом
В ее прибитый к нам когда-то челн,
И этот челн с Констанцею и чадом
Пусть оттолкнут назад в пучину волн.
Твой сон, Констанца, был, должно быть, полн
Видений страшных в час, когда чертила
Рука преступная приказ постылый.

Когда настало утро, во дворец
Тотчас же королевское посланье
Вручить дворецкому пошел гонец.
Письма безжалостное содержанье
Исторгло у дворецкого стенанье.
«Благой Христос,— вскричал он,— в мире сем
Как много душ, исполненных грехом!

Как допускаешь ты, о царь небесный
И праведный судья, чтоб под луной
Царил и благоденствовал бесчестный,
Держа невинность под своей пятой?
Увы, Констанца, страшный жребий мой
Велит мне, чтоб избегнуть наказанья,
Тебя подвергнуть злому истязанью».

Проклятого посланья письмена
Слез вызвали во всей стране немало.
В четвертый день, бледнее полотна,
Констанца у ладьи своей стояла.
Однако волю божью принимала
Она смиренно и, душой чиста,
Надежду возлагала на Христа.

«Кто спас меня от гнусного навета,
Который на меня воздвигнул враг,
Тот и теперь из влажной бездны этой
Меня спасет, хоть я не знаю как.
Благим он был ко мне и будет благ.
На богоматерь также уповаю —
Она мой парус и звезда морская».

Ребенок плакал на ее груди.
Она к нему склонилась и шепнула:
«Сыночек бедный, плакать погоди!»
Потом его в платок свой завернула
И под глухой напев морского гула
Укачивать малютку принялась,
Не отводя от неба скорбных глаз.

«Мария,— молвила она,— о свет небесный!
Был женщиной погублен род людской,
И за грехи его на подвиг крестный
Пошел спаситель, сын единый твой.
Он кровью истекал перед тобой.
В страдании сравниться никакая
Не может мать с тобою, всеблагая.

Ты слышала предсмертный сына стон,
А мой ребенок жив. Тебя, царица,
Кому несчастные, со всех сторон

Неся любовь, не устают молиться,
Тебя, убежище, тебя, денница,
Молю я: сжалься над судьбой моей
И моего ребенка пожалей.

Дитя мое, какое преступленье
Свершило ты? За что своим отцом
Преследуешься ты без сожаленья?
Дворецкий милый, жалостью ведом,
Дитя мое к себе возьми ты в дом,
А ежели боишься наказанья,
Хоть поцелуй малютку на прощанье».

Взглянув в последний раз на край чужой
И прошептав: «Прощай, супруг жестокий!» —
Она к воде, окружена толпой,
Стопы направила, покорна року,
Дитя баюкая, в свой одинокий
Спустилась челн, перекрестилась раз
И на Христову волю отдалась.

Ей дали продовольствия в дорогу
Запас большой — и всяческих вещей,
Что ей могли бы пригодиться, много.
Теперь, господь, будь милосерден к ней,
Храни ее от ветров и зыбей
И дай причалить к родине далекой.
Ее ладья — над бездною глубокой.

Когда король, в свой замок возвратясь,
Стал о жене допрашивать и сыне,
Ему дворецкий рассказал тотчас
Все то, что вам уже известно ныне.
Не умолчал он также о причине,
Заставившей изгнать с ребенком мать,
И, предъявив посланье и печать,

Промолвил: «Государь, приказ, который
Был вами прислан, выполнен». Тогда
Гонца призвали, и под пыткой скоро
Признался он, где ночевал, когда.
Расспросов хитроумных череда
Позволила составить представленье
О том, как совершилось преступленье.

Рука, писавшая письмо, была
Опознана благодаря дознанью,
Распутано сплетенье лжи и зла.
И пробил мести час и наказанья:
Жизнь матери король за поруганье
Закона ленного мечом пресек.
Так кончился злой Донегильды век.

О том, как сутки напролет о милых
Жене и сыне Алла горевал,
Слова людские рассказать не в силах.
Меж тем Констанцу с чадом пенный вал
Над пропастью соленою кидал.
Пять лет и больше длился путь унылый,
Покуда лодку к суше не прибило.

Там замок высился на берегу
Языческий, чье имя, к сожаленью,
В источниках найти я не могу.
Констанца, в это страшное мгновенье
Храни тебя святое провиденье!
Я собираюсь рассказать сейчас,
Как ты от рук языческих спаслась.

Из замка многие глядеть ходили
На бедную Констанцу. В поздний час,
Когда уж звезды на небе светили,
Спустился управитель замка раз,
Отступник, что в язычестве погряз,
И негодяй. Один оставшись с нею,
Он предложил ей связь,— позор злодею!

Констанца крик ужасный издала,
И с ней дитя. Но матерь всеблагая
В который раз бедняжке помогла.
Борясь искусно, грудью наступая,
Ей удалось отбросить негодяя.
Он из ладьи упал и утонул.
Христос Констанцу в чистоте соблюл.

Вот похоти конец обыкновенный!
Не только душу, но и тело нам
Она увечит слабостью презренной.

Один конец у любострастья — срам.
Не часто ль видеть приходилось вам,
Что небо за одно лишь вожделенье
Людей карает, как за преступленье?

Как этой слабой женщиной был дан
Отпор насильнику? Но вспомнить нужно,
Что Голиаф, безмерный великан,
Давиду сдался, словно бы недужный.
Как мог юнец, почти что безоружный,
Взглянуть в ужасный Голиафа лик?
Тут благодати бил живой родник.

Кто дал Юдифи мужество убить
Своей рукой злодея Олоферна
И этим свой народ освободить
От нечестивца? Так же достоверно,
Как то, что этих силой беспримерной
Бог наградил, Констанце дал господь
Лихого негодяя побороть.

Из узкого пролива Джебальтара
И Септы вдаль несет ладью поток,
Туда-сюда кидает ветер ярый,
На юг и север, запад и восток.
Но вот исполнился скитанью срок,
И волей богоматери святою
Констанца радость обрела покоя.

Теперь мы от Констанцы перейдем
К владыке Рима. Получил он вести
Из отдаленной Сирии о том,
Что стан его весь перебит на месте,
А дочь Констанца извергом без чести
Оскорблена. Вам о султанше злой
Я говорю, пролившей кровь рекой.

Тут в Сирию отправил император
Сенатора и воинов не счесть,
Которых взял с собой в поход сенатор,
Чтоб учинить заслуженную месть.
Кровавую расправу кончив, сесть
На корабли спешило войско Рима,
Чтоб плыть обратно к родине любимой.

И вот когда с победной славой в Рим
Сенатор плыл, вдруг на морской равнине
Возникла утлая ладья пред ним
С Констанцей, предающейся кручине.
Ни кто она, ни по какой причине
Она на волю моря отдана,
Он не узнал,— была нема она.

Он в Рим ее привез и попеченью
Жены вручил с младенцем вместе. Там
Констанца стала жить в уединенье,
Вся отдаваясь набожным делам.
Ее судьба показывает нам,
Как чудно богоматерь помогает
Тому, кто к ней с молитвой прибегает.

Хотя была сенатора жена
Констанце теткой, все же не признала
В ней юную племянницу она.
Теперь вам сообщу, что сделал Алла,
Который плакал и стенал сначала,
Констанцу же оставлю под крылом
Сенатора и к ней вернусь потом.

Король, убивший мать, пронзен однажды
Был горестным раскаяньем таким,
Что, истомленный покаянья жаждой,
Решил отправиться в далекий Рим,
Чтоб там свой грех пред папою святым
Излить в слезах и вымолить прощенье
Себе от всеблагого провиденья.

Молву о том, что из чужой земли
Паломник прибывает именитый,
Гонцы по стогнам Рима разнесли,
И наш сенатор, славою повитый,
Навстречу выехал с роскошной свитой,
Чтоб гостя августейшего принять,
А также, чтобы блеск свой показать.

Друг друга чествовать тотчас же стали
Сенатор и король,— наперебой
Они пиры друг другу задавали,

И вот однажды,— через день-другой,—
На королевский идя пир, с собой
Сынка Констанцы взял сенатор славный,—
Об этом я осведомлен исправно.

По мненью многих, мальчик приведен
Был по желанью матери. Не знаю;
Присутствовал, так иль иначе, он,—
Все прочее я мелочью считаю,
Но вот что верно: сына отпуская,
Она велела между блюд свой взор
Ему на Аллу направлять в упор.

Взор этот встретив, Алла изумленно
Спросил сенатора: «Скажите, чей
Ребенок это?» И в ответ смущенно
Промолвил тот: «Не ведаю, ей-ей!
Живет он в Риме с матерью своей,
Отца же нет». Но через миг, не дале,
Все обстоятельства поведал Алле.

«Я должен вам сказать,— прибавил он,—
Что женщины я не видал доселе —
Среди девиц, и вдов, и мужних жен —
Столь чистой в разговоре и на деле;
Она бы предпочла, чтобы горели
Ее стопы на медленном огне,
Чем на соблазн пойти, поверьте мне».

Жила Констанца в памяти супруга,
А были схожи так дитя и мать,
Как мало кто похожи друг на друга.
Король невольно начал размышлять.
«У них одно лицо и та же стать.
Возможно ли?» В сомнениях без края
Тотчас из-за стола он встал, вздыхая.

«Клянусь творцом,— он думал,— это бред.
Ведь если дело обсудить в покое,
Уже давно в живых Констанцы нет».
Но через миг он думать стал иное:
«Что, ежели Христос рукой святою
Послал ко мне Констанцу и сейчас,
Как он послал ее к нам в первый раз?»

Чтоб посмотреть, что дальше будет, Аллу
Сенатор пригласил к себе домой
И, пир ему устроив небывалый,
Констанцу попросил войти в покой.
Ах, танцевать охоты никакой
Не вызвало в ней это приглашенье!
Она едва стояла от волненья.

Жену увидев, Алла перед ней
Склонился низко. В этой юной даме
Не мог он не признать жены своей
И залился горючими слезами.
Констанца же стояла, словно камень:
Ей причиненного супругом зла
Она забыть доселе не могла.

Теряла дважды бедная сознанье,
А он доказывал, что нет причин
Его винить за все ее страданья.
«Тому свидетель весь небесный чин!
Я так же чист пред вами, как мой сын
Маврикий, столь на вас лицом похожий.
Коль я солгал, срази меня, о боже».

И долго лился горьких слез поток,
Но души их спокойнее не стали.
Никто без жалости глядеть не мог,
Как муки их от плача возрастали.
Но я устал о горе и печали
Повествовать. Скажу лишь в двух словах:
Заря застала их еще в слезах.

Но наконец, когда ей стало ясно,
Что Алла перед ней не виноват,
Сменил стенанья поцелуй согласный
И повторенный сотни раз подряд.
Блаженством бóльшим только райский сад
Их мог бы наделить. Счастливей пары
Не видел, не увидит мир наш старый.

Констанца попросила, чтоб супруг,
Вновь ею обретенный, в облегченье
Ее столь долгих и жестоких мук

Не отказал ей ныне в одолженье:
Чтоб от ее отца соизволенье
Пожаловать к обеду получил,
Ни слова чтоб о ней не проронил.

Передают, что к римскому владыке
Был послан с пригласительным письмом
Не кто иной, как маленький Маврикий;
Но я, признаться, сомневаюсь в том:
Ведь Алла вовсе не был простаком
И знал, что это было б неприлично.
Он, верно, с мальчиком явился лично.

Свое согласье император дал.
На мальчика при этом, вероятно,
Упорный взор не раз он устремлял
И думал о Констанце безвозвратной.
Король же поспешил к себе обратно,
Чтоб подготовить праздничный обед,
Принять достойно христианства цвет.

Назавтра Алла в пышном одеянье
Навстречу императору верхом,
Исполнен радостного ликованья,
С женой своей отправился вдвоем.
Отца увидев, перед ним ничком
Упала дочь. «Отец,— она вскричала,—
Констанцу, верно, помните вы мало.

Я — ваша дочь Констанца. Верьте мне:
Я — та, что вы когда-то в край неверный
Послали, та, что по морской волне
В ладье носилась, мучась беспримерно.
Теперь ко мне вы будьте милосердны,
К язычникам не посылайте вновь.
Вот мой супруг,— он заслужил любовь».

Кто в мире радость описать сумеет,
Которой предались они втроем?
Я мой рассказ кончаю,— вечереет,
И на ночлег уж скоро мы придем.
Веселую беседу за столом
Они всю ночь вели, не уставая,
В блаженстве этом их я оставляю.

Маврикий после папой на престол
Был возведен, и в нем оплот великий
Себе весь христианский мир нашел.
Но от рассказа в стороне Маврикий.
Прочесть о жизни этого владыки
В «Деяньях римских» может всяк из вас.
Я посвятил Констанце свой рассказ.

Король страны Нортумберландской вскоре
С возлюбленной супругою святой
В Британию вернулся через море,
Где ждали их довольство и покой.
Но скоро счастье их затмилось мглой.
Царит над нами рок бесчеловечный,—
Все радости земные быстротечны.

Увы, прожить сумел ли кто-нибудь
Хоть день один, не омраченный тенью,
Не злобясь, не завидуя ничуть,
Не поддаваясь чувству раздраженья?
Я привожу вам это изреченье,
Чтобы сказать, что мрак чрез краткий срок
На счастье Аллы и Констанцы лег.

Еще не больше года миновало,
А смерть уже безжалостной рукой
Навеки вырвала из жизни Аллу.
Господь его на небе упокой!
Он горячо оплакан был женой;
Констанца же — мы тут рассказ кончаем —
Вернулась в Рим, с чужим простившись краем.

Родных и близких всех она нашла
Во здравии, и после всех мучений
Под отчим кровом отдохнуть смогла
От истомивших душу приключений.
Перед отцом упавши на колени,
Она — рыдая, но душой светла —
Христу хвалу стократно воздала.

Семьею набожной и богу милой
Все вместе прожили остаток дней,
Покуда смерть их всех не разлучила.

Тут окончанье повести моей.
Исус Христос, что в благости своей
Сменяет людям радостью мученья,
Да не оставит вас без попеченья.

Здесь кончается рассказ Юриста

ПРОЛОГ ШКИПЕРА

Хозяин наш на стременах привстал.
«Мы слышали, друзья,— он нам сказал,—
Рассказ, который всем на пользу будет.
Клянусь Христовым телом, не убудет
Почтенья нашего к вам, сэр священник,
Коль, слова данного послушный пленник,
Вы мудростью поделитеся с нами:
Ведь, вот вам крест, невежды мы пред вами».
Ему священник: «Друг мой, мир с тобой,
Но отучись ты речь мешать с божбой».
Тогда хозяин: «Ба, все жив курилка!
Не почата еще твоя бутылка,
И присказку лишь начал ты свою.
По запаху лолларда узнаю.
И кажется, клянусь крестом господним,
Про адские мученья в преисподней
Сейчас мы проповедь твою услышим.
Лолларду слово, вы ж, о други, тише».
«Клянусь отцовым прахом, пусть молчит,—
Вскричал моряк,— и воду не мутит.
Он проповедник! Ну и что ж такого?
Чтобы вещал лоллард господне слово,
Да это значит поле засорять.
Нет, дай-ка мне, хозяин, рассказать.
Так протрезвонит вам моя особа,
Что не забудете того до гроба.

Ни капли вашей мудрости змеиной
И философии и медицины
В моем еще не застревало ухе —
Ни зернышка латыни нету в брюхе».

РАССКАЗ ШКИПЕРА

Здесь начинается рассказ Шкипера

Купец один в совсем недавни дни
Жил в городе французском Сен-Дени.
Он был богат, и потому считали
Все умником его и почитали.
Жена его была собой красива,
Общительна и весела на диво.
А этакую женщину одеть
Дороже много, чем вздыхать и млеть
И нежно преклоняться перед ней;
Мелькнут, как тени на пустой стене,
Подарки, восхищенья, взгляды, вздохи,
А утром на столе одни лишь крохи:
И за веселье вечно платит муж;
Он кормит, одевает нас к тому ж,
И хорошо, когда за честь считает
Нас ублажать; наряды покупает,
Устраивает пышные пиры,—
Когда ж он беден, иль от той игры
Устал порядком, или скуповат он
И почитает лишнею затратой
Нам на уборы денежки мотать,—
Тогда другой нас должен содержать
Иль в долг давать, что иногда опасно.

Купец был щедр, жена его прекрасна,
В их пышный дом толпой стекались гости
Равно как белой, так и черной кости.
И среди них — прошу к нему вниманья —
Монах бывал: когда — для назиданья,
Когда — и просто время провести.
Был от роду монах лет тридцати,
Собой красив, учен, неглуп, не робок;
Детьми они росли с купцом бок о бок
Да и родились в городе одном.
И вот в воспоминание о том
Монах купца считал как бы кузеном,
А тот был рад, в своем тщеславье тленном,
Иметь в родстве духовное лицо.
Он провожал монаха на крыльцо,
Встречал его, как дорогого брата,
И говорил, что все, чем сам богат он,
Мог почитать кузен как бы своим.
А братец Жан твердил, что деньги дым.
Он в дом подарки приносил им часто
И развлекал гостей порой ненастной
Рассказом, притчею у камелька.
Была ко всем щедра его рука.
Не забывал он наделить подарком
Не только друга иль жену,— кухарку,
Поденщика, любого из гостей
Не забывал он в щедрости своей.
И каждому, согласно гостя званью,
Свое преподносил он назиданье.
Как птицы наступления зари,
Его все ждали. Хватит говорить
О нем, пожалуй. Как-то раз собрался
Купец тот в Брюгге, где намеревался
Товаров закупить, и, как обычно,
Слугу в Париж отправил, чтоб тот лично
Звал гостем в дом к нему кузена Жана.
Другие гости не были им званы:
С кузеном и с женой купец втроем
Хотел побыть пред длительным путем.
А брата Жана отпускал без страха
Аббат повсюду: был среди монахов
Всех осторожнее и всех хитрей
Наш братец Жан. Гроза монастырей,

Он собирал для ордена доходы
Иль выяснял причину недорода.
Он в Сен-Дени приехал утром рано.
Встречали с радостью милорда Жана,
Любезного кузена и дружка.
Привез монах два полных бурдюка
(Один с мальвазией, другой с вернейским)
И дичи к ним,— монах был компанейский.
И на два дня пошел тут пир горой.
На третье утро, хмель стряхнувши свой,
Чем свет, весь в предвкушении дороги,
Купец затеял подводить итоги,
Подсчитывать доходы, и расход,
И барыши за весь минувший год.
Вот разложил он на большой конторке
Счета, и книги, и мешочков горки
С дукатами, с разменным серебром,—
И столько он скопил своим трудом,
Что, запершись, чтоб счету не мешали,
Он все считал, когда уже все встали,
А все была наличность неясна.
Брат Жан меж тем, поднявшись ото сна,
В пустом саду рассеянно бродил
И втихомолку утреню твердил.
Спустилась в сад хозяина супруга
И, повстречав учителя и друга,
С ним поздоровалась, речь завела.
Воспитанница-девочка была
С ней вместе, но, ее послушна воле,
Немой игрушкою была, не боле.
«Кузен и друг,— она спросила Жана,—
Почто вам вздумалось вставать так рано?»
«Пяти часов достаточно для сна,—
Он отвечал,— и голова ясна.
Лишь немощью расслабленные люди
Или мужья, пусть их господь рассудит,
Как заяц, что залег в своей норе,
Валяются еще о той поре,
Когда высоко солнце поднялось.
Но что бледна ты, дочь моя? Пришлось
Тебе, как видно, ночью потрудиться,
Пред тем как утром с мужем распроститься.
И не спала ты и пяти часов?»

Сам засмеялся он от этих слов,
Побагровев от мысли озорной.
Она же покачала головой.
«Нет, нет, кузен, клянусь предвечным богом,
Мне спальня ныне кажется острогом,
И нет во Франции жены другой,
Которая б той тягостной игрой
С тоскою горшей ночью занималась.
Хоть никому я в том не признавалась,
Но не мила мне жизнь моя; не раз
С собой покончить я в слезах клялась
Иль убежать от страха пред расплатой,
Столь чувствую себя я виноватой».
Прислушавшись с великим интересом
К ее словам, он так сказал ей с весом:
«О дочь моя, храни тебя Христос,
Не помышляй отнюдь обитель слез
Покинуть ты, но не стыдись открыться;
Совет благой, быть может, пригодится.
О дочь моя, свою открой мне душу,
И тайны я до гроба не нарушу.
Я в том тебе Евангельем клянусь!»
«И вам, милорд, я в том же поручусь;
Пусть мне грозят жестокие мученья,
Не выдам слова я из поученья.
То сделаю не из родства по крови,
А лишь из преданности и любови».
Поклявшись так, они облобызались,
И языки у них поразвязались.
«Не место здесь, брат дорогой, не время
С плеч скидывать напастей тяжких бремя,
А то бы я вам много рассказала
О тех мучениях, что испытала
С тех пор, как замужем (хоть вам и брат
Злодей негодный, что на мне женат...)».
«Нет, дочь моя. Клянусь святым Мартином,
Не брат он мне, а лишь духовным сыном
Приходится, хоть братом называю.
А в доме вашем часто я бываю
Лишь ради вас, которую люблю,
Которую всечасно я хвалю.
Скорей поведайте мне ваше горе,
А то проснется муж и выйдет вскоре».

«Любимый мой,— она в ответ,— брат милый,
Таить в себе страданья нету силы.
Меня постиг, невинную, злой рок:
Мой муж ко мне небрежен и жесток.
Не по душе мне, позабыв обеты,
Супружеские выдавать секреты.
Но нет супруга скаредней его;
Во всем он видит только баловство.
О муже, знаю, надо бы с почтеньем
Мне говорить, но больше нет терпенья,
И вам, кузен, я не стыжусь сказать:
Постыла с мужем, холодна кровать.
Быть может, добр и честен он, бедняга,
Но вы же знаете, он просто скряга.
А от подруг слыхала я не раз —
Шесть качеств в муже дороги для нас:
Умен он должен быть в веденье дел,
Богат, и щедр, и смел в любой беде,
К жене доверчив и в постели страстен.
А мне господь послал одни напасти.
Вы знаете, вокруг все говорят:
Богат ваш муж, но мне на мой наряд
И сотни франков негде наскрести,
А если я, господь меня прости,
Не расплачусь на этой же неделе,
Меня ославит лавочник, бездельник.
Сказать о том супругу не могу.
Скорей простит он злейшему врагу,
Чем для меня порастрясет карман.
Ссудите же, любезный братец Жан,
Мне эту сотню, и, клянусь, должницей
Я щедрой буду, отплачу сторицей.
Коль обману, бог покарай мне лоно
И накажи суровей Ганелона».
Монах в ответ: «Прекрасная миледи,
Хоть ваш кузен и не богат, а беден,
Но так жалеет он и любит вас,
Что лишь уедет муж, как он тотчас
Вам облегчит несносную заботу
И сотню франков даст вам за работу».
И тут монах ее проворно сгреб
И стал лобзать в уста, в глаза и лоб.

«Теперь,— сказал он,— с миром в дом
грядите.
Обед скорей готовить прикажите.
Ведь полдень скоро на моих часах,
И я от голода совсем зачах».
«К столу накроют, братец, ровно к сроку».
И прочь взвилась вертлявою сорокой,
Чтобы стряпух своих поторопить
И братцу Жану мигом угодить.
Потом и к мужу в двери постучалась.
«Кто там?» — он ей, она же отозвалась:
«Да я, мой друг. Не будет ли поститься?
Давно пора в столовую спуститься,
Из печи завтрак поварами вынут,
И на столе все кушанья застынут.
Тебя корыстью дьявол обольстил.
Что ж, мало, что ли, денег накопил?
Крутить устали поварята вертел,
И нас извел ты всех до полусмерти.
Не стыдно ль? Голодом моришь ты гостя.
Скорей мешки свои и книги брось ты,
И, сотворив молитву, за столом
Мы день последний вместе проведем».
«Жена,— сказал купец,— тебе ль понять
Наш трудный промысел? Ведь торговать
Из десяти один едва сумеет
С господней помощью; и то созреет
К торговле дар лишь к пожилым летам.
Вот я иной раз дураку продам
И то, чего, по правде, не имею;
Доверие внушаю ротозею
И до могилы сохраняю тайну
О капитале, что скопил случайно
Иль промотал; когда же приключится
В делах рискованных мне оступиться,—
На поклонение к святым мощам
Отправлюсь я, чтобы на время там
От глаз злорадных скрыться в тишине.
Уловка та всю жизнь служила мне.
Быть постоянно надо начеку,
Чтобы не стать подобным дураку,
Который добрый случай упускает
Или в капкан, разиня, попадает.

Я рано утром завтра отправляюсь
Во Фландрию, откуда постараюсь
Скорей вернуться. И до этих пор
Тебе вручаю дом мой, лавку, двор.
Их бережно храни и будь любезной
Со всеми; если ж человек полезный,
То привечай особенно его.
И если не впадешь ты в мотовство,
Не заживешь одна широко слишком,
То мной оставленного хватит с лишком:
Нарядов, пищи, денег на расход
И матерьяла для любых работ».
И с этим дверь каморки запирает.
Тем временем столы уж накрывают.
Молитву быстро за столом творят,
Обед нести скорей на стол велят,
И накормил купец монаха знатно,
И время провели они приятно.
К концу обеда вечер подошел.
Тут в сторону монах купца отвел
И молвил другу: «Значит, завтра в путь?
Не забывай в дороге помянуть
С молитвою святого Августина,
И здравы будут люди и скотина.
Будь осторожен, тать повсюду рыщет,
Будь осмотрителен в питье и пище,
Особенно при этакой жаре.
А коль с тобою приключится грех,
Ты знай, что здесь мы за тебя молиться
С кумою будем. Что ж, пора проститься.
Мне кажется, не надо тратить слов:
Да сохранит тебя святой покров.
А если нужно что,— и днем и ночью,
Всем рвением своим и всею мочью
Готов тебя во всем я замещать,
Добро твое всемерно защищать.
Но окажи и ты, кузен, услугу,
Как названому брату и как другу:
Ссуди мне сотню франков,— приобресть
Скотину некую; тут случай есть
Мне сторговать ее куда как сходно,
И если будет господу угодно
И торг свершу, то будет и твоей

Скотина та, со всей казной моей.
И денежки не задержу ни дня я,
Ведь сотня франков! Невидаль какая!
Все дело в том, чтоб их тотчас сыскать,
Товар в чужие руки не отдать.
Но только никому о том ни слова —
Не упустить бы случая такого.
Итак, прощай, кузен, за все mercі [1],
А деньги незаметно принеси».
Купец достойный отвечал с охотой:
«Брат дорогой! Что приобрел работой
Иль сметкой я, ты все считай своим,
Ведь ты мне друг и давний побратим.
Не токмо что ничтожную услугу,
Которой просишь,— рад отдать я другу
Товар свой, золото — все, что захочешь.
Но знаешь, друг, когда весь день хлопочешь
Ты о делах, не мудрено забыть
О дружеских услугах. Заплатить
Тот долг ничтожный сам уже ты вспомни
И золотом верни иль серебром мне.
Они в торговле нашей словно плуг;
Коль им пропашешь — станет полем луг
И золотой пшеницы принесет,
Ведь золото,— оно кредит дает».
И тотчас сотню франков он достал,
Чтоб передать монаху, и не знал
О займе том никто; так продолжали
Они беседу и попировали
До самой ночи. В полночь брата Жана
Все проводили. А поутру рано
В далекий путь отправился купец.
С ним рядом ехал дюжий молодец,
Его приказчик. В Брюгге добрались
Они в свой срок и рьяно занялись
Различными торговыми делами,
Покупками, продажами, счетами
И пересчетами своих долгов:
Нет времени у них для лишних слов —
Не то чтоб выпить иль повеселиться.
Но в Сен-Дени хочу я воротиться.
А там, едва настало воскресенье,

[1] Спасибо *(франц.)*.

Молебствует о здравье и спасенье
Души путешествующих братец Жан.
И, как всегда, кузен к обеду зван.
Подбрил монах тонзуру и бородку.
Он пробует вино и тянет водку.
И в доме все монаху очень рады.
Хозяйка — ей мерещились наряды —
От щедрости его пришла в восторг.
Ну, словом, был свершен меж ними торг:
Что, мол, за сотню франков покачает
Монаха до утра, и не узнает
О том никто. Ударив по рукам
(Жена была ученей многих дам),
Свой уговор они осуществили:
Друг друга оба до утра будили.
Позавтракав и всех благословив,
Монах уехал, весел и учтив.
Ни в ком не заронило подозренья
Обычное кузена посещенье:
Сегодня здесь ночует, завтра там.
Но братец Жан пока не нужен нам.

И вскорости, лишь брюггский торг закрылся,
Купец домой с товаром воротился,
Попировал с женой денек-другой
И снова собрался. Вишь, дорогой
Товар ему попался. Тысяч двадцать
Набрал он в долг, так надо отдуваться,
Купцам ломбардским денежки платить.
Вот и поехал денег он добыть
В Париж к родне столичной и друзьям,
А заодно пройтись по должникам.
И первым долгом он зашел к кузену,—
Не за деньгами, нет. В какую цену
Приятность дружбы с Жаном оценить?
Пришел он запросто его склонить
К пирушке братской, чтобы за стаканом
Всласть поболтать с дружком своим румяным,
Спросить, как он живет, и рассказать,
Как сам умеет ловко торговать
И брать взаймы не сотнями, а сразу
Держать на риск десяток тысяч мазу.
И как теперь, лишь денег бы достать,
А он сумеет куш большой сорвать.

Рассказ о сэре Топасе

Брат Жан ему: «Я радуюсь, мой милый,
Что в сей юдоли не напрасно силы
Свои расходуешь. Будь я богат,
Тебя ссудить всегда я был бы рад;
Ввек не забуду я, клянусь обедней,
Как ты помог по-братски мне намедни.
Твою услугу так я оценил,
Что вскоре долг свой братский уплатил
Твоей жене, почтенной и прелестной;
И все монетой самой полновесной.
И в доказательство, что было это,
Могу назвать известные приметы...
Но, знаешь, друг, я вечером едва ли
Свободен буду, нынче вызывали
Меня к аббату. Надо ехать с ним.
И как ни хочется побыть с моим
Названым братом, надо послушанье
Нести покорно. Словом, до свиданья.
Жене своей ты передай привет,
И здравы будьте оба много лет.
А я спешу, весь мой багаж уложен».

Был осмотрителен и осторожен
Купец почтенный. Он имел кредит,
И скоро был мешок его набит
Дублонами; ломбардцам отдал долг он,
Запасся на остаток денег шелком
И тотчас же отправился домой,
Чтоб поделиться радостью с женой.
Ведь выходило, по его расчетам,
Что заработал он дорожным потом
И хитростью тысчонку с лишним франков.

Тем временем жена, встав спозаранку,
Его до ночи у ворот ждала
И с радостью в объятья приняла.
И во всю ночь они не засыпали
И отдыха друг другу не давали.
А поутру, забыв про все заботы,
Проснулся он и снова поработал,
Уж не боясь, что тем ее разбудит.
Она взмолилась: «Ну довольно! Будет!»
И все тянулась муженька обнять.
Но тут ему взбрело на ум сказать:

«А знаешь ли, жена, ведь я обижен
(Нет, нет, подвинься-ка сюда поближе).
Обижен тем, что ты мне не сказала,
Что без меня тут деньги получала.
С кузеном ты могла меня поссорить.
Его спросить я мог бы в разговоре
О сотне той, что он тебе отдал,
И в знак того залог какой-то взял.
И недоволен братец Жан был крайне,
Когда при нем я говорил о займе —
Нет, не о сотне, не о тех деньгах,
А о своих коммерческих делах.
Так знаешь ли, дружок, уговоримся,
Когда мы впредь надолго разлучимся,
При возвращенье, чур, мне говорить,
Кто долг вернул, а то меня корить
Не стали бы, что дважды я стараюсь
Свой долг взимать. Пойми, что обижаюсь
Я на забывчивость твою, не боле,
А так, ты знаешь, я тобой доволен».
Жена купца ни капли не смутилась
И на монаха рьяно напустилась:
«Ах, гадкий лгун! Ах, выдумщик негодный,
Хоть говоришь, что он кузен мой сводный,
Он про какие там приметы врал?
Ну да! Он деньги, точно, мне давал,
И что-то хрюкало монашье рыло.
Я полагала, то подарок было.
Ведь он всегда был гостем в нашем доме,
А всякий гость, когда он вежлив, скромен,
Чтобы хозяина не обделить,
Его жену стремится одарить.
И раз уже зашла об этом речь,
Вы честь мою обязаны беречь.
Есть должники намного своенравней,
Я ж долг супружеский плачу исправно.
А задолжаю — так поставьте в счет,
И заплачу сторицей в свой черед.
На деньги те я платьев заказала;
Купить их вам, конечно, подобало.
За скупость вас могла бы я бранить,
Меж тем меня вы смеете корить.
Тебе платить хочу я лишь в постели.

Ты только вспомни о покорном теле,—
Едва ль иной ты предпочтешь залог.
Ну, обними ж покрепче, муженек!»
Купец, увидев, что пропали франки,
Не затевал напрасной перебранки.
«Ну, что ж, жена,— промолвил кисло он,—
На этот раз прощаю свой урон,
Но впредь веди себя ты осторожно,
А то и разориться этак можно».
Вот и конец. Хозяин, жребий кинь,
Кому теперь рассказывать. Аминь.

Здесь кончается рассказ Шкипера

ЭПИЛОГ К РАССКАЗУ ШКИПЕРА

Слушайте веселые слова Трактирщика Шкиперу и матери игуменье

«Хорош рассказ,— трактирщик нам,— клянусь
Пречистым телом, corpus dominus,
Что свой корабль ты превосходно вел.
Пусть тот монах натерпится всех зол.
Страшитесь, други, вы монашьих козней.
Чуть-чуть не удалось монаху розни
Посеять злоехидным языком.
Монаха не вводи к себе ты в дом.
Ну, а теперь кому пришел черед
Рассказывать и слово кто берет?»
Учтивость напустив, нам всем на диво,
К игуменье он обратился льстиво:
«Хоть просьбы наши не имеют веса,
Быть может, вы, миледи приоресса,
Мою мольбу изволите принять
И что-нибудь возьметесь рассказать?»
«Извольте»,— отозвалась та учтиво
И начала рассказ неторопливо.

ПРОЛОГ К РАССКАЗУ О СЭРЕ ТОПАСЕ

Слушайте веселые слова
Трактирщика Чосеру

Закончила Игуменья рассказ.
И все примолкли, думая о нем;
Но тут хозяин, словно в первый раз
Меня увидев, крикнул со смешком:
«Ты что за человек и здесь при ком?
Зачем на всех глядишь, приятель, косо
И едешь так, уставясь в землю носом?

Держись поближе. Будь повеселей.
Вы ж потеснитесь. Честь ему и место.
Хотя немногим он меня стройней,
Но не из нашего простого теста;
Обнять такого поспешит невеста.
Но он, чудак, иль вовсе глух и нем,
Что словом не обмолвился ни с кем?

Других мы слушали, и твой черед,
Рассказец за тобой,— и поскоромней».
«Пусть слово кто-нибудь другой берет,
Поверь, хозяин, не по силам то мне.
Вот разве что стишок один я вспомню».
«Стихи? Ну, что ж. Хоть, судя по всему,
Веселого не рассказать ему».

РАССКАЗ О СЭРЕ ТОПАСЕ

Здесь начинается рассказ Чосера о сэре Топасе

Внемлите, судари! Сейчас
Я вам поведаю рассказ
Веселый и забавный.
Жил-был на свете сэр Топас,
В турнирах и боях не раз
Участник самый славный.

В приходе Попринге был он,
В заморской Фландрии рожден,
Как это мне известно;
Его отцу был подчинен
Весь край кругом,— он был силен
По милости небесной.

И быстро сэр Топас подрос.
Был рот его алее роз,
Белей пшена — ланиты.
А спро́сите, какой был нос,—
Отвечу смело на вопрос:
Красою знаменитый.

Была до пояса длинна
Волос шафрановых волна;
Камзола золотого

Была неведома цена;
Штаны из брюггского сукна,
А обувь — из Кордовы.

Он за оленями скакал
И в небо соколов пускал
За водяною птицей;
Был как никто в стрельбе удал,
В борьбе всегда барана брал,
С любым готов схватиться.

Немало девушек тайком,
В ночи не зная сна, по нем
Томилось и вздыхало;
Но он, с пороком не знаком,
Был чист, с терновым схож кустом,
Чьи ягоды так алы.

И вот однажды сэр Топас —
Я повествую без прикрас —
На вороной кобыле,
Мечом, копьем вооружась,
Собрался в путь — и вмиг из глаз
Исчез за тучей пыли.

Дубраву вдоль и поперек
Обрыскал он, трубя в свой рог,
Гоняя зайцев, ланей;
Скакал на север и восток
И вдруг почувствовал приток
Прельстительных мечтаний.

Там рос пахучих зелий стан —
Гвоздика, нежный балдриан
И тот орех мускатный,
Что в эля старого стакан
Иль в ларь кладут, чтобы им дан
Был запах ароматный.

Там раздавался птичий гам,
И попугай и ястреб там
Все звонче, чище пели;

Дрозд прыгал резво по ветвям
И вторил диким голубям
Как будто на свирели.

У рыцаря стал влажен взор,
В нем вызвал этот птичий хор
Любовное томленье;
В коня шипы вонзая шпор,
Помчался он во весь опор
В каком-то исступленье.

Но вот, коня сбивая с ног,
От скачки рыцарь изнемог,
И посреди дубравы
Он на поляне свежей лег,
Где конь его усталый мог
Щипать густые травы.

«Любовь царит в душе моей.
Мне, мать пречистая, ей-ей,
Час от часу тяжеле.
Мне снилось, что царица фей —
Жена моя и будто с ней
Мы спим в одной постели.

По ней тоскую я душой,
Я не хочу жены другой,
Меня достойной нет
Девицы;
Я в поисках объезжу свет,
Чтоб наконец напасть на след
Приснившейся царицы».

Наш рыцарь снова поскакал
По долам и по склонам скал,
И поздно, перед ночью,
Край фей, который он искал,
Среди глуши лесной предстал
Пред рыцарем воочью.

Он смотрит, отирая пот
И широко открывши рот,—
Места пустынны эти:

Как будто вымер весь народ,
Никто навстречу не идет,
Ни женщины, ни дети.

Но вот ужасный великан —
А был он Олифантом зван —
Вдруг выбежал навстречу,
Крича: «Ни с места, мальчуган,
Не то — свидетель Термаган —
Коня я изувечу
Дубиной.
Средь арф и флейт царица фей
Живет в стране чудесной сей
Владычицей единой».

Ответил сэр Топас: «Постой,
Сразимся завтра мы с тобой,
Я за оружьем съезжу;
Ужо — могу поклясться я —
Вот этим острием копья
Попотчую невежу.
Я смело
Твой мерзкий проколю живот,
И, только солнышко взойдет,
Дух вышибу из тела».

Тут рыцарь обратился вспять,
А великан в него метать
Стал из пращи каменья;
Но избежал их сэр Топас,
Его господь от смерти спас
За храбрость поведенья.

Внемлите повести моей,—
Она гораздо веселей,
Чем щекот соловьиный.
Я расскажу вам, как домой
Примчался рыцарь удалой
Чрез горы и долины.

Он челядь всю свою созвал
И песни петь ей приказал:
«В сражении кровавом

Иду иль победить, иль пасть;
Велит мне биться к даме страсть
С чудовищем трехглавым.

Покуда воинский убор
Я надеваю, разговор
Ведите меж собою
Про королей, про папский двор,
Про то, как у влюбленных взор
Туманится слезою».

Тут слуги, бывшие при нем,
Поставили бокал с вином
Пред юным господином.
Он выпил все одним глотком
И пряника вкусил потом,
Обсыпанного тмином.

На тело белое свое
Надев исподнее белье
Из ткани полотняной,
Сорочку он покрыл броней,
Чтоб сердце, идя в смертный бой,
Предохранить от раны.

Затем облек себя вокруг
Щитками лат — изделье рук
Искусного еврея,
Поверх всего надел камзол,
Который белизною цвел,
Как чистая лилея.

С кабаньей головою щит
Имел отменно грозный вид;
Над элем и над хлебом
Поклялся рыцарь, что убит
Им будет великан,— сулит
Пусть что угодно небо.

Огнем латунный шлем сверкал,
В кости слоновой меч лежал,
Сапог из мягкой кожи

На каждой был ноге надет,
Поводья испускали свет,
На лунный блеск похожий.

И кипарисовым копьем
С каленым тонким острием
Наш рыцарь красовался.
Конь вороной играл под ним,
Он был в пути неутомим,
Нигде не спотыкался.
Рассказу
Тут перерыв — конец главы.
Хотите дальше слушать вы?
Что ж, я продолжу сразу.

О рыцари и дамы, вас
Прошу не прерывать рассказ,
Который поведу я.
Пойдет в рассказе этом речь
Про радости любовных встреч,
Про схватку боевую.

Прославлены сэр Ипотис,
Ги, Плендамур, Либо, Бевис,
Все знают имя Горна.
Но сэр Топас затмил их всех:
Был им одержанный успех
Прекраснейшим бесспорно.

Сев на горячего коня,
Он, словно искра из огня,
Помчался к чаще бора.
Воткнуть успел он в шлем цветок,
Храни его господь и рок
От смерти и позора!

Был рыцарь странствующий он
И потому вкушал свой сон
Под боевым нарядом;
Подушкой шлем ему служил,
Конь от него не отходил
И пасся тут же рядом.

Лишь из ручьев он воду пил,
Как Парсиваль, который был
Так строен и наряден.
И вот внезапно...

Здесь Трактирщик
прервал Чосеров рассказ
о сэре Топасе

ЭПИЛОГ
К РАССКАЗУ О СЭРЕ ТОПАСЕ

«Клянусь крестом, довольно! Нету сил! —
Трактирщик во весь голос возопил,—
От болтовни твоей завяли уши.
Глупей еще не слыхивал я чуши.
А люди те, должно быть, угорели,
Кому по вкусу эти доггерели».
«Не прерывал, однако, ты других,—
Я возразил,— а это стих как стих.
Претензий я твоих не понимаю
И лучшего стиха найти не чаю».
«Ну, если уж по правде говорить,
Так стих такой не стоит и бранить,
И нечего напрасно время тратить».
(Тут он ввернул еще проклятье кстати.)
«И прямо, сэр, в глаза я вам скажу,
Пока всем делом я руковожу,
Не дам задаром рифмами бренчать,
И коль рассказ взялись вы рассказать,
Так вот его и расскажите нам.
Вам слово, так и быть, вторично дам.
Пусть тот рассказ в стихах иль в прозе будет,
Но пусть он мысль и радость в сердце будит».
«Одну безделку в прозе я слыхал,
И за нее я ваших жду похвал,
Иль вы и в самом деле очень строги.
Ее я слышал уж не раз от многих».

ПРОЛОГ МОНАХА

Веселые слова Трактирщика Монаху

Когда, хоть и не без натуги, мне
О Мелибее и его жене
Закончить удалось на этот раз
Без меры затянувшийся рассказ,—
Трактирщик в горести своей признался:
«От бочки эля я бы отказался,
Лишь бы жене моей послушать вас.
Авось бы вразумил ее рассказ
Об этаком смирении примерном.
Христовы кости! Вот он, всем пример нам.
Коль поварятам надо взбучку дать,
Ей только и забот, что мне совать
Дубину в руки, в голос причитая:
«Лупи их крепче! Ой, напасть какая!
Бей насмерть! Не жалей дрянных щенят».
А то косой золовка кинет взгляд
Иль в церкви место не тотчас уступит,—
Опять меня жена за это лупит.
В лицо мне вцепится и ну кричать:
«О подлый трус! Не смеешь наказать
Обидчицу. Садись тогда за прялку,
А нож дай мне, чтоб заколоть нахалку».
И так с утра до вечера вопит,
И в доме коромыслом дым стоит:
«Ой, горе мне! Мой муж чурбан и тряпка.
Терплю обиды, как простая стряпка,

А он жену не может защитить».
В аду таком приходится мне жить,—
То ль драться каждый день со всей округой,
То ль из дому уйти, то ль слушать ругань.
И ждет жена, чтоб, распалив свой гнев,
Я зарычал, как африканский лев;
Надеется, что недруга зарежу,
Чтоб ей сбежать, сказав, что ночью брежу
Убийствами, что тайный я злодей
(Хоть никогда я не противлюсь ей,
Чтоб оплеухами не пообедать),—
Всяк мог бы мощь руки ее изведать,
Осмелься он... Ну, да к чему мечтать.
Что ж, сэр монах, вам время начинать,
Но только, чур, смотрите веселее,
Тогда и солнце будет нам милее.
Рочестер скоро, вон за тем холмом.
Не нарушайте нам игры нытьем.
Не знаю только, как мне кликать вас:
Сэр Джон, мессир Альбан иль сэр Томас.
Не знаю точно родословной вашей,
Ни звания, ни должности монашьей.
Наверное, вы келарь или ризник:
Ведь щек таких не видывал я в жизни.
А ваше пастбище, должно быть, тучно,
И вам пастись на нем, видать, сподручно.
На постника вы вовсе не похожи;
Не нагулять, постясь, подобной рожи.
Вам должное воздать я был бы рад:
В монастыре, конечно, вы аббат,
Не послушник, а мудрый управитель,
Которым похваляется обитель.
Клянусь, нет человека в мире целом,
Кто б станом был вам равен или телом.
Ах, черт! И этакого молодца
Лишить насильно брачного венца!
Бог покарай из братии церковной
Того, кто вас склонил к стезе духовной.
Каким ты был бы славным петухом,
Будь долгом то, что кажется грехом:
Ведь, разрешив себе совокупленье,
Какие ты зачал бы поколенья!
Увы! Почто, монах, надел ты рясу?

Как будто в льве убьешь привычку к мясу?
Будь папой я, поверь ты мне, монах,
Монахи все ходили бы в штанах,
Коль не слаба мужская их натура,
Будь велика или мала тонзура,
И жен имели бы. Страдает мир:
Ведь семя лучшее бесплодит клир.
Побеги хилы от мирских корней,
И род людской все плоше, все хилей.
Супружеской в мирянах мало силы.
Вы женам нашим почему так милы?
Вы лучше нас умеете любить,
Венере подать можете платить
Монетой крупной, полноценной, веской,
А не чеканки люксембургской мерзкой.
Вы не сердитесь, сэр, что так шучу,—
Я в шутке правду высказать хочу».
Монах его дослушал и в ответ:
«Я выполню, хозяин, свой обет
И расскажу вам два иль три рассказа
Впоследствии; для первого же раза
Хотел бы, коль не скучно вам сие,
Днесь Эдварда святого житие
Поведать или лучше, для начала,
Трагедию из тех, что я немало,
Числом до сотни, в келье сочинил.
Трагедию бы я определил
Как житие людей, кто в славе, в силе
Все дни свои счастливо проводили
И вдруг, низвергнуты в кромешный мрак
Нужды и бедствий, завершили так
Свой славный век бесславною кончиной.
Как враг людской бессчетные личины
Принять готов, так для трагедий сих
Берут размером разнородный стих;
Обычный же размер для них — гексаметр,
Длиною он в шесть стоп... Хотя вы сами
Трагедий строй легко определите,
Коль вслушаетесь в них. Итак, внемлите.
Но прежде чем рассказывать начну,
Заметить надобно, что не одну
Из былей тех о славных королях,
О папах, императорах, царях

Вы, может быть, не раз уже слыхали,—
Так чтоб меня потом не упрекали
За то, что их кой-как расположу
И что придет на ум, то расскажу
Вперед, а что запамятую — после.
Мысль в них одна, их слушай вместе, врозь ли».

РАССКАЗ МОНАХА

Здесь начинается рассказ Монаха

Люцифер

Трагедии начну я с Люцифера,
Хоть не был он одним из смертных чад.
Средь ангелов другого нет примера
Столь жалкой гибели. За грех был снят
Он с высоты своей и ввергнут в ад.
О Люцифер, светлейший ангел! Ныне
Ты — сатана; тебе пути назад
Заказаны к господней благостыне.

Адам

А вот Адам, что создан дланью божьей
Вблизи Дамаска был, а не зачат
От мужа женщиной на грязном ложе.
Без древа одного весь райский сад
Ему принадлежал,— он был богат,
Как из людей никто во всей вселенной.
Но, провинившись перед богом, в ад
Он послан был сквозь муки жизни бренной.

Олоферн

Военачальника тогдашний свет
Не знал удачливей, смелей, грознее,
Чем Олоферн. В теченье многих лет
Крушил народы он, и все, бледнея,

Внимали имя этого злодея,
Судьба ему давала торжество,
Он был обласкан, зацелован ею,—
И вдруг слетела голова его.

Не только достоянье и свободу
Он отнимал у всех, палач и вор;
Он каждому повелевал народу
Считать, что бог — Навуходоносор.
Все области на этот шли позор,
Забыв о вере, ужасом томимы;
Лишь Ветилуя, та дала отпор,
Приняв совет жреца Элиакима.

Послушайте, как кончил век злодей.
Напившись допьяна, средь ночи темной
В палатке он покоился своей.
Но, несмотря на рост его огромный,
Рука Юдифи, горожанки скромной,
С плеч голову его отсекла прочь;
И с головой в руках, тропой укромной,
Юдифь к своим вернулась в ту же ночь.

Крез

Лидийским царством правил Крез богатый;
Был мощью даже Киру страшен он.
Но, наконец, в полон врагами взятый,
Был на костер спесивец возведен.
Вдруг полил дождь, гася со всех сторон
Огонь костра, и царь спасен был роком,
Но был ему конец определен:
В петле повиснуть на столбе высоком.

Когда он спасся, тотчас же в поход
Он вновь отправился в том убежденье,
Что рядом с ним Фортуна в бой пойдет,
Которой он спасен был от сожженья;
Считал он невозможным пораженье,—
Недаром ведь ему приснился сон,
Питавший гордость в нем и самомненье.
Он всей душой был к мести устремлен.

Ему приснилось, что в листве древесной
Ему Юпитер моет плечи, грудь

И полотенце с высоты небесной
Бог Феб спешит, склонившись, протянуть.
Крез, сновиденья не поняв ничуть,
Спросил у дочери своей ученой,
В чем вещего его виденья суть,
И услыхал ответ определенный:

«На виселице ты свой кончишь век,—
В том сомневаться было бы напрасно.
Юпитер означает дождь и снег,
Феб с полотенцем — солнца жар ужасный!..
Им предстоит твой труп томить всечасно,
Чтоб то он высыхал, то снова мок».
Так дочь Фания рассказала ясно,
Какой удел отцу готовит рок.

И был повешен Крез, тиран спесивый,
Ему престол роскошный не помог.
Где б для трагедии была пожива,
Для плача где б она нашла предлог,
Когда б земные царства грозный рок
Не рушил что ни день рукой могучей?
К уверенным в своей звезде он строг,
От них свой лик скрывает он за тучей.

Педро Жестокий

Ты, Педро, лучший цвет испанской славы,
Был милостями рока так богат!
Те, что теперь тебя жалеют,— правы.
Тебя из края выгнал кровный брат,
Потом, подвергнув злейшей из осад,
К себе в палатку заманил обманом
И заколол своей рукою, кат,
Чтоб завладеть добром твоим и саном.

На сук багровый пойманный орел,
Чернеющий на белоснежном поле,—
Вот кто владыку к гибели привел.
«Гнездовье зла» в его повинно доле.
Не Карла Оливер, умом и волей
Примерный муж, а Оливер другой,
Что с подлым Ганелоном сходен боле,
Бретонский Оливер всему виной.

Петро Кипрский

О славный Петро, Кипра властелин,
Под чьим мечом Александрия пала!
Тем, что сразил ты столько сарацин,
Ты приобрел завистников немало.
За доблесть ратную твои ж вассалы
Сон утренний прервали твой навек.
Изменчив рок, и может от кинжала
Счастливейший погибнуть человек.

Варнава Висконти

Милана славный государь, Варнава
Висконти, бог разгула без препон
И бич страны! Кончиною кровавой
Твой бег к вершине власти завершен.
Двойным сородичем (тебе ведь он
Был и племянником и зятем вместе)
В узилище ты тайно умерщвлен,—
Как и зачем, не знаю я, по чести.

Уголино

Рассказ о бедном графе Уголино
У каждого исторгнет плач и стон,—
Так жалостна была его кончина;
Он был близ Пизы в башню заключен
С тремя детьми,— год пятый завершен
Был лишь недавно старшим из малюток.
Как птица в клетке, в башне без окон
Они томились. Их удел был жуток.

Епископ Роджер злобной клеветой
Достиг того, что, в башню заточенный,
Несчастный граф там век окончить свой
Был обречен толпою возмущенной.
И дни его текли в тоске бездонной
Средь мрачных стен, как я уже сказал...
Заплесневелый хлеб с водой зловонной
В обед злосчастный узник получал.

И вот однажды, в час, когда обычно
Ему обед тюремщик приносил,
У двери звук раздался непривычный:
Тюремщик наглухо ее забил.

Граф понял все и в ужасе застыл.
«Голодной смерти призрак перед нами,—
Подумал он,— сколь жребий мой постыл!»
И залился обильными слезами.

Тут младший сын, трехлетний мальчуган,
Спросил отца: «Что плачешь ты? Скорее
Обед бы нам тюремщиком был дан!
От голода, смотри, я коченею;
Дай мне лепешку, и засну я с нею.
О, если бы навек уснуть я мог,
Чтоб голода не знать! Всего милее
Мне хлеба, хоть бы черствого, кусок»

Так он томился день-другой, стеная,
Потом на грудь отцовскую прилег.
Сказал: «Прощай, отец, я умираю!»
И дух свой испустил чрез краткий срок.
Граф это зрелище стерпеть не мог;
В отчаянье себе кусая руки,
Он закричал: «Тебя, проклятый рок,
Виню за все мои страстные муки».

А дети, думая, что он себе
Кусает руки, голодом нудимый,
Воскликнули: «Мы плоть свою тебе
Отдать готовы, наш отец родимый,—
О, если б накормить тебя могли мы!»
Их слушая, он плакал без конца,
А через день, в тоске невыразимой,
Они скончались на руках отца.

Сам Уголино тоже там скончался,
Навек покинув этот бренный свет,
Где некогда он славой красовался,—
Подробностей в трагедии сей нет;
Всем любознательным даю совет
К поэме обратиться бесподобной,
В которой Дант, Италии поэт,
Все это рассказал весьма подробно.

Здесь Рыцарь и Трактирщик
прерывают рассказ Монаха

ПРОЛОГ
МОНАСТЫРСКОГО КАПЕЛЛАНА

«Сэр,— рыцарь тут воскликнул,— пощадите!
Трагедиями нас не бремените!
Гнетет нас этих бедствий страшный груз.
К примеру, я хоть на себя сошлюсь:
Мне тяжко слышать, что глубоко пал
Герой, который в славе пребывал,
И с облегченьем, с радостью я внемлю
Тому, как наполняют славой землю,
Как низкий званьем славен и велик
Стал и пребыл. Его победный клик
Бодрит мне душу и дает отраду.
Об этом и рассказывать бы надо».
Трактирщик тож: «Клянусь колоколами
Святого Павла. Ишь как перед нами
Он раззвонился: «Туча, мол, сокрыла
От них злой рок». И что еще там было
В «трагедиях» его. Да просто срам
Так плакаться и сокрушаться нам
Над тем, что уж невесть когда случилось.
И прав сэр рыцарь, сердце омрачилось,
Вас слушая. Увольте, сэр монах,
Уныние нагнали вы и страх
На всю компанию. Побойтесь бога,
Что портить вашим спутникам дорогу!
В рассказах этих нету ни красы,
Ни радости. Хотел бы попросить
Вас, сэр монах, иль как вас там, сэр Питер,

Быть веселей, как весел ваш арбитр.
Ведь если б не бренчали бубенцы
Уздечки вашей, прежде чем концы
Сведете вы трагедии с концами,
Клянусь Фомы преславными мощами,
Заснул бы я и носом прямо в грязь
Свалился бы, чего я отродясь
Не позволял себе. А для чего
Тогда рассказчику и мастерство?
Клянусь я небом, правы мудрецы те,
Что заповедали нам: «Братья, бдите:
Кто не обрел внимающих ушей,
Не соберет плодов своих речей».
А я,— недаром стреляный я волк,—
В историях уж я-то знаю толк.
Что ж, сэр монах, потешьте доброхота
И расскажите вы нам про охоту».
«Ну нет,— сказал монах,— пускай другой
Вас тешит, я ж рассказ окончил свой».
Хозяин наш ругнул его в сердцах,
Крест помянул и прах его отца
И к капеллану с речью обратился:
«Друг, сделай так, чтоб дух наш ободрился.
А ну-ка, сэра Питера позли
И всю компанию развесели.
Не унывай, что под тобою кляча,
А что уродлива она — тем паче.
Везет тебя кобыла — ну и ладно,
Лишь было б только на сердце отрадно».
«Согласен, сэр,— тут капеллан сказал.—
Изволь, хозяин, чтоб ты не скучал,
Припомню сказку, но коль скучно будет,
Ты не бранись,— другие нас рассудят».
И с этим за рассказ принялся он,
Наш простодушный, добрый наш сэр Джон.

РАССКАЗ МОНАСТЫРСКОГО КАПЕЛЛАНА

Здесь начинается рассказ Монастырского капеллана о петухе и курочке — Шантиклэре и Пертелот

Близ топкой рощи, на краю лощины,
В лачуге ветхой, вместе со скотиной
Жила вдова; ей было лет немало.
Она с тех пор, как мужа потеряла,
Без ропота на горе и невзгоды
Двух дочерей растила долги годы.
Какой в хозяйстве у вдовы доход?
С детьми жила она чем бог пошлет.
Себя она к лишеньям приучила,
И за работой время проходило
До ужина иной раз натощак.
Гуляли две свиньи у ней и хряк,
Две телки с матерью паслись на воле
И козочка, любимица всех, Молли.
Был продымлен, весь в саже, дом курной,
Но пуст очаг был, и ломоть сухой
Ей запивать водою приходилось —
Ведь разносолов в доме не водилось.
Равно как пища, скуден был наряд.
От объеденья животы болят —
Она ж постом здоровье укрепила,

Работой постоянной закалила
Себя от хвори: в праздник поплясать
Подагра не могла ей помешать.
И устали в труде она не знала.
Ей апоплексия не угрожала:
Стаканчика не выпила она
Ни белого, ни красного вина.
А стол вдовы был часто впору нищим,
Лишь черное да белое шло в пищу:
Все грубый хлеб да молоко, а сала
Иль хоть яиц не часто ей хватало.
Коровницей та женщина была
И, не печалясь, с дочерьми жила.
Плетнем свой двор она огородила,
Плетень сухой канавой окружила,
А по двору, как гордый кавалер,
Ходил петух — красавец Шантиклэр.
И поутру он кукарекал рано
Звончей и громогласнее органа,
Что только в праздник голос подавал.
Соперников петух себе не знал.
Его стараньем были все довольны;
Часы на монастырской колокольне
Запаздывали против петуха.
Вдова, на что уже была глуха,
Но каждый час она его слыхала.
Его чутьем природа управляла:
Когда пятнадцать градусов пройдет
В подъеме солнце — Шантиклэр поет.
Зубцам подобен крепостного вала,
Роскошный гребень был красней коралла,
А клюв его был черен, что гагат;
Лазоревый на лапах был наряд,
А епанча — с отливом золотистым,
А когти крепкие белы и чисты.
Чтобы от праздности не заскучал он,
Семь кур во всем супругу угождало;
И, золотистой свитой окружен,
Ходил он меж сестер своих и жен,
А та из них, чьи перышки всех ярче,
Кого из жен супруг любил всех жарче,
Была прекрасная мадам Пертлот.
Свободная от всяческих забот,

Общительна, учтива, добродушна,
С супругом ласкова, мила, послушна —
Она так крепко мужа оплела,
Что для него единственной была.
Хвалить ее — вот в чем ему отрада,
И солнцем лишь окрасится ограда,
Уж он поет: «Где ты, моя девица?»
(В те времена, по-видимому, птица
По-человечьи говорить могла.)
В час утренний, когда редела мгла,
Спал Шантиклэр, и с ним подруги вместе
В каморке на засиженной насести.
А рядом с ним сидела Пертелот.
Вдруг Шантиклэр спросонья как икнет
И от виденья заклохтал дурного.
Она ж толкнула мужа дорогого
И говорит: «О мой супруг, проснись!
И лучше уж со мной ты побранись,
Чем так клохтать». А он в ответ: «Мадам!
Не пожелаю я того врагам,
Что мне приснилось. Вы умерьте страх:
Ведь это сон. Но впредь в своих мольбах
Просите бога, въявь бы не случилось
Того, что только что мне вдруг приснилось.
А снилось мне, что будто по двору,
Где я гулял (ни чуточки не вру),
Зверь крадется, чтоб на меня напасть,
Похожий на собаку, только масть
Мне незнакомая. Но видел ясно
Я мех пушистый, длинный, желто-красный;
Конец хвоста и кончики ушей
Противу шкурки были потемней.
А морда острая, глаза колючи —
Они грозили смертью неминучей.
Вот отчего, должно быть, я стонал».
«И ты от этого так духом пал?
Прочь от меня! Стыдись, о малодушный,
Такому трусу быть во всем послушной,
Терпеть, чтоб мужа так пугали сны,—
Какой позор и горе для жены!
Ведь мы хотим, чтобы супруг был смел,
Надежен, мудр, скупиться бы не смел,
Чтоб не был хвастуном, глупцом, растяпой,

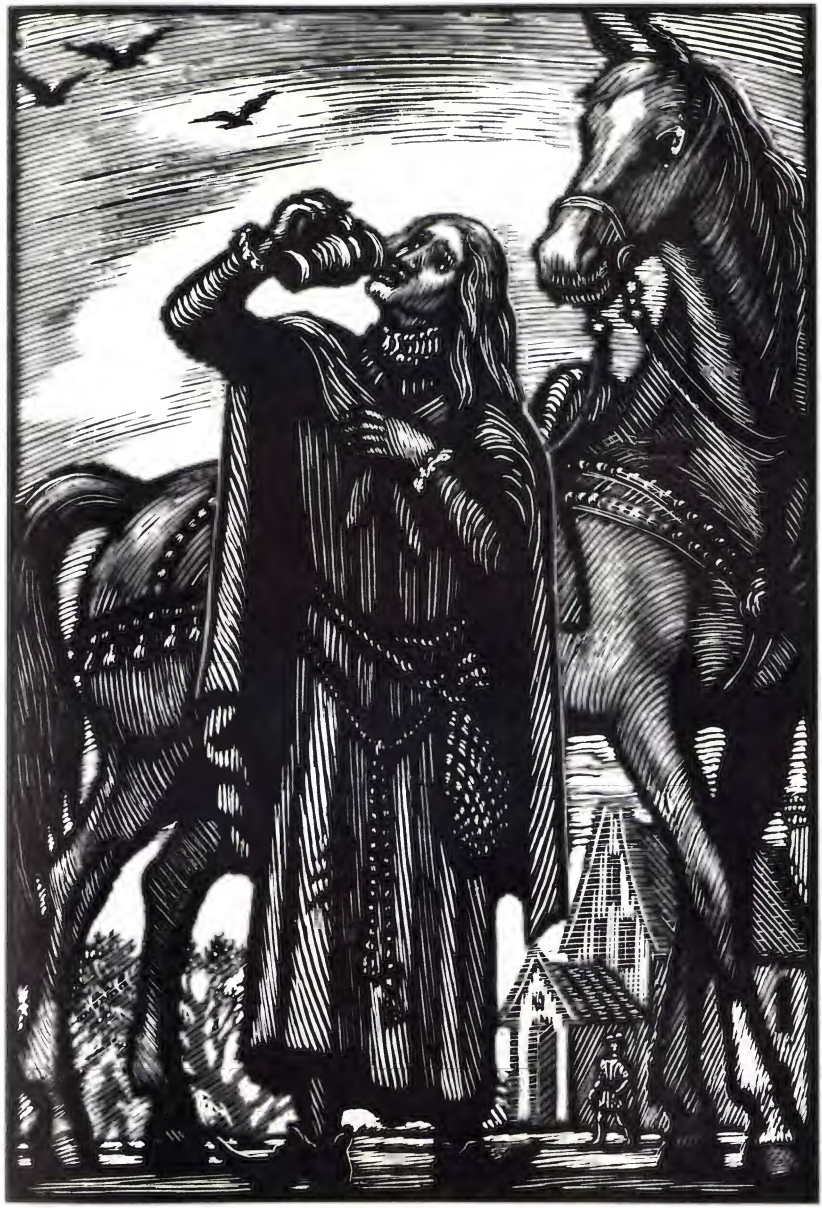
Чтоб испугать его когтистой лапой
Не мог бы кот или рычаньем пес.
Какую ты нелепицу понес!
Подумать только! Ты своей любимой
Признался в трусости неодолимой.
О, стыд какой! Махрами бороды
Цыплячье сердце прикрываешь ты!
Так испугаться мог ты снов каких-то!
И вздумал ими, трус, пугать других ты!
Все эти сны — один пустой обман:
Обжорством порождается дурман,
Или излишком градусов в напитке,
Иль испарениями, что в избытке
Накапливает в животе завал.
Тебе любой расскажет коновал,
Что сон твой просто от прилива желчи,
Но сны такие надо видеть молча.
От этой желчи то ль еще увидишь!
Приснятся стрелы или в ад ты снидешь,
В багровый пламень, там багряный зверь
Тебя укусит, распахнется дверь
И грызться станут малые, большие
Собаки с волком. Ужасы иные
От черной желчи угнетают нас:
Тебе приснится черный дикобраз,
И черный бык, и черные медведи,
И черти черные, из темной меди
Весь закоптелый сатанинский чан
И что ты черным бесом обуян.
Могла бы я и прочих испарений
Приметы рассказать и сновидений
Пример привесть, но будет и того,
Что ты услышал. Вот Катон! Его
Считают мудрецом, а что сказал он:
«Не верьте снам». Иль и Катона мало?
С насести нашей, о супруг, спорхни,
Слабительного поскорей глотни —
И, выгнав желчь зловредную из крови,
Без недугов ты будешь жить, как внове.
Для этого не нужен и аптекарь,
Сама тебе я лучший буду лекарь:
Траву поносную я укажу,
А также рвотную, и освежу

Я кровь твою прочисткой в два конца.
Трава растет у самого крыльца,
Искать ее далеко не придется.
Но не забудь, что желчь в тебе мятется:
Смотри, чтобы горячих испарений,
Как зелья вредоносного курений,
В тебе не разогрело солнце. Пар
Ударит в голову, и тотчас жар
Тебя тогда охватит и горячка.
И сядет на язык тебе болячка,
И ты смертельно можешь захворать.
Два дня не нужно ничего вкушать,—
Одних червей, как самой легкой пищи.
Тебя тогда еще сильней просвищет
От этих трав. Лишь только страх откинь
И у ворот у нас поклюй полынь,
А к ней прибавишь стебель чистотела,
Чтоб испарения изгнать из тела,
А также мяты и ромашки цвет:
От ветров, рези — лучше средства нет;
Запор излечат ягоды крушины,
И перестанешь бредить без причины.
Хоть неказист и едок молочай,
Но и его нарви и принимай.
И, наконец, испробуй ты кизил —
Чтобы во сне поменьше голосил».
Тут бороду когтем он почесал
И с важностью жене своей сказал:
«Мадам, благодарю вас за советы,
Но что касается Катона, в этом
Я с вами не согласен. Знаменит,
В том спору нет, Катон, но говорит
О снах превратно. Чтя святых отцов
И древности преславных мудрецов,
Которые не менее Катона
Себя прославили во время оно,
На них сошлюсь, что сны полны значенья
И нам сулят то радость, то мученья.
О вещих снах не стану спорить зря,
О них рассказов сотни говорят.
Вот, например, великий Цицерон.
В одной из книг рассказывает он:
Два друга собрались в путь-дорогу,

Обет свершая, данный ими богу,
И в городе, где надо б ночевать,
Ночлега не могли они сыскать
Такого, чтоб расположиться вместе:
Стеснилися, как мы тут на насести,
Паломники со всех концов земли.
Друзья с трудом себе приют нашли.
Один, что был к удобствам равнодушней,
Устроился в заброшенной конюшне.
Бок о бок с парой упряжных волов.
Другой нашел себе постель и кров
В гостинице. Судьба того хотела.
А ведь судьба всегда решает дело.
Сквозь сон услышал тот, кто в доме спал,
Что будто бы его другой позвал
И говорит: «Увы, в хлеву воловьем,
В навоз уткнувшись вместо изголовья,
Сегодня мертвым буду я лежать.
Покинь скорее теплую кровать —
Или в живых меня ты не застанешь».
Но, и проснувшись, иногда не встанешь;
Друг, в страхе пробудясь, уснул опять:
Он сны привык безделицей считать.
И дважды этот сон ему приснился.
И в третий раз приятель появился
И голосом знакомым говорит:
«Все кончено, о друг мой, я убит.
Смотри, как глубоки и страшны раны,
И если встанешь ты поутру рано,
У западных ворот увидишь воз,—
В нем, раскопав солому и навоз,
Мой труп найдешь, и тут же можешь смело
Рассказывать о том, как было дело.
Всему виною золото мое».
И, бледное лицо склонив свое,
О том, как был зарезан, рассказал он.
И, кончив свой рассказ, как тень, пропал он.
И вот, едва лишь стало рассветать,
Второй паломник принялся искать
Приятеля, но стойло было пусто,
А сам хозяин, покрасневши густо,
Сказал, что постоялец, мол, чем свет
Собрался в путь. Услыша сей ответ

И в опасеньях горших утвержденный,
Он видит воз, соломой нагруженный,
Как друг сказал,— у западных ворот.
И начал громко он скликать народ,
Кляня убийц и призывая к мщенью:
«Мой спутник умерщвлен без сожаленья!
Вот тут, в навозе, труп его лежит.
Взываю к тем, кому здесь надлежит
Блюсти закон и охранять порядок».
А далее рассказ мой будет краток.
Действительно, в навозе труп нашли
И вскорости достойно погребли.
Убийство не осталося под спудом:
С возницей чуть не кончив самосудом,
Толпа его передала властям,
И так досталось ребрам и костям
Под пыткою, что пред судьбой смирился
Возница и в убийстве повинился.
Тут и хозяин скрыть не смог вины,
И были оба смертью казнены.
И так всегда. Ведь рано или поздно
Убийц господень суд настигнет грозный,
Хотя б они и год и два таились
И от суда людского хоронились.
Отсюда видите, сколь сны зловещи.
Еще читал я, помню, в той же вещи,
Немного ниже приведенных строк
(А если лгу, меня накажет бог),
О двух друзьях, которые собрались
Плыть за море и вместе задержались
В порту одном, пережидая, чтоб
Не дул им ветер неустанный в лоб.
И к вечеру погода изменилась,
И ветер стих, и море усмирилось,
И, радуясь, легли они в кровать,
Решив с рассветом путь свой продолжать.
Но одному приснился сон чудесный:
Во сне явился отрок неизвестный,
Который не велел ему спешить.
«А если вздумаешь ты завтра плыть,
Потонешь, говорит, и весь тут сказ».
Но друг, услышав странный сей наказ,
В ответ на просьбу отложить отплытье,

Смеяться стал, что, мол, приятель — пытик,
О вещих снах плетет какой-то вздор:
«Не стыдно ли тебе? Какой позор!
Чтоб изменил в делах своих решенье
Из-за какого-то я сновиденья!
Бывает, совы снятся, обезьяны,
И нечисть всякая, и смерть, и раны,
И что тебя убили или судят,
Чего и не было, да и не будет.
Все эти сны — иль вымысел, иль бред,
В них правды истинной ни капли нет.
Но ты, я вижу, до смерти напуган,
И, позабыв про дело и про друга,
Здесь в праздности решил ты пребывать.
Мне остается только пожелать,
Чтоб ты одумался не слишком поздно».
И разошлись друзей дороги розно.
И в то же утро смелый друг отплыл,
Но далеко еще от цели был,
Когда, не знаю, по какой причине,
Дал течь корабль, сломался посредине,
И на глазах у прочих кораблей
Разверзлось море, поглотив людей.
Краса Пертлот, дражайшая супруга,
Пускай пример насмешливого друга
Тебе покажет, что нельзя шутить
Над снами вещими и говорить
Так опрометчиво о предсказаньях.
Совсем недавно я прочел в деяньях
Блаженного Кенельма (он был сын
Кенульфа-короля) про сон один.
Наследовав отцу, младенец кроткий,
Он, перед тем как был зарезан теткой,
Свое убийство увидал во сне.
А были с ним лишь нянюшки одне.
Кормилица дитя остерегала.
Но что мог сделать несмышленыш малый?
Был от роду всего семи он лет,
И не помог кормилицы совет.
Я отдал бы последнюю рубашку,
Лишь бы прочли вы про дитя-бедняжку.
Иль вот Макробиев «Сон Сципиона»,
Он говорит: у снов свои законы.



Пролог продавца индульгенций

Они предвестие того, что будет.
И пусть неверы вкривь о них не судят.
Вот хоть бы Ветхий посмотреть завет.
Что Даниил? Он верил снам иль нет?
Иль вот Иосиф? Словом, часто сны —
Хоть не всегда — значения полны.
Король египетский, сэр фараон,
Он хорошо узнал, что значит сон;
И хлебодар и виночерпий тоже
С владыкой в этом были очень схожи.
И кто анналы древних разберет,
О снах свидетельств много в них найдет.
Вот, например, король лидийский Крез
Во сне увидел, что на ветку влез.
И сон был в руку: верно — был повешен.
Иной раз сон гласит: не будь поспешен.
Вот Андромаха — Гектора жена,
В ночь перед боем видела она,
Что жизни Гектор поутру лишится,
Когда с Ахиллом бой вести решится,
И осторожней быть его молила.
Упрямого исправит лишь могила:
И Гектор в битву тотчас же вступил,
И зарубил мечом его Ахилл.
Ночь напролет рассказывать про это —
И то всего не скажешь до рассвета.
Итак, кончаю. Вывод мой таков:
Нам ждать беды от этих вещих снов.
А про слабительные знаю только,
Что не помогут против снов нисколько —
Ведь яд они, и злейшему врагу
Их не дал бы; терпеть их не могу.
Об этом хватит, есть приятней темы.
Хоть в радости мы слишком часто немы,
Но ваше лишь увижу я лицо,
Вокруг очей багряное кольцо,
Пою ниспосланную богом милость
И забываю страхи, хворь и хилость.
Ведь так же верно, как «In principio»
Mulier est hominis confusio [1],
А это означает по-латыни,

[1] От женщины соблазн мужчине *(лат.)*.

Что женщина — небесный дар мужчине.
Когда же ночью мягкий ваш пушок
Зазябнувший мне согревает бок,
Любимая, мне, право, очень жалко,
Что наш насест коротенькая палка,
Что не могу вас ночью потоптать:
Ведь в жердочку одну у нас кровать;
Вас так люблю и вами так горжусь,
Что снов и знамений я не боюсь».
Тут соскочил петух с своей насести,
И все супруги с ним спорхнули вместе,
Их, чтоб не разбредались далеко,
Он начал звать хрипучим ко-ко-ко...
Он выступал с осанкой горделивой,
Звал Пертелот к себе нетерпеливо,
И в шею ласково ее клевал,
И раз до двадцати пяти топтал.
Топорщил гриву, что свирепый лев,
И кукарекал, надрывая зев.
И, пыжась, он ходил лишь на когтях,
Чтоб пяток не коснулись грязь и прах.
И кокококал он, найдя зерно,
И доставалось Пертелот оно,
Хоть все супруги тотчас отзывались
И опрометью на призыв бросались.
Так он ходил, как царь в своей палате.
На этот раз о нем, пожалуй, хватит.
Поздней я расскажу, что с ним стряслось.
Со дней, когда творенье началось
(Что было в марте), тридцать дней прошло,
И майских два вдобавок, и взошло
На сорок с лишним градусов светило,
И во всю мочь в глаза оно светило,
Когда петух в кругу прекрасных жен
Шел по двору, гордыней упоен.
Но вот на солнце зоркий глаз скосил он,
И во весь голос миру возгласил он
(Не разумом то ведал, а чутьем),
Что солнце в градусе двадцать втором
Созвездия Тельца и значит это,
Что скоро девять и обедня спета:
«Мадам Пертлот, звезда моих очей!
И птицы нынче нам поют звончей,

И травы мягче, и цветы душистей,
И сам я веселей и голосистей».
Но тут пришла, как водится, беда —
Она за радостью бредет всегда,
А радость, всякий знает, мимолетна,
Будь летописец я, о том охотно
Подробнее я вам бы рассказал
И все как следует растолковал.
Скажу я тем, не верит кто поэтам,
Что поручусь: во всем рассказе этом
Ни слова лжи вы так же не найдете,
Как и в истории о Ланселоте —
Излюбленной истории всех дам.
Но к были не пора ль вернуться нам?
Жил красно-бурый лис, злой и лукавый,
В овраге за болотистой дубравой.
И, верно, бог терпел его грехам:
Уже три года он скрывался там.
А в эту ночь он подкопал забор
И незаметно пробрался во двор,
Где Шантиклэр, петух наш знаменитый,
Разгуливал со всей пернатой свитой.
В траве густой залег в засаду лис
И ждал; когда ж хозяйки собрались
Коров доить, пополз он к Шантиклэру:
Усвоил он злодейскую манеру
Тех душегубцев, что исподтишка
Разить стремятся. И, увы, тяжка
Судьба твоя, о Шантиклэр несчастный!
Зачем спорхнул ты в этот двор опасный!
Иуда новый! Новый Ганелон
И погубитель Трои, грек Синон!
Ты всех коварней лис и всех хитрее.
Но, Шантиклэр, ты о его затее
Предупрежден был тем зловещим сном.
И до сих пор не кончен спор о том:
Все ль предопределил господь от века
Или свободна воля человека...
На этот счет большие есть сомненья
И средь ученых в корне расхожденье.
Народы, страны в спор вовлечены
И яростной враждой омрачены.

До корня не могу я докопаться
И в сложности вопроса разобраться,
Как сделал то блаженный Августин,
Или Боэций, или Бродвардин,
Чтобы решить, предвиденье господне
Предуказует ли нам и сегодня
Свершить, что им предопределено,
Иль человеку все ж разрешено
И не свершать того, что божий разум
Предусмотрел, но не скрепил наказом;
Или причинная необходимость,
А не извечная неотвратимость —
Вот в чем предвиденье и промысл бога,
Но, кажется, отвлекся я немного.
Ведь речь о петухе, который сдуру
Свою надменную послушал куру
И во дворе пустом стал красоваться,
Хоть следовало снов ему бояться.
Капризы женские приносят зло,
Капризом женским в мир оно пришло
И выжило Адама вон из рая,
Где жил он без греха, забот не зная.
Пожалуй, будет кто-нибудь задет,
Что женщин опорочил я. Но нет!
Ведь это все я в шутку говорил.
Найдите, как о том мудрец судил;
Здесь петуховы, не мои сомненья,
А я о женщинах иного мненья.
Меж тем Пертлот, чтоб лучше обобраться,
Пошла в пыли с подругами купаться
На солнечном припеке, а петух
Клевал зерно, ловил козявок, мух
И распевал приятней той сирены,
Что завлекает нас, явясь из пены,
О ней же утверждает «Бестиарий»,
Что в мире нет сладкоголосей твари.
Но вот, склонясь над жирным мотыльком,
Увидел Шантиклэр, что под кустом
Таится лис. Он в страхе изнемог
И не запел, а произнес: «Ко-кок»,—
И задрожал, что и с людьми бывает,
Когда их смертный страх одолевает.
Хоть всякий зверь стремится убежать,

Когда врага придется повстречать,
Хотя б тот враг был вовсе неизвестен,
Но Шантиклэр так и застыл на месте,
Когда к нему вдруг обратился лис:
«Почтенный сэр! Куда вы собрались?
Ведь я ваш друг. Вам нечего бояться,
Я б не посмел и вовсе к вам являться
И нарушать ваш утренний покой,
Но справиться я не могу с собой.
Не терпится ваш голос услыхать,
Могу его лишь с ангельским сравнять.
Какая глубина! Какое чувство!
Боэций так не ощущал искусство!
Милорд ваш батюшка (достойный сэр!)
И матушка прелестная (в пример
Ее всем ставлю) часто приглашали
Меня к себе и пеньем услаждали,
А в этом деле я большой знаток.
И пусть застрянет первый же глоток
В моей гортани, если вам солгу я!
Ведь никого на свете не сравню я
С таким певцом, каким был ваш отец:
Вот это настоящий был певец!
От всей души он пел, и, чтоб сильнее
Звучала песня, он дышал ровнее,
Глаза еще плотнее закрывал,
Напрягшись весь, на цыпочки вставал
И, шею вытянув, так кукарекал,
Что не было на свете человека,
Который в этом с ним сравниться б мог,
Хоть он тянись под самый потолок...
И мудростью отец ваш был богат.
Мне помнится, что много лет назад
Я в книжице «Сэр Лопоух-Осел»
Историю про петуха прочел:
Как сын священника переломил
Крыло ему и как он отомстил.
Все ждал сынок, что петел запоет,
Да и проспал наследственный приход.
Конечно, это я не для сравненья
(Как мудрость сравнивать и ухищренья?) —
Вы ж, если петь как следует начнете,
Наверное, отца перепоете».

Тут Шантиклэр взмахнул, забил крылами.
Как человек, обманутый льстецами,
Он был в восторге от таких похвал.
Увы! Скольких льстецов и прихлебал,
Что ложью слово правды заглушают,
К себе владыки часто приближают,
И лесть им слаще горькой правды часто.
Прочтите же слова Екклезиаста:
«Страшись, владыка, приближать льстецов!».
А Шантиклэр был к пению готов,
Привстав на цыпочки, глаза прикрыл
И, шею вытянув, что было сил
Закукарекал громко и протяжно.
Сэр Патрикей, хитрец и плут присяжный,
Приблизился, мгновенье улучил —
За шею хвать — и на спину взвалил.
Никто тут Шантиклэру не помог,
И лис его к оврагу поволок.
Судьба! Сурова ты и неизбежна!
На горе Шантиклэр пел безмятежно!
На горе Пертелот над сном шутила!
На горе в пятницу все это было!..
Венера! О богиня наслажденья!
Ведь Шантиклэр не ради размноженья,
А наслаждаяся, тебе служил
И ревностно и не жалея сил.
Ужель в твой день погибнуть должен он!
О Джеффри, славный мэтр былых времен,
Что Ричарда, сраженного стрелою,
Воспел в стихах со слезной похвалою!
Когда бы мне красот твоих хоть часть,
Чтоб пятницу вослед тебе проклясть
(Ведь в пятницу пал Ричард, наш король),
Тогда б оплакал я и страх, и боль,
И муки безнадежных содроганий.
Такого плача и таких стенаний
Не вознеслось, так не визжали дамы,
Когда свирепый Пирр царя Приама,
Схватив за бороду, пронзил мечом,—
Какой поднялся между кур содом,
Когда был Шантиклэр от них восхи́щен.
Сколь грозен лис увидев и сколь хищен,
Мадам Пертлот плачевней закричала,

Чем некогда супруга Газдрубала,
Когда он к римлянам попался в плен
И был сожжен, а с ним и Карфаген.
Ведь, бедная, в отчаянье и горе
Сама скакнула в огненное море.
Супруга дорогого лишены,
Вопили куры, горести полны.
Так римских пэров завывали жены,
Когда пылал Нероном Рим сожженный
И под стенания, и стон, и плач
Мужей безвинных умерщвлял палач,
Жестокому покорствуя приказу.
Однако я вернусь опять к рассказу.
Услыша во дворе переполох,
Спешит туда вдова, не чуя ног,
И, чтоб беде неведомой помочь,
Бежать скорей она торопит дочь.
А та лису с добычей увидала.
«Лиса! На помощь! — громко закричала.—
Ату ее! Вон убегает в лес!»
И через луг спешит наперерез.
За нею с палками бежит народ,
И пес Герлен, и Колли, и Тальбот,
Бежит корова, а за ней телята
И вспугнутые лаем поросята,
Соседка Молкин с прялкою в руке
И старый дед с клюкою, в колпаке,—
Бегут, запыхавшись до полусмерти,
И все вопят, как в преисподней черти.
И кряхчут утки, копошатся мыши,
Перелетают гуси через крыши,
От шума пчелы покидают ульи.
Но передать тревогу ту могу ль я?
Джек Стро, наверно, так не голосил,
Когда фламандцев в Лондоне громил.
И не шумней была его орава,
Чем эта многолюдная облава.
Кто рог схватил, а кто пастушью дудку,
Трубил, дудел всерьез, а то и в шутку,
И поднялся у них такой содом,
Как будто бы земля пошла вверх дном.
Но слушайте, друзья, что было дале,
Такого ожидаете едва ли.

Судьба! Она, глядишь, разочарует;
Победу побежденному дарует.
Вися бессильно на загривке лисьем
И видя, как на помощь поднялися,
Петух испуг свой смертный подавил.
«Когда бы я на вашем месте был,
Почтенный сэр,— сказал он,— я бы в пику
Угрозам их, и похвальбе, и крику
Одно словечко только им сказал —
Что, мол, случалось, не таких видал.
Напрасны и капканы и ловушки!
Смотрите, я достиг лесной опушки
И петуха, клянусь, назло вам всем,
Я в пору затащу к себе и съем».
«Так я и сделаю»,— ответил лис.
Но только лишь слова те сорвались,
Как высвободился из лисьей пасти
Петух и, чтобы от лихой напасти
Верней спастись, вспорхнул на старый дуб.
А лис улыбкою оскалил зуб:
«Мой милый Шантиклэр, вы мне поверьте,
Хоть испугал я вас до полусмерти
И шею вам намял. Но видит бог,
Что иначе я поступить не мог.
Спорхните вниз, я все вам расскажу
И правоту свою вмиг докажу».
«Ну нет, сэр лис, пусть проклят буду я,
Когда вперед послушаюсь тебя!
С закрытыми глазами нипочем
Не стану петь ни пред каким льстецом.
И справедливо бог того карает,
Кто безрассудно очи закрывает».
«Нет,— молвил лис,— господь того карает,
Кто невпопад, не вовремя болтает,
Когда ему пристало бы молчать!»
И надлежит, друзья, вам вот что знать:
Опасно так беспечно доверяться,
А льстивыми словами обольщаться,
Поверьте мне, еще того опасней.
Ты ж, для кого рассказ мой только басня
Про петуха, про курицу, про лиса,
Ты на себя возьми да оглянися...

Апостол Павел дал нам наставленье:
Во всем написанном зри поученье,
Зерно храни, а шелуху откинь.
И да исправит нас господь. Аминь!

Здесь кончается рассказ
Монастырского капеллана

ЭПИЛОГ К РАССКАЗУ МОНАСТЫРСКОГО КАПЕЛЛАНА

«Сэр капеллан,— тут возопил хозяин.—
Пусть благодать святых и благость таин
Пребудут и благословят штаны
И все, что облекать они должны!
Вот это был рассказ! Помехой ряса,
А то бы от тебя никто не спасся.
Да из тебя такой бы вышел кочет!
Ведь ежели да он всерьез захочет
Пустить в ход силу! Сколько надо кур
Ему в супруги! Ах ты, бедокур!
Не меньше, чем семнадцатию семь,
И, я не я, управится со всеми.
Какие плечи и какой затылок!
И ладен как и спереди и с тыла.
И как у ястреба зрачок канальский.
Индийской краской или португальской
Не надо красить перышки и хвост,
Хорош и так ты, капеллан, хоть прост».
Хозяин наш совсем развеселился
И к доктору со смехом обратился.

РАССКАЗ ВРАЧА

Здесь начинается рассказ Врача

Тит Ливий повествует, что когда-то
Жил в Риме рыцарь, знатный и богатый,
По имени Виргиний, у друзей
Любовь снискавший щедростью своей.
Был дочерью единственною он
С женой своей от неба награжден.
Красою несравненной дева эта
Превосходила все созданья света.
Природа создала ее с таким
Искусством бесподобным, неземным,
Как будто чтоб сказать: «Глядите, люди!
Какой творец мечтать о большем чуде
Дерзнул бы? Может быть, Пигмалион?
Как ни лепил бы, ни чеканил он,
Со мной сравняться был бы тщетен труд.
Зевксис и Апеллес не превзойдут
Меня в искусстве украшать созданья.
Меня творец великий мирозданья
Поставил заместителем своим,
Чтоб облик существам давать земным
И всячески приукрашать их. Мною
Содержится все то, чем под луною
Ущерб и рост владеют вместе тут.
Я мзды не жду за свой бессменный труд.
С моим владыкою всегда согласна,
Всё новым тварям жизнь даю всечасно,
В различную их облекая плоть.
Красой сей девушки почтен господь»,—
Так, думаю, могла б сказать природа.

Уж на порог пятнадцатого года
Вступила девушка, красой своей
Пленившая природу с первых дней.
Багрянцем роз и белизною лилий
Украшены ее ланиты были;
Как ива, гибок был прелестный стан,
А лес кудрей златистых осиян
Лучами полыхающего Феба,
Глядящего с полуденного неба.
Но внешности, отрады из отрад,
Был нрав ее прекраснее стократ.
Все качества соединились в ней,
Которые мы ценим у людей.
Душой и телом далека от зла,
Она цветеньем девственным цвела,
Во всем воздержана, всегда смиренна
И долготерпелива неизменно,
В нарядах, в поведении скромна,
В ответах же учтивости полна.
Она, хотя умом не уступала
Самой Палладе, говорила мало.
Пустопорожних слов ее уста
На ветер не кидали никогда;
Нет, речь ее звучала благородно,
Проникнутая прелестью природной.
Присущи были ей девичий стыд
И рвение, которое бежит
Губительного для души безделья.
В рот не брала она хмельного зелья,
Чтобы Венерин жар не разжигать,
Чтоб масла к пламени не подливать.
Блюсти ей было любо строгий нрав;
Не раз от легкомысленных забав
Она, больной сказавшись, убегала;
Пирушки, пляски, смех под звон бокала
Ее к себе нисколько не влекли,
Она от них держалася вдали.
Тот прав, кто думает, что вредно детям
Забавам праздным предаваться этим:
До времени не надо созревать,
Ведь девочка успеет взрослой стать
И смелое усвоить поведенье.

Вам не в обиду это поученье,
Наставницы господских дочерей,
Приставленные к ним на склоне дней!
Подумайте, какое основанье
Давать их было вам на воспитанье:
Иль то, что чистоту вы соблюли,
Иль то, что пред соблазнами земли
Не устояли и теперь до гроба
От света отреклись. Глядите ж в оба
За нравами воспитанниц своих,
Стезею чистоты ведите их.
Охотник-вор, что от былых утех
Своих отрекся, может лучше всех
Лес охранить. Вы с вашею задачей
Отлично справитесь,— вас ждет удача.
Не поощряйте никогда порок,
Чтоб дьявол вами овладеть не мог.
От снисхожденья к поощренью — шаг.
Невинности предатель — злейший враг
Людского рода,— потому-то мы
Его боимся больше, чем чумы.
Отцы и матери, вам тоже надо —
Растите ль вы единственное чадо
Иль несколько — не отпускать их с глаз,
Пока зависит их судьба от вас.
Остерегайтесь гнусным поведеньем,
А паче неуместным снисхожденьем
Детей своих губить. Кто портит чадо,
Тому не миновать, поверьте, ада.
Коль нерадив пастух, какой в нем толк?
При нем ягнят спокойно тащит волк.
Примерами не утомляя вас,
Продолжу я мой прерванный рассказ.
Не нужно дочери Виргинья было
Наставниц,— нет, она руководила
Собой сама; ведь жизнь ее была —
Как все слова ее, так и дела —
Примером, по которому учиться
Могли бы добродетелям девицы.
И потому в стране гремела слава
О красоте ее и жизни правой.
Все осыпали девушку хвалой,—
Все, кроме злобной зависти одной,

Которой горести чужие милы,
А радости, наоборот, постылы.
Свою продолжил повесть доктор так:
Однажды в храм направила свой шаг
Виргинья дочь; ее сопровождала
Родная мать, как девушке пристало.
А в ту пору как раз одним судьей
Тот округ управлялся городской;
И вот, когда она входила в храм,
Судья, случайно оказавшись там,
Ее увидел и в единый миг
Запечатлел в душе прекрасный лик.
Ее красой невиданной пленен,
Тотчас же про себя подумал он:
«Она моею сделаться должна!»
И тут в него вселился сатана
И научил бессовестным советом,
Как преуспеть коварством в деле этом.
Он понимал, что золотом иль силой
Пути он не проложит к деве милой.
Она имела множество друзей,
И чистота души давала ей
Способность оказать сопротивленье
Любому натиску и вожделенью.
Все это взвесив, парня он призвал,
Которого за негодяя знал,
И все подробно рассказал ему,
Прибавив, чтобы тайны никому,
Коль жизнь ему мила, не выдал он.
Когда был подлый сговор заключен,
Судья на славу парня угостил
И наперед прещедро одарил.
Подробно обсудив с судьею план,
Как дать ему, пустивши в ход обман,
Возможность похоть утолить свою
(От вас их замысла не утаю),
Отправился домой проклятый Клавдий,—
Так парня звали,— а судья, враг правде,
Что звался Аппием (заметьте, я
Не сказкой развлекаю вас, друзья,
А то, что вправду было, повествую),—
Судья, уже заранее ликуя,
Стал предвкушать услады плотской час.

И вот чрез день, другой, когда как раз
В своем судилище он восседал
И тяжбы, как обычно, разбирал,
Вошел его сообщник, твердо шаг
Держа к столу, и громко молвил так:
«Свое пришел я право защищать
И на Виргинья жалобу подать,
Который мне нанес огромный вред.
А скажет он, что это лишь навет,—
Я привести свидетелей могу;
Они вам подтвердят, что я не лгу».
«В отсутствие ответчика нельзя
Решенье вынести,— сказал судья.—
Пускай предстанет он перед судом,
И мы по правде тяжбу разберем».
Явился тот, и жалобу истца
Суд огласил с начала до конца,
А содержанье было в ней такое:
«Я, недостойный Клавдий, пред тобою,
Почтенный Аппий, утверждаю тут,
Что некий рыцарь, коего зовут
Виргиньем, праву вопреки, поныне
Мою служанку держит и рабыню,
В младых летах украденную в ночь
И уведенную насильно прочь.
Есть у меня свидетель не один,
Прошу их выслушать, о господин.
Он скажет вам, что дочь она ему,
Но это будет ложь, и потому
Рабыню мне вернуть прошу покорно».
Вот содержанье жалобы позорной.
В упор взглянул Виргиний на истца
И собрался навету подлеца
Достойный дать и рыцарский ответ,
Всем доказать, что тени правды нет
В его словах, что в них сплошная ложь.
Судье, однако, было невтерпеж,
И он изрек: «Пора прикончить спор!
Такой я объявляю приговор:
Истец свою рабыню может взять;
Отныне у себя ее держать
Не вправе ты. Пусть явится сюда
И под охраной состоит суда».

Услышав этот гнусный приговор,
Велевший дочь родную на позор
Отдать судье, пошел домой Виргиний,
Душою утопая в злой кручине.
Вернувшись, в комнате своей он сел
И тотчас дочь позвать к себе велел.
Когда она вошла и села рядом,
Он на нее взглянул потухшим взглядом.
Хоть жалость сердце отчее и жгла,
В решении был тверд он, как скала.
«Виргинья, дочь моя,— сказал он ей,—
Перед тобой один из двух путей:
Смерть иль позор. Зачем родился я,
Раз мне дожить пришлось, о дочь моя,
До дня, когда тебе, моя отрада,
От острого меча погибнуть надо?
Превыше света божьего любя,
Как ласково лелеял я тебя,
О дочь, последнее мое мученье,
Последнее в сей жизни утешенье!
Жемчужина небесной чистоты,
Свой горький рок прими смиренно ты,
Тебя убьет не ненависть — любовь.
Моей рукой твоя прольется кровь.
Ты повстречалась Аппию на горе,—
Сказалось это в подлом приговоре».
И все ей рассказал он,— вам опять
Излишне это было б повторять.
«Отец родной, я так еще юна,
Я жить хочу,— воскликнула она.
Ему руками шею обвивая
(Привычка у нее была такая),
И слезы брызнули из чудных глаз.—
Ужель, отец, пришел мой смертный час?»
«Увы,— ответил он,— исхода нет».
«Тогда,— промолвила она в ответ,—
Оплакать жизнь мою, отец, мне дай!
Позволил выплакаться Иевфай
Пред смертью дочери своей когда-то,
А в чем была бедняжка виновата?
В том, что отца, свершившего поход,
Хотела первой встретить у ворот».
Сказавши так, она без чувств упала,

А через миг, в себя пришедши, встала
И молвила: «Благодарю творца,
Что девственной останусь до конца.
Позору смерть предпочитаю я.
Отец, готова к смерти дочь твоя».
И стала тут она просить о том,
Чтоб он ударил бережно мечом,
И снова потеряла вдруг сознанье.
Виргиний, полный жгучего страданья,
Отсек ей голову и дар кровавый
Понес в палату, где судья неправый
Еще сидел и тяжбы разбирал.
Судья, гласит преданье, приказал
Его схватить и умертвить тотчас.
Но тут народ ворвался в суд и спас
Виргиния; ведь было всем известно,
Что приговор был вынесен бесчестно.
Еще когда истец явился в суд,
Подозревали многие, что тут
Замешан Аппий, чей блудливый нрав
Был всем знаком. Теперь, злодея взяв,
Его в темницу бросили, и там
С собою скоро он покончил сам.
А Клавдий, Аппия сообщник мерзкий,
Истец неправедный, преступник дерзкий,
К повешенью был тут же присужден.
По просьбе рыцаря, однако, он
Был только изгнан. Если б не Виргиний,
Ему висеть пришлось бы на осине.
Всех остальных, замешанных в злом деле,
На виселицу без пощады вздели.
Вы видите, не безнаказан грех,
Но час небесной кары скрыт от всех.
Тебе неведомо, когда и как
Зашевелится совести червяк,
Хоть о твоем не знает преступленье
Никто,— лишь ты один и провиденье,
Ученому и неучу равно
Расплаты час предвидеть не дано.
Грех из души гоните же скорей,
Покуда он не укрепился в ней.

Здесь кончается рассказ Врача

ЭПИЛОГ К РАССКАЗУ ВРАЧА

Следует обращение Трактирщика к Врачу и Продавцу индульгенций

Тут наш хозяин, словно полоумный,
Браниться принялся с божбою шумной:
«А, кровь и крест того, кто пригвожден был!
Судья тот справедливо осужден был.
Да чтоб они позорною кончиной,
Те стряпчие и судьи, как единый,
Все сгинули! Но ей-то не помочь!
Мне эта девушка как будто дочь.
Ах, дорогой ценою заплатила
За красоту она. Какая сила
Того спасет, кого природа, счастье
Так одарили? Горькие напасти
Их ждут и смерть. Ах, бедная моя!
Такие случаи знавал и я.
Ее краса ее ж и погубила.
Какую гибель ей судьба сулила!
Природы, счастья не хочу даров,
В них проку нет, а зла? Не хватит слов
О нем сказать. Да, дорогой мой доктор.
Но в жалости какой, скажите, прок-то?
Давайте позабудем мы о ней,
И дай-то бог, чтоб было веселей
Тебе, твоим урыльникам, горшкам,
Настойкам, банкам, мазям, порошкам

И всем твоим пилюлям и микстурам,
Хоть их не признает моя натура.
Коль дева осенит своим покровом,
Так всякий будет и без них здоровым.
Но ты, по мне, достойный человек.
Живи себе мафусаилов век.
Что? Хорошо ведь сказано? Не спорю,
Не доктор я, чтоб бóлестям и горю
Помочь советом. Ты ж мне причинил
Такую боль, что я собакой взвыл.
Христовы кости! Надо мне настойки,
Иль пива кружку у себя за стойкой,
Или рассказ веселый как лекарство,
Иначе лопнет сердце и знахарство
Твое меня не сможет исцелить,
К бедняжке состраданье утолить.
Ну, mon ami [1], ведь, кроме отпущений,
Другие есть в запасе угощенья.
Нам что-нибудь веселенькое, а?»
«Готов я позабавить вас, друзья,
Но прежде надобно мне подкрепиться.
Вон в той харчевне можно поживиться»,—
Так индульгенций продавец ответил.
Его ответ отпор нежданный встретил.
Все благородные так закричали:
«Достаточно мы пакостей слыхали,
Хотим послушать слово назиданья».
«Ну, что ж, пожалуй, только в ожиданье
Я выпью все-таки. Обдумать надо
Благое слово там, в тени ограды».

[1] Дружок *(франц.)*.

ПРОЛОГ
ПРОДАВЦА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ

Когда я отпущенья продаю,
Как можно громче в церкви говорю,
Я проповедь вызваниваю гордо,
Ее на память всю я знаю твердо,
И неизменен текст мой всякий раз:
Radix malorum est cupiditas [1].
Сказав сперва, откуда я взялся,
Патенты все выкладываю я,
Сначала от владетелей мирских —
Защитою печать мне служит их,
Чтобы не смел никто мне помешать
Святые отпущенья продавать.
Затем раскладываю булл немало,
Что дали папы мне, да кардиналы,
Да патриархи всех земных концов;
Прибавлю несколько латинских слов
И проповедь я ими подслащу,
К усердью слушателей обращу.
Затем их взор прельщаю я ларцами,
Набитыми костьми да лоскутами —
Что всем мощами кажутся на вид.
А в особливом ларчике лежит
От Авраамовой овцы плечо.
«Внемлите,— восклицаю горячо,—
Коль эту кость опустите в родник,

[1] Алчность — корень всех зол *(лат.)*.

То, захворай у вас овца иль бык,
Укушены собакой иль змеей,
Язык омойте ключевой водой —
И здравы будут.— Дале молвлю я:
От оспы, парша, гною, лишая
Излечится водою этой скот.
Внимай словам моим, честной народ.
Пускай владелец тех овец, быков
Встает что день с зарей, до петухов,
И каждый раз из родника напьется,—
И с Авраамовых времен ведется,
Что приумножится добро и скот.
От той воды и ревность пропадет:
Коль муженек ревнив, несносен, груб,
Из родника воды прибавьте в суп —
И ревности его как не бывало,
Хотя б жена при нем же изменяла,
Хотя бы путалась с тремя попами.
А вот еще перчатка перед вами:
Сию перчатку кто наденет, тот
Неслыханную жатву соберет
Ржи, ячменя, овса или пшеницы,
Лишь только бы не вздумал он скупиться.
Но слушайте, что я скажу сейчас:
Коль в церкви этой ныне среди нас
Есть человек, что отягчен грехом
И все ж покаяться не хочет он,
Иль если есть тут грешная жена
И мужа оброгатила она —
Ни благости, ни права да не имут
Вносить свой вклад, зане их дар не примут;
Но кто свободен от греха такого —
Пускай дарит он, по господню слову.
И будет отпущение дано,
Как буллой этой мне разрешено».
Так каждый год на хитрой этой ловле
Я марок сто сбираю сей торговлей.
На кафедре стою я поп попом,
Простой народ рассядется кругом —
И вот я с ним преважно говорю
И неподобнейшую чушь порю.
Вытягиваю шею что есть силы,
По сторонам раскланиваюсь мило,

Как голубок, сидящий на сарае;
Руками я и языком болтаю
Так быстро, что и поглядеть-то любо.
Им скупость, черствость я браню сугубо,
Лишь только б их мошну растормошить
И мне их денежки заполучить.
Мне дела нет, пускай, когда схоронят,
Душа иль плоть в мученьях адских стонет.
Стремлюсь к тому, чтоб прибыль получать,
А не к тому, чтоб грешным помогать.
Что говорить, иные поученья
Исходят от дурного побужденья,—
Чтоб к грешнику вернее подольститься.
Успеха лицемерием добиться,—
Иль из тщеславия, иль из вражды.
Но если враг мои шатнет труды,
Его я проповедью уязвлю
Так, что назвать не сможет речь мою.
Он клеветой — достойная расплата,
Коль оскорбил меня ль, другого ль брата.
Я имени его не называю,
Но всяк поймет, кого я обличаю,
По описанью,— я уж постараюсь,
С любым врагом мгновенно расквитаюсь.
Я для народа праведен на вид:
Мой яд под видом святости сокрыт.
Я мысль свою вам вкратце изложу:
Стяжанья ради проповедь твержу,
И неизменен текст мой всякий раз:
Radix malorum est cupiditas.
Да, алчность — мой испытанный конек
И, кстати, мой единственный порок.
Но если в алчности повинен я,
Ее врачует проповедь моя,
И слушатели горько слезы льют.
Вы спросите, зачем морочу люд?
Ответствую: затем, чтобы стяжать.
Достаточно об этом рассуждать.
Так вот, я им рассказываю ряд
Историй, бывших много лет назад;
Такие россказни простой народ
И слушает и сам передает.
Я даром проповеди наделен,

К стяжанию привержен и смышлен —
Мне что ж, по-вашему, жить бедняком?
Им никогда не стану, нипочем,
И, проповедуя по всем краям,
Рукам своим работать я не дам.
Корзины плесть и тем существовать?
Нет. Я умею деньги собирать.
К чему мне пост, евангелья заветы,
Покуда есть вино, еда, монеты?
Пусть прибыль мне от бедняка идет,
Пусть мне вдова последний грош несет,
Хоть дети впроголодь сидят давно,—
Я буду пить заморское вино,
Любовниц в каждом заведу селенье.
Вот что скажу, о други, в заключенье:
Хотели слышать вы рассказ правдивый,
Так вот, когда напьюсь я вдосталь пива,
Вам расскажу историю на славу,
Которая придется всем по нраву.
Пускай я сам развратен и порочен,
Но проповедовать люблю я очень,
Ведь этим я и деньги собираю.
Прошу вниманья. Повесть начинаю.

РАССКАЗ ПРОДАВЦА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ

Здесь начинается рассказ Продавца индульгенций

Так вот: в Брабанте некогда жила
Компания повес; тенета зла
Их всех опутали, они в борделе
Иль в кабаке за ночью ночь сидели.
Тимпаны, лютни, арфы и кифары
Их горячили, и сплетались пары
В греховной пляске. Всю-то ночь игра,
Еда и винопийство до утра.
Так тешили маммона в виде свинском
И в капище скакали сатанинском.
От их божбы власы вставали дыбом,
Они распять спасителя могли бы,
Когда бы не был он за нас распят.
Был нечестив и самый их наряд.
И с ними были юные блудницы,
Цветочницы, нагие танцовщицы,
Певцы, кондитеры, коты и сводни,
Которые как встарь, так и сегодня
Слугами дьявольскими состоят.
Огонь разжегши, в нем они горят,
И похотью костер тот разжигают,
И болью вином напрасно заливают.

В свидетели Писание возьму,
Что винопийство погружает в тьму
Порока и греха. Как Лот грешил?
Упившись, с дочерьми своими жил.
А мерзкий Ирод, опьянен вином
И обезумев, за своим столом
Крестителя решился обезглавить.
Сенеку можно нам за то прославить,
Что он сужденье здравое изрек.
Он говорит, что пьяный человек
Ума немногим больше сохраняет,
Чем полоумный. Хворь усугубляет
Затмение ума и длится дольше,
Но пьянство — грех неизмеримо больший.
Чревоугодие! Тягчайший грех!
Источник бед! Родник пороков всех!
Через тебя, в тебе грехопаденье,
И от тебя спасло нас искупленье,
Ведь не напрасно восклицает клир:
Чревоугодием погублен мир.
Адам, отец наш, изгнан был из рая.
А почему его судьба такая
Постигла с Евою? Пока постился,
Душой в раю он к богу возносился,
Но лишь плода запретного вкусил,
Его за грех блаженства бог лишил.
Обжорливость! О, бездна ненасытна!
Когда б вы знали, чем она грозит нам
(За всякое излишество — недуг),
Тогда бы вас остановил испуг.
Не стали бы вы мясом обжираться,
Увы, приходится нам сокрушаться,
Что правит всем обжорливое чрево,
Что сластолюбия гнилое древо
Весь мир корнями ныне оплело.
Чревоугодие — большое зло.
Его рабы на Севере, на Юге,
Под сенью пальм, в гиперборейской вьюге
Алкают яств, а вместе с тем объятий.
Апостол Павел говорит: «О братья,
Червя едите, вас же червь изгложет,
И тленья избежать никто не может».
Нам это горько слышать, но, увы,

Еще печальнее картину вы
Увидите, когда глупец, упившись
И без ума на яства навалившись,
Давясь, сопя, их жадно поглощает
И в свалочное место обращает
Дарованный нам господом сосуд.
Апостолы в смятенье нам рекут:
«Вам горе, пьяницы и сластолюбцы,
Спасителя враги и душегубцы.
Ах, кубков стук заполонил вам ухо,
Взамен креста для вас святыня — брюхо».
О брюхо, скопище нечистых вод,
Зловонием ты отравляешь рот,
И мерзок звук твой и противен запах.
Лишь очутись в твоих несытых лапах —
Твоим рабом останешься до гроба,
Чтобы кормить растущую утробу.
И повара̀ ну печь, толочь, крошить,
Чтоб вещество природное лишить
Обычных свойств и аппетит капризный
Вновь пробудить то пряной головизной,
То блюдом соловьиных язычков.
И чем они не тешат алчных ртов:
Шафраном, луком, перцем и корицей,
Все сдабривают уксусом, горчицей.
Кора и корень, лист, орех, цветок,
Сок из надрезов, тертый порошок —
Все на потребу, в соус все пригодно.
Лишь заглушить бы яства вкус природный,
Лишь бы сокрыть его природный вид
И тем разжечь уснувший аппетит.
Но кто излишествами насладится,
В том дух живой тотчас же умертвится.
Кто пьет вино, тот стал на путь разврата.
В обличье пьяном не узнаешь брата.
О пьяница! Твои штаны обвисли,
От бороды несет отрыжкой кислой,
И в храпе, сотрясающем твой сон,
Ноздрей высвистываешь ты: Сам-сон.
(А видит бог, Самсон не пил вина,
В другом тяжелая его вина.)
Увязшим боровом лежишь ты в луже,
Сопишь без слов, ведь пьяному не нужен

Язык. Коль пьяница откроет рот,
Так до добра язык не доведет:
Как пьянице не выболтать секрета?
И вот, друзья, в уме держа все это,
Воздерживайтесь впредь вкушать вино,
Откуда б ни было привезено,
Особенно же белое из Лепе,
Я не встречал еще вина нелепей.
Его лоза, легко совокупляясь,
С другими лозами перевиваясь,
Столь ядовитый создает букет,
Что от него спасенья вовсе нет.
От трех глотков ты потеряешь зренье,
И, в некое восхищен отдаленье,
Из Чипсайда вином перенесен
Не в Ла-Рошель, Бордо иль Лиссабон,
А в Лепе, будешь там «Сам-сон, Сам-сон»
Ноздрей высвистывать. Теперь внемлите,
Друзья почтенные. Кто победитель
Бывал в борьбе? Мы, Ветхий взяв завет,
Отыщем там единственный ответ:
Кто укрепил молитвой и постом
Свой дух, благоволение на том
Всегда почиет, всех он победит.
Возьмем Атиллу; был он знаменит,
А умер смертью жалкою, позорной.
Расквасив нос, своей он кровью черной
В тяжелом сне до смерти изошел.
Для полководца горшее из зол —
Затменье пьяное. Кто в нем пребудет,
Тот указанье божье позабудет,
Которым свыше осчастливлен был
Царь некий, нареченный Лемуил
(Нет, не ошибся я, не Самуил,
А Лемуил). Вы сами посмотрите
В Писании, коль верить не хотите,
Что господом ему запрещено
Судью поить, в суде хранить вино.
Простите мне, увлекся я невольно,
Но, видит бог, за грешников мне больно.
К чревоугодникам держал я речь,
Но игроков равно предостеречь
Мне долг велит. Игра — мать все обманов,

Источник бед, чума тугих карманов;
Она божбу, и лень, и винопийство
В вас породит и склонит на убийство,
Все деньги ваши, время все пожрет,
Разрушит уваженье и почет,—
Ведь игрока все втайне презирают.
И чем кто выше званье занимает,
Тем ниже этот вопиющий грех
Его поставить может в мненье всех.
И если принц какой-нибудь — игрок,
Ему помехой станет сей порок,
Чтобы в высоком царском положенье
Снискать у подданных своих почтенье.
В Коринф Стилбона Спарта посылала,
Когда союз с Коринфом заключала.
Но, убедившись, что они в игре
Весь день проводят и что этот грех
Всеобщим стал вплоть до самих старейшин,
Стилбон решеньем счел наимудрейшим
Коринф покинуть. В Спарту возвратясь,
Он речь держал: «Скажу я, не таясь,
Что я не мог покрыть себя позором.
Союз тот вечным для меня укором
Остался бы. Вы можете послать
Туда другого, но хочу сказать,
Что мало чести игроку быть другом.
Меня наказывайте по заслугам,
Но тот союз не буду заключать,
Пусть смертью мне пришлось бы отвечать».
Иль царь Деметрий, пребывая гостем
Царя Парфянского, одни лишь кости
Игральные в подарок получил,
Зане он игроком известным был
И осужден парфянами был строго.
Поверьте мне, что развлечений много
Царям пригоднее могу назвать.
Еще два слова должен вам сказать
О ложных клятвах, также о божбе.
Ее я приравняю к ворожбе
И к заклинаниям. Греховна клятва,
Тем паче ложная. Дорогу в ад вам
Она укажет. Клясться запретил
Спаситель, и апостол подтвердил.

В Писаниях пророка Иеремии
Находим мы речения такие:
«Клянись по чести, клятвы не наруши,
Клянись, чтоб не постыдно было слушать»
Вы клятвой праздной лишь тневите бога,
И за нее он вас накажет строго.
Я вам напомню заповедь такую:
«Не поминай господне имя всуе».
И в заповедях это запрещает
Бог ранее убийства. Это знает
Любой, кто заповеди затвердит.
И утверждаю я, что поразит
Господня кара всякого, кто смеет
Греховно клясться, наглость кто имеет
Так изрекать: «Клянусь крестом господним
И кровью Хэйлскою! Чтоб в преисподней
Мне очутиться, если я солгал!
Ты кости налитые подобрал,
Сфальшивил ты, клянусь Христовым телом,
И докажу тебе я это делом.
Вот мой кинжал, его проглотишь ты!»
И это ягодки, а не плоды.
Потом пойдут проклятья, ссора, свары,
Кинжалами смертельные удары.
Я заклинаю вас Христовой кровью,
Божбу оставьте; с миром и любовью
Вы речь держите. А теперь рассказ
Могу начать, чтоб позабавить вас.
Кутили раз три друга — всё повесы,
И рано утром, до начала мессы,
Вдруг колокольчика протяжный звон
Они услышали — знак похорон.
Один из них тотчас же посылает
Слугу узнать, кто это совершает
В такую рань к могиле скорбный путь.
«Иди скорей. Смотри не позабудь,
Не переври фамилию иль имя,
Не то костьми поплатишься своими».
Слуга ему: «Мне незачем бежать,
Я сразу все могу вам рассказать:
Как говорят, он ваш был собутыльник.
Внезапно ночью был его светильник
Погашен смертью, навзничь на скамью

Свалился он, осиротив семью.
Прокрался вор, что смертью именуем
(Его рукой весь край наш наказуем),
И, сердце поразив своим копьем,
Он прочь пошел незнаемым путем.
Чума его к нам в гости пригласила
И тысячи невинных умертвила.
Пока еще здесь вор сей незамечен.
Но надобно готовиться к той встрече,
Как мне вчера наказывала мать,
А более мне нечего сказать».

«Мальчишка прав,— гостям сказал хозяин,—
Поселок есть вблизи градских окраин —
Чума его так зло опустошает,
Что, кажется, в нем ныне обитает,
И надо жить нам очень осторожно:
Чума перешагнет и к нам, возможно».

«Христовы длани! — закричал буян.—
Когда бы только был к Чуме я зван,
Уж я бы ей пересчитал все кости.
Идем, друзья, и назовемся в гости.
Отыщем смерть, убьем мы кровопийцу,
Невинных душ гнуснейшую убийцу.
Идем же, братья, пусть дарует нам
Победу бог, не то святым мощам
Я поклоняться вовсе перестану,
Коль нечего нам верить в их охрану».
Подняв стакан, он в исступленье пьяном
Клянется двум товарищам-буянам,
Что не покинет их до самой смерти:
«Клянусь, друзья,— кричит он,— мне поверьте!»

Те поклялись, и под руку, втроем
Они покинули веселый дом
И поплелися с песней по проселку
По направленью к чумному поселку.
Чуму бранили, смерть нещадно кляли,
Божбой господне тело раздирали
И похвалялись: смерти, мол, капут
Да и чуму попутно изведут.

Пройдя немногим боле полумили,
Бродягу дряхлого они словили
И стали спрашивать, куда идти,
Чтоб смерть скорее и верней найти.

Старик в ответ стал бормотать невнятно.
Меньшой буян вскричал, что непонятно,
Как можно жить до дряхлости такой
И заедать напрасно век чужой.
Тогда старик повесам так ответил:
«Отсюда и до Индии не встретил
Я юноши, который бы сменил
Расцвет сияющий весенних сил
На мой декабрьский возраст беспросветный.
И потому с терпеньем безответным
Свой крест несу и ожидаю дня,
Когда господь освободит меня.
Увы, я даже смерти не угоден.
И вот бреду, отверженец господень,
Все дальше, дальше. Нет конца дороге.
Стучу клюкой на гробовом пороге,
Но места нет мне и в земле сырой,
И обращаюсь я к тебе с мольбой:
«Благая мать! Зачем ко мне ты строже,
Чем к остальным? Иссохли кости, кожа,
И кровь моя давно уж холодна.
Я в этой жизни испытал сполна
Все то, что испытать нам можно в мире.
Когда же плоть моя почиет в мире?
Внемли же, смерть! Я радостно б сменил
Тот гроб, что в келии своей хранил,
На твой покров, на саван погребальный!»
Но нет ответа на призыв печальный;
И вот брожу я, бледный и худой.
Тебе ж скажу, безумец молодой,
Что старика негоже бы корить вам,
Пока ничем он не мешает жить вам.
Слова Писанья в память ты вруби:
«Седому место, юный, уступи».
Не хочешь в старости хлебнуть худого —
Обидного не обращай ты слова
К тому, кто старостью обременен.
Так вот,— свои слова закончил он,—
Вам добрый путь, а я своей дорогой
Вновь побреду, отверженец убогий».
«Постой, старик,— тут закричал второй,—
Я, кажется, разделаюсь с тобой.
Кто мать твоя? Кого ты звал уныло?

То не она ль друзей моих сгубила?
Не отпирайся, старый негодяй.
Скажи, где смерть сыскать. Но так и знай,
Убийца юношей, злой соглядатай,
За ложь жестокой ожидай расплаты».
«Ну, если смерть не терпится вам встретить,
Тогда смогу, пожалуй, вам ответить.
И если вы действительно не робки,
Смерть повстречаете на этой тропке.
Лежит она под деревом в кустах,
И на нее нагнать не могут страх
Угрозы ваши. А теперь прощайте
И всуе господа не поминайте».
И охватила радость тут повес.
Бегом они пустились через лес
И вот под деревом в кустах нашли
Не смерть, а золото. Со всей земли
Монеты звонкие, экю и кроны,
Флорины, франки, шиллинги, дублоны —
Всего червонцев звонких восемь мер.
Тотчас забыв, что собирались смерть
Сыскать, они у золота присели
Да так над кучей и окаменели.
Потом сказал негоднейший из них:
«Друзья, сей клад разделим мы одни.
Нам послано огромное богатство,
Оно скрепит собою наше братство:
Легко доставшись, шумно утечет
И к нам любовь и радость привлечет.
Неслыханная выпала удача!
Но как нам быть? Нелегкая задача.
Ведь золото нам надо унести
И от разбойников укрыть в пути.
А то еще за шайку воровскую
Сочтут. Петля по нас давно тоскует.
А речь свою я вот к чему веду:
С ним днем идти — нарвешься на беду.
Так я, друзья, вам вот что предлагаю:
Пускай я жизнь в пирушках прожигаю,
Но и в хмелю мне служит голова.
Прошу вас обсудить мои слова:
Нам золото нести отсюда ночью,
Тайком придется, а компанью прочь

Рассказ продавца индульгенций

Нам незачем в то дело посвящать.
Я предлагаю жребием решать,
Кому из нас в таверну воротиться,
Купить вина и хлеба, подкрепиться
Там самому и нам запас принесть.
И до ночи его на этом месте,
Скрыв золото в кустах, мы подождем,
А за ночь клад отсюда унесем
Ко мне ль, к другому ль, и тогда не страшен
Грабитель нам, и злато будет наше».
Ну, жребий кинули, и выпал он
Меньшому бражнику, но так силен
Магнит был золота, что с неохотой
Меньшой ушел. И тотчас же работой
Оставшиеся жадно занялись
И разбирать монеты принялись.
Но только что меньшой товарищ скрылся,
Как старший с речью к другу обратился:
«Ты знаешь, друг, я твой названый брат,
И о тебе заботиться я рад.
Делить сей клад теперь должно нас трое,
А на двоих, считай, почти что вдвое
Пришлось бы золота; так если б я
Того общипанного воробья
Со счета при разделе клада скинул,
Ужели, друг, меня бы ты покинул?»
«Эх, милый мой, что говорить пустое,
Ведь все-таки по-прежнему нас трое.
Всем скажет он, его-де обобрали
При дележе и часть его мы взяли.
Как мы права свои тогда докажем?
Да и ему, ну, что ему мы скажем?»
«А ничего не надо говорить.
Послушай, что хочу я предложить,—
Но никому об этом ты ни слова».
«Клянусь, что в тайну никого другого
До самой смерти я не посвящу».
«Смотри, измены я ведь не прощу.
Теперь прикинь: ты знаешь, что мы двое
Сильней его не менее чем втрое.
Он в жертву нам самой судьбой намечен:
Он молод, слаб еще, смешлив, беспечен.
Когда вернется, рассмеши его,

Затей дурашливое баловство.
Ты обхвати его, борясь, покрепче
Да придержи на миг как можно цепче,—
И прямо в сердце я ему кинжал
Всажу тем временем, чтоб не мешал
Нам разделить сокровище с тобою:
И золото к нам потечет рекою».
Они покончить с братом столковались
И, сидя возле клада, дожидались.

А младший бражник думал по пути:
«Эх, одному б мне золото найти».
Его червонцев красота прельстила.
«В них все — любовь, веселие и сила.
Кто б на земле счастливей был меня?»
Он в город шел, товарищей кляня,
И в помыслах был на дороге к аду,
И бес ему шепнул, что склянкой яду
Он мог бы горю своему помочь,
Что сделать это надо в ту же ночь,
Пока никто про клад еще не знает
И злодеянию не помешает.
И он пошел к аптекарю просить
Немного яду, чтобы отравить
Несносных крыс, что скребушат в норе,
К тому же де завелся на дворе
Какой-то хищник — ласка иль хорек.

Ему аптекарь продал пузырек,
Сказав тихонько: «Видит бог, не лгу я,
Что этот яд таит в себе такую
Неслыханную силу, что его
Достаточно глоточка одного,
И зверь любой в мученьях умирает,
Хоть вкуса яда и не замечает».

И, обуян греховной мыслью сей,
К виноторговцу побежал злодей
И у него купил три плоских фляги,
В них нацедил кларету и малаги
И поскорей обратно побежал.
И по дороге яду подмешал
Он в две бутыли, третью ж про запас
Нетронутую для себя припас:
«Придется с золотом всю ночь возиться,
Вином приятно будет подкрепиться».

А дальше не к чему рассказ тянуть.
Злодею младшему проткнули грудь,
Лишь только воротился он обратно.
И вот, не смыв пролитой крови братней,
«Попробуем, что за вино такое,
А подкрепившись, в землю труп зароем»,—
Старшой сказал и отпил из бутыли.
Вино вдвоем они, смеясь, распили,
И действовать в желудках начал яд.
И все втроем они попали в ад.
Уверен я, что даже Авиценна
В своем «Каноне» смерти той презренной
Страшней, мучительней не описал.
Вот и конец. Я все вам рассказал.
О, страшный грех! О, бездна преступленья!
О, мерзостное братоистребленье!
О, блуд, кутеж и грех чревоугодья!
О, богохульное сие отродье,
Что божье имя клятвой оскорбляет!
Неблагодарные, что забывают,
С каким смирением, с какой любовью
Грех искупил Христос своею кровью.
Он испустил за вас последний вздох,
Чтоб смертные грехи простил вам бог.
Но помните, что скупость также грех.
Святою силой исцелю я всех.
Лишь стерлинги и нобли мне несите
И вклад свой обещаньем подкрепите.
Главу склоняя перед этой буллой,
Пусть не скупятся жены на посулы.
Их в свиток жертвователей внесу
И душу их на небо вознесу.
Властью, мне данной, от грехов очищу
Тех, кто дарует мне покров и пищу,
И станут так чисты и непорочны,
Как при рожденье. Но хотя и прочны
Те индульгенции, пускай спаситель
Допустит сам в небесную обитель;
Оно верней, обманывать не стану,
Ведь грош цена бесстыдному обману.
Хочу еще, друзья, напомнить вам,
Что в сей корзинке не дорожный хлам,—
О нет! — реликвии и отпущенья.

Собственноручного благословенья
Я удостоен папой, и теперь
Будь щедрым, грешник, и в прощенье верь,—
А я с молитвой руки наложу,
От бремени грехов освобожу.
Все грешники, колени преклоните,
А то с коня и вовсе не сходите,—
И отпущенье с неба снизойдет,
Коль звонкою монетою расчет
Без промедления произведете.
Обмана не терплю в своей работе,
И вам, сказать по правде, повезло.
Какое бы несчастье или зло
Вас ни постигли на пути со мной,
Могу загладить я ваш грех любой.
Подумайте, какая вам удача,
Коль доступ в рай заранее оплачен
И рядом с вами, за проводника,
С готовым отпущением рука.
С таким попутчиком идите смело:
Когда б душа ни разлучалась с телом,
Очистит он и знатных и простых.
Вот вам, хозяин,— вам мощей святых
Облобызать реликвии бы надо,
Их испытать и силу и отраду
Всего за грош. Раскройте ж кошелек».
«Нет! Чтоб тебя сам дьявол уволок!
Пускай уж лучше отправляться к черту,
Чем задницу штанов твоих протертых
Мне целовать, хоть поклянись ты трижды,
Что дед Адам носил штаны те. Вишь ты,
Какой затейник! Лучше потроха
Свои отрежь, ведь ты же без греха.
Я, так и быть, вкрутую их сварю,
За здравие твое их водворю
В свинячьем брюхе, и скопцом, мощой
Ходить ты будешь, праведник святой».
А продавец молчал, краснел и дулся,
От злости он словами поперхнулся.
«Ну, что с тобою толковать, с уродом? —
Хозяин молвил.— Грех с таким народом!»
Когда услышал рыцарь, как хохочут
Над ними, он сказал: «Никто не хочет

Меж нами ссор, и вы, сэр продавец,
Не дуйтесь так. А вы, сэр удалец,
Любезный нам, вы больше не бушуйте,
Рассказчика вы крепко расцелуйте,
Повеселеет он, и мы опять
Ваш слух рассказом станем занимать».
Друг друга спорщики облобызали,
И мы в согласье путь наш продолжали.

Здесь кончается рассказ
Продавца индульгенций

ПРОЛОГ
БАТСКОЙ ТКАЧИХИ

Чтоб рассказать и горесть и напасти
Моей судьбы, не надо мне, к несчастью,
Ни на кого ссылаться: пять ведь раз
На паперти я верной быть клялась.
В двенадцать лет уж обвенчалась я.
Поумирали все мои мужья.
А видит бог, я их любила очень.
Но для завистников ведь всяк порочен;
Они твердят, что если только раз
(Как утверждает Библии рассказ)
Спаситель посетил обряд венчанья,
Так это было людям в назиданье —
И, значит, лишь однажды в брак вступать
Мне надлежало. Но и то сказать,
Самаритянку укоряя, ей
Христос сказал: «Ты пятерых мужей
Имела. Тот, с кем ты живешь, не муж
Тебе, и брак греховный свой нарушь».
Быть может, это и сказал спаситель,
Но только смысл сих слов мне объясните.
Коль пятый не был муж, то кто ж последним
Ей мужем был? Я отстою обедню
За здравие того, кто объяснит:
О чем сей текст господень говорит
И как понять евангельское слово?
Я ж не встречала мудреца такого.

Господь сказал: «Плодитесь, размножайтесь».
Вот этот текст вы как ни искажайте,
Но знаю, что зовет он нас к труду.
Я и для мужа заповедь найду:
Чтоб от родителей он удалился,
К жене душой и телом прилепился.
А вот насчет того — два, пять иль восемь,
Иль десять раз жениться надо, спросим
Хоть у кого хотите, и в ответ
Вам скажут, что такого текста нет.
Смотрите, вот премудрый Соломон:
Вы помните, имел он много жен.
Подай мне, боже, хоть бы половину
Таких роскошеств, прежде чем покину
Сей бренный мир. Из нынешних мужчин
С ним не сравнится, право, ни один.
Он каждой ночью с новою женой
Утеху новую имел, водой
Кропя живою лозы вертограда.
Хвала Христу, мне послана отрада
Пяти мужьям женою верной быть.
От каждого пыталась получить
Я лучшее: мошну или сундук
Опустошать старалась я не вдруг
И всех сокровищ даром не растратить,—
Я не мотовка, нет, с какой же стати.
Чтоб быть ученым, надо разных школ
Пройти науку; чтобы сделать стол,
Лесник и лесоруб потребен, плотник
И лакировщик иль иной работник.
Пяти мужей науку я прошла.
Шестого я покуда не нашла.
Гряди, жених полуночный, к невесте,
И продолжать науку будем вместе.
На что мне целомудрие хранить,
Когда нам всем велел господь любить.
А в браке не было и нет греха,
Лишь только б пара не была плоха.
Жениться лучше, чем в грехе коснеть
И в адском пламени за то гореть.
«За двоеженство осужден был Ламех»,—
Мне говорят; но посудите сами:
Ведь Авраам святой был человек,

Иакова мы чтим который век,—
А скольких жен они в шатре держали!
Им праведники в том же подражали.
Когда и где, в какие времена
Женитьба Библией запрещена?
Или когда нам девственность хранить
Предписано и род наш умертвить?
А вот апостол, это знаю твердо,
Он женщине не заповедал гордо
Быть девственной. Он просто умолчал,
А волю божию наверно знал.
Советовать нам могут воздержанье,
Но ведь совет не то, что приказанье.
Могу его послушать или нет,
И уж сама несу за то ответ.
Когда бы девство всем господь судил,
Тогда б и брак он девам запретил.
Но если нету поля для посева,
Откуда б нарождались сами девы?
Не мудрено, что сам апостол Павел
Запрета против брака не оставил.
В соревнованье девам лишь почет,
А приз — еще посмотрим, кто возьмет.
Не каждому быть девственным дано:
Лишь тем, кому всевышним суждено.
Апостол Павел — девственник, конечно,
Но сам он, проповедуя нам, грешным,
И заповедав нам, что девство есть
Великий подвиг и большая честь,—
Он женскую не изменил природу
И предоставил полную свободу
Мне быть женой и мужа ублажать;
Коль муж умрет, другого мне искать
Не запретил он, и за двоемужье
Считать того нельзя: ведь не могу ж я
Нарушить заповедь, которой нет.
Иль воздержанья мною дан обет?
Коснуться женщины, сказал он, грех,
Однако не всегда и не для всех.
Грешно сквернить супружеское ложе,
Девицу обмануть совсем негоже.
Вы знаете, когда огонь и трут
В неопытных руках, они сожгут

Себя и все вокруг; и это значит,
Что лучше блуда, а греха тем паче,
Конечно, девственность; творят же блуд
Те люди, что неправедно живут,—
В супружестве иль в девстве, все едино.
Быть праведным нельзя наполовину.
Конечно, понимаю я того,
Кто девство ценит более всего.
Пусть хвалится своим он чистым телом,—
Я жизнь свою оправдываю делом.
Хозяин добрый утварь золотую
Не выставит, мне кажется, впустую:
На каждый день, для службы постоянной,
Достаточно посуды деревянной.
Неодинаков и к спасенью путь.
Бог каждому дарует что-нибудь.
Но нам, смиренным и греховным слугам,
Спасения не по своим заслугам —
По милости господней надо чаять.
Вот девственность — ее все величают
Как признак совершенства, но спаситель,
Источник совершенства, искупитель
Всех прегрешений, он не всех призвал.
Вы помните, Христос нам приказал
Имущество последнее продать,
Все деньги беднякам тотчас раздать
И следовать за ним. Кто совершенным
Достоин быть, да будет и блаженным,
Но те слова, конечно, не ко мне.
Ну, как не радоваться нам весне?
И я цвет жизни радостно отдам
Утехам брака и его плодам.
Ну, для чего, скажите, части тела,
Которые природа повелела
Для размножения употребить,
Чтоб нам и в детях наших вечно жить?
Кто скажет, что создатель понапрасну
Их сотворил? Их назначенье ясно,
Хотя иные скажут толмачи,
Что лишь для отделения мочи
Их создал бог и только для различья
Мужчин от женщин наши два различья
Им созданы. Не чушь, не чепуха ли?

По опыту отлично вы узнали,
Что это небылица все иль бред.
А если спросите — вот мой ответ:
Для размножения и для утех
Бог создал их — конечно, лишь для тех,
Кого законно церковь сочетала.
Иначе в книгах почему б стояло:
«Муж да воздаст свой долг жене». Но чем?
Итак, те части создал бог зачем?
Не ясно ль, что для мочеотделенья
Ничуть не боле, чем для размноженья.
Но никого не надо принуждать
Сии орудья божьи в ход пускать.
Ведь девственность не губит человека:
Христос был девственник, но не калека.
Святые хоть и всем наделены,
Что надлежит, но тот не знал жены,
Та мужа во всю жизнь не принимала —
А святости их то не умаляло.
Я не желаю девственность хулить,
С пшеничным хлебом деву я сравнить
Хотела бы, а жен с ячменным хлебом.
Но и ячмень растет под тем же небом.
Апостол Марк в Евангелье вещал:
«Ячменным хлебом, рыбой насыщал
Христос на берегу народ голодный».
Какою было господу угодно
Меня создать, такой и остаюсь;
Прослыть же совершенной я не тщусь.
Что мне моим создателем дано,
То будет мною употреблено.
И горе мне, коль буду я скупиться
И откажусь с супругом поделиться.
А он хоть ночью, хоть и на рассвете
Свой долг сполна пусть платит мне, и этим
Возрадуем мы господа. Мой муж
Слугой быть должен, должником к тому ж.
И дань с него, женою полноправной,
Взимать должна я честно и исправно.
Над телом мужа власть имею я,
То признавали все мои мужья.
Ведь мне апостол власть ту заповедал.
Мужьям сказал он, чтобы муж не предал

Забвению свой долг перед женой.
Известен ли, друзья, вам текст такой?
А мне, когда томлюсь любовной жаждой,
Любезен он и весь, и буквой каждой.
Вскричал тут индульгенций продавец:
«Да сохранит вас пресвятой отец,
Сударыня! Прекрасный проповедник
Из вас бы вышел, и, клянусь обедней,
Вы убедили, кажется, меня.
Я, до сих пор невинность сохраня,
Решил на днях, что следует жениться.
Но коль за то придется так платиться,
Тогда, о нет! Слуга покорный, нет!
Я погожу давать такой обет».
«Постой-ка, мой рассказ еще не начат.
Его услышав, запоешь иначе.
В той бочке погорчее будет эль,
Чем все, что рассказала я досель.
Ох, знаю я, едва ль кто лучше знает,
Каким бичом супружество взимает
Свои налоги,— я сама тот бич.
И осторожность ты к себе покличь,
И посоветуйся, потом решайся
Пригубить рог. И уж затем не кайся,
Что эль супружества не больно сладок;
Примеры приведу я, как он гадок.
И кто, упорствуя, не даст им веры,
Тот сам послужит для других примером.
Так в Альмагесте учит Птолемей».
«Сударыня,— сказал в ответ он ей,—
Вы речь свою, прошу, не прерывайте,
Супружеской науке поучайте».
«Охотно, сэры, только я боюсь,
Что далеко я слишком уклонюсь,
Но этого прошу в вину не ставить.
Я не учить хочу, а позабавить.
Так вот. На чем, бишь, я остановилась?
Да. О мужьях. Так пусть бы приключилась
Со мной напасть, пусть эля и вина
Не пить мне больше, если не сполна
Всю правду о мужьях своих открою:
Хороших было три, а скверных двое.
Хорошие — все были старики

И богачи. Так были велики
Старанья их, что им скорей обузой
Супружества обязанность и узы
Казалися. Вы знаете, о чем
Я говорю. И я была бичом.
Чтобы кровать как следует согреть,
Что ночь — им приходилось попотеть.
И смех и грех! Но и сейчас, как вспомню,
Не совестно нисколько, а смешно мне.
Спешили дом и деньги мне отдать
В надежде, что их стану ублажать.
Глупцы! К чему оказывать почтенье
Тому, чьи деньги держишь иль именье?
И чем они меня любили крепче,
Тем презирать мне было их все легче.
Разумной женщине и самой честной
Любовь внушать мужчинам очень лестно.
Но раз в жену и так уж влюблены,
К чему тогда старания жены?
Понравиться супругу? Нет расчета.
Своих мужей впрягала я в работу
Такую, что всю ночь они кряхтят,
Наутро же «О, горе мне!» твердят.
Дэнмауский окорок не им был сужен,
А мне, по правде, он совсем не нужен.
Хоть и ворчали, ими управлять
Так научилась я, что почитать
За счастье мог супруг, когда подарки —
Литой браслет, иль шелк заморский яркий,
Иль шарф узорчатый — я принимала
И тем подарком их не попрекала.
Так слушайте, о женщины, коль разум
С невинностью не потеряли разом.
Я научу вас шашни все скрывать,
Водить всех за нос, клясться, улещать.
Ведь не сравнится ни один мужчина
В притворстве с нами даже вполовину.
И к честным женам обращаюсь тоже:
Бывает, что и честность не поможет.
Попавшись, надо во мгновенье ока
Всех убедить: болтает, мол, сорока;
В свидетели слугу иль няньку взять,
Чтоб муж не смел напрасно обижать.

Послушайте, как речь свою веду:
«Ах, старый хрыч, с тобою — что в аду.
Зачем соседова жена ни в чем
Отказа не слыхала, каждый дом
Ее с почетом принимает, я же
В лохмотьях, нищенки убогой гаже,
Сижу безвыходно, ну как в темнице.
А ты ухаживаешь за девицей
Соседовой. Ты что ж, в нее влюблен?
По улице идет о том трезвон.
О чем ты шепчешься с пронырой сводней?
Ты что затеял, старый греховодник?
А стоит мне знакомство завести,
С знакомцем поболтать иль навестить
Его, как ты вверх дном все поднимаешь,
Меня бранишь, колотишь, проклинаешь.
А то придешь домой вина пьяней,
Коришь, что по моей, мол, пьян вине;
Что, мол, несчастье нищая жена,
Что мужнин хлеб задаром ест она;
А будь она знатна или богата,
Так ты бы клял отца ее иль брата
За спесь иль что сама она горда
И дуется и фыркает всегда.
Ах, старый плут! Коль хороша собою —
Ворчишь, что от поклонников отбою
Ей нет нигде, что как ей устоять,
Коль примутся всем скопом осаждать,
Иные видя, что осаде рада,
Иные за красу или наряды,
Иные за осанку, ловкость, голос
Или за то, что шелков тонкий волос,
Что ручка узкая нежна, бела.
Тебе поверить, все — источник зла,
Подвержено соблазну, уязвимо,
И впрямь падение неустранимо
Пред искушением со всех сторон.
А ежели дурна — другой резон:
Что будто бы кидается на шею
Любому встречному, хотя б за нею
Он не ухаживал. И то сказать —
Той утицы на свете не сыскать,
Что селезня себе б не залучила.

Ведь, в самом деле, мудрено хранить
Господень дар, который разделить,
Чтобы умножить, всяк скорей стремится.
Ты вот бурчишь, когда в постель ложиться
Пора придет, что только, мол, глупец,
Презревший райский праведных венец,
Жениться может. Молния и гром
Да поразят тебя своим огнем —
Заслужена тобою кара свыше.
Сварливая жена, худая крыша,
Очаг дымящий — вот, мол, отчего
Мужья бегут из дома. Да его
Послушать только! Домосед какой!
Ему дай волю — хвост сейчас трубой.
А то бубнишь, что, лошадь покупая,
Иль платье у портного примеряя,
Иль выбирая сковороду, стол,
Ухваты, табуретки, нож, котел,—
Всегда испробовать покупку можно
И надо с женами, мол, неотложно
Такой порядок — пробу — завести.
Паскудник старый, господи прости!
Да разве можно обнажать так рано
Пред женихом все тайные изъяны?
Меня коришь, что будто заставляю
Хвалить мою красу, от лести тая,
Что вынужден глядеть ты мне в лицо,
Как собачонка, не снимать кольцо,
И величать меня всегда «мадам»,
И денег не сорить по сторонам;
Меня же холить, пышно одевать
И честь мою так рьяно ограждать,
Чтобы родню мою все величали
И даже горничную уважали.
Короче,— что не можешь ты так жить.
Ах ты, гнилой мешок проросшей лжи!
Чуть подмастерье Дженикин кудрявый
(Кудряшек золотых сквозной оправой
Лицо его и впрямь окаймлено)
Под вечер постучал ко мне в окно,
Чтоб проводить на праздник ежегодный,
Уж ты ревнуешь, увалень негодный.
Да сдохни ты! Не надо мне его.

Но вот скажи мне прямо: отчего
Ключи от сундука ты вдруг запрятал?
Что хорониться от жены так, зря-то?
Твое добро — оно ведь и мое.
Я от скупца оберегу свое
Добро заветное. Небось не дура.
Хотя неволить трудно мне натуру,—
Но посидишь над полным сундуком
Без ласк моих, противный скопидом.
Одно из двух сокровищ выбирай.
Обоих не получишь, так и знай.
Зачем за мной следишь ты и шпионишь?
В сундук меня, не думай, не загонишь.
Тебе б сказать: «Поди-ка развлекися,
Я кумушек не слушаю, Алиса,
И знаю, ты мне верная жена».
Такому мужу я была б верна.
Да постыдился б ты хотя народа:
Всем нравится хоть мнимая свобода.
Любезен мне премудрый Птолемей.
Он в Альмагесте, средь других речей,
Такое изреченье приберег:
«Кто мудр поистине, тот пренебрег
Вопросом праздным — кто ж владычит миром,
Жена иль муж?» Живи, покойся с миром
И не завидуй радостям других,
Негодник немощный. Тебе ль моих
Постельных милостей недоставало?
Да разве я хоть разик отказала?
Но тот дурак, кто от своей свечи
Из жадности соседей отлучит;
Сосед фонарь зажжет и уберется;
Что за беда, ведь свет-то остается.
Ты говоришь, что пышные уборы
Нас до греха доводят очень скоро,
И в подтвержденье этих глупых слов
Приводишь текст, и этот текст таков:
«Стыдом и скромностью горда жена.
Убор простой должна носить она:
Пусть ожерелия и кольца сбросит
И золота да не вплетает в косы».
И самый текст, и толкованье глупы
И по сердцу лишь тем мужьям, что скупы.

Ты говоришь, что я, мол, словно кошка,
Что стоит сжечь моих волос немножко,
И никогда уж не покину дом.
Дурак! дурак! Не знаешь ты о том,
Что, коль бедова и красива Мурка
И коль ее мягка, пушиста шкурка,
Она и дня с тобой не проведет,
Махнет хвостом, мяукнет и уйдет.
Спали тогда волос ее хоть горстку,
А все пушистой и блестящей шерсткой
Пойдет она по крышам красоваться,
Чтоб песни петь, с котами бесноваться.
Будь я наряднее, сквалыга старый,
И я бы хвастала своим товаром.
Седой глупец, забудь свои наказы,
Пусть сторожит сам Аргус сотнеглазый,
Коль захочу я душу отвести,—
Как и тебя, сумею оплести
Любого сторожа, любого мужа.
Пусть сторожит, да не было бы хуже.
Любовь жены приравниваешь к аду:
Мол, греческий огонь, что жжет преграды
И чем бушует жарче, тем сильней,—
Ничто пред похотью ужасной в ней;
И, как песок, она не держит воду;
Как червь, что точит твердую породу,
Так жизнь супругу пакостит жена,—
Кто был женат, тому-де мысль ясна.
Три злых напасти в жизни нашей есть,
Ты говоришь, четвертой же не снесть.
Ты ненавистную жену посмел
(Да сократится дней твоих предел)
Считать одной из трех земных напастей.
Как будто нету горшего несчастья,
Чем неповинная твоя жена,
Которая всегда терпеть должна».
Так я мужей отчитывала рьяно,
Они казнились, что сболтнули спьяну.
Хоть все напраслина — всегда свидетель
Найдется, что страдает добродетель:
Племянница, иль Дженкин, иль соседки
(Кто-кто, а лжесвидетели нередки).
Мужей я допекала небылицей

И, словно бешеная кобылица,
Лягалась, ржала и кусалась так,
Что всех отпугивала, а впросак
Попавши, огрызалась каждый раз.
Без этого, наверное, тотчас
Меня б мужья в проделках уличали,
А так моих грехов не замечали.
«Кто первым хлеб сожнет, тот первым смелет».
Я первой нападала, билась смело,
С налету я выигрывала бой,
Они же каялись передо мной
В таких грехах, которыми с рожденья
Не согрешили даже в помышленье.
Мой муж, бывало, от болезней чах,
А я его во плотских всех грехах,
В гульбе, в разврате гнусном упрекала.
И вот старик бывал польщен немало,
Воображая, что, любя, ревную
(Как раз любить развалину такую!).
Когда ж я ночью покидала дом,
Чтоб позабавиться с своим дружком,
И приходила утром спозаранку,
Мужей я уверяла, что служанку
Выслеживаю я и сторожу,
Что для того и мужа не бужу.
Эх, позабавилась я в жизни вволю!
У нас, у женщин, уж такая доля.
Мы слабы, правда, но господь взамен
Нам даровал коварство для измен,
Обман и слезы. Мы оружьем этим
Мужскую силу оплетем, как сетью.
И если хвастать, так одним могу
Похвастаться что другу, что врагу:
Во всяком деле хитростью иль силой
Всего добьюсь, что мне угодно было.
Все исполнять старались муженьки.
Из них веревки, словно из пеньки,
Могла я вить; брюзжаньем, воркотнею
Я допекала их порой ночною,
Отказывая в милостях, пока
Не открывали тут же сундука,
И лишь тогда, за малую толику,
Ложилась я, к их радости великой.

Вам говорю, так исстари ведется:
«Купи, коль можешь,— все ведь продается».
И сокола приманишь на вабило.
Взяв верх, лгала, что мне их ласки милы,
Лишь для того, чтоб похоть их продлить,
Но жажды невозможно утолить
Копченым окороком из Дэнмау.
Мне было старичков, конечно, мало.
И хоть сам папа будь за их столом,
Еще посмотрим, их ли это дом;
Им слово за слово платить могу,
И не останусь я ни в чем в долгу.
Когда же завещанье составлять
Наступит день, долгов мне завещать
Уж не придется, каждое словечко
Их оплатила я, и, как овечка,
Притихнув, муж, бывало, уступал
Иль за упорство на себя пенял.
Пусть рьяный муж свирепей будет льва —
Сумею ущемить его права,
Потом скажу: «Оставим споры наши,
Смотри, как смирен Вилкин, наш барашек.
Поди сюда, мой милый муженек,
И поцелуй меня еще разок.
Тебе бы тоже тихим быть и смирным,
И заживем с тобой куда как мирно.
Ты Иова не раз долготерпенье
В пример мне ставил и его смиренье —
Смирись же сам и потерпи хоть малость.
Прости причуды, воркотню иль шалость —
Увидишь, как приятно угождать
Жене и тем любовь ее снискать.
Из нас двоих кому-нибудь да надо
Уступку делать, чтоб сломить преграды.
И раз мужчина женщины разумней,
Уступчивости укажи стезю мне.
Чего тебе брюзжать, ворчать и ныть?
Ни с кем не хочешь ты меня делить?
Ну, так бери же всю и без остатка,
Но и расплачивайся, если сладко.
От ma belle chose, ее пусти лишь в торг,
Все покупатели пришли б в восторг.
Ее храню, господь меня прости,

Лишь для тебя. Смотри, не упусти».
Троих мужей таким смирила сортом,
Теперь поведаю вам о четвертом.
Четвертый муж был пьяница, гуляка,
Имел любовницу, знал девок всяких,
А я была красива, молода,
Крепка, упряма и смела тогда.
Как соловей, умела петь под арфу
И танцевала жигу с пестрым шарфом,
Особенно когда хлебну винца.
Вот, говорят, Метеллий, от венца
Едва вернувшись, грубая скотина,
Жену свою толстенною дубиной
Избил до смерти за глоток вина.
Ну, выпила. Так где же тут вина?
Попробовал бы он меня отвадить
От рюмки. Нет, со мной ему б не сладить.
А от вина к Венере мысль течет;
И как морозы порождают лед,—
Вино склоняет на любовный труд;
Не только с губ тут слюнки потекут,
От пьяной женщины не жди отказу,
Распутники тем пользуются сразу.
Но, видит бог, как вспомню я про это —
И осенью как будто снова лето.
Как в юности, все сердце обомрет,
И сладко мне, что был и мой черед,
Что жизнь свою недаром прожила я.
Теперь я что? Матрона пожилая.
Украло время красоту, и силу,
И все, что встарь ко мне мужчин манило.
Прошла пора, а кровь, знай, колобродит.
Ко мне теперь муку молоть не ходят.
Что ж, отруби я стану продавать,
Еще мне рано вовсе унывать.
Так вот, четвертый муж мой был гуляка;
Меня любил он, негодяй, однако.
Несносно было мужа разделять
С наложницей, и стала я гулять.
Вы не подумайте чего худого,
А только с мужем я своим ни слова,
С подружками затеяла возню,
Пирушки, пляски, игры, болтовню.

Мой муж от ревности в своем же сале
Как ростбиф жарился. Милее стали
Внимание и милости мои.
Земным чистилищем он звал своим
Меня в ту пору. Может быть, чрез это
Душа его теперь в предвечном свете.
Ведь сколько раз, бывало, он поет,
Хотя ревнивца, как мозоль, гнетет
И мучит мысль: ужели изменила?
Свидетель бог и мужнина могила
Тому, как я гуляку допекла
И, может быть, до смерти довела.
Он умер в год, как от святого гроба
Вернулась я и мы смирились оба.
С гробницей Дария нельзя сравнить
Могилу мужа; все ж похоронить
Мне удалось его близ алтаря,
Где свечи поминальные горят.
Я мужнина добра не расточала,
Его могилу я не украшала,
Ведь не украсит гроб его судьбу,
Он и в тесовом полежит гробу.

Теперь о пятом рассказать вам надо.
Душа его да не узнает ада,
Хоть был он изо всех пяти мужей
Несносней всех, сварливей всех и злей
(Ах, до сих пор болят и ноют ребра),—
А поцелует — сразу станет добрый.
И уж в постели так был свеж и весел,
Что сколько бы ударов ни отвесил,
Хотя б кругом наставил синяков,—
Я не считала слез и тумаков.
Сдается мне, что я его любила
Тем крепче, чем ему любовь постылей
Со мной казалася. Порой чудачки
Мы, женщины: милее нам подачки
Любовников, чем щедрые дары
Мужей. От мужа требуем икры
Заморской иль мехов, шелков и кружев,
А перстенек от милого закружит
Нам голову, как крепкое вино.
Нам то милее, что запрещено.
Преследуй нас, а мы, знай, ускользаем,

Но подразни — и двери открываем.
Коль спрос велик — так дороги товары,
А то, что дешево, дадут и даром,—
Известно это женщине любой.
Мой пятый муж — господь да упокой
Его в земле! — был вовсе не богат.
Он просто по любви был мною взят.
В Оксфорде он когда-то поучился,
Но после бросил, к нам переселился
И жил у Элинор, моей подруги.
Я верила лишь ей во всей округе:
Хотя б мой муж на стенку помочился
Или от судей тайно схоронился,
Про все, бывало по секрету ей
Скажу, куме и крестнице моей;
Как муж ни злись, а мне и горя мало.
Я часто в краску муженька вгоняла,
А он, бесясь, не раз себя же клял,
Что мне свои секреты поверял.
Так повелось, что каждый год постом
Великим я, гостя, из дома в дом
Переходила до начала лета,
Чтоб сплетен понаслушаться при этом
И позабавиться; так вот втроем мы:
Студентик, кумушка и я к знакомым,
Что за городом жили, собрались,
Там погулять и по лугам пройтись.
Тогдашний муж мой в Лондоне, в отлучке
В ту пору был, а на небе ни тучки,
Весна, досуг и полная свобода!
Всегда в гостях, всегда среди народа!
И где найдешь, а где и потеряешь,
В такое время никогда не знаешь.
И я ходила к утрене, к вечерне,
На празднества, процессии для черни,
На свадьбы, представления, обеды,
Миракли, проповеди и беседы.
Я в красных платьях лучших красовалась,
И моль еще тех платьев не касалась,
Все потому, что был раскрыт сундук,
И я весной не покладая рук
Что день, то новые все доставала,
На танцах их что ночь перетряхала.

Так вот, втроем мы лугом мирно шли
И со студентом разговор вели.
И скоро так мы с ним развеселились
И откровенно так разговорились,
Что я ему, играючи, сказала,
Мол, овдовев, другого б не желала
Себе в мужья, а только бы его.
А это я сказала оттого,
Что в брачном деле, как во всяком деле,
Лишь тот умен как следует и делен,
Кто все предвидит, зная наперед,
Какой удел его наутро ждет.
По-моему, той мыши грош цена,
Которая, хоть трижды будь умна,
Себе грызет единственную норку —
Заткнут ее, тогда сухую корку
И ту ей будет некуда снести.
Нет, сети надо загодя плести.
Ему сказала я, что пленена,
Что ночи целые лежу без сна,
Ни на минуту глаз, мол, не смыкаю,
Его кляня, тоскую, призываю.
Иль что, поражена его мечом,
Лежу я навзничь и что кровь кругом,
И будто бы любимым я убита,
Но вовсе на убийцу не сердита,
Нисколько не виню его за это:
В кровати кровь — к богатству, мол, примета;
И все неправда, все сочинено,
Все матерью мне было внушено
Наперекор девической природе.
Вот вспомнила о чем при всем народе!
Пожалуй, вам и слушать-то не след.
И оказался вскоре на столе
Мой муж четвертый; плакала, стонала
Я, на лицо накинув покрывало,
Но горевать старалась не чрезмерно,
Что умер мой четвертый благоверный,
Ведь мужа пятого я припасла.
И он стоял тут, рядом, у стола.
Наутро в церковь отнесли мы мужа.
Я целую наплакала там лужу.
Мой Дженикин шел с нами, по-соседски.

Он выступал за гробом молодецки.
Таких давно я не видала ног,
Точеных, стройных, крепких. Кто бы мог
Пред ними устоять? Не я, сознаюсь.
И в этом я ни капельки не каюсь.
Ему лет двадцать только миновало,
Мне ж было за сорок, но я нимало
Не колебалась, сохранив весь пыл,
Который и с годами не остыл.
Господь прости, была я похотлива,
И молода еще, и говорлива,
Бойка, умна, красива, редкозуба
(То, знаете, Венерин знак сугубый).
Что ma belle chose соперниц не имеет —
Свидетели мужья мои. Кто смеет
Оспаривать свидетелей таких?
Я крестницей была ведь у двоих:
Дух боевой мне Марсом был отмерен,
Чувствительность — был щедрый дар Венерин.
Венера мне дала в любви покорство,
А Марс — в любви и крепость и упорство.
Мой прадед — Минотавр, и предок — Марс мой.
Зачем любовь грехом сильна, коварством?
Звезда моя велит неугомонно
Не подавлять того, к чему мы склонны,
И гостя доброго всегда с охотой
Пускаю я в Венерины ворота.
Ни одного не пропущу я мимо.
От Марса на лице моем решимость.
Другое место нужно ль называть,
Что укрепила Марсова печать?
Не признаю любви я робкой, скрытой,
А голод утоляю я досыта.
Богат иль беден, черен или бел,—
Мне все равно, лишь бы любить умел.
И хоть по мужу благородной стань я,
Все ж не побрезгую и низким званьем.
И вот всего лишь месяц миновал,
Как Дженикин со мною в храм попал.
Венчанье мы отпраздновали пышно,
По всей округе свадьбу было слышно.
И я ему, дуреха, отдала —
И сколько раз потом себя кляла —

Дом и владенье, все мной нажитое,
А он того ни капельки не стоил.
Всегда бранил, во всем-то мне перечил
И раз меня чуть-чуть не изувечил:
Мне в ухо дал, да со всего размаха,
Чуть не оглохла я тогда от страха,
А все за три ничтожные листка.
И, в свой черед, упорна и жестка,
Я с мужем стала что ни день браниться,
А укротить, пожалуй, легче львицу,
Чем в ярости меня. Из дома в дом
Ходила я, хоть упрекал он в том
Меня, корил и приводил примеры
Все про язычников иль иноверов:
Что вот, мол, римлянин Симплиций Галл
С женой развелся, из дому прогнал
За то, что в воротах, без покрывала,
Она простоволосая стояла.
Другая, мол, наказана была
За то, что на ристалище пошла,
У мужа не спросясь,— жены той имя
Забыла я со многими другими.
А то твердил мне муженек мой часто
Заветы строгие Екклезиаста,
Чтоб муж из дома никогда жену
Не отпускал, особенно одну.
А то отыщет книгу и читает:
«Кто из лозины дом свой воздвигает,
Кто клячу старую в соху впрягает,
На богомолье кто жену пускает —
Тот сам себе, простак, петлю свивает».
Читает он, а мне все нипочем.
Мне — да смириться под его кнутом?
Чтоб все мои пороки обличал он?
Нет, никогда такого не бывало,
Да и не будет ни с одной из нас.
И чем сильней бесился он подчас,
Тем я его сильнее допекала.
Но до сих пор я вам не рассказала,
Зачем из книги вырвала листок
И почему мой муж был так жесток,
Что на всю жизнь лишил меня он слуха.
Ее читая, сам был тугоух он

И каждой строчке в этой книге верил.
Ее названье — «Теофраст Валерий».
Он нипочем бы с ней не разлучился.
Читая, он от хохота давился;
Она всегда и ночевала с ним.
Какой-то кардинал Иероним
В ней обличал слова Иовиниана.
В ней были сочиненья Тертульяна,
Хризиппа, Тротулы и Хэловисы,
Француженки какой-то, аббатисы,
Овидия «Наука о любви»
И притчи Соломона — сотни три
Стишков и басен всяких и историй.
И книга эта — я узнала вскоре —
Его всегдашний спутник; ночью ль, днем
Он помышлял всегда лишь об одном:
От дел и радостей мирских забыться
И в эту книгу с головой зарыться.
И было в ней развратниц, женщин злых
Не менее, чем в Библии святых
И праведниц. Ведь книжный червь не может
Нас, женщин, оценить, хоть все нас гложет.
«А кем, скажите, нарисован лев?»
Да если бы мы, женщины, свой гнев,
Свое презренье к мужу собирали
И книгу про мужчину написали,—
Мужчин бы мы сумели обвинить
В таких грехах, которых не сравнить
С грехами нашими ни в коей мере.
Ведь сын Меркурия и дочь Венеры —
Они совсем не схожи и ни в чем.
Да вот судите сами вы о том:
Меркурий — это мудрость, накопленье,
Венера — вся порыв и расточенье;
Их склонностей извечная борьба
Неотвратима, как сама судьба.
Когда в созвездье Рыб Меркурий тонет,
Встает Венера в ясном небосклоне.
Когда ж Венера утром догорит,
Вечерней дожидается зари
Тогда Меркурий. Так идет от века.
И ни один ученейший калека
Не станет женщин от души хвалить.

Да иначе оно не может быть!
Как от учености он одряхлеет,
Венере подать он платить не смеет,
Да и зачем дырявый ей башмак!
И вот тогда начнет он так и сяк
На женщин шамкать злую клевету,
Что будто бы мы любим суету
И не способны верными быть клятвам.
Еще не то налгать на нас он рад вам.
И все-таки я вам не рассказала,
Как я за книгу эту пострадала.
Раз поздно вечером мой муж не спал
И, как всегда, свой фолиант читал,
Сперва про Еву, как с ее душой
Чуть не погиб навеки род людской
(Чтоб искупить греховную любовь,
Потом свою пролил спаситель кровь).
Мой муж хотел, чтоб с ним я затвердила,
Что землю женщина чуть не сгубила.
Потом прочел он, как во сне Самсон
Острижен был, а после ослеплен
И как, всему виновница, Далила
Своим коварством сокрушила силу.
Как из-за Деяниры Геркулес
Непобежденный на костер полез.
Не пропустил мучений он Сократа,
Которыми так жизнь его богата.
Муж злой жены — сколь жребий сей жесток!
Ведь вот Ксантиппа свой ночной горшок
Ему на голову перевернула,
И спину лишь покорнее согнул он,
Обтерся и промолвил, идиот:
«Чуть отгремело, и уж дождь идет».
Потом прочел про королеву Крита,
Которая распутством знаменита;
Хоть всех такая похоть ужаснет,
Но восхищался ею мой урод.
Про Клитемнестру (это сущий демон,
Мужеубийца) прочитал затем он
И от нее опять пришел в восторг.
Затем прочел он про преступный торг
Эрифилы, что за браслет иль пряжку
Противу мужа согрешила тяжко

И грекам выдала, где скрылся он,
И в Фивах был Амфиаракс казнен.
Преступных женщин фолиант был полон.
Про Люцию и Ливию прочел он
(Обеих руки в мужниной крови,
Причина ж в ненависти иль в любви).
Как Ливия, исполнена враждою,
Поила мужа гибельной водою,
Как Люция, томясь любовной жаждой,
Чтоб муж ее стремился мыслью каждой
Ей угождать, любовное питье
Сготовила и как супруг ее
Наутро умер. Вот они, напасти
На всех мужей от лютой женской страсти!
Прочел он, как Латумий горевал,
Как другу Арию он рассказал,
Что, мол, его женитьба беспокоит.
Что дерево растет, мол, роковое
В его саду, и три его жены,
Любовию и ревностью полны,
На нем повесились. «Благословенно
То дерево, и я прошу смиренно
Тебя, Латумий, дай мне черенок,
Чтоб у себя его взрастить я мог
В своем саду»,— вот что ответил Арий.
Насобирал он в книгу этих тварей
Со всех народов и со всех времен.
Читал еще он про каких-то жен,
Которые, мужей убив в постели,
С любовниками до утра храпели,
Меж тем как труп у ног их холодел.
Других мужей и горше был удел:
Им мозг иголкой жены протыкали
Во сне, питье их зельем отравляли.
И столько в этой книге было зла,
Что им и я отравлена была.
К тому же уйму знал он поговорок.
Их было столько, сколько в поле норок
Или травинок на большом лугу.
Вот слушайте, что вспомнить я смогу:
«Селись с драконом лучше иль со львом,
Но только женщин не пускай в свой дом».

«Не лучше ли сидеть под самой крышей,
Чем в доме от жены попреки слышать?
Ей с мужем только бы затеять спор,
Ему во всем идти наперекор».
«Поверь, что женщина, чуть платье скинет,
Как нету и стыдливости в помине».
«Что в нос свинье продетая серьга —
Жена, в свой дом впустившая врага».
Какою яростью, какой печалью
Его слова мне сердце наполняли
С тех пор, как я пришла из-под венца.
И в этот раз поняв, что нет конца
Проклятой книге и что до рассвета
Он собирается читать мне это,—
Рванула я из книги три страницы,
И, прежде чем успел он защититься,
Пощечину отвесила я так,
Что навзничь повалился он в очаг.
Когда ж пришла в себя, то увидала,
Что на полу я замертво лежала
С разбитой в кровь щекой и головой
И в страхе муж склонялся надо мной.
Он был готов уж скрыться без оглядки,
Как застонала я: «Убийца гадкий,
Мои богатства думаешь прибрать?
Сюда! Хочу тебя поцеловать
Я перед смертью». Он тотчас смирился
И на колени тут же опустился,
Мне говоря: «Сестрица Алисон,
Забудь про все, ведь это скверный сон,
Навеянный той книгою проклятой;
В сегодняшнем сама ты виновата,
Но ты прости, что волю дал руке».
Ему в ответ я тотчас по щеке:
«Прочь, негодяй, презреньем отвечаю!
Язык немеет... Ах, я умираю!»
Но все ж по малости заботой, лаской,
А то, когда придется, новой таской
Был восстановлен мир, и вот с тех пор
Такой мы положили уговор,
Что передаст узду в мои он руки,
А я его от всяческой докуки
Освобожу и огражу притом.

Дела и помыслы, земля и дом —
Над всем я власть свою установила.
А чтобы той проклятой книги сила
Нас не поссорила, ее сожгла
И лишь тогда покой найти смогла.
Мой муж признал, что мастерским ударом
Он побежден, и не ярился даром.
«Дражайшая и верная жена,
Теперь хозяйкой будешь ты одна.
В твоих руках и жизнь моя и кров,
Храни же честь свою, мое добро!»
Мы с той поры не ссорились ни разу,
И, если доверяете рассказу,
От Дании до Индии не сыщешь
Такой жены, хотя весь свет обыщешь.
И муж мне верен был, да упокоит
Его господь в раю,— того он стоит.
Теперь, коль я не утомила вас,
С господней помощью начну рассказ.

Слушайте слова,
коими обменялись Пристав и Кармелит

Тут, рассмеявшись громко, кармелит
«Сударыня,— с улыбкой говорит,—
Да ниспошлет господь вам утешенье,
Такой длины я не слыхал вступленья».
А пристав, только это услыхал,
Громовым басом в голос закричал:
«Клянусь спасителя распятым телом,
Монахов с осами сравню я смело.
Ведь, в самом деле, муха и монах,
Что в кушаньях, что в винах, что в делах,—
Повсюду липнут и суют свой нос.
Чего ты это о вступленье нес?
Длинно иль коротко, но нам по нраву,
И мой совет: не портить нам забаву».
«Советуйте, советуйте, сэр пристав,
Пусть будет яростен ваш гнев, неистов,
О приставах такое расскажу,
Что вам, мой друг, наверно, удружу».
«Свою побереги, приятель, кожу.
И ты, монах, мне можешь плюнуть в рожу,

Когда о братьях истины позорной
Всем не раскрою я до Сиденборна.
Тебя, монах, порядком я позлю
Той правдой, прямо в сердце уязвлю».
«Цыц, петухи,— стал разнимать хозяин,—
Чего вы напустились целой стаей
И доброй женщине рассказ начать
Вы не даете. Будет вам кричать,
Опомнитесь и людям не мешайте.
Хозяюшка, рассказ свой начинайте».
«Охотно, сударь, коль святой отец
Меня благословит». Тут наконец
Утихли оба, молвил кармелит:
«Исполни, женщина, что долг велит,
И бог тебе воздаст за послушанье,
А мы послушаем повествованье».

РАССКАЗ БАТСКОЙ ТКАЧИХИ

Здесь начинается рассказ Батской ткачихи

Когда-то, много лет тому назад,
В дни короля Артура (говорят
О нем и ныне бритты с уваженьем),
По всей стране звучало эльфов пенье;
Фей королева со своею свитой,
Венками и гирляндами увитой,
В лесах водила эльфов хоровод
(По крайней мере, верил так народ).
Чрез сотни лет теперь совсем не то,
И эльфов не увидит уж никто.
Монахи-сборщики повсюду рыщут
(Их в день иной перевидаешь тыщу,
Их что пылинок в солнечных лучах).
Они кропят и крестят все сплеча:
Дома и замки, горницы и башни,
Амбары, стойла, луговины, пашни,
И лес кругом, и ручеечек малый,—
Вот оттого и фей у нас не стало,
И где они справляли хоровод,
Теперь там сборщик поутру идет
Иль, дань собрав с благочестивой черни,
Вспять возвращается порой вечерней,
Гнуся обедню под нос иль псалмы.
Теперь и женщины с приходом тьмы

Без страха ночью по дорогам ходят:
Не инкубы — монахи в рощах бродят,
А если вас монах и обижает,
Он все благословеньем прикрывает.
Был при дворе Артура рыцарь-хват.
Он позабавиться всегда был рад.
Раз на пути девицу он увидел
И честь девическую вмиг обидел.
Такое поднялось тут возмущенье
И так взывали все об отомщенье,
Что сам король Артур его судил
И к обезглавленью приговорил.
Но королева и другие дамы,
Не видя в этом для девицы срама,
Артура умолили не казнить
Виновного и вновь его судить.
И вот король, уж не питая гнева,
Сказал, чтобы решала королева.
Но, к милосердью короля склонив
И за доверье поблагодарив,
Она виновному сказала строго:
«Хвалу воздайте ныне, рыцарь, богу,
Но жить останетесь на белом свете,
Лишь если сможете вы мне ответить —
Что женщина всему предпочитает?
А не сумеете — вас ожидает
Смерть неизбежная. Так берегите
Вы голову от топора. Идите.
Двенадцать месяцев и день даю
На то, чтобы обдумать вы мою
Могли загадку. Честью поручитесь,
Что вы поступите как смелый витязь
И дать ответ придете через год».
Что делать рыцарю? Пришел черед —
И женщине он должен покориться
И через год с ответом к ней явиться.
И вот отправился он в дальний путь,
Чтоб раздобыть ответ хоть где-нибудь.
Он каждый город посещал и дом
И всюду всех расспрашивал о том,
Что женщины всему предпочитают.
Но если даже женщины и знают,
Чего хотят, двоих на свете нет,

Пролог батской ткачихи

Чтоб на одном сошелся их ответ.
Те назовут богатство и наряды,
Те почести, те угожденью рады,
Тем лишь в постели можно угодить,
Тем бы вдоветь да замуж выходить.
Тем сердце лесть всего сильней щекочет,
А та сознаться в слабости не хочет,
Но ей хвала сокровищ всех милей.
Ведь льстивым словом нас всего верней
Или услугой самою ничтожной
И покорить и усмирить возможно.
А те свободу почитают главным,
И чтобы с мужем были равноправны,
И чтоб никто не смел их укорять,
Коль на своем затеют настоять.
И то сказать — какая же из нас
Супруга не лягала всякий раз,
Когда ее заденет за живое
Или о ней он правду всю раскроет.
Попробуйте — и в этом убедитесь,
Как убедился тот злосчастный витязь.
Все мы хотим, будь даже мы порочны,
Чтобы никто ни прямо, ни заочно
О нас дурного людям не сказал,
Но чтоб в пример нас женам называл.
А есть такие, что хотят доверье
Завоевать хотя бы лицемерьем.
Советницей и другом мужу быть,
Секреты мужа от людей хранить.
Цена их притязаниям — полушка.
Поверьте, женщина всегда болтушка.
Хранить секреты — это не для нас.
Вот был на свете некий царь Мидас,
И говорит о нем поэт Овидий,
Что рок его безжалостно обидел
И у царя под шапкою кудрей
Ослиных пара выросла ушей.
Он ото всех скрывал свое уродство,
Но, в женское поверив благородство,
Секрет жене любимой рассказал,
Причем молчать об этом слово взял.
И поклялась она: «Секрет не выдам.
Подумать, ведь позор какой и стыд нам.

Тебя предать на посмеянье всех —
Да это было б преступленье, грех».
Но день прошел, и поняла — гнетет
Ее молчанье, и она умрет,
Когда от бремени не разрешится
И от секрета не освободится.
И вот, страшась злокозненных ушей,
Туда, где из болотца тек ручей,
Она без памяти, в слезах, сбежала,
Легла плашмя там, где струя журчала,
И, как в трясину выкликает выпь,
Она шепнула в водяную зыбь:
«Меня не выдай, милая вода,
Не выдай никому и никогда.
У мужа моего, царя, послушай,
Ослиные растут, о горе, уши.
Теперь на сердце легче, ведь скрывать
Ту тайну не могла я и молчать».
Конец рассказывать — напрасный труд,
Пусть у Овидия его прочтут.
Когда увидел рыцарь, что надежды
Нет никакой — сильнее он, чем прежде,
Отчаялся и крепко приуныл;
А срок его уж на исходе был,
И надо было в замок возвращаться
И с головой своей опять прощаться.
Вдруг на пути он видит много дам,
Они кружились в танце по лугам,
Их двадцать пять, а то и больше было.
И рыцарь к ним направился уныло
Задать постылый тот же все вопрос.
Но на лугу кустарник редкий рос,
И хоровода словно не бывало,
А на пеньке преважно восседала
Невзрачная, противная старушка.
Дряхла на вид, ну, словно та гнилушка,
С которой через силу поднялась.
«Сэр,— говорит ему,— я знаю вас,
И если вам никто помочь не может,
Я помогу вам, рыцарь мой пригожий:
Ведь к старости мы много узнаем».
«Любезная, скажи мне лишь о том,
Что́ женщина всему предпочитает.

Меня палач и плаха ожидают,
И если ложен будет мой ответ,
От смерти лютой мне спасенья нет».
«Так дай мне слово первое желанье
Мое исполнить, и за послушанье
Скажу тебе я, что тебя спасет».
«Даю я слово. Черт пусть унесет
И ввергнет в ад мою навеки душу,
Коль я с тобой наш договор нарушу».
«Так ты спасен от царственного гнева:
Со мной согласна будет королева.
Хотела б видеть, кто из этих дам
Ответ оспорит, что тебе я дам.
Скорее слушай, навсегда запомни».
И что шепнула — неизвестно то мне,
Но только рыцарь сразу просиял.
И срок его еще не миновал,
Как со старушкой в замок он явился.
Весь двор решимости его дивился.
И собралися дамы и девицы,
А также и почтенные вдовицы
(Умнее нас на свете женщин нет),
Чтобы послушать рыцаря ответ
И королевы мудрое решенье.
И ждали все в великом нетерпенье,
Вокруг него сдвигаясь все тесней,
Узнал ли он, чего всего сильней
Желает женщина. Он, не смущаясь
И к королеве смело обращаясь,
Уверенно и громко начал речь:
«О госпожа! Палач пусть снимет с плеч
Мне голову, когда я ошибаюсь,
Но утверждать пред всеми я решаюсь,
Что женщине всего дороже власть
Над мужем, что она согласна пасть,
Чтоб над любимым обрести господство.
На ваше полагаюсь благородство.
Вот, госпожа, все, что придумать мог.
Теперь казните! Я у ваших ног!»
И не нашлось ни дамы, ни девицы,
Ни опытной в таких делах вдовицы,
Которая б решилась отрицать,
Что большего не может пожелать.

И королевин суд провозгласил,
Что рыцарь жизнь еще раз сохранил.
Ворча, кряхтя и причитая глухо,
Заговорила дряхлая старуха:
«Пока еще, о госпожа, я тут,
Пускай рассудит нас твой правый суд.
Я рыцаря ответу научила,
За это — обещанье получила,
Что просьбу первую мою тотчас
Исполнит он, и, умоляю вас,
Пускай он сделает, что обещал:
Прошу, чтобы женой меня назвал.
А если жизнь его я не спасла,
Пускай здесь скажет, в чем я солгала».
Ответил рыцарь: «Я поклялся в этом,
И в самом деле связан я обетом.
Но для чего тебе супруга надо?
Иную выбери себе награду».
«Ну, нет,— ему ответила старуха,
И неприятен голос был для слуха.—
Пусть я уродлива, стара, бедна,
Но мной награда определена,
Я от нее никак не откажусь
И за все золото не соглашусь,
Что под землей еще лежит незримо,
Не стать женой твоей, твоей любимой».
«Любимой! — он вскричал.— Скорей в аду
Согласен быть. Во всем моем роду
Еще никто так не бывал унижен».
Но все напрасно, и, судьбой обижен,
Он с нею тотчас же помолвлен был
И как невесте перстень свой вручил.
Не думайте, что я жалею слов,
Чтоб описать весь шум и блеск пиров
И то веселье, что на свадьбе было:
Ведь что за пир, коль мужу все постыло?
Нет, не было ни празднеств, ни веселья,
Когда от алтаря на новоселье
Украдкой молодую он провел
И так был опечален, мрачен, зол,
Что целый день, как филин, укрывался
И всех вокруг стыдился и чурался.
И, удрученный, лег он с ней в постель

И, расшвыряв в сердцах цветы и хмель,
Ворочался, от горя ошалелый,
И на него с улыбкою глядела
Постылая уродина жена.
Так ночь текла в мучениях без сна,
И наконец жена ему сказала:
«Мой милый муж, того ль я ожидала?
Хоть не сказала б я, чтоб ты был груб,
Но ты на ласку, друг мой, слишком скуп.
Ужель такая у тебя натура?
Иль при дворе у короля Артура
Вас учат так вести себя с женой?
Что ты — безумный или же больной?
Я жизнь тебе спасла, ты это знаешь,
И все ж меня так сильно обижаешь.
Скажи, могу ли чем-нибудь помочь,
А то уж на исходе наша ночь».
«Помочь! Какая мне поможет сила,
Помочь мне может разве что могила.
Ты так уродлива и так стара.
Я рыцарь королевского двора,
А ты безродная, так что ж дивиться,
Что ночь идет, а ты еще девица
И что я места не могу найти.
Меня лишь смерть одна могла б спасти».
«И это все, что так тебя тревожит?»
«Свести с ума и половина может
Того, что я сегодня пережил».
«Когда б меня как следует любил,
Тебе бы я помочь в беде сумела
И ночи в три исправила б все дело.
Но ты твердишь — твои богаты предки
И ты, мол, родовит. Объедки
Догладывая, будет ли кто сыт?
Кто славою заемной знаменит?
Тот благороден, в ком есть благородство,
А родовитость без него — уродство.
Спаситель образцом смиренья был
И в этом следовать за ним учил.
Ведь предок наш, богатства завещая,
Не может передать нам, умирая,
Тех подвигов или тех добрых дел,
Которыми украситься сумел.

Вот Данте, из Флоренции поэт,
Мудрей которого на свете нет,
Писал о том, что редко от корней
Доходит добрый сок до всех ветвей
И благородство не в самой природе,
Оно от бога на людей нисходит.
Наследье предков — преходящий дар.
Он портится, как хлеб или товар,
Когда коснется гниль его людская.
Тебе понятна ль истина такая?
Когда бы благородство сохранялось
Из рода в род, оно бы проявлялось
В поступках добрых, и не мог бы тать
Себя потомком лордов называть.
Возьми огонь и в горнице без света,
Темней которой не было и нету
Отсюда до вершин Кавказских гор,
Зажги очаг, и станут до тех пор
Гореть дрова, покуда не погаснут,
И пламя будет так же чисто, ясно,
Как на свету. Оно всегда все то ж.
А знатный род с огнем в одном лишь схож:
Он, вспыхнув ярко, тускло догорает.
Состав огня ничто не изменяет,
А лорда сын, едва он примет власть,
Так низко может и бесчестно пасть,
Что благородство все свое утратит.
Кичиться предками совсем некстати,
Что добродетелей они полны,
Когда вы сами предкам не равны.
И если герцог, лорд или барон
Поступит низко, то подобен он
Презреннейшему из презренной черни,
Хотя б исправно и ходил к вечерне.
А благородство, взятое взаймы
У знатных предков, презираем мы,
Когда напялено оно на плечи
Тому, кому и похвалиться нечем.
Знай, благородство — это божий дар.
Его как милость может млад и стар
Снискать за добрые дела в награду.
Не каждому оно дается кряду,
А завещать его нельзя никак,

И это сделать может лишь дурак.
Смотри, как благороден стал Гостилий,
А бедные родители растили
Его, как то Валерий описал.
Прочти, что Сенека о том сказал
Или Боэций: тот лишь благороден,
Кто за дела таким прослыл в народе.
И видишь ли, мой милый, вот в чем дело —
Хотя я знатных предков не имела,
Но если бы меня сподобил бог,
Который милостив, хотя и строг,
Прожить безгрешно,— стану благородна,
Коль это будет господу угодно.
Вот в бедности меня ты обвинил,
Но сам Христос когда-то беден был,
А он не вел бы жизни недостойной.
Ведь было б, кажется, ему спокойней
В обличье царском грешных нас учить.
А благодушно в бедности прожить
Достойно всякого, кто благороден.
Тот в бедности богат и тот свободен,
Кто не смущен и нищетой своей.
Скупой завистник нищего бедней:
Его алчбы ничто не утоляет.
А тот бедняк, что денег не желает,
Богаче тех, кто на мешках сидит
И за сокровища свои дрожит.
Кто нищ, тот по природе щедр и весел,
И Ювенал, свое он слово взвесил,
Сказав: «С ворами хоть бедняк идет —
Он беззаботно пляшет и поет».
Ах, людям бедность горько хороша,
Скольких забот лишится с ней душа.
И для того, кому богатств не жалко,—
В ее горниле лучшая закалка;
Пусть с нищего лоскут последний снимут,
При нем добро, что воры не отнимут.
Кто нищету с покорностью несет,
Себя и господа тот познает.
Ведь нищета — очки: чрез них верней
Распознаешь отзывчивых друзей.
И потому, супруг мой, так и знай,
За нищету меня не упрекай.

Меня еще за старость ты корил,
Но кто тебе злокозненно внушил,
Что старость грех? Ведь все вы, джентльмены,
Толкуете, что старики почтенны,
И старика зовете вы «отец».
Еще упрек ты сделал под конец.
Да, безобразна я, но в том залог:
Тебя минует еще горший рок —
Стать рогоносцем, ибо седина,
Уродство и горбатая спина —
Вот верности испытанные стражи.
Но, верная, тебе еще я гаже.
И чтоб меня ты не затеял клясть,
Ну что ж, давай твою насыщу страсть.
Сам выбирай, хотя не угадаешь,
Где невзначай найдешь, где потеряешь:
Стара, уродлива, но и скромна.
И до могилы преданна, верна
Могу я быть, могу и красотою
И юностью блистать перед тобою,
Поклонников толпу в твой дом привлечь
И на тебя позор иль смерть навлечь.
Вот выбирай. И толком рассуди».
У рыцаря заныло тут в груди.
Вздохнул он тяжко и жене ответил:
«Миледи и любовь моя, уж светел
Стал небосклон, мне, видно, не решить,
Что дальше делать и как дальше жить.
Решай сама, как мудрая жена,
Какая нам с тобою суждена
Судьба и жизнь; тебе я доверяю.
Что хочешь ты, того и я желаю».
«Так, значит, над тобой взяла я верх.
К моим ногам гордыню ты поверг?»
«Ты верх взяла, тебе и выбирать».
«Приди же, друг, меня поцеловать,
Ты это заслужил своим ответом,
Получишь верность и красу при этом.
Пусть поразит безумие меня,
Коль изменю, а ты при свете дня
Увидишь, что прекрасней королевы
И обольстительней всех внучек Евы
Тебе явлюсь. Ко мне скорей приди,

Откинь тот занавес и погляди.
И если не зажгу в тебе я страсти,
То смерть моя в твоей, супруг мой, власти».
Когда увидел рыцарь, что жена
Приветлива, красива и юна,
Тут, вне себя от этой благодати,
Он заключил ее в свои объятья.
Ему и сотни поцелуев мало,
Она ж ему покорно уступала
Во всем, лишь бы порадовать его.
Не стану я рассказывать того,
Как, сохранив любовь свою до гроба,
Они в довольстве, в счастье жили оба.
Пошли, господь, и нам таких мужей,
А то еще покорней и свежей
И яростней в супружеской постели.
Еще, господь, того бы мы хотели,
Чтоб нам супругов наших пережить
И с новыми пятью-шестью пожить.
Коль муж строптив, неласков и сердит,
Ему господь пусть век укоротит
За то, что он жену не почитает;
Ну, а скупца, что денежки считает,
Жалеет дома пенса на расход,
Того пускай чума иль черт возьмет.

Здесь кончается рассказ
Батской ткачихи

ПРОЛОГ КАРМЕЛИТА

Достойный сборщик наш, почтенный брат,
Всегда унизить пристава бы рад,
Но до сих пор из страха иль приличья
Ни слова не сказал; свое обличье
Пристойное он важно сохранял.
Теперь же он ткачихе так сказал:
«Пошли вам боже радость и утеху,
Сударыня. Не только нам потеху
Доставили, затронули вопрос
Преважный вы, который бы принес
Нам пользу всем, найди он разрешенье.
Но раз уж все мы ищем развлеченья,
То предоставим это богослову,
Я ж приберег для случая такого,—
Коль соизволите вы, господа,—
Про пристава церковного суда
Историю, а знаете вы сами:
Что доброго быть может с приставами?
И хоть ничьих я не хотел ушей
Тем оскорблять, но лишь прелюбодей,
Ведомый приставом для наказанья,
Вот приставу достойная компанья».
Ему хозяин: «Вас учить не стану,
Что вашему не подобают сану
Слова такие. Вам ли задирать?
Рассказ вы свой извольте начинать».
А пристав буркнул: «Пусть монахи брешут
Что им угодно, в свой черед утешу

Я кармелита так, что он поймет,
Какая честь и воздаянье ждет
Всех хвастунов монахов после смерти.
Уж я его пройму, вы мне поверьте».
Ему хозяин: «Будет вам бубнить,
Не прерывайте вы рассказа нить».

РАССКАЗ КАРМЕЛИТА

Здесь начинается рассказ Кармелита

Так, слушайте, что расскажу вам, други:
Викарий некий жил в моей округе.
Он строгостью своею был известен —
Даров не брал, не поддавался лести,
Сжег на своем веку колдуний много,
Карал развратников и своден строго,
Судил священников и их подружек,
Опустошителей церковных кружек,
Обета нарушителей и клятвы:
Коль осквернили чем-нибудь обряд вы,
Коль вы не выполнили завещанья,—
Епитимьей карал он в наказанье.
Гроза ростовщиков и святокупцев,
Бескровных, но мерзейших душегубцев,—
Всего он строже был к прелюбодею,
И в этом укорять его не смею.
Того, кто добродетель нарушал,
Всего суровей пеней он карал.
Кто не платил налога с поля, с гари,
Тот скоро узнавал, как строг викарий;
Кто в церкви был на приношенья скуп,
На тех всегда точил викарий зуб.
На них он вел с десяток черных списков,
Чтоб посохом их уловлял епископ.
Но мог и сам он налагать взысканье;
Для этого имел на содержанье
Он пристава, лихого молодца:

По всей стране такого хитреца
Вам не сыскать со сворою ищеек.
Виновных он тащил из всех лазеек.
Он с них изрядный получал доход.
Иной ему заткнет подачкой рот,
Иной ему невинного укажет.
Не видывал я человека гаже.
Но все-таки о нем я расскажу —
За приставами я всегда слежу.
Они же тронуть пальцем нас не смеют,
Зане над нами власти не имеют.
Вмешался пристав: «А еще, мой друг,
Мы не имеем права трогать шлюх».
На то хозяин: «Ты черед свой знай!
Рассказывает он, ты не мешай.
Вы ж приставов, отец мой, не щадите
И на его гримасы не глядите».
И продолжал рассказ свой кармелит:
На воре шапка, вижу я, горит.
Так вот, у пристава того на службе
Все сводни были и ему по дружбе
Своих клиентов помогали стричь.
Как соколы заклеванную дичь
Охотнику несут за кров и пищу,
Они ему развратника отыщут,
Он обдерет его, а сам патрон
Не знает часто, как плутует он.
Тянул он в суд разинь и простаков,
Что рады были горстью медяков
Иль выпивкой в таверне откупиться.
За стерлинг он готов был удавиться
И, как Иуда, в кошелек особый
Ссыпал все золото, а скверной пробы
Истертые монеты, барахло
Домашнее его патрону шло
В уплату штрафов или десятины.
Так жил, в своих пороках триединый,
Равно презренный пристав, сводник, вор.
К знакомой шлюхе он ходил во двор,
А та шепнет ему, что, мол, сэр Хью
Забыл у ней свой посох и скуфью,
А что сэр Ральф запачкал, мол, сутану
(Всех пакостей перечислять не стану).

Тут пристав их схватить грозится разом.
Размахивает папским он приказом,
Всегда все тем же, и волочит в суд,
Где их возьмут да вмиг и обстригут,
Когда ж руна лишалися бараны,
Он речью льстивой заживлял их раны:
«Не бойтесь, друг, я вас из черных списков
Уж вычеркнул, и не найдет епископ
О том проступке никаких следов,
Поверьте, что служить я вам готов».
Да вымогательств всяческого рода
Не перечислить мне в четыре года.
Был нюх его на этот счет утончен,
Как у борзой собаки иль у гончей.
Оленя им быстрее не загнать,
Чем он прелюбодея мог поймать
С супругой чьей-нибудь или девицей,
Тогда проворству нечего дивиться,
Когда оно приносит нам доход.
И вот случилось, в дальний он приход
Отправился за легкою добычей —
Таков уж был у пристава обычай.
Хотел вдову-старушку припугнуть
И, вызвав в суд, содрать хоть что-нибудь.
И вот в лесочке йомена он встретил
И на приветствие его ответил.
Был йомен тот наряден: весь в зеленом,
Верхом он ехал на коне холеном;
С ним лук и стрелы, шапка на макушке
Зеленая с коричневой опушкой.
«Привет вам, сэр,— его окликнул пристав,—
Дай бог прожить вам в здравии лет триста».
«Спасибо, друг, и вам того желаю.
Вас первого сегодня я встречаю.
Путь держите куда и далеко ль
И направляетесь туда отколь?»
«Да тут поблизости, взыскать налоги
Меня направил господин мой строгий».
«Так, стало быть, приятель, вы бэйлиф?»
«Вот именно»,— сказал наш пристав, скрыв,
Что при суде церковном находился.
Церковным приставом он постыдился
Себя назвать. Презренно это имя.

«А depardieu, так, значит, ты сродни мне.
И я бэйлиф, но редко здесь бываю,
В округе этой никого не знаю.
Давай же подружимся мы с тобой.
Знай, полный кошелек всегда со мной.
А если вздумаешь нас посетить,
Готов с тобой и дом свой разделить».
Не разобрав, что дело тут нечисто:
«А gra'merci» [1],— ему ответил пристав.
И вот решили: надо им дружить,
Почаще время вместе проводить.
Был пристав говорлив и любопытен,
В своих расспросах скор и ненасытен:
«Где вы живете, дорогой мой брат?
К вам в гости завернуть я был бы рад».
«Живу я, друг, на севере далеко,
Но раз мы повстречались волей рока,
Наверное, по мне ты затоскуешь
И моего жилища не минуешь».
«Хотел бы с вами чаще я встречаться,
Чтоб можно было опытом меняться.
По ремеслу вы пристав, как и я,
К тому ж отныне с вами мы друзья.
Вы мне расскажете свои приемы.
Они мне, может статься, незнакомы.
Коль есть в них грех, на это не глядите.
Мои грехи покрыть мне помогите».
«Да нет, мой друг, мне не к чему таиться,
Но только нечем мне с тобой делиться.
Совсем ничтожен личный мой доход:
Что соберу — хозяину идет,
А у меня хозяин очень строгий.
И вот всю жизнь бью по дорогам ноги.
Я вымогательством одним кормлюсь;
Из года в год я так и этак бьюсь,
Лишь бы с людей хоть что-нибудь содрать.
Вот все, мой друг, что я могу сказать».
«Вот именно, так поступать и надо,—
Воскликнул пристав,— друг мой, сердце радо
Об этом слышать. Я их не щажу,
Коль попадутся — петлей пригрожу

[1] Большое спасибо *(франц.)*.

И обираю их дома до нитки,
Как ни были б они в уловках прытки.
Да в самом деле, коль не вымогать,
Пришлось бы мне с семьею голодать.
И нечего о том в исповедальне
Нам каяться; в чужой опочивальне
Сам исповедник побывал не раз,
Так грех ему винить облыжно нас,
Что мы кошель у грешников срезаем,—
Мы тем вертеп разврата очищаем.
Теперь открыть свое должны вы имя,
Чтоб вас назвать приятелем своим я
Пред всеми мог». Качнулся, словно в зыбке,
В седле высоком йомен, тень улыбки
Коснулась уст его, и он сказал:
«Мой добрый друг, я вовсе не скрывал,
Что родом бес я, что пришел из ада,
Что мне туда вернуться вскоре надо,
Все недоимки на земле собрав.
Ты в основном был совершенно прав:
И мне доход дают грехи людские,
Опять же прав ты — все равно какие.
И я готов на край земли скакать,
Чтоб тот оброк любой ценой взыскать».
«Не может быть! — тут пристав закричал.—
А я-то вас за йомена считал.
Да, но каков ваш облик и наряд,
Когда к себе вернетесь вы назад?»
«В аду определенной нету формы,
А на земле — тут с некоторых пор мы
Какой угодно принимаем вид.
И, судя по тому, кто как глядит,
Он человека, обезьяну видит
Иль даже ангела (пусть не обидит
Тебя тот облик, мой дражайший друг).
И фокусник одним проворством рук
Вам чудеса показывает; что же,
Так с черта можно спрашивать и строже».
«А почему столь разные обличья
Вы принимаете? Из страха? Для приличья?»
А черт ему: «Затем, чтоб нам верней
Настичь добычу, подружиться с ней».
«Да, но к чему вам хлопоты такие?»

«Причины есть, мой друг, кое-какие.
О них сейчас рассказывать мне лень.
Да и к тому ж я потерял весь день;
За утро ничего не перепало.
Хвалиться мне добычей не пристало.
Ловить ее — вот думаю о чем,
А как ловить, не спрашивай о том.
Ты не поймешь иных моих уловок,
Хотя, как пристав, ты и очень ловок.
Но ежели ты очень хочешь знать,
Никто как бог велит нам хлопотать.
Случается, в своем бесовском рвенье
Мы исполняем божьи повеленья;
Хотим ли этого иль не хотим,—
Бессильны мы на деле перед ним,
И иногда орудьем избирает
Он нас своим и мучить позволяет
Не душу грешника, одно лишь тело.
Так с Иовом, коль помнишь, было дело.
А иногда мы получаем власть
И плоть и душу заодно украсть.
И иногда поручено тревожить
Нам только душу, отравляя ложью
Ее покой; но если устоит
Тот человек и веру сохранит —
Спасет он душу, хоть бы для геенны
Его костяк предназначался тленный.
А то по воле божьей и слугой
Нам быть приходится; иной святой,
Как, например, святой Дунстан, епископ,
Распоряжался бесами. Столь низко
Не падал я, но раз на юге жил
И там гонцом апостолам служил».

«И что ж, из тех же самых элементов,
Которые мы знаем от студентов,
Готовите свои обличья вы?»

И бес ему: «Ах, нет у нас дратвы,
Что их скрепляла бы. Мы чаще просто
Лишь притворяемся. Иль, скрав с погоста
Несгнивший труп, в нем начинаем жить,
Его устами смертным говорить.
Так некогда пророк ваш Самуил
Устами Пифонисы говорил,

Хоть сомневаются иные в этом;
Разгадку предоставим мы поэтам
И богословам, нам в том нет нужды.
Но, вижу я, разгадки хочешь ты.
Так надо в ад тебе со мной спуститься,
На опыте там сможешь обучиться
И с кафедры о бесах прорицать.
Тогда их облик будешь лучше знать,
Чем Данте Алигьери иль Вергилий,
Которые у нас в аду не жили,
Пока не умерли они, конечно.
Но надо поспешать нам, друг сердечный.
Ведь раньше, чем придется нам расстаться,
Успеешь вволю ты наудивляться».
«Ну, этому так скоро не бывать.
Зачем мне нашу клятву нарушать?
Пускай ты бес иль даже сатана,
Пребудет в силе навсегда она.
И верен дружбе я с названым братом,
Пусть этой дружбе даже и не рад он.
И на работе дружбу мы скрепим —
Бери свое,— доволен я своим.
Но если посчастливится нажить
Богатство нам — давай его делить».
«Ага,— промолвил бес,— ну что ж, идет».
И снова двинулись они вперед.
Когда они добрались до селенья,
Которое наметил к разграбленью
Церковный пристав, повстречался им
Груженный сеном воз, а рядом с ним
Хозяин хлопотал, стараясь сдвинуть
Упряжку с места. Но глубоко в глину
Колеса врезались, и воз стоял.
Возница бешено коней хлестал,
Вопя на них: «Ну, Скотт! Живее, Брук!
Какому черту вас спихнуть бы с рук,
Поганых образин; и надо ж было,
Чтоб разродилась лучшая кобыла
Такою парой хилой и ленивой.
Да чтоб вас черт побрал с хвостом и гривой,
А заодно и весь дурацкий воз».
И пристав бесу задал тут вопрос:
«А не поймать ли на слове мужлана?

Давай проучим вместе грубияна.
Ты слышишь, подарил тебе он воз,
Коней и сено, и при этом нес
Он богомерзкие, ты слышал, речи.
Теперь ему отговориться нечем.
Хватай коней, его ж я в суд сведу».
«Он неподсуден адскому суду.
И, видит бог, сбрехнувши тут про черта,
Он мыслей не имел такого сорта.
Спроси его иль погоди-ка малость».
Хозяина же обуяла жалость.
Он потрепал исхлестанные спины,
И кони налегли, и вот из глины
Воз сдвинулся. «Еще, ребятки, но! —
Вскричал хозяин.— Знаю я давно,
Что славные вы оба животины,
И не видать позорной вам кончины,
Вас не сведет на бойню живодер.
Но, Серый, но! Берись дружней, одер!
Да наградит господь вас за работу.
Не буду я вас больше гнать до поту».
«Ну что,— промолвил бес,— иль я не прав?
Отлично знаю их несносный нрав.
Нет, милый друг, оставь его в покое,
Кричит одно он — думает другое.
И лучше нам с тобою удалиться,
Уверен я, здесь нечем поживиться».
По улице проехал пристав молча,
Негодование мешая с желчью,
Но вот опять он бесу зашептал:
«Мой милый брат, недавно я узнал:
Здесь проживает некая старуха.
Скупа она, скорей лишится слуха
Последнего, чем пенни из богатства
Отдаст. И покажу пример я братства.
Прокорм нам будет нелегко добыть
У здешнего народа. Так и быть.
Смотри же, как с ним надо управляться.
Старуха будет, знаю, упираться,
И знаю, что за нею нет греха.
Но как бы ни была она глуха,
А вызов в суд она небось расслышит,
И коль у ней не сгрызли денег мыши,

Двенадцать пенсов я с нее сдеру.
Я лишнего с клиентов не беру».
И пристав постучался к ней в ворота:
«Эй, вылезай, из своего болота.
Иль, запершись в вертепе сем проклятом,
Лежишь с каким-нибудь попом иль братом?»
«Благословенье божие на вас,
Сейчас я отомкну вам дверь, сейчас,—
На стук его откликнулась вдова.—
Я что-то не пойму, что за слова
Произнесли вы, сэр, и что хотите?»
«Сударыня, напрасно вы юлите.
Ты знаешь ли, презренная карга,
Благословляла ты сейчас врага
Господня. Вот приказ; и завтра в суд
Тебя, негодница, поволокут.
А там и не за то еще ответишь».
«Честной отец, мне кажется, ты бредишь.
Спаси меня пречистой девы имя!
Как можешь думать ты, чтоб я такими
Грехами стала душу осквернять.
Больна я, отче, надо мне лежать.
Едва хожу я, верь ты мне, не верь ты.
Но ехать в суд? Мне это горше смерти.
А если в чем меня в суде винят,
Так запиши в бумажке, милый брат,
А я уж попрошу пойти юриста.
Мне-то зачем, мое ведь дело чисто».
«Ну, черт с тобой. Но много ты потратишь
В суде кормов. Так лучше мне заплатишь
Двенадцать пенсов. Я ж приказ порву.
Плати скорей,— я, видит бог, не вру:
Мне пенс перепадет из этих денег.
Викарий наш корыстлив и скупенек».
«Двенадцать пенсов! — охнула она.—
Да где ж их взять? Честная пелена
Христова гроба! Ни полушки нету,
Последнее внесла я по обету.
Кору с деревьев ем я и траву.
Не обижай ты бедную вдову».
«Эк невидаль, старухина хвороба.
Пусть черт возьмет тебя. Хотя из гроба —
Но деньги мне должна ты заплатить».

«Но, видит бог, мне негде их добыть».
«Плати, карга. Не то я сам найду,
Что взять. Давай вон ту сковороду.
Ты мне должна еще с тех пор, как мужа
Ты оброгатила и я, дурак, был нужен,
Чтоб грех покрыть и от суда спасти».
«Ну, как не стыдно, господи прости?
Тебя в глаза я в жизни не видала
Да и в судах ни разу не бывала.
Была чиста я перед мужем телом,
Не согрешила помыслом иль делом,
Иди ты в ад с моей сковородой,
Пусть сатана подавится тобой».
За ним старуха, плача, поползла
И, как умела, вора прокляла.
А бес спросил: «Так, значит, в самом деле
Его отправить в ад бы вы хотели?
Вас, матушка, быть может, я не понял?»
И пристав так старушку эту пронял,
Что крикнула: «Пусть черт его возьмет,
Коль сковороду мне он не вернет».
«Ну, нет, карга! Что мне попало в когти,
То уж мое. Зови, чтоб черт помог те,
А я уж кстати платье прихвачу».
«Постой-ка, друг, сказать тебе хочу,
Придется это или нет по нраву,
Что сковородкой и тобой по праву
Теперь владею я,— так бес сказал,—
Хочу, чтоб в ад скорее ты попал,
Узнаешь там, верь дьяволову слову,
Такое, что не снилось богослову».
И с тем проворно к приставу он скок
И в ад его с собою уволок,
Где мытарям местечко всем готово,
Как то свидетельствует божье слово.
Будь этот пристав более пристоен
И вашего внимания достоин,
Я по Писанию б вам рассказал,
В какие он мучения попал,
Тогда бы сердце ваше содрогнулось.
Но даже если б сотня лет минулась,
Не мог бы я те муки передать.
Молитесь, чтоб господня благодать

Вас защитила от таких мучений,
От козней дьявола и искушений.
Лев, рыкающий в логове, не дремлет.
И тот, кто гласу моему не внемлет,
Добычей зверя может вскоре пасть.
Но не бескрайна адских козней власть,
Коль не нарушите господня слова,
Вас оградит любовь и кровь Христова.
Помолимся ж о грешных приставах,
Страдающих у дьявола в когтях.

Здесь кончается рассказ
Кармелита

ПРОЛОГ
ПРИСТАВА ЦЕРКОВНОГО СУДА

Церковный пристав, выслушав рассказ,
В седле привстал; на брата разъярясь,
Он, как листок осины, задрожал.
«Молю вас слезно, господа! — вскричал.—
Коль вам пустые бредни не претят,
Которые наплел здесь этот брат,
Позвольте мне поведать кой о чем.
Хвалился он, что ад ему знаком:
Коль братья с бесами одной породы,
Ну как бесовской им не знать природы?
Ведь, черт возьми, слыхали мы стократ,
Как брат один попал однажды в ад.
В виденье ангел с братом вознеслись,
И ангел вверх водил его и вниз,
Чтоб все мученья ада брат познал,
Но тот нигде монахов не сыскал,—
Одни миряне наполняли ад.
И ангела так вопрошает брат:
«О сударь! Неужель мы столь блаженны,
Что не для нас мучения геенны?»
«Нет,— молвил ангел,— здесь вас очень
много».
И к Сатане пустилися в дорогу.
И видит брат, дойдя: у Сатаны
Хвост протянулся с парус ширины.

«Приподыми свой хвост, о Сатана! —
Промолвил ангел,— покажи до дна
Узилище, монахи где казнимы».
И полуверстной вереницей мимо,
Как пчелы, коим стал несносен улей,
Тыщ двадцать братьев вылетело пулей
Из дьяволова зада и в облет
Омчали роем ада темный свод.
Потом, поспешно прилетев назад,
Вползли на место, в сатанинский зад,
И дьявол хвост поджал и замер снова.
Увидев ада горшие оковы,
Покинул брат загробные пределы,
И дух его вновь возвратился в тело
По божьей милости, и он проснулся,
И, вспомнив сон свой, въяве ужаснулся,
Зад Сатаны вообразив себе,
И плакал горько о своей судьбе.
Нас бог спаси, обманщиков карая,
Такой мольбой рассказ свой начинаю».

РАССКАЗ ПРИСТАВА ЦЕРКОВНОГО СУДА

Здесь начинает
Пристав свой рассказ

В Йоркшире есть болотистая местность —
То Холдернес и вся его окрестность.
У сборщика была на откупу
Округа эта; он взимал крупу
С нее, муку, сыры, соленья
В награду за благое поученье.
Бывало, так он с кафедры вещал:
«Молю, чтобы никто не забывал,
Что без деяний дом господень пуст,
Что мертвым надобен сорокоуст
И надо поручать его монахам,
А не бездельникам попам, неряхам,
Которые то утреню проспят,
То не помянут, то не покадят,
И не заевшимся монастырям,
А братьям сборщикам по их трудам.
Сорокоуст избавит от мучений
Усопших души, коль без промедлений
Его служить, а не по мессе в день,
Как делают попы, которым лень.
Ведь это же лгуны и тунеядцы!
Не стыдно им на мессах наживаться.
Освободите души из узилищ,
Пока они мучений не вкусили.

Ведь каково им там: пилой, клещами
И раскаленными сковородами
Там истязают и на углях жгут,
Они ж напрасно избавленья ждут.
Так поспешите, братья, их избавить
И щедрыми дарами в рай направить».
Когда же красноречье истощалось
И прихожан мошна опустошалась,
Сказав «аминь», он шел в другой приход,
Там обирать доверчивый народ.
И, рясу подоткнув, взяв сумку, посох,
Не разбирая, сыты или босы
Хозяева, стучался в каждый дом,
Выпрашивал обед, сыр, эль и ром.
Другой монах нес посох и таблички
Слоновой кости; он имел привычку
Записывать дары и всех людей,
Что заслужили щедростью своей
Его молитвы. Восклицал он громко:
«О братия! Пуста еще котомка!
Пшеницы бушель, рис, зеленый лук,
Пирог, иль окорок, иль сыра круг —
Все примем мы, и по цене, по весу,—
За пенни — свечку и за шиллинг — мессу
Получите взамен. Драгие леди!
Коль нету под рукой монет иль снеди,
Мы примем шерсти куль или моток,
Иль полотно, иль вязаный платок.
Сестра драгая, вписываю имя,
Не умаляйтесь вы перед другими».
И на спине широкой, богатырской
Нес здоровенный служка монастырский
Пустой мешок и наполнял его
Добычею патрона своего.
И только что из двери выходили,
Как имена, начертанные стилем,
Монах проворно затирал ножом
И в следующий направлялся дом.
«Ложь, пристав, ложь!» — брат сборщик завопил.
Хозяин сборщика остановил:
«Спокойно, друг, ну что за восклицанья!
Не трусь, монах, не обращай вниманья».

«Так я и сделаю»,— тот отвечал
И, не смущаясь, тут же продолжал:
«И вот пришел сей недостойный брат
В дом, где его радушней во сто крат,
Чем у других хозяев, привечали.
Но в этот раз хозяин был печален.
К одру болезни он прикован был.
«Hic Deus [1],— брат умильно возгласил.—
Друг Томас, мир тебе! Давно ль ты болен?
Уж так-то я всегда тобой доволен!
Всласть попили за этим мы столом!»
И с лавки он кота смахнул перстом,
Жезл положил, и шляпу, и мешок
И занял сам привычный уголок;
А спутников послал вперед он в город,
Чтоб продали там снеди полный короб
И заказали ужин и ночлег.
Больной лежал не подымая век,
Но гостю все ж с почтеньем прошептал он,
Что, да простит отец, сидеть устал он,
Но рад его послушать и принять.
И начал сборщик, как всегда, вещать:
«Свидетель бог, о вашем я спасенье
Не оставляю, друг мой, попеченья.
Не счесть акафистов, молитв и свечек,
Которых я, как жертвенных овечек,
Принес за вас к святому алтарю.
А ex cathedra [2] как я говорю,
Я текстами ваш слух не утруждаю,
Их толкованием сопровождаю,
А толкование — тяжелый труд,
Слова иные прямо насмерть бьют.
И вот внушаю, чтобы не скупились
И чтоб даянья братии дарились.
Но где ж хозяйка? Что ее не видно?»
«Да во дворе замешкалася, видно.
Сейчас придет». И точно, появилась
В дверях хозяйка и чуть-чуть смутилась.
«Святой отец, да где ж вы пропадали?
Полгода, как вы нас не навещали».

---

[1] Бог да пребудет [с вами] *(лат.)*.
[2] С амвона *(лат.)*.

Хозяйку, толстощекую, что репка,
Монах галантный тут же обнял крепко,
Поцеловал и, обращаясь к ней,
Защебетал, как юркий воробей:
«Сударыня, когда бы мог, поверьте,
Не покидал бы вас до самой смерти.
И где бы ни была моя нога,
Повсюду я покорный ваш слуга.
Я обошел по всей округе храмы,
Но не видал нигде прелестней дамы».
Она в ответ: «Ну что вы, нет, не надо!
А гостем вас всегда я видеть рада».
«О, grand merci! Я рад услышать это.
Во мне душа любовию согрета.
Но если будет ваше позволенье,
Я Томасу благое наставленье
Хотел бы преподать. Ведь духовенство
Приходское и всякое священство
Лениво очень; на свой риск и страх
Я поступаю в божиих делах.
Вещаю я Петра и Павла слово,
Ищу повсюду я себе улова.
Но и Христу идет с того процент,
Пред ним оправдываю свой патент».
«Да, да, отец, вы мужа побраните
И к благодушию его склоните.
Уж, кажется, хожу за ним, ей-ей,
А он колюч, что рыжий муравей.
Ночей не сплю и телом согреваю,
Ногой его иль грудью прикрываю,
Но уж такой угрюмый, видно, норов
У муженька, что хрюкнет, словно боров,—
Таков на все единственный ответ,
И никакой другой утехи нет».
«Ах, Томас! Je vous dis[1]. Ах, Томас, Томас!
То беса козни — не господень промысл.
Гнев господом строжайше запрещен.
Гневливый будет адом укрощен».
Хозяйка гостю: «Отче, мне скажите,
Что за обедом кушать вы хотите?»
«Мадам,— он отвечал,— лишь ломтик хлеба
(Неприхотлив я в пище, видит небо),

[1] Я вам говорю *(франц.)*.

Да каплуна печенку и пупок,
Да жареной баранины кусок.
Но всякое убийство мне претит,
И вы испортите мне аппетит,
Коль для меня каплун заколот будет,
Пускай меня за алчность не осудят —
Не яства высшая моя награда:
Евангелье — души моей услада.
А плоть моя иссушена постом,
Молитвою и ревностным трудом,
И не варит желудок истощенный,
Вы не сердитесь, если я, смущенный
Заботой вашей, это говорю,
Лишь вас таким доверием дарю».
«А знаете ли, сэр, какое горе
Нас посетило. Сын мой умер вскоре
После того, как были вы у нас».
Брат отвечал: «Лишь только он угас
(Тогда в своей я находился келье),
Я ощутил духовное веселье
И видел, как душа его неслась
Во славе в рай, и слышал трубный глас.
И два тогда со мною бывших брата
(За милостыней им без провожатых,
Как знак доверья, с некоторых пор
Ходить повсюду разрешил приор) —
Так вот, брат ризник и больничный брат
(Всегда я наставлениям их рад)
То знаменье увидели со мною.
И слезы покатилися, не скрою.
Мы слышали не погребальный звон
И не души усопшей скорбный стон,—
Был слышен звук чарующей свирели,
И мы «Te Deum» [1] хором все запели,
А я вознес создателю хвалу
И Вельзевулу возгласил хулу.
И верьте мне, почтенный сэр и леди,
Молитвы наши крепче ярой меди,
И тайн господних видим больше мы,
Чем люди светские, будь дети тьмы
Хоть королями, хоть временщиками.

[1] «Тебе, бога [хвалим]» *(лат.)*.

Мы истончили плоть свою постами
И воздержаньем; а они живут
В богатстве, в праздности, и вина пьют,
И яства ненасытно поглощают —
Зато и откровения не знают.
Соблазны мира — для монаха тлен.
Богач и Лазарь сей юдоли плен
Несли по-разному, и воздаянье
Им было разное. Пусть воздержанье
Хранит монах, посты пусть соблюдает,
Пусть кормит душу, тело ж изнуряет.
Не надо нам богатого жилища,
Лишь вретище, ночлег, немного пищи —
Вот что потребно нам в скитаньях наших,
И в этом сила всех молитв монашьих.
На высоте Синайской Моисей
Постился строго долгих сорок дней.
С пустым желудком, выбившись из сил,
Молился он, и бог ему вручил
Скрижаль закона; а Илья-пророк
На высоте Хоребской изнемог,
Постясь пред тем, как говорить с всевышним.
Арон-первосвященник в платье пышном
Входил во храм, но с животом пустым.
Пред этим сам он да и все, кто с ним,
Служили богу, ничего не пили,
Чтоб разум им напитки не темнили,
Под страхом смерти трезвость соблюдали,
С пустым желудком богу предстояли.
Тому, кто сей запрет нарушит,— горе!
Он примет смерть, пребудет он в позоре.
Об этом хватит. Но везде в Писанье
Найдем примеры мы для подражанья.
Блаженны нищенствующие братья,
Для нас Христос раскрыл свои объятья.
Дал целомудрие взамен жены.
Мы с бедностию им обручены
И с милосердьем, щедростью, смиреньем,
Слезами и сердечным умиленьем
И воздержанием. Скажу я вам,
Что внемлет бог предстательству, мольбам
Смиренной братьи, не молитве вашей
Пред трапезой, с которой гонят взашей

Монаха нищего. Так ты и знай,
Через обжорство был потерян рай.
Там человек невинным пребывал,
Но, плод вкусив, блаженство потерял.
Еще одно тебе, мой друг, открою,—
Хотя и нету текста под рукою,
Но я на глоссу некую сошлюсь,
Что наш господь, сладчайший Иисус,
Имел в виду, конечно, нас, смиренных,
Сказав, что духом нищие блаженны.
Так и везде в Писании. Суди же,
Кто к духу, да и к букве много ближе —
Мы или те, кто блага наживает
И в пышности, как в луже, погрязает?
Тьфу на их пышность и на их разврат!
Пускай в геенне все они сгорят.
Они, как видно, с Йовиньяном схожи,
Как он, брюхасты, наглы, краснорожи,
Жирны, что кит, и тяжелы, что гуси,
И налиты вином так, что боюсь я,
Не лопнули б, как тонкая бутыль,
Которую расперла снеди гниль.
Не благолепны, друг мой, их моленья,
Как загнусят Давида песнопенья.
И не они всевышнего прославят,
Как изрыгнут: «Cor meum eructavit» [1].
Равно как в древности, так и сегодня
Кто, кроме нас, идет путем господним?
Ведь мы, вершители господня слова,
Не только слушать — исполнять готовы.
Наш голос сладок для господня слуха,
Он нам внимает, верь мне, в оба уха.
Как сокол, что взмывает в облака,
Так и молитва наша высока,
Доходчива до божия престола.
Ах, Томас, Томас! Нашего глагола
Столь велика пред богом благодать,
Что не могу тебе и рассказать.
Молитвой нашей только и живешь ты,
Хотя того не ценишь даже в грош ты.
И день и ночь возносим мы моленья,

[1] «Излилось из сердца моего [слово благое]» *(лат.)*.

Чтоб дал тебе всевышний исцеленье
И каждым членом вновь ты мог владеть».
«Свидетель бог, старался я радеть
За эти годы целой своре братьев.
Что им скормил, того не смог содрать я
Со всех клиентов, разорился в пух.
Но легче на волос не стал недуг.
А денежки прощай. Они уплыли».
«Все потому, что неразумно были
Обращены. К чему сменять так часто
Молельщиков? С одним водись, и баста.
Не исцелит цирюльник иль аптекарь,
К чему они, коль лечит лучший лекарь?
Тебя непостоянство, Томас, губит.
Ну кто тебя, как мы, жалеет, любит?
Тебе ль молитвы нашей недостало?
Нет, дело в том, что ты даешь нам мало:
«Даруй в обитель эту порося;
В обитель ту пошли, жена, гуся;
Дай брату грош, пускай его не злится».
Нет, Томас, нет, куда это годится?
Разбей ты фартинг на двенадцать долек —
Получишь даже и не ноль, а нолик.
Вещь в целом — сила, пусть под спудом скрыта,
Но силы нет, коль на куски разбита.
Я не хочу обманывать и льстить,
Молитву хочешь даром получить,
Но бог не раз вещал, вещал стократы,
Что труженик своей достоин платы.
Твоих сокровищ, Томас, не хочу я,
Но их охотно господу вручу я.
И братия помолится охотно,
Да обратится дар твой доброхотный
На церковь божью. Если хочешь знать,
Сколь велика в том деле благодать,
Я на угодника Фому сошлюся,
Что строил храм для короля-индуса.
Ты вот лежишь, бесовской полон злобой,
Всецело занятый своей особой.
Жену свою, страдалицу, бранишь
И кроткую овечку жесточишь.
Поверь мне, Томас, бог тебя осудит,
Не ссорься с нею, много лучше будет,

Рассказ батской ткачихи

Ведь пожалеешь сам ты наконец.
Об этом вот что говорит мудрец:
«Не будь ты дома аки лютый лев;
Не обращай на ближних ярый гнев,
Тебя в беде друзья да не покинут».
Страшись, о Томас! Мерзкую скотину
Ты выкормил в утробе: то змея,
Что средь цветов ползет, свой хвост вия,
И насмерть вдруг украдкою нас жалит.
Ее укус кого угодно свалит.
Ведь жизни тысячи людей лишились
Лишь оттого, что с женами бранились
Или с наложницами. Ты ж, мой друг,
Такой пленительной жены супруг,
Зачем с ней ссориться тебе напрасно?
Скажу тебе, что нет змеи ужасной,
Которая б опаснее была,
Чем женщины, когда ты их до зла
Доводишь сам придирками своими.
О мести мысль овладевает ими.
Гневливость — грех, один из тех семи,
Которые бушуют меж людьми
И губят тех, кто их не подавляет.
И каждый пастырь это твердо знает,
Любой из них тебе бы мог сказать,
Как гнев нас побуждает убивать.
Гнев — исполнитель дьявольских велений.
О гневе мог бы я нравоучений
До самого утра не прерывать.
Вот почему молю святую мать,
Да не вручит гневливцу царской власти.
Не может горшей быть для всех напасти,
Чем на престоле лютый властелин.
Вот в древности жил некогда один
Такой гневливец. Говорит Сенека,
Гневливее не знал он человека.
Два рыцаря уехали при нем
Куда-то утром, а вернулся днем
Один из них, другой не появлялся
Довольно долго. И тотчас раздался
Владыки приговор над виноватым:
«Ты учинил недоброе над братом,
За то твой друг тебя сейчас казнит».

И третьему он рыцарю велит:
«Возьми его и умертви тотчас».
Но не пришлось казнить его в сей раз.
Уж к месту казни оба приближались,
Как с рыцарем пропавшим повстречались.
Тут ими овладел восторг великий.
Все возвратились к лютому владыке
И говорят: «Тот рыцарь не убит,
Вот пред тобой он невредим стоит».
Владыка рек: «Умрете вы, скоты,
Все трое разом — ты, и ты, и ты».
И первому: «Раз ты приговорен,
Ты должен умереть». Второму он:
«Ты стал причиной смерти для другого».
«И ты умрешь. Ты ж не исполнил слова»,—
Сказал он третьему и всех казнил.
Камбиз гневливый выпивку любил,
Иной он не искал себе утехи,
Но не сносил ни от кого помехи.
Один придворный, из больших ханжей,
Его корил, чванливый дуралей:
«Владыке гибель на стезе порока,
И в пьянстве никогда не будет прока
Ни для кого, не токмо для царя.
Чего в глаза царям не говорят,
То во сто глаз за ними примечают,
Когда цари и не подозревают.
Вина поменьше пей ты, ради бога,
Ведь от него слабеют понемногу
И разум человека, и все члены».
«Наоборот,— сказал Камбиз надменный,—
Я это докажу тебе сейчас.
Вино не расслабляет рук иль глаз,
У разума не отнимает силы,
И в этом убедишься ты, мой милый».
Тут он еще сильней стал пить, чем прежде,
И вот что пьяному взбрело невежде:
Придворному велит, чтобы привел
Он сына своего, и тот пришел.
Тут лежа царь опер свой лук о брюхо,
А тетиву отвел назад, за ухо,
И наповал убил стрелой ребенка.
«Ну как? С вином не вся ушла силенка,

И разум мой, и меткость рук и глаза?»
Ответ отца не завершит рассказа.
Был сын убит — так что ж тут отвечать?
А случай сей нам всем потребно знать,
И наипаче всех — придворной клике.
«Ходить ты должен пред лицом владыки».
Да и тебе таков же мой совет.
Когда бедняк, что в рубище одет,
В каком-нибудь грехе погряз глубоко,
Ты обличай его во всех пороках,
Царей же наставлять остерегись,
Хотя б в аду они потом спеклись.
Иль Кир еще, персидский царь гневливый,
За то, что утонул в реке бурливой
Любимый конь, когда на Вавилон
Царь шел войной, поток был отведен,
Река наказана, и все без броду
Виновную переходили воду.
Внемли словам владыки-остроумца:
«С гневливцем не ходи путем безумца,
Да не раскаешься». Что тут прибавить?
И лучше, Томас, гнев тебе оставить.
Слова мои, как половица, прямы,
Со мной не будь ты хоть теперь упрямым,
Бесовский нож от сердца отврати
И разум исповедью освяти».
«Ну нет. Зачем мне брату открываться?
Сподобился я утром причащаться
И перед богом душу облегчил.
Вновь исповедоваться нету сил».
«Тогда даруй на монастырь хоть злато.
Обитель наша очень небогата,
И, собираясь строить божий дом,
Одни ракушки ели мы сырьем,
Когда другие сласти уплетали,—
Мы стены храма купно воздвигали.
Но до сих пор стоят те стены голы,
И в кельях нет ни потолка, ни пола.
И я клянусь, ни чуточки не лгу,—
За камень мы досель еще в долгу.
Сними с нас тяжкие долгов вериги,
Не то за долг продать придется книги.
А нашего лишившись поученья,

Весь свет, глядишь, дойдет до разоренья.
Ну, если б нас, монахов, вдруг не стало?
Да лучше б тьма небесный свет объяла,
Чем вам хоть день прожить в грехе без нас.
Кто б стал молиться и страдать за вас?
И этот крест на нас лежит от века:
Напутствуем больного человека
Мы со времен пророка Илии.
Так неужели деньги ты свои
В то милосердное не вложишь дело?»
И затряслось в рыданьях громких тело,
И на колени пал он пред кроватью,
Вымаливая денежки на братью.
Больной от ярости чуть не задохся,
Хотел бы он, чтоб брат в геенне спекся
За наглое притворство и нытье.
«Хочу тебе имущество свое
Оставить, брат мой. Я ведь брат, не так ли?»
Монашьи губы тут совсем размякли.
«Брат, разумеется,— он говорит,—
Письмо с печатью братство вам дарит,
И я его супруге отдал вашей».
«Ах так? — сказал больной сквозь хрип и кашель.—
Хочу избавиться от вечной муки,
И дар мой тотчас же получишь в руки,
Но при одном-единственном условье,
В котором мне не надо прекословить
(И без того меня ты нынче мучишь):
Клянусь, что злато лишь тогда получишь,
Коль дар тобою будет донесен
И ни один из братьи обделен
Во всей обители тобой не будет».
«Клянусь,— вскричал монах,— и пусть осудит
Меня на казнь предвечный судия,
Коль клятвы этой не исполню я».
«Так вот, просунь же за спину мне руку
(Почто терплю я, боже, эту муку?),
Пониже шарь, там в сокровенном месте
Найдешь подарок с завещаньем вместе».
«Ну, все мое!» — возликовал монах
И бросился к постели впопыхах:

«Благословен и ныне ты и присно!»
Под ягодицы руку он протиснул
И получил в ладонь горячий вздох
(Мощнее дунуть, думаю, б не смог
Конь ломовой, надувшийся с надсады).
Опешил брат от злости и досады,
Потом вскочил, как разъяренный лев,
Не в силах скрыть его объявший гнев.
«Ах ты, обманщик! Олух ты! Мужлан!
Ты мне еще заплатишь за обман,
За все твои притворства, ахи, охи
И за такие, как сейчас вот, вздохи».
Подсматривали слуги при дверях
И, видя, как беснуется монах,
В опочивальню мигом прибежали,
С позором брата из дому прогнали.
И он пошел, весь скрюченный от злости,
В харчевню, где уже играли в кости
С подручным служка на вчерашний сбор.
Им не хотел он открывать позор,
И, весь взъерошась, словно дикобраз,
И зубы стиснув, все сильней ярясь
И распалившись лютой жаждой мести,
Шаги направил в ближнее поместье;
Хозяин был его духовный сын
И той деревни лорд и господин.
Сеньор достойный со своею свитой
Сидел за трапезой, когда сердитый
Ввалился брат и, яростью горя,
Пыхтел со злости, еле говоря.
Все ж наконец: «Спаси вас бог»,— сказал он,
И никогда еще не представал он
Перед сеньором в облике таком.
«Всегда тебя приветствует мой дом,—
Сказал сеньор.— Я вижу, ты расстроен.
Что, иль разбойниками удостоен
Вниманием? Иль кем-нибудь обижен?
Садись же, отче. Вот сюда, поближе.
И, видит бог, тебе я помогу».
«Меня, монаха, божьего слугу,
Вассал твой оскорбил в деревне этой,
Безбожник он и грубиян отпетый.
Но что печалит более всего,

Чего не ждал я в жизни от него,
Седого дурня, это богомерзкой
Хулы на монастырь наш. Олух дерзкий
Осмелился обитель оскорблять».
«Учитель, ты нам должен рассказать...»
«Нет, не учитель, а служитель божий —
Хотя и степень получил я тоже
В духовной школе, не велит Писанье,
Всем гордецам и дурням в назиданье,
Чтоб званьем «рабби» нас вы называли,—
Будь то на торжище иль в пышном зале...»
«Ну, все равно, поведай нам обиду».
«Хотя я в суд с обидчиком не вниду,
Но, видит бог, такое поруганье
Монаха, а per consequens[1] и званья
Монашьего, и церкви всей преславной...
Я не видал тому обиды равной».
«Отец, надеюсь, исправимо дело.
Спокойней будь. Клянусь господним телом.
Ты соль земли, ты исповедник мой,
Так поделись же ты своей бедой».
И рассказал монах про все, что было,
И ничего от них в сердцах не скрыл он.
Не отвратив спокойного лица,
Хозяйка выслушала до конца
Его рассказ и молвила: «О боже!
Ты все сказал, монах? А дальше что же?»
«Об этом как вы мыслите, миледи?»
«А что ж мне думать? Он, должно быть, бредил.
Застлало голову ему туманом.
Мужлан он, так и вел себя мужланом.
Пусть бог его недуги исцелит
И прегрешения ему простит».
«Ну нет, сударыня ему иначе
Я отплачу, и он еще заплачет.
Я никогда обиды не забуду,
Его ославлю богохульцем всюду,
Что мне дерзнул такое подарить,
Чего никто не сможет разделить,
Да еще поровну. Ах, плут прожженный!»
Сидел хозяин, в думу погруженный;
Он мысленно рассказ сей обсуждал;

[1] Следовательно *(лат.)*.

«А ведь какой пронырливый нахал!
Какую задал брату он задачу!
То дьявольские козни, не иначе,
И в задометрии ответа нет,
Как разделить возможно сей букет
Из звука, запаха и сотрясенья.
А он не глуп, сей олух, без сомненья».
«Нет, в самом деле,— продолжал он вслух,—
В том старике сидит нечистый дух.
Так поровну, ты говоришь? Забавно.
И подшутил он над тобою славно.
Ты в дураках. Ведь что и говорить,
Как вздох такой на части разделить,
Раз это только воздуха трясенье?
Раскатится и стихнет в отдаленье.
Pardi [1]. Еще напасти не бывало —
Послали черти умного вассала.
Вот исповедника он как провел!
Но будет думать! Сядемте за стол,
Пускай заботы пролетают мимо.
А олух тот — конечно, одержимый.
Пускай его проваливает в ад —
Сам Сатана ему там будет рад».

Следуют слова лордова оруженосца и кравчего о способе разделить вздох на двенадцать частей

А за спиной у лорда сквайр стоял,
Ему на блюде мясо разрезал
И вслушивался в эти разговоры.
«Милорд,— сказал он,— нелегко, без спору,
Вздох разделить, но если бы купил
Мне плащ монах, я б тотчас научил
Его, как вздох меж братьев разделить
И никого при том не пропустить».
«Ну говори. Плащ я тебе дарю.
Ах, плут! Я нетерпением горю
Скорей узнать, что ты, злодей, придумал,—
И возвратимся снова все к столу мы».

[1] Ей-богу *(франц.)*.

И начал сквайр: «В день, когда воздух тих,
Когда в нем нет течений никаких,
Принесть велите в этот самый зал
От воза колесо,— так он сказал,—
И колесо на стойках укрепите
И хорошенько вы уж присмотрите
(В таких делах заботливым хвала),
Чтоб ступица его с дырой была.
Двенадцать спиц у колеса бывает.
И пусть двенадцать братьев созывает
Монах. А почему? Узнать хотите ль?
Тринадцать братьев — полная обитель.
А исповедник ваш свой долг исполнит —
Число тринадцать он собой дополнит.
Потом пускай без лишних промедлений
Под колесом все станут на колени,
И против каждого меж спиц просвета
Пусть будет нос монашеский при этом.
Брат исповедник — коновод игры —
Пусть держит нос насупротив дыры,
А тот мужлан, в чьем пузе ветр и грозы,
Пускай придет и сам иль под угрозой
(Чего не сделаешь, коль повелят?)
К дыре приставит оголенный зад
И вздох испустит, напружась ужасно.
И вам, милорд, теперь должно быть ясно,
Что звук и вонь, из зада устремясь
И поровну меж спиц распределясь,
Не обделят ни одного из братьи,
А сей монах, отец духовный знати,—
Не выделить такого брата грех,—
Получит вдесятеро против всех.
Такой обычай у монахов всюду:
Достойнейшему — первый доступ к блюду.
А он награду нынче заслужил,
Когда с амвона утром говорил.
Когда на то моя была бы воля,
Не только вздох, а вздоха три иль боле
Он первым бы у ступицы вкусил;
Никто б из братии не возразил —
Ведь проповедник лучший он и спорщик».
Сеньор, хозяйка, гости, но не сборщик
Сошлись на том, что Дженкин разрешил

Задачу и что плащ он заслужил.
Ведь ни Эвклид, ни даже Птолемей
Решить бы не смогли ее умней,
Ясней облечь ее в свои понятья.
Монах сидел, давясь, жуя проклятья.
Про старика ж был общий приговор,
Что очень ловкий брату дан отпор,
Что не дурак он и не одержимый.
И поднялся тут смех неудержимый.
Рассказ мой кончен, кланяюсь вам низко
Я за вниманье. Э, да город близко.

Здесь кончает свой рассказ
Пристав церковного суда

ПРОЛОГ СТУДЕНТА

«Да что вы спите, что ли, сэр студент? —
Сказал хозяин.— Вам фату и лент —
И в точности вы были бы невеста
За свадебным столом. «Всему есть место
И время»,— вот как Соломон сказал.
А я ни слова нынче не слыхал
Из ваших уст. Софизмов мудрых бремя,
Должно быть, занимало вас все время.
Во славу божью! Будьте веселей,
Чтобы потом зубрить, учиться злей.
Игру коль начал — надобно играть
И правила игры не нарушать.
Рассказ веселый вы нам расскажите.
Чур, проповедь святую не бубните,
Как те монахи, что лишь о грехах
Гнусить умеют, навевая страх.
И чтоб не одолел нас сладкий сон,
Веселый подымите нам трезвон.
Метафоры, фигуры и прикрасы
Поберегите вы пока в запасе,
Чтобы в высоком стиле королям
Хвалу воспеть иль славить нежных дам.
Для нас попроще надо речь держать,
Чтоб все могли рассказ простой понять».
Достойный клерк ему в ответ учтиво:
«Хозяин, каждый должен принести вам
Свой вклад посильный. Слов своих назад
Я не беру, повиноваться рад,

Поскольку разумение позволит;
А ваш наказ меня не приневолит.
Вам в точности хочу пересказать
Один рассказ, который услыхать
Случилось в Падуе, где муж ученый
Его сложил, Гризельдой увлеченный.
Теперь он мертв, огонь его потушен.
Господь ему да упокоит душу.
Петрарка — лавром венчанный поэт,
То звание ему дарует свет.
Стихов его сладкоголосых сила
Страну его родную озарила
Поэзией, как мудростью и знаньем —
Ум Джона из Линьяно. И молчаньем
Могильным смерть исполнила уста
Творцов, не дав от жизни им устать.
Пожрала смерть обоих. Так и нас
Настигнет скоро неизбежный час.
Так вот, сей муж достойный восхваленье
Ломбардьи и Пьемонта во вступленье
К рассказу горестному поместил.
Он Апеннинских гор изобразил
Вершины и особо Монте-Визо,
А также горы вплоть до самой Пизы;
Его перо искусно описало
Места, где По берет свое начало,
И то, как он, водою переполнен,
Вперед набухнувшие катит волны,
К Венеции свой длинный путь стремя.
Но это все казалось для меня
Не самым главным, главное вам ныне
Перевести попробую с латыни».

РАССКАЗ СТУДЕНТА

Здесь начинается рассказ Студента

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

На Западе Италии, у ската
Холодного Весула, край лежит,
Плодами пашен и садов богатый,
Он городами древними покрыт,
И путника его цветущий вид
Всечасно приглашает оглянуться.
Названье края этого — Салуццо.

Маркграфу чудный край принадлежал,
Как до него отцу его и дедам.
Ему послушен каждый был вассал,
Не враждовал он ни с одним соседом.
Гром треволнений был ему неведом,
К нему безмерно рок благоволил,
Всем подданным своим маркграф был мил.

Никто в Ломбардии происхожденья
Знатнее, чем маркграф тот, не имел.
Он молод был, могучего сложенья,
Прекрасен ликом, рыцарствен и смел,
К тому ж пригоден для державных дел.
О небольшом его изъяне дале
Скажу я. Вальтером маркграфа звали.

В нем порицаю недостаток тот,
Что он себе не отдавал отчета,
Как жизнь свою в дальнейшем поведет.
Его прельщали игры и охота,
А всякая о будущем забота
Была душе его совсем чужда.
О браке он не думал никогда.

Не по душе народу было это,
И вот однажды все дворяне в дом
К нему пришли, и вышел муж совета
(То ль был маркграфу ближе он знаком,
То ль лучше прочих разбирался в том,
Как надо говорить) и речь такую
К нему повел,— ее вам приведу я.

«О государь, мы вашей добротой
Приучены к вам все свои сомненья
Всегда нести с доверчивой душой.
От вас и нынче ждем благоволенья.
Мы просим выслушать без раздраженья
Ту жалобу, которую сейчас
Народ желает довести до вас.

Хотя затронут я ничуть не боле
Вопросом этим, чем из нас любой,
Недаром я — глашатай общей воли:
К кому еще с такою теплотой
Вы относились, о властитель мой?
Не отвергайте жалобу сурово,
И нам законом будет ваше слово.

В восторге мы от вас и ваших дел,
Правленье ваше мы благословляем.
Блажен всех ваших подданных удел,
Его сравнить мы можем только с раем.
Лишь об одном мы все еще мечтаем:
Чтоб вы ввели себе супругу в дом.
Тогда покой мы полный обретем.

Склоните шею под ярмо покорно,
Которое не к рабству вас ведет,
А к власти самой сладостной, бесспорно.

Ведь наших дней неудержим полет,
За годом быстро исчезает год,
И как бы время мы ни проводили,—
Живя, мы приближаемся к могиле.

Прекрасной вашей молодости цвет,
Увы, не вечен,— ждет его старенье;
От смерти никому пощады нет,
Она стоит пред нами грозной тенью,
Но если от нее нам нет спасенья,
То все же дня не знаем точно мы,
Когда пробьет година вечной тьмы.

Не отвергайте ж нашего совета;
Поверьте, государь: он прям и благ.
Вступите, если не претит вам это,
С какой-нибудь дворянкой знатной в брак.
И несомненно: поступивши так,
Свершите вы поступок благородный,
Равно и нам и господу угодный.

Утешьте же и успокойте нас,
Вступивши в брак с супругою, вам равной.
Ведь если б — упаси господь! — погас
С кончиной вашей род ваш достославный,
То властью тут облекся бы державной,
На горе нам, какой-нибудь чужак.
Поэтому скорей вступите в брак».

Их скромной и почтительной мольбою
Растроган, Вальтер им сказал в ответ:
«Не помышлял доселе я, не скрою,
Отречься от себя во цвете лет.
Свободою, которой в браке нет,
Я дорожил, своей был счастлив долей,—
И вот мне надобно идти в неволю.

Но допускаю, что совет ваш благ,—
Привык я уважать все ваши мненья.
Поэтому вступить скорее в брак
Я принимаю твердое решенье.
Однако же прошу мне предложенья
О выборе жены не повторять,—
Позвольте мне об этом лучше знать.

В своем потомстве часто, как известно,
Родители себя не узнают.
Ведь добродетель — это дар небесный,
А кровь значенья не имеет тут.
Я полагаюсь на господний суд:
Для выбора супруги мне подмога
Нужна не от людей, а лишь от бога.

Себе супругу выберу я сам,
Чтоб с нею жить в довольстве и покое,
Но тут же с просьбой обращаюсь к вам:
Мне поклянитесь вашей головою,
Что будет уважение такое
Ей век от вас, как если бы она
Была императрицей рождена.

Клянитесь также от лица народа
Мой выбор не поставить мне в вину.
Для вас я жертвую своей свободой
И вольность требую себе одну:
Мне дайте выбрать по сердцу жену.
А если вы на это не согласны,
То знайте: ваши все мольбы напрасны».

От всей души собравшейся толпой
Дано маркграфу было обещанье;
Однако прежде, чем пойти домой,
Все высказать решили пожеланье,
Чтоб установлен им был день венчанья.
Боялся в глубине души народ,
Что на попятную маркграф пойдет.

Он день назвал, в который непременно,
Он знает, брак им будет заключен,
И на коленях стали все смиренно
Его благодарить за то, что он
Решил исполнить божеский закон.
Все разошлись потом, добившись цели,
Достичь которой так они хотели.

Тогда, служителей своих призвав
И членов челяди своей придворной,
Пир подготовить им велел маркграф,

Его обставив роскошью отборной.
Все принялись охотно и проворно
Для свадьбы господина своего
Примерное готовить торжество.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Неподалеку от дворца, в котором
Приготовления к дню свадьбы шли,
Село лежало, что окинуть взором
Приятно было. От даров земли
Питались люди там,— их дни текли,
Трудом заполненные: ведь от неба
Зависел их кусок сухого хлеба.

Средь этих бедняков давно осев,
Жил человек, других беднее много.
Но знаем мы, что даже и на хлев
Порой исходит благодать от бога.
С Яниколою в хижине убогой
Жила Гризельда-дочь, красой своей
Пленявшая мужчин округи всей.

А прелестью неслыханною нрава
Она была всех девушек милей.
Ее душе чужда была отрава
Греховных помыслов, и жажду ей
Тушил не жбан в подвале, а ручей.
Желая быть примерною девицей,
Она старалась целый день трудиться.

Хотя по возрасту еще юна,
Горячею наполненное кровью
Имела сердце зрелое она,
Ходила за отцом своим с любовью
И преданностью, чуждой суесловья;
Пряла, своих овец гнала на луг,—
Работала не покладая рук.

С работы к ночи возвращаясь, травы
Она с собою приносила в дом;
Их нарубив, похлебку без приправы
Себе варила и свою потом

Стелила жесткую постель. Во всем
Отцу старалась угодить и мало
О собственной особе помышляла.

На этой бедной девушке свой взор
Не раз маркграф покоил с восхищеньем,
Когда охотиться в зеленый бор
Он проезжал, соседящий с селеньем.
И взор его не грязным вожделеньем,
Не похотью тогда горел,— о нет!
Он нежностью был подлинной согрет.

Его пленяла женственность движений
И не по возрасту серьезный взгляд,
Где суетности не было и тени.
Хоть добродетель у людей навряд
В чести, маркграф с ней встретиться был рад
И думал: «Коль придется мне жениться,
То лишь на этой я женюсь девице».

День свадьбы наступил, но невдомек
Всем было, кто невеста и супруга;
Никто недоуменья скрыть не мог,
И стали все тайком шептать друг другу:
«Ужели так-таки себе подругу
Маркграф не выбрал? Неужели нас
Дурачил он, да и себя зараз?»

Однако ж драгоценные каменья
Оправить в золото был дан приказ
Маркграфом, чтобы сделать подношенье
Гризельде милой в обрученья час;
По девушке, что станом с ней как раз
Была равна, велел он сшить наряды
И приготовить все, что к свадьбе надо.

Торжественного дня зардел рассвет,
И весь дворец красой сверкал богатой,
Какой не видывал дотоле свет.
Все горницы его и все палаты
Склад роскоши являли непочатый.
Все было там в избытке, чем красна
Была Италия в те времена.

Маркграф и вместе с ним его дворяне
С супругами,— все те, которых он
На этот праздник пригласил заране,—
В путь двинулись. Маркграф был окружен
Блестящей свитой, и под лютней звон
Повел он всех в селение, где нищий
Яникола имел свое жилище.

Что для нее устроен блеск такой,
Гризельда и понятья не имела.
Она пошла к колодцу за водой,
Чтоб в этот день свободной быть от дела,
Пораньше, чем всегда. Она хотела
Полюбоваться зрелищем, узнав,
Что свадьбу празднует в тот день маркграф.

«Сегодня мне б управиться скорее
С моим хозяйством,— думала она.—
Тогда с подругами взглянуть успею
На маркграфиню дома из окна.
Оттуда ведь дорога вся видна,
К дворцу ведущая, и поезд знатный
По ней пройдет сегодня, вероятно».

Когда она ступила на порог,
Маркграф к ней подошел; тотчас же в сени
Поставивши с водою котелок,
Она пред ним упала на колени
И слов его ждала; при этом тени
Предчувствий не было у ней о том,
Что совершилось через миг потом.

Улыбкою Гризельду ободряя,
Маркграф с вопросом обратился к ней:
«Где ваш отец, Гризельда дорогая?»
На что она, не вознося очей,
Как только можно тише и скромней
Ответила: «Он дома, не премину
Его привесть тотчас же к господину».

И в дом войдя, с отцом вернулась вмиг.
Маркграф, его приветив и отдельно
От прочих ставши с ним, сказал: «Старик,

Моей душой владеет безраздельно
Одна мечта, бороться с ней бесцельно:
Я полон к дочери твоей любви;
Ты нас на брак святой благослови!

Меня ты любишь и мне служишь честно,—
Давно я это знаю, с юных лет.
И с юных лет мне хорошо известно,
Что между нами разногласий нет.
Поэтому прошу, мне дай ответ
На мой вопрос и мне скажи по чести:
В тебе приветствовать могу ли тестя?»

Такая неожиданная речь
Повергла бедняка в оцепененье;
Весь задрожав, он еле мог извлечь
Слова из уст: «Мое повиновенье
Вам обеспечено, и то решенье,
Которое угодно вам принять,
Законом буду для себя считать».

«Теперь,— сказал маркграф с улыбкой ясной,—
Пойдемте в вашу горницу втроем;
А для чего, тебе должно быть ясно:
Желаю я в присутствии твоем
От дочери твоей узнать о том,
Согласна ли она мне стать женою
И послушанье соблюдать благое».

Пока меж ними там беседа шла,—
Сейчас вам расскажу, как это было,—
Сбежались жители всего села
Под окна их, и каждого дивило,
Как ласково Гризельда и как мило
С отцом держалась. Больше всех она,
Однако же, была изумлена.

Не мудрено, что трепет и смущенье
Напали на Гризельду: до сих пор
Высокого такого посещенья
Ее не удостаивался двор.
Бледна как полотно и долу взор
Потупивши, она теперь сидела.
И тут маркграф, чтобы продвинуть дело,

К прелестной деве обратился так:
«Гризельда, ваш отец сказал мне ясно,
Что по сердцу ему наш с вами брак.
Надеюсь, на него и вы согласны?
Но торопить вас было бы напрасно:
Коль боязно вам сразу дать ответ,
Подумайте,— к тому помехи нет.

Но знайте, что должны вы быть готовы
Повиноваться мне во всем всегда
И не роптать, хотя бы и сурово
Я с вами обращался иногда,
Не отвечать мне «нет», скажи я «да»,
Все исполнять, не поведя и бровью,
И я вам верной отплачу любовью».

От страха вся дрожа, ему в ответ
Гризельда молвила: «Мне, бесталанной,
К лицу ли честь, которой равной нет?
Но то, что любо вам, и мне желанно.
Даю обет вам ныне — постоянно
Послушной быть и в мыслях и в делах,
Отбросив даже перед смертью страх».

«Обету вашему, Гризельда, верю»,—
Сказал маркграф, душой развеселясь,
И сразу же пошел с ней вместе к двери
И так сказал толпе, что собралась:
«Есть государыня теперь у вас:
Мою жену, Гризельду дорогую,
Всегда любить и жаловать прошу я».

Маркграф решил, что все свое тряпье
Гризельде сбросить пред отъездом надо,
И приказал, чтоб женщины ее,
Раздев, одели в новые наряды.
Тряпья касаться были те не рады,
Но поспешили выполнить приказ,
И засверкала дева, как алмаз.

Ей расчесавши волосы прилежно,
Они нашли уместным ей венок
На темя возложить рукою нежной.

Никто Гризельду и узнать не мог,
Она сияла с головы до ног.
Длить описание ее наряда
Не буду я, да это и не надо.

Маркграф кольцо надел на палец ей,
Нарочно принесенное из дома,
И на коне, что снега был белей.
Гризельду перевез в свои хоромы.
По всей дороге, радостью влекомый,
Бежал народ. Весь день гудел дворец.
Пока не село солнце наконец.

Рассказ продолжу. Юной маркграфине
Такая прелесть дивная дана
Была с рожденья божьей благостыней,
Что трудно было верить, что она
В крестьянском бедном доме рождена
И выросла среди домашних тварей,
А не в палатах пышных государя.

Любовь она снискала и почет
У всех кругом. Ее односельчане,
С которыми она из года в год
Встречалась и беседовала ране
На улице, в дубраве, на поляне,
Готовы были клясться, что не дочь
Она Яниколы, как день не ночь.

Хоть добродетели была отменной
Она всегда, но ныне добротой
Вдруг засияла необыкновенной
Душа ее, а все слова такой
Приобрели красноречивый строй,
Что вызывала чувство восхищенья
Она у всех людей без исключенья.

Не только в городе Салуццо,— нет,
По всей стране о ней гремела слава,
Все говорили, что от века свет
Очаровательней не видел нрава.
В Салуццо шли толпой тысячеглавой
Мужчины, женщины — и стар и млад,—
Чтоб только на Гризельду бросить взгляд.

Брак заключив,— как будто недостойный,
На деле ж королевский,— жил маркграф
С женой своей счастливо и спокойно.
Да и народ хвалил ее, поняв,
Что был он в выборе супруги прав.
Все славили его за ум отменный,
А это ведь не так обыкновенно.

Не только по хозяйству все дела
В руках Гризельды спорились отлично,
И в управленье краем, коль была
В том надобность, она входила лично.
Все споры подданных своих обычно
Она умела быстро разрешать,
В сердца враждебные елей вливать.

В отъезде ли был государь иль дома,—
Все тяжбы меж баронами она,
Непогрешимой чуткостью ведома,
Кончала миром,— так была умна,
Так в обращении с людьми ровна,
Что ангелом они ее считали,
Ниспосланным их утолить печали.

Когда еще не минул первый год,
Дочь родила Гризельда молодая.
Хотя мечтал о мальчике народ,
А также и маркграф, владыка края,—
Довольны были все, предполагая,
Что им наследника не долго ждать,
Раз не бесплодной оказалась мать.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Немного погодя,— еще кормила
Гризельда грудью девочку,— сполна
Маркграфа мысль одна заполонила:
Проверить, подлинно ль ему верна
И всей душою предана жена.
Задумал он — сказать могу я смело —
Не в добрый час худое это дело.

Испытывал Гризельдину любовь
Уже не раз он, и супругой верной
Она оказывалась вновь и вновь.
Зачем же снова муке беспримерной
Ее подвергнуть вздумал он? Наверно,
За мудрость это многие сочтут,
Я ж недомыслие лишь вижу тут.

Вот как маркграф свой замысел безбожный
Осуществил. В ночи войдя к жене
И взор на ней остановив тревожный,
«Гризельда,— молвил он,— скажите мне:
Вы помните, я думаю, о дне,
Когда вы сняли ваш наряд убогий
И я вас ввел женой в свои чертоги?

Надеюсь я, Гризельда, что сейчас,
Когда столь дивной стала ваша доля,
Вы не забыли, что извлек я вас
Из нищеты, которую дотоле
С отцом вы разделяли поневоле.
Я вас прошу внимать усердно мне,—
Мы с вами говорим наедине.

Вы знаете, как в здешние покои
Явились вы, и вам я до сих пор,
Гризельда, предан телом и душою.
Но иначе, увы, настроен двор:
Они считают, что для них позор
Быть подданными женщины безродной,
Служить тебе дворянам не угодно.

С тех пор, как дочь ты родила, сильней
И громче стали эти разговоры.
Но я желаю до скончанья дней
С моими верными прожить без ссоры.
Мне надоело слушать их укоры,
И дочь твою им в жертву принести
Придется мне,— иного нет пути.

Прискорбно это мне, бог видит; все же
Я не желаю действовать тайком.
Скажите, что и тут согласны тоже
Вы мне подмогой быть, как и во всем.

Припомните, как вы клялись мне в том,
Что ваша верность будет вечно в силе.
То было в день, когда мы в брак вступили».

Услышав эту речь, она ничем
Не выдала душевного волненья,
Ее лицо не дрогнуло совсем.
«Мы в вашем, государь, распоряженье,—
Она промолвила,— повиновенье
Закон для нас, и он неколебим.
Мы с дочерью лишь вам принадлежим.

То, что вам по сердцу, и мне отрада,
В моей душе своих желаний нет;
Что, кроме вас, мне в этой жизни надо?
Лишь через вас мне дорог белый свет.
Так было, есть и до скончанья лет
Останется: любовь мою, поверьте,
Не истребить ни времени, ни смерти».

Ответу этому маркграф был рад,
Но, не подав и виду, так же строго
Он на жену глядел и мрачный взгляд
В последний раз к ней обратил с порога.
Свое намеренье спустя немного
Слуге он сообщил наедине
И поручил ему пойти к жене.

Служил дворецким тот и всей душою
Маркграфу предан, для него готов
Он был любое дело, хоть бы злое
Свершить немедленно без дальних слов.
Откликнулся и ныне он на зов:
Маркграфа волю выслушав, он сразу
Пошел к Гризельде по его приказу

И ей сказал: «Сударыня, у вас
Прошу заране для себя прощенья,
Но государев выполнить приказ
Я должен точно и без промедленья,
Хотя б он и внушал мне огорченье.
Приказ владыки для меня закон,
И выполнить его я принужден.

Ребенка вашего мне взять велели».
И, матери не дав задать вопрос,
Он выхватил дитя из колыбели
И сделал вид, что нож над ним занес.
Гризельда с мукой в сердце, но без слез
Овечкою несчастною сидела,
Пока ужасное творилось дело.

Ей подозрителен был суток час,
И человек, и речь его, и взоры
Его холодных, непреклонных глаз.
«Ах, неужели дочка, от которой
Так много счастья, будет мертвой скоро?» —
Так думала Гризельда, но, полна
Смирения, не плакала она.

В конце концов к дворецкому в волненье
С нижайшей просьбой обратилась мать
(Был человек он добрый от рожденья),
Чтоб подождал дитя он убивать,
Пред смертью дал его поцеловать.
Дочурку взяв, она благословила
И поцелуями ее покрыла.

Потом шепнула нежным голоском:
«Прощай навек, мой ангелок прелестный!
Я осенила грудь твою крестом,
Чтоб взял тебя к себе отец небесный,
Который изнемог от муки крестной.
Твою вручаю душу я ему,—
Сегодня в вечную ты канешь тьму».

Я думаю, и нянька не могла бы
Без ужаса на это все взирать
И стон бы издала, хотя бы слабый.
Так как же тут должна была б кричать
И корчиться от мук родная мать!
Но нет, без слез дворецкому вручила
Гризельда дочь и так проговорила:

«Исполните же данный вам приказ.
Лишь об одном, коль нет на то запрета
От государя, умоляю вас:

Предайте погребенью тельце это,
Чтоб уберечь от псов и птиц». Ответа
Дворецкий не дал,— он без лишних слов
Ребенка подхватил и был таков.

Явившись к государю, он подробно
Все то, что было ночью, описал:
Слова Гризельды, взор ее беззлобный,
Потом ему ребенка в руки дал.
Маркграф смутился, но менять не стал
Своих намерений: владыкам мало
Свои намеренья менять пристало.

Он приказал дворецкому тайком,—
Ребенка спеленав и осторожно
Вложив в корзину,— государев дом
Покинуть с этой ношей неотложно;
Потом, под страхом смерти непреложной,
Ему велел от любопытных глаз
Себя оберегать на этот раз.

К сестре в Болонью, жившей там графине
Да Панико, дворецкому приказ
Дал государь доставить дочь в корзине,
С тем чтоб графиня добрая тотчас
За воспитанье девочки взялась,
Ни перед кем не открывая тайны
Своей питомицы необычайной.

Все выполнил дворецкий в краткий срок.
Но мы к маркграфу возвратимся снова.
Он за женой следил, как только мог,
Не выдаст ли движенье, взор иль слово
В ее душе чего-нибудь дурного.
Следил напрасно,— как досель, она
Была смиренья кроткого полна.

Все так же по хозяйству хлопотала.
Была в беседах с мужем весела,
И никакая тень не омрачала
Ее всегда спокойного чела:
Такою же осталась, как была.
О дочери — как будто и забыла,
Как имя ей,— она не говорила.

Прошло четыре года, и опять
Гризельда родила маркграфу чадо.
На этот раз им божья благодать
Послала мальчика, очей усладу,—
И населенье края было радо
Наследнику не менее отца;
Все благодарно славили творца.

Когда ребенок под дворцовым кровом
Подрос и грудь сосать уж перестал,
Жену подвергнуть испытаньям новым
Маркграф жестокосердный пожелал.
Ах, не довольно ль он ее пытал?
Но таковы мужья: к жене смиренной
Они безжалостны обыкновенно.

«Жена! — сказал он,— что наш брак, увы,
Не по душе народу, вам известно;
С тех пор как сыном разрешились вы,
Народный ропот слышен повсеместно.
Он тяготит меня, признаюсь честно.
Когда я слышу, как шумит народ,
Порой отчаянье меня берет.

Все говорят: «Когда настанет время
Маркграфу умереть, взойдет на трон
Мужицкое Яниколино семя.
Других потомков не оставил он».
Я этим ропотом весьма смущен,
И, хоть в глаза мне говорят иное,
Что толку? Нет душе моей покоя.

Но я хочу с народом жить в ладу,
Поэтому решение такое
Мной принято: мальца я уведу
И поступлю с ним, как с его сестрою.
Решил я также, что от вас не скрою
Свой замысел, а подготовлю вас.
Прошу послушной быть и в этот раз».

Гризельда, выслушав, проговорила:
«Всегда и ныне мой ответ один:
Что вам угодно, мне тем самым мило,
Пускай умрут и дочь моя, и сын
По вашему приказу, господин;
Роптать не буду, лишь скажу, что дети
Скорбь принесли мне, горшую на свете.

Распоряжайтесь вашею рабой.
Ах, не советовать, должна молчать я!
В тот день, как взяли вы меня с собой,
Я дома сбросила не только платье,
Но и свободу. Вся я без изъятья
Принадлежу лишь вам. Любой приказ,
Любой запрет всегда приму от вас.

Когда бы ваша воля мне заране
Была известна, я навстречу ей
Пошла б, не ожидая приказаний.
Ее теперь я знаю, и — ей-ей! —
Лишь послушание в душе моей.
Коль смерть моя была бы вам полезна,
Она была б мила мне и любезна.

Что смерть? В сравненье не идет она
С любовью к вам». Маркграфа столь покорный
Ответ смутил. Он видел, что жена
К нему полна любовью непритворной,
И очи опустил. Хотя бесспорно
Он был растроган, все ж он вышел вон,
Вид сделав, что тоскою омрачен.

И вот дворецкий,— тот, что так безбожно
Когда-то у Гризельды отнял дочь,—
Еще наглей, коль быть наглей возможно,
Теперь унес красавца сына прочь.
Бедняжка мать безропотно, точь-в-точь
Как и тогда, дитя благословила
И нежно поцелуями покрыла.

О том лишь попросила, чтобы труп
Ее сыночка в землю схоронили,
Дабы ни птичий клюв, ни песий зуб
Не тронули укрытого в могиле.

Не дав ответа и еще унылей
Взглянув на мать, дворецкий вышел вон.
И был в Болонью мальчик отвезен.

Терпение Гризельды изумляло
Все больше мужа. Если б он не знал,
Какую страстную любовь питала
Гризельда к детям, то бы думать стал,
Что крови дух ее давно алкал
И что ей служат маской лицемерной
Повадки и слова супруги верной.

Но он отлично знал, что лишь он сам,
Лишь он один дороже ей, чем дети.
И вот спросить хотел бы я у дам:
Что дать могли ему все пытки эти?
Какой еще суровый муж на свете
Испытывать мог хуже женин нрав?
Но на своем стоять решил маркграф.

Он был одним из тех людей, которым
Отречься от своих решений — яд;
Им это худшим кажется позором,
И на своем они всегда стоят,
Как будто разум их в тиски зажат.
Решив жену подвергнуть испытанью,
Все дальше шел маркграф без колебанья.

Он за женой следил во все глаза,
Не выдаст ли в ней слово, иль движенье,
Иль тайно оброненная слеза
По отношенью к мужу раздраженья.
Но все напрасно,— то же выраженье
Любви сияло на лице у ней,
Как на заре ее счастливых дней.

У них в душе единая царила,
Казалось, воля. То, чему был рад
Ее супруг, и ей желанно было.
И жизнь их наполняли мир и лад.
Гризельда доказала, что преград
Не ведает любовь супруги верной,
Всегда послушной, преданной безмерно.

Жестокость государя всю страну
Весьма смущала. Люди говорили,
Что, взяв себе безродную жену,
Ее детей он сам обрек могиле.
Не удивляюсь, что везде ходили
Такие слухи: всяк был убежден,
Что дочь и сын вкушают вечный сон.

Народ, любивший Вальтера доселе,
Его душой возненавидел всей.
Да может ли убийца, в самом деле,
Кому-нибудь быть дорог из людей?
Но от затеи не хотел своей
Маркграф отречься, как бы ни роптали,—
Жену испытывать решил он дале.

Когда исполнилось двенадцать лет
Их дочери, он, с помощью обмана
И заметя своих деяний след,
Добился грамоты от Ватикана,
Для замысла его весьма желанной:
В ней разрешен ему был новый брак.
А с грамотою дело было так,

Что булла папская по наущенью
Гонца была подделана; и вот
Маркграф имел от Рима разрешенье
Произвести с женой своей развод,
Чтобы с собою примирить народ.
И эта булла ложная повсюду
Была прочитана простому люду.

Все верили, что так оно и есть,—
Всех убедила подлая бумажка.
Когда ж дошла и до Гризельды весть,
Ей, полагаю, стало очень тяжко.
Однако скрыла скорбь свою бедняжка;
Она решила, как досель, и впредь
Безропотно страданья все терпеть,

Всегда сообразуясь только с волей
Того, кому и телом и душой
Она принадлежит в земной юдоли.

Чтобы скорей рассказ продвинуть свой,
Скажу, что Вальтер собственной рукой
Письмо поспешно написал в Болонью
С ужасной просьбой, полной беззаконья.

Он графа Панико, что там женат
Был на сестре его все годы эти,
Просил прислать детей своих назад,
Но так, чтоб не узнал никто на свете
Никоим образом, чьи это дети.
Однако же прибыть они должны
Блестящей свитою окружены,

А девочка объявлена невестой
Салуццкого владыки. Граф тотчас
Для сбора время объявил и место,
И в тот же день, в румяный утра час,
Блестящая вся свита собралась.
Сверкала девочка своим нарядом,
А брат ее верхом скакал с ней рядом.

Все за невестой двинулись вперед.
На ней сияли ярко самоцветы;
Роскошно был и брат ее одет,
Хотя он жил всего восьмое лето.
И вся толпа ликующая эта
В Салуццо-город скачет день за днем.
А мы теперь к маркграфу перейдем.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Ужаснее всех прочих испытанье
Маркграф измыслил для жены своей,
Чтобы узнать, не вызвали ль страданья
Тень озлобления в душе у ней,
Не стала ли любовь ее слабей.
И вот однажды к ней такое слово
Он обратил, принявши вид суровый:

«Я признаю, Гризельда: много лет
Вы были мне супругою примерной;
Хоть нищенкой вы родились на свет,
Я нрав ценил ваш, ласковый и верный.

Но государям рок немилосердный
Порой о чувствах забывать велит:
В высоком сане рабский жребий скрыт.

Мне не дано как пахарю простому
Жизнь провести свою. Кричит народ,
Чтоб я жену другую ввел в хоромы.
И папа разрешенье мне дает
На то, чтоб с вами учинить развод.
А потому вам, не таясь, скажу я:
Решил я взять себе жену другую.

Прошу безропотно ей место дать,
А что вы принесли сюда с собою,
То разрешаю вам обратно взять.
На дом отца дворцовые покои
Должны сменить вы. В жизни никакое
Не вечно благоденствие, увы!
Послушной будете, надеюсь, вы».

В ответ Гризельда, полная смиренья,
Сказала так: «Считала я всегда,
Что между мной и вами нет сравненья.
Мой повелитель! Эти все года,
Поверьте, я не мнила никогда,
Что вам достойна быть простой прислугой,
Не только что законною супругой.

Свидетель мне предвечный судия,
Что в вашем доме с самого начала
Себя отнюдь не госпожою я,
А лишь служанкой скромной ощущала.
И — много ль мне осталось жить иль мало —
Мне на роду написано судьбой
Быть до могилы вашею рабой.

За то, что мне, безродной и убогой,
В чести прожить вы дали столько лет,
Я на коленях умоляю бога:
Да охранит он вас от всяких бед!
Вот все, что вам могу сказать в ответ.
К отцу вернусь я с радостью — с ним вместе
До смерти проживу в родимом месте.

Рассказ пристава церковного суда

Где я впервые взор открыла свой,
Там жизнь окончу и сойду в могилу
Душой и телом чистою вдовой.
Вам девственность свою я посвятила,
Вам верность, будучи женой, хранила,
И потому избави бог, чтоб вас
Я предала и с кем-нибудь сошлась.

Пошли вам небо от супруги новой
Дни счастья и покоя без числа!
Освободить ей место я готова,
Где столько лет в блаженстве прожила.
Коль вы хотите, чтобы я ушла
От вас, мой господин, моя отрада,
Желанье ваше я исполнить рада.

Вы мне велите взять добро свое.
Но как приказ ваш мне исполнить честно?
Я принесла с собою лишь тряпье.
И где оно теперь, мне неизвестно.
О боже мой! Как нежно, как чудесно
Звучала ваша речь, сиял ваш взгляд,
Когда венчальный нас вязал обряд!

Не лжет, увы, народное присловье —
Его правдивость горько на себе
Я испытала: с новою любовью
Соперничать, любовь, нельзя тебе.
Но не скорблю я о своей судьбе.
Я б лучше умерла, чем пожалела,
Что вам и душу отдала и тело.

Вы знаете: наряд презренный мой
Сменили вы на пышный и богатый,
Когда невестой увели с собой.
Лишь наготу и верность к вам в палаты,
Мой господин, я принесла когда-то.
Все, что на мне, с кольцом венчальным вам
Я, недостойная, сейчас отдам.

Все драгоценности и все каменья
Я в горнице оставила у вас.
Раздетая ушла я из селенья,
Раздетою вернусь туда сейчас:

Хочу исполнить точно ваш приказ.
Но чтоб никто не мог меня ославить,
Прошу одну рубашку мне оставить.

Вы не допустите, мой господин,
Чтобы то тело женское, в котором
Зачаты были ваши дочь и сын,
Нагим, как червь, предстало перед взором
Толпы сбежавшейся. Таким позором
Казнить жену не захотите вы,
Хотя и недостойную, увы!

За девственность мою, что вам когда-то
Я принесла и ныне взять с собой
Уж не могу, прошу мне дать в отплату
Одну рубашку, чтоб я тело той
Прикрыть могла, что вам была женой.
Итак, прощайте, мой супруг любимый,
Расстаться с вами навсегда должны мы».

«Рубашку можешь не снимать»,— в ответ
Сказал маркграф, потом застыл в молчанье.
В его глазах вдруг помутился свет
От жалости и чувства состраданья,
И он ушел. С себя все одеянье
Сняла Гризельда и пошла босой,
В одной рубашке лишь, к отцу домой.

Толпа, кляня Гризельдин рок суровый,
За нею с горькими слезами шла.
Она в пути не проронила слова,
И глаз ее не замутила мгла.
Когда же до Яниколы дошла
Весть об ее печальном возвращенье,
Он проклял день и час ее рожденья.

Всегда питал в душе своей старик
В благополучье дочери сомненье;
Все годы ждал он, что наступит миг,
Когда маркграф, насытив вожделенье,
Почувствует невольно огорченье,
Что в жены взял безродную, и с ней
Расстаться постарается скорей.

Дочь встретить поспешил отец (шумела
Толпа людская пред его избой),
И, старым платьем ей накрывши тело,
Он слезы горькие стал лить рекой.
Но грубая дерюга ей плохой
Была защитою: вся ветхой стала
И новых дыр приобрела немало.

Так стала жить Гризельда у отца,
Цвет верности и женского смиренья,
Ни словом, ни движением лица —
То ль при народе, то ль в уединенье —
Не проявляя чувства оскорбленья
И позабыв как будто, что́ за сан
Ей в годы прошлые судьбой был дан.

Не удивляйтесь! В бытность маркграфиней
Была Гризельда скромности полна,
Чужда была ей всякая гордыня,
И не ценила роскоши она.
Но, мужу верная всегда жена,
Дни проводила тихо за работой
И не искала у людей почета.

Об Иове нам много говорят,
Его смирение хвалою лестной
Возносит до небес ученых ряд.
Но жен хвалить ученым, как известно,
Не по душе. Однако если честно
Нам рассудить, то вряд ли из мужчин
Тут с женщиной сравнится хоть один.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Молва в ломбардской разнеслась равнине,
Что прибыл из Болоньи граф, а с ним
Совместно молодая маркграфиня
И что их поезд окружен таким
Великолепным блеском неземным,
Какого обыватели доселе
В своем краю еще не лицезрели.

Все это подготовивший маркграф
Гризельду привести велел заране,
И та явилась, боль свою поправ,
Наперекор своей сердечной ране,
Готовая любым из приказаний
Покорствовать. Колени преклонив,
Она благодарила за призыв.

«Гризельда,— молвил он,— моей невесте
Что завтра будет здесь, хочу прием
Я оказать заслуженный по чести.
К нему быть должен подготовлен дом
Так, чтобы всем гостям достались в нем
Места достойные и непременно
Чтоб были все обслужены отменно.

Но у меня нет женщины такой,
Которая б могла блюсти палаты.
Хочу поэтому, чтобы тобой
Бразды правленья были в доме взяты.
Ведь в нем хозяйничала ты когда-то
И знаешь все. Хоть жалок твой наряд,
Я, если мне поможешь, буду рад».

«О господин,— Гризельда отвечала,—
Я полагаю высшей из отрад
Всю жизнь служить вам верно, как, бывало,
Служила раньше — столько лет подряд.
Мне никаких не надобно наград,
Прошу лишь разрешить мне с той же силой
Любить вас, господин мой, до могилы».

И, так промолвивши, она тотчас
Приготовлять столы, стелить постели
И украшать палаты принялась;
Прислугу собрала для этой цели
И торопила всех, чтобы успели
Пыль подмести повсюду без помех,
Сама работала прилежней всех.

Часу в девятом прибыли со свитой
Граф и детей державная чета.
Народ глазел на поезд именитый,
Чьи дивны были блеск и красота.

И шепот тут пошел из уст в уста:
«Хулить маркграфа было бы зазорно,—
На смене жен он выгадал бесспорно.

Красивей первой новая жена
Во много раз да, кстати, и моложе;
Детей прекрасных народит она,
Маркграфского она достойней ложа».
Брат девушки очаровал всех тоже.
В конце концов народ решил, что прав
Был в поведении своем маркграф.

«О ветреная чернь! Душой неверной
Ты мечешься, предательства полна!
К тому, что ново, ты падка безмерно,—
Свое лицо меняешь, как луна.
Твоим суждениям лишь грош цена.
Глуп иль безумен человек, который
В них вздумал бы искать себе опоры».

Так говорили те, кто поумней,
А чернь стоять, глазея, продолжала
И новой государыне своей
Восторг свой громогласно выражала.
Но до толпы теперь мне дела мало,—
Пора к Гризельде перейти опять
И об ее работе рассказать.

Все, что для пира надобно, на славу
Гризельда подготовила вперед;
Своей одежды грубой и дырявой
Нисколько не стесняясь, у ворот
Она невесту встретила и вот
С улыбкой ласковой своей и милой
Обратно в дом к работе поспешила.

С таким приветливым лицом гостей
У входа в зал Гризельда принимала,
Что в знании учтивости у ней
Никто ошибки не нашел и малой.
Наоборот, всех очень поражало,
Что под нарядом, чей так жалок вид,
Столь светлый и достойный дух сокрыт.

Невесту юную введя в покои
(С ней рядом шел ее прелестный брат),
Гризельда им внимание такое
Сумела оказать, что всякий рад
Был посмотреть. Когда же все подряд
Уселись гости, Вальтер чрез минутку
За ней велел сходить и словно в шутку

Ее спросил: «Тебе моя жена
Как нравится? Скажи мне откровенно».
«Мой господин,— ответила она,—
Клянусь, красавицы столь совершенной
Досель никто не видел во вселенной.
Успеха всякого желаю ей.
Пошли вам бог счастливых много дней!

Лишь об одном прошу вас: испытанью
Жестокому ее не подвергать.
Она такое нежное созданье,
И, полагаю я, отец и мать
Ее взрастили так, что не под стать
Страданье ей, с которым может сжиться
Воспитанная в нищете девица».

Когда маркграф увидел, как полна
Она несокрушимого смиренья,
Взглянул в глаза, прозрачные до дна,
Не омраченные притворства тенью,
И вспомнил, как она все униженья
Безропотно сносила день за днем,
К ней сострадание проснулось в нем.

«Моя Гризельда,— молвил он,— довольно!
Ты чашу горя выпила до дна.
Достаточно тебя терзал я больно;
Подобных мук из женщин ни одна
Не испытала. Милая жена!
Какой ты клад, отныне буду знать я».
И он Гризельду заключил в объятья.

Она, еще не отойдя от мук,
Стояла, слов его не понимая,
Как будто ото сна восстала вдруг,
Объята изумлением без края.

«Клянусь Христом, Гризельда дорогая,—
Сказал маркграф,— супруга ты моя;
Свидетель бог, другой не знаю я.

Вот дочь твоя,— считала ты напрасно
Ее моей невестой и женой.
А этот мальчик, юный и прекрасный,—
Твой сын, Гризельда, и наследник мой.
Поверь мне, оба рождены тобой.
Я их взрастил в Болонье, у графини
Да Панико. Прими обоих ныне.

Пускай меня не обвиняют в том,
Что поступал я дико и жестоко.
Нет, не жестокостью я был ведом,
А лишь стремлением познать глубоко,
Каков твой нрав и нет ли в нем порока.
Детей не умертвил я, а, любя,
Их воспитал, Гризельда, для тебя».

Она, услышав это, вдруг упала
Без чувств, от радости почти больна.
Потом, придя в себя, детей призвала
И целовать их бросилась она.
Из глаз ее соленая волна
Слез материнских полилась без края,
Любимым детям лица орошая.

Кто б мог свое волненье побороть,
Внимая горькие рыданья эти?
«О господин, воздай же вам господь,—
Она промолвила,— за то, что дети
Опять со мной. Теперь ничто на свете
Не страшно мне. Раз вновь я вам мила,
То даже в смерти я не вижу зла.

О дорогие дети! Ваша мать
Считала, что гниете вы в могиле.
Неправда это! Божья благодать
И ваш отец вам жизни сохранили».
Но тут ей снова силы изменили,
Опять отхлынула от сердца кровь,
И бедная без чувств упала вновь.

Своих детей она с такою силой,
На землю падая, прижала вдруг,
Что вырвать их едва возможно было
Из пораженных судорогой рук.
Придворные, стоявшие вокруг,
От состраданья плакали, не смея
К ней подойти, лицо склонить над нею.

Словами, ласки полными, супруг
Ее старался исцелить от горя,
Да и другие все к забвенью мук
Ее нудили, государю вторя.
И вот в себя пришла Гризельда вскоре.
Отрадно было видеть, как маркграф
К ней нежен был, опять ей мужем став.

Когда нашли, что им вмешаться надо,
Ее в покои дамы увели
И, снявши там с нее тряпье, в наряды,
Сверкающие златом, облекли.
С короною и в платье до земли
Гризельда в зал вернулась, вся сияя,
И поклонилась ей толпа людская.

Дня тягостного светел был исход.
Все пировали в честь Гризельды милой
До той поры, покуда небосвод
Ночные не украсили светила.
По мненью всех, торжественнее было
На этом празднике и веселей,
Чем в день, когда маркграф венчался с ней.

В согласье добром и любя друг друга
Годов немало прожили они
И дочери своей нашли супруга,
Чей род в краю был славен искони.
К себе маркграф, чтобы в покое дни
Дожил старик, переселил и тестя,
И прожил тот до смерти с ними вместе.

Когда маркграф скончался, на престол
Взошел их сын, который в браке тоже
Был счастлив (по стопам отца не шел
И не пытал свою жену он все же).

Мы в век живем, на старый не похожий,—
Слабей огонь в сердцах теперь горит,
И потому мой автор говорит:

Не для того, чтоб жены подражали
Моей Гризельде, дан о ней рассказ.
В смиренье с ней сравнится ль кто? Едва ли.
Нет, для того, чтобы любой из нас
Был столь же стоек в испытанья час,
Как и Гризельда, рассказал так ярко
И так возвышенно о ней Петрарка.

Коль было столь велико у жены
К супругу смертному долготерпенье,
То богу мы тем более должны
Всегда показывать свое смиренье.
Лишь испытаниям, не искушенью
Он подвергает нас,— об этом сам
Иаков пресвятой глаголет нам.

Владыка вечный с целью испытанья
Стегает нас бичами грозных бед
И шлет нам часто тяжкие страданья.
Узнать он хочет нашу волю? Нет,
Он слабость нашу знал, когда на свет
Еще не появились мы. Чудесны
Деяния твои, отец небесный!

Еще одно словечко, господа!
Мы женщину, сравнимую по праву
С Гризельдой, не отыщем никогда.
Дней наших женщины — иного сплава;
Немало меди к золоту их права
Примешано. Ах, у таких монет
Уменья гнуться, не ломаясь, нет.

Поэтому, а также ради честной
Ткачихи батской и подобных ей
(Пошли успехов им отец небесный!)
Мне разрешите песенкой своей
Потешить вас. Дела минувших дней
Серьезные оставим. На прощанье
Я песней вас развеселю. Вниманье!

ПОСЛЕСЛОВИЕ ЧОСЕРА

Гризельда умерла, и вместе с ней
В могильный мрак сошло ее смиренье.
Предупреждаю громко всех мужей:
Не испытуйте ваших жен терпенье.
Никто Гризельды не найдет второй
В своей супруге,— в этом нет сомненья.

О жены благородные, смелей
Свое отстаивайте положенье,
Чтоб ни один ученый грамотей
Не наболтал о вашем поведенье,
Вас уравняв с Гризельдой, и чтоб злой
Чичваче не попасть вам на съеденье.

Вам нимфа Эхо — образец: у ней
Всегда на все готово возраженье.
Невинностью не думайте своей
Оправдывать любое униженье.
Совет даю вам: смелою рукой
На благо всем хватать бразды правленья.

Вы, жены, что верблюдов посильней,
Не допускайте, чтобы оскорбленья
Вам наносить решался муж-злодей.
А вы, о жены, слабые в сраженье,
Как львицы, будьте яры, день-деньской
Язык, как жернов, приводя в движенье.

Бояться мужа — глупого глупей:
Будь он в кольчужные закован звенья,
Стрелами острыми своих речей
Пронзишь ты и стальное облаченье.
Вяжи его и ревностью порой,—
И станет за тобой ходить он тенью.

Коль ты красива, на глазах людей
Цвети и надевай все украшенья,
А коль дурна, расходов не жалей,
Чтоб приобресть друзей для услуженья.
Будь весела, как листья лип весной,
А мужу предоставь плач, вой, мученья.

Здесь кончается рассказ
Студента

ПРОЛОГ КУПЦА

«Плач и стенанья, горе и заботы
Мне отравляют отдых и работу,—
Сказал купец,— с тех пор, как я женат.
Хотел бы видеть, кто женитьбе рад?
Не я, во всяком случае: жена мне
Такая подвернулась,— как из камня.
Когда б ее сам дьявол в жены взял,
И он, наверно, б зубы поломал.
Противно вспоминать ее проделки,
Коварства полные и злобы мелкой.
Строптивая злодейка — не жена!
О, горе мне! Сколь разница ясна
Между Гризельды благостным смиреньем
И жен сварливых неуемным рвеньем,
Когда над ними демон верх возьмет.
Освободись я — уж не завлечет
Меня в ловушку сила никакая.
Теперь уж не сваляю дурака я.
Ведь мы, женатые,— мы все рабы.
Испробуйте-ка сладость сей судьбы.
Святой Фома Индийский в том порука:
Жена для большинства из нас — докука,
Хотя, конечно, к счастью, не для всех.
И клеветать на брак — великий грех.
Но вот два месяца, как я женат,
А умереть, ей-богу, был бы рад.
Клянусь, никто, хотя бы поносил
Его весь свет, на сердце б не скопил

Той горести и горечи отравной,
Что я обрел себе в жене злонравной».
«Спаси тебя господь, несчастный друг! —
Сказал хозяин,— но частицу мук
На наши плечи скинь, их нам поведай».
«Я расскажу вам про чужие беды.
Забыть хотел бы гнет своих оков,
О них смолчу, хоть горе велико».

РАССКАЗ КУПЦА

Здесь начинается рассказ Купца

В стране ломбардской рыцарь жил когда-то,
Павийский уроженец. Пребогато
Он дожил до шестидесяти лет,
А в брак вступить и не подумал, нет.
Он жизнью наслаждался без помехи,
Ценя одни лишь плотские утехи,—
Ведь путь мирян бывает редко свят.
Когда ж ему минуло шестьдесят,
Он — то ль по глупости; то ль потому,
Что мысль о боге вдруг пришла ему,—
Решил вступить в законный брак и вот
Жену искать стал сутки напролет
И небеса молить, чтобы они
Блаженные ему судили дни,
Чтоб он изведал счастье жить с женой,
В союз вступив нетленный и святой,
Которым мужа и жену господь
В единую связал когда-то плоть.
«Жизнь брачная одна лишь хороша;
Иная же не стоит и гроша.
Блаженство брачный лишь дает венец»,—
Вот так-то думал старый сей мудрец.
И разве это, в сущности, не так?
Что в жизни привлекательней, чем брак?
Особенно когда ты стар и сед,
Сокровища ценней супруги нет.

Твоя жена должна быть молода,
И народите с нею вы тогда
Наследника: жизнь будет вам сладка.
А посмотри на жизнь холостяка:
На скуку часто жалуется он,
Любовной суетою утомлен.
И справедливо, чтобы холостяк
Вел жизнь, лишенную отрад и благ.
Он строит на песке, и потому
Лишь неудача суждена ему.
Живет свободно он, как дичь лесная,
О принужденье ничего не зная.
Женатый человек, наоборот,
Всегда размеренную жизнь ведет,
Привязан крепко к брачному ярму,
И жизнь сладка и радостна ему.
Кто может быть нежнее, чем жена?
Кто с бóльшим прилежаньем, чем она,
Когда ты болен, ходит за тобою?
Она готова верною рабою
Тебе служить, хотя б ты слег в кровать
С тем, чтоб до смерти больше не вставать.
Иначе думает ученых ряд,
В числе их Теофраст. Пусть невпопад
Он поучает,— что мне, право, в том?
«Коль хочешь ты держать в порядке дом,—
Так учит он,— жениться не спеши,
Для этого и слуги хороши.
Перед слугою верным чтó жена?
Ведь полдобра себе берет она.
А если, заболев, ты сляжешь вдруг,
К себе участье у друзей и слуг
Скорей найдешь, чем у жены своей:
Твое добро всего милее ей».
Такие изречения нам часто
Встречаются в писаньях Теофраста.
Будь проклят он! К чему он нужен вам?
Стократ умней — внимать моим словам.
Поистине, жена есть дар небес;
Все блага прочие — луга, и лес,
И пастбища, и вкруг усадьбы нивы —
Дары случайные судьбы счастливой:
Они подобны тени на стене.

Супруга же, напротив,— верьте мне,—
Надолго входит в дом, на дольший срок,
Чем ты, пожалуй, пожелать бы мог.
Брак — таинство великое, и тот,
Кто не женат, беспомощно живет,
И все его надежды скоротечны
(Я о мужчинах говорю, конечно).
А почему? Да потому, что богу
Угодно было женщину в подмогу
Нам сотворить. Когда им был Адам
Из глины вылеплен, создатель сам,
Увидев, как он наг и одинок,
Его в душе не пожалеть не мог
И дал ему поддержку в виде Евы.
Отсюда ясно,— согласитесь все вы,—
Что женщина на радость нам дана
И в помощь; рай земной она
С душой своей, привязчивой и нежной.
Жизнь с нею — счастья океан безбрежный.
Единой плотью став, жена и муж
До гроба скреплены союзом душ.
Жена! Возможно ль, чтоб того беда
Постигла, кто женат? Нет, никогда.
Клянусь тобой, о дева пресвятая!
Между супругами — любовь такая,
Что выразить ее нельзя никак.
Жена тебе подательница благ
И бескорыстная хозяйка дома;
Она, со своевольем незнакома,
Всегда смиренный подает ответ;
Ты «да» сказал — она не скажет «нет».
Жизнь брачная! Ты, как эдемский сад,
Полна и благолепья и услад;
Все воздают тебе такую честь,
Что каждый, в ком хоть капля смысла есть,
До гроба должен, если он женат,
Благодарить творца все дни подряд.
А если холост, то молиться богу,
Чтоб он ему жену послал в подмогу.
Вступивши в брак, себя он оградит
От всякого обмана и обид.
Кто следует жене в своем пути,
Тот может смело голову нести,—

Так мудрости полны ее советы.
Коль преуспеть ты хочешь в жизни этой,
Словам жены не забывай внимать.
Ведь вот же посоветовала мать
Иакову, чтоб в козьей шкуре он
Явился к Исааку на поклон,—
И дал ему отец благословенье.
Спас избранный народ от истребленья
Юдифи ум, когда тирану с плеч
Снес голову ее бесстрашный меч.
Навала жизнь на волоске висела,
И все ж ее спасти жена сумела
Своим умом. Есфирью от невзгод
Спасен был богоизбранный народ,
За что и преклонился перед ней
Сановник Агасфера, Мардохей.
Сенека говорит: во всей вселенной
Нет существа ценней жены смиренной.
Катон велит послушным быть жене.
Ей подчинись,— тогда она вдвойне
Свое смиренье пред тобой проявит.
Жена хозяйством нашим мудро правит.
Особенно хворающим жена,
Чтоб дом в упадок не пришел, нужна.
Что церковь для Христа, тем для тебя
Жена пусть будет. Мудрость возлюбя,
Жену считай за высшее из благ.
Ведь плоти собственной никто не враг,
Поэтому жену свою лелей:
Обречь блаженство можно только с ней.
Муж и жена — я не шучу ничуть —
Спокойно жизненный проходят путь,
Союзу их угрозы не страшны,
Особенно со стороны жены.
Вот почему постиг на склоне лет
И Януарий мой, что в жизни нет
Блаженства для того, кто не женат,
Кто брака чистых не познал услад.
И вот однажды, сидя средь друзей,
Мечтою поделился он своей.
С лицом печальным он сказал им: «Я,
Как видите, и стар и сед, друзья,
Уже стою я близко от могилы,—

Пора подумать о душе. Я силы
Телесные безумно расточал,
Но вот господь опомниться мне дал,
И я хочу вступить в законный брак,
Притом возможно поскорей. Итак,
Я вас прошу красивую девицу
Мне подыскать немедленно: жениться
Желаю я в кратчайший срок, друзья.
Невесту подходящую и я
Себе везде подыскивать намерен,
Но так как много вас, то я уверен,
Что вам скорей удастся подыскать
Девицу, что женой мне может стать.
Но я предупреждаю вас, друзья:
Старуху всякую отвергну я.
Не больше двадцати пусть будет ей,—
Лишь рыба чем старее, тем ценней.
Милее окунь мне, чем окунек,
Но предпочту телятины кусок
Куску говядины. Да, смака нет
В той женщине, которой двадцать лет
Уж стукнуло. От всяких старых вдов
Куда угодно я бежать готов.
Они обычно прихотей полны,—
Бог упаси от этакой жены.
Кто много школ прошел, учен безмерно.
С женой свяжись — и скажешь: это верно.
А девушка в твоих руках — как воск:
И сердце свеже у нее и мозг.
Так знайте же заранее, друзья:
Не поведу к венцу старуху я.
Ведь если б сделал так злосчастный рок,
Чтоб с нею наслаждаться я не мог,
На стороне я б стал искать усладу
И тем себя навек обрек бы аду,
Да и бездетным был бы этот брак.
А мне милей быть сворою собак
Разорванным, чем чтобы чужакам
Досталось то, что накопил я сам.
Я не болтаю, как пустой дурак;
Я знаю, для чего вступаю в брак,
И знаю также, что людей немало
О браке часто судят как попало,

Не больше смысля в нем, чем мой слуга.
Кому небес награда дорога,
А целомудрие невыносимо,
Пусть женится, чтоб с женщиной любимой
Производить во славу божью чад,
А не для плотских лишь одних услад.
Умеренно к ним надо прибегать,—
Лишь для того, чтоб долг свой исполнять.
Берут себе еще затем супругу,
Чтоб помогать, как брат с сестрой, друг другу
И соблюдать с ней чистоты закон.
Но это не по мне. Еще силен
Я, слава богу, кровь играет в жилах,
Не чую дряхлости следов постылых.
На что способен зрелый муж, и я
На то способен,— верьте мне, друзья.
Хоть я и сед, себя я ощущаю
Как дерево в цвету в начале мая.
Ткань дерева такого не мертва,
И у меня седа лишь голова,
А члены все и сердце неизменно
Цветут, как лавр зеленый и нетленный.
Я изложил свое решенье вам;
Теперь, друзья, всем высказаться дам».
Тут начали все говорить про брак,—
Тот высказался так, а этот — сяк.
Один хвалил его, другой хулил,
И вот — частенько ведь внезапный пыл
Беседу дружную приводит к ссоре —
Горячий спор меж двух возникнул вскоре
И лишь к концу собрания затих.
Плацебо звали одного из них,
Другого же из них Юстином звали.
«О Январий, мы тебе едва ли,—
Сказал Плацебо,— можем дать совет:
Ведь никого умней тебя тут нет.
Но ты в благоразумии своем
Не забываешь, господин, о том,
Что говорит премудрый Соломон,
А вот чему всех смертных учит он:
«Не действуй без совета никогда,
И не впадешь в раскаянье тогда».
Так, правда, учит нас Давидов сын,

Но думаю, о друг и господин,
Что принято тобою, без сомненья,
Из лучших наилучшее решенье,
И вот на чем основываюсь я.
Доселе проходила жизнь моя
В служенье разным знатным господам,
И каждый мне,— за что, не знаю сам,—
Свое доверие дарил всегда.
И никому из них и никогда
Не возражал,— я был уверен в том,
Что мне его не превзойти умом,
Что господин сказал, то непреложно,
Лишь повторять им сказанное можно.
Глупцом советника считаю я,
Который, в услуженье состоя
Особы знатной, полагать дерзает,
Что больше, чем она, он понимает.
Из нас глупцом не будет ни один.
Ведь то, что ты сказал нам, господин,
Так мудро, благородно и прекрасно,
Что лучше и не скажешь — это ясно.
С тобой во всем согласен я вполне.
Ни в Павии, ни в нашей всей стране
Нет человека, кто б сказал мудрее.
Христос одобрил бы твою идею,
Твою отвагу весь признает свет:
Не шутка ведь — вступить на склоне лет
В брак с юной девушкой. Как видно, сердце
Еще немало сохранило перца.
Так поступи, как ты решил,— умней
Никто решенья не найдет, ей-ей!»
Юстин прослушал эту речь и вдруг,
Поднявшись, произнес: «Милейший друг,
Ты высказался, так имей терпенье
Теперь мое послушать возраженье.
Сенека где-то мудро говорит,
Что осторожность нам глядеть велит,
Кому добро иль землю мы даем;
Но если нужно о добре своем
Заботу нам иметь, то неужели
Мы не должны заботиться о теле,
Его даря? Оно ценней добра.
Да разве ж это детская игра —

Вступить без всяких обсуждений в брак?
Нет, надобно — я полагаю так —
Узнать, глупа ль невеста иль умна,
Скромна ли иль охоча до вина,
Бедна ли иль богата. Лишь дурак
Без этого вступить решится в брак.
Конечно, совершенства в мире нет;
Все, что рождается на божий свет,—
Зверь, человек,— увы, несовершенно.
Но позволительно считать отменной
Жену, в которой ни один порок
Достоинств разных заслонить не мог.
Потребно время, чтоб разнюхать это.
Вот я — свидетель мне создатель света —
Немало пролил слез в тиши ночной,
С тех пор как обвенчались мы с женой.
Хвали, кто хочет, брак,— за эти годы
Я лишь заботы видел и расходы.
Меж тем соседи все и особливо
Соседки славили мой рок счастливый;
Мне говорили, что моя жена
Быть образцовой признана должна.
Но я-то знаю, где мне жмет башмак.
Что ж, поступай, как хочешь,— брак так брак!
Но помни, ты уже в летах, мой друг:
Себе невесту не подыщешь вдруг,
Особенно красотку молодую.
Свидетелем владыку приведу я
Земли и неба: младший тут из нас
С жены своей спускать не должен глаз,
Чтоб лишь ему она принадлежала.
Тебе — не сомневаюсь я нимало —
Трех лет спокойно не прожить с женой.
Ты знаешь, нрав у женщин озорной.
Я не в обиду прямо все сказал».
«Ты кончил? — Януарий тут вскричал.—
На прописи Сенеки я плюю
И за премудрость школьную твою
Гроша не дам. Иначе говорят —
Сам слышал ты — те, что умней стократ.
А ты какого мненья, брат Плацебо?»
«Пускай,— ответил тот,— накажет небо
Всех тех, кто брачному союзу враг».

Тут встали все и порешили так:
Пусть Январий, часу не теряя,
Невесту ищет средь красавиц края.
И настоятельно искать путей
К осуществлению мечты своей
Он сразу стал. Красивые девицы
В снах беспокойных длинной вереницей
Носились перед ним из ночи в ночь,
Лишь только он смежал глаза,— точь-в-точь
Как если б кто, взяв зеркало с собой,
Пришел на площадь, полную толпой,
И в зеркале бы видел отраженье
Все новых лиц. Ночные сновиденья
Томили Януария чредой
Знакомых девушек. Но выбор свой
Он все откладывал. Красива эта,
Но к той благоприятней мненье света,
За ласковый и тихий нрав народ
Единодушно ей хвалы поет.
У тех богатство, но дурная слава.
Однако наконец — не знаю, право,
Насколько это было лишь игрой,—
Свои мечты направил он к одной.
Любовь слепа, как всем давно известно;
Весь день-деньской о девушке прелестной
Он думал, а когда ложился спать,
Ему опять все снились и опять,—
И красота ее, и возраст нежный,
И лик задумчивый и белоснежный,
И гибкий стан, и благородный нрав,
Бегущий легкомысленных забав.
Избранницей своею восхищен,
Все поиски решил окончить он.
Ему казалось, выбор так хорош,
Что лучше девушки и не найдешь.
Такой на свете нет, и потому
Никто не станет возражать ему.
И Январий всех своих друзей
К нему явиться попросил скорей.
Ему хотелось облегчить им труд.
Пусть поисков, мол, больше не ведут,
Уж избрана невеста им самим,
И было бы бесплодно спорить с ним.

Когда Плацебо с остальными вместе
К нему пришел, он о своей невесте
Им рассказал, предупредив сначала,
Что обсуждать не хочет он нимало
Свой выбор: господом одобрен он,
Блаженный век ему с женой сужден.
«Девица в нашем городе живет,—
Сказал он,— что красавицей слывет.
Хоть род ее и не высок, пленила
Она меня своей повадкой милой,
Ее решил себе я в жены взять,
Мы обретем с ней вместе благодать;
Я убежден, что будет мне она
Отличная и верная жена».
Затем он попросил своих друзей
Помочь скорее обвенчаться с ней.
«Когда женюсь, я обрету покой,
Откроется блаженство предо мной.
Одно меня тревожит,— с вами я
Тревогой этой поделюсь, друзья.
Я,— продолжал он,— слышал уж давно,
Что человеку дважды не дано
Познать блаженство,— тут и в небесах.
Будь неповинен он в семи грехах,
Будь вообще он чужд духовной скверны,
Жизнь брачная полна такой безмерной
И дивной лепоты, что страх берет
При мысли, что теперь из года в год
Жизнь безмятежная мне предстоит —
Без горестей, без кривды, без обид,
И небо на земле я обрету.
Но только за земную маету
Дается смертному венец небесный,
И, значит, после жизни столь чудесной
Не будет мне позволено стяжать,
Когда умру, Христову благодать.
Вот эта мысль мне не дает покоя.
Рассейте же мое сомненье злое».
Сочтя, что эта речь — безумца бред,
Юстин насмешливо сказал в ответ,
От ссылок и цитат на этот раз,
Чтоб кратко высказаться, воздержась:
«Поверь мне, ежели других преград

Для брака не находишь, милый брат,
То будь спокоен — бог пошлет тебе,
В благой заботе о твоей судьбе,
Вослед за свадьбой поводов немало
Проклясть удел свой, дивный небывало.
Не думай, что особо холостяк
Мил господу; господь, напротив, благ
К тому гораздо больше, кто женат.
Свое решенье не бери назад,
Смелее будь! Возможно ведь вполне,
Что ты чистилище найдешь в жене.
Она бичом господним может стать,—
Тогда душе твоей не долго ждать,
Чтобы взлететь на небеса стрелой.
Не беспокойся же, дружище мой,
И мне поверь: в конце концов не так
Блаженства и отрады полон брак,
Что может он закрыть к спасенью путь.
Одно скажу: благоразумен будь,
Ласкай жену умеренно, к ней страсть
Держи в узде,— смотри, чтобы не впасть
И в прочие грехи. Я все сказал,—
Мой разум ограничен, слаб и мал.
Знай, что твои все опасенья — вздор.
Итак, закончим этот разговор.
О браке батская вдова недавно
Всю правду нам поведала, на славный
Рассказ свой не потратив лишних слов.
Храни тебя всевышний, будь здоров!»
Сказавши так, собрание тотчас
Юстин покинул, с рыцарем простясь.
Поняв, что брак предотвратить нельзя,
Все способы пустили в ход друзья,
Чтоб избранную убедить девицу,
Чье имя было Мая, согласиться
Стать Януарию женой скорее.
Вас утомлять рассказом я не смею
Об актах всех, что ленное владенье
Ей передали на его именье,
И об ее наряде дорогом.
День наступил, когда они вдвоем
Отправились венчаться в божий храм
И воспринять дары святые там.

Поп, выйдя к ним в церковном облаченье,
О Сарре и Ревекке в поученье
Напомнил и велел, как те, вести
Жизнь мудрую и свято брак блюсти;
Потом с молитвой их перекрестил
И узы брачные навек скрепил.
Закончил свадьбу шумный пир горой,
И Януарий со своей женой
Сидел, гостями окружен. Палаты
Весельем были праздничным объяты,
И блюд, что подавали там, вкусней
В Италии ты не нашел бы всей.
А лютни издавали чудный звон,
Какого ни фиванский Амфион,
Ни сам Орфей вовек не извлекали;
Под пенье их там блюда подавали.
Да, Иоав и Феодам, что Фив
Штурм возвестил, прегромко затрубив,
Затмить то пенье были бы бессильны.
Сам Вакх вино всем в чаши лил обильно.
Венера улыбалась всем вокруг
(Ведь ей наш новоявленный супруг
Хотел отдать оставшиеся годы,
Как отдал дни своей златой свободы)
И с факелом в руке пред молодой
Плясала легкою своей стопой.
Я не солгу, сказав, что Гименей,
Бог брака, в жизни не видал своей
Столь радостного жениха. Заметь,
О Марциан, что этот брак воспеть
Не мог бы ты, хоть рассказал удачно,
Как Филология вступила в брачный
Союз с Меркурием под пенье муз.
Чтоб юности и старости союз
Изобразить, нужны другие силы.
Ни у кого б из вас их не хватило,—
Я в этом убежден, мои друзья.
Проверьте сами, говорю ли я
Вам правду или нет. Младая Мая
Сидела, взором ласковым сияя
И красотою сказочной своей.
Есфирь проникновенней и нежней
На Агасфера взгляд не направляла.

Не описать красы столь небывалой!
Скажу лишь, что на майский день она
Была похожа, вся озарена
Волшебной прелестью неизъяснимой.
Наш Януарий от лица любимой
Взор оторвать не мог и про себя
Так думал: «Ночью обниму тебя
Сильней, чем обнимал Парис Елену».
Но этой сладостной мечте на смену
Возникло огорченье, что жена
Сегодня ночью пострадать должна,
И стал он думать: «Нежное созданье,
На бога возлагаю упованье,
Что ты перенесешь мой страстный пыл,—
Ведь я необычайных полон сил.
Нет, сдерживать свои я буду силы...
Скорей бы ночь, о боже, наступила
И вечность бы царила напролет!
Ах, разошелся бы скорей народ!»
Тут всевозможные уловки он
Стал в ход пускать, чтоб выпроводить вон
Своих гостей, проститься с ними всеми.
Вот наконец-то наступило время
Из-за стола подняться. Сразу в пляс
Пустились все, вина хлебнув не раз.
Веселием и хмелем были пьяны
Все гости, кроме сквайра Дамиана,
Что рыцарю давно служил. Был он
Так госпожой своею восхищен,
Что сам не свой стоял, без чувств упасть
Готов,— такую породила страсть
Венера в нем, когда она, танцуя,
Его задела факелом. К нему я
Потом вернусь,— лишь сообщу, что он
К себе поторопился, удручен,
И лег в постель. Пусть дни влачит, стеная,
Пока его не пожалеет Мая.
Огонь проклятый, тлеющий в соломе
Постели! Враг, живущий в нашем доме!
Слуга-предатель, к нам змеею в грудь
Вползающий! От вас оградой будь
Всевышний нам. Хоть ты от счастья пьян,
О Януарий, глянь: твой Дамиан,

Оруженосец твой, что столько лет
Жил у тебя, шел за тобою вслед,
Против тебя предательство кует —
Пусть в руки бог тебе его пошлет!
Домашний враг опаснее чумы,
Ведь с ним бок о бок жизнь проводим мы.
Светило дня, закончивши свой путь,
Под горизонт спустилось отдохнуть,
Невидимым для всей округи стало,
И ночь свое густое покрывало
Накинула на светлый небосвод.
Простившись с Януарием, народ
Покинул пышные его хоромы
И восвояси двинулся, чтоб дома
Заняться на досуге чем-нибудь
И в подходящий час потом заснуть.
Наш Януарий, отпустив гостей,
Торопится на ложе сна скорей.
Чтобы разжечь себя, пьет разогретый
И полный пряностей стакан кларета,
Мальвазию хлебает, ипокрас
И многое, о чем в недобрый час
В творении «De coitu» писал
Мних Константин, чтоб черт его побрал.
Своим друзьям сказал он: «Ради бога,
Всех вежливо спровадьте из чертога».
Те, сделав это, занавес спустили.
Потом, хотя мужчины рядом пили,
Невесту бледную взвели на ложе.
И вот когда постель служитель божий
Благословил, обоих молодых
Друзья тотчас оставили одних.
Тут Януарий крепко обнял Маю,
Свою жену, свой рай; весь полыхая,
Со страстью целовал ее такой,
Что ей щетинистой своей щекой,
На рыбью чешую весьма похожей
(Так хорошо свою побрил он рожу!),
Натер лицо прелестное, шепча:
«Простите, если боль вам сгоряча
Я причиню, супруга дорогая,
Но вы должны, возлюбленная Мая,
Иметь в виду, что в ремесле любом

Таких ведь мастеров мы не найдем,
Что хорошо работают и скоро.
Досуг нам нужен, в этом нет позора.
Кто запретит нам до утра играть?
Ведь нас связала божья благодать.
Любое обхождение друг с другом
Дозволено повенчанным супругам.
Как может согрешить с женою муж,
Себя своим ножом порезать? Чушь!
Супруги мы, играть нам нет запрета».
Так пропыхтев до самого рассвета,
Хлебнул кларета он и, на кровать
Усевшись, стал супругу целовать
И громко петь с гримасою влюбленной.
Казалось, жеребец разгоряченный
Сидел в нем рядом с глупою сорокой,
Болтающей без отдыха и срока.
Все громче пел он, хрипло голося,
А шея ходуном ходила вся.
Бог ведает, что ощущала Мая,
Его в одной сорочке созерцая
И в колпаке ночном. Я убежден,
Что ей не по душе пришелся он.
В конце концов он заявил: «Игра
Меня сморила, отдохнуть пора»,—
И, вмиг заснув, до десяти проспал,
Потом, при свете дня, с постели встал.
А что касается прелестной Маи,
Она, обычай женский соблюдая,
Из горницы своей четыре дня
Не выходила вон, покой храня.
Нужны в любой работе перерывы:
Сменяя труд и отдых, твари живы —
Все: люди, скот и даже рыбы, птицы.
Пора мне к Дамиану возвратиться.
Который страждет, мукой обуян.
Я так ему скажу: «О Дамиан,
Ужели ты надеешься, несчастный,
Что сможешь госпоже своей прекрасной
Поведать скорбь души? Сомненья нет,
Что отповедь получишь ты в ответ.
Еще предаст она тебя, пожалуй,
Бог помоги тебе, мой бедный малый!»

Горит в огне Венеры Дамиан
И смерти жаждет, исходя от ран.
Ему нашептывает злой недуг
Любой ценой отделаться от мук.
Достав бумагу и перо, он пишет
Письмо, что к милой Мае страстью дышит,
И стихотворной жалобой своей
О пытках сердца сообщает ей.
В шелк обернув письмо, его хранит
За пазухою он, тоской убит.
Со свадьбы Маи на небе луна,
Пройдя десятую ступень Овна,
Успела соскользнуть в созвездье Рака,
А Мая, верная законам брака,
Пережидала в горнице своей,
Чтоб меньше трех не миновало дней
До возвращения ее к супругу:
Светило дня четвертый раз по кругу
Свой путь свершило, и в полдневный час,
Когда обедня отошла как раз,
Сидела в зале рядом с мужем Мая,
Красою дня весеннего сияя.
Вдруг Януарий, вспомнив невзначай
О Дамиане, молвил: «Что-то, чай,
С ним приключилось, боже милосердный!
Куда девался он, мой паж усердный!
Не захворал ли часом Дамиан?»
Ему ответ единогласный дан
Пажами был, что Дамиан хворает
И лишь болезнь ему прийти мешает;
Он был бы тут, когда бы был здоров.
«Да, это правда, Дамиан таков,—
Заметил Януарий,— я безмерно
Тужил бы, если б умер этот верный
Служитель мой. Он сдержанней, умней
Всех сверстников своих среди пажей,
Притом он так отважен и прилежен,
Что путь ему к успехам неизбежен.
Как только мы окончим наш обед,
Жена проведает его, я вслед
За ней приду,— помочь больному надо».
За это обещание наградой
Достойной Януарию была

Всеобщая горячая хвала:
Забота о больном слуге прекрасна.
«Жена! — воскликнул Януарий властно.—
Когда обед окончится, тотчас
Вы с дамами, покинув в зале нас,
К милейшему отправьтесь Дамиану
Его утешить. Я, как только встану
От сна послеобеденного, тоже
К нему зайду. Спешите, вас на ложе
Я буду ждать через часок-другой.
Вернувшись, лягте рядышком со мной».
Сказавши это, сквайра он призвал,
Которому подведомствен был зал,
И сделал разные распоряженья.
А Мая с дамами без промедленья
Пажа больного навестить пошла
И, у постели севши, завела
Беседу с ним, развлечь его стремясь.
Тут Дамиан поняв, что пробил час,
Свое письмо вложил ей тайно в руку,
В котором страсть свою излил и муку,
При этом он не произнес ни слова,
А лишь вздохнул; потом, вздохнувши снова,
Ей тихим голосом шепнул: «Мерси!
Но я погиб, коль, боже упаси,
Не захотите вы хранить молчанье».
Что ж Мая? Спрятав на груди посланье,
К себе домой отправилась она.
Там Януарий, в предвкушенье сна,
Сидел спокойно на краю кровати.
Свою супругу тысячью объятий
Намучивши, он лег и захрапел,
А Мая вышла, словно бы для дел,
Которых, несмотря на все желанье,
Не избежишь, и, прочитав посланье,
Его разорвала в клочки. Затем
Их бросила — куда, понятно всем.
Как на душе теперь у Маи милой,
Когда с ней рядом муж храпит постылый?
Вдруг кашлем прерван мужа сладкий сон.
Глаза продравши, Маю просит он
Все снять с себя. «С тобой вкусить утеху
Желаю, молвит, платье мне помеха».

Что было делать ей? Лишь покориться.
Но тут остановлюсь,— ханжам сердиться
Дать повод не хочу, молчу о том,
Чем были заняты они потом,—
И в рай ли, в пекло ли попала Мая,
Вечерний звон их поднял... Я не знаю,
Судьба ль тому виной была, иль случай
Природы ли воздействие могучей,
Иль, может быть, стечение светил,
Особенных исполненное сил,
В чьей власти нежный пол сводить с ума
При помощи любовного письма
(Ведь все на свете свой имеет срок),
Лишь бог нам это разъяснить бы мог,
Которому открыты все причины,—
Мне в эти нечего влезать глубины,—
Но верно то, что в этот день покоя
Лишилась Мая, жалостью такою
Проникшись к Дамиану, что о нем
Забыть была не в силах и о том
Мечтала лишь, чтоб излечить больного.
«Пускай меня осудят все сурово,—
Так думала она,— мне дела нет!
Ах, он дороже мне, чем солнца свет,
Его люблю, хотя б он нищим был».
Вовек всесилен состраданья пыл
Над благородным сердцем. Надо честно,
Однако же, признать, что повсеместно
Есть женщины,— их встретишь каждый день,—
Чья грудь таит не сердце, а кремень.
Они погибнуть дали б Дамиану,
Ему елея не пролив на рану,
И этим бы на весь гордились свет,
Себя убийцами не сознавая, нет.
Больному Дамиану сострадая,
Письмо наутро написала Мая,
В котором изложила, не таясь,
Свои все чувства, про свиданья час
И место не сказавши ни полслова:
Ему отдаться, мол, всегда готова.
И вскоре, улучивши миг желанный,
Она пошла проведать Дамиана
И под подушку сунула ему

Свое письмо. Не видно никому
Потом больному руку крепко сжала,
Поправиться скорее пожелала
И поспешила прочь уйти тотчас,—
За ней супруг ее прислал как раз.

Наутро встал с постели Дамиан,
Вдруг исцеленный от сердечных ран,
И быстро нарядился в пух и прах,
Чтоб отличиться в Маиных глазах.
Явившись к Януарию, поклон
Смиреннейший ему отвесил он
И всем улыбки расточал так мило
(Учтивость хитрая — большая сила!),
Что молодого всяк хвалил пажа
И милостью дарила госпожа.

Теперь от Дамиана перейду
К той повести, которую веду.

Высказывают некоторые мненье,
Что содержанье счастья — наслажденье,
И впрямь, старался Януарий мой
Наладить так своей всей жизни строй,
Чтоб полон был услады каждый миг:
По-королевски этот жил старик.
Все в доме было так заведено,
Чтоб наслажденье доставлять одно.
К усладам, коими он был богат,
Причислить надобно роскошный сад
С оградой каменной. Я б так сказал:
Тот, кто «Роман о Розе» написал,
Такой красы не описал бы. Слаб
Тут оказался бы и сам Приап,
Хоть божеством садов его зовут,
Так был роскошен сад и дивен пруд,
Над чьей водою лавр стоял, склонен.
Нередко Прозерпина и Плутон,
Толпою легких фей окружены,
Плясали на краю его волны
И чудно пели, люди говорят.

Наш рыцарь Януарий этот сад
Облюбовал как место развлеченья,
И строго было всем без исключенья
Запрещено туда ходить; лишь он
Ключом, который был посеребрен,

В него калитку открывал порою,
Когда себя в долгу перед женою
Он чувствовал, тогда они одни
Там в летние прогуливались дни.
И доводил он до желанной цели
То, что доделать не успел в постели.
Так дни за днями весело текли,
Но кратко длятся радости земли
Для всех живущих под луною тварей,—
Узнал об этом скоро Январий.
Непостоянный рок! Ты наделен
Не меньшей лживостью, чем скорпион:
Чаруешь нас блестящей головой,
Меж тем как жало хвост готовит твой.
Утеха плотская, коварный яд,
Чудовище, чей так приветлив взгляд,
А помыслы полны такою скверной!
Всех надуваешь ты немилосердно.
Тобой обласкан Январий был,
Но вдруг удар твой бедного сразил:
На оба глаза он ослеп и с горя
Стал смерть молить за ним явиться вскоре.
Увы, в разгар любви и наслажденья
Утратил рыцарь Январий зренье,
Причем стряслось несчастье это вмиг.
Свою судьбу оплакивал старик,
И вместе с тем ревнивый страх, что вдруг
Свою жену он выпустит из рук,
Так жег его, что был бы рад на месте
Он умерщвленным быть с женою вместе.
Его пугало, что она найдет,
Пока он дышит иль когда умрет,
Любовника иль мужа — он хотел
Навек ей вдовий навязать удел.
Но месяц миновал, потом другой,
И Январий стал со слепотой
Своею примиряться беспросветной,
Понявши, что все жалобы тут тщетны.
Зато к жене глухая ревность в нем
Росла с неделей каждой, с каждым днем;
И до того дошел он, что жену
Не соглашался никуда одну
Теперь пускать, хотя бы даже в зал.

Повсюду он ее сопровождал,
При этом ни на шаг не отступая.
Немало это огорчало Маю,
Которая мечтала лишь о том,
Чтоб Дамиану угодить во всем,—
С такой она его любила силой.
И дни ее текли в тоске унылой.
С другой же стороны, и Дамиан,
Горюя, таял от сердечных ран:
Ему судьба не позволяла злая
Хотя б словечко молвить милой Мае
Об остроте своих любовных мук
Так, чтоб его не услыхал супруг,
Всегда присутствовавший тут же близко.
Друг с другом все же тайной перепиской
Они снеслись,— и стало ясно им,
Какими каждый чувствами томим.
О Януарий, было б мало прока,
Когда бы взор твой мог бежать далеко,
Как корабли. Трудней ли обмануть
Того, кто видит, чем слепца? Ничуть.
Вот Аргус, например. Вся сотня глаз,
Которыми он мог глядеть зараз,
Ведь не спасла его от ослепленья.
Таких людей немало, без сомненья,
Хотя им это часто невдомек.
С ключа, которым открывал замок
В калитке муж, войти в свой сад желая,
Сняла на теплом воске снимок Мая
И снимок этот отдала пажу,
И тот, поняв отлично госпожу,
К калитке новый ключ подделал тайно.
Как этот ключ помог необычайно
Влюбленным, вы узнаете сейчас,
Коль вам угодно слушать мой рассказ.
Что правильней Овидиевых слов:
На этом свете нет таких оков,
Которых бы любовь не разорвала?
Тому примеров мы найдем немало.
Хоть Фисба и Пирам за днями дни
Томились врозь в темнице, все ж они
Сквозь стену шепотом снеслись друг с другом.
Но я вернусь опять к моим супругам.

Однажды — это было в день восьмой
Июля месяца — вдруг рыцарь мой
Почувствовал такое вожделенье
К своей жене, что тотчас же решенье
Им было принято пойти с ней в сад.
«Вставай, жена, мой драгоценный клад! —
Ей крикнул он.— Нас горлица зовет,
Ушла зима с чредою непогод.
Жена, мне грудь твоя вина милей.
Свой голубиный взор яви скорей!
Со всех сторон наш огорожен сад.
К тебе я страстью пламенной объят.
Ты ранила меня, мой ангел нежный,
Своею чистотою белоснежной.
В наш милый сад вдвоем направим путь,—
Мне утешеньем и отрадой будь!»
Так похотливый бормотал старик,
А Мая Дамиану в тот же миг
Знак подала вперед проникнуть в сад.
Исполнить это Дамиан был рад:
Открыв калитку собственным ключом,
Он в сад вошел и скрылся под кустом.
Как сада он переступил порог,
Никто ни видеть, ни слыхать не мог.
Немного погодя пришел с женой
И Януарий, как скала слепой.
Захлопнувши калитку, он тотчас
Жене сказал: «В саду тут, кроме нас,
Нет никого. Супруга дорогая,
Моя любовь к тебе не знает края.
Свидетель мне на небесах господь.
Которому подвластны дух и плоть,
Что лучше мне погибнуть от ножа,
Чем чуть тебя обидеть, госпожа.
Прошу тебя не забывать о том,
Что я женился на тебе, влеком
Любовью, не порывом вожделенья.
Хоть я не молод и лишился зренья,
Будь мне верна. Зачем, скажу сейчас,
Трех благ достигнешь этим ты зараз:
Любви Христа, своей отменной славы
И от меня по смерти всей державы.
В дар все добро мое принять прошу;

Об этом в завещанье напишу
Я завтра утром. А теперь, молю я,
Не откажи мне в нежном поцелуе.
В вину не ставь мне то, что я ревнив.
Навек твой образ в сердце сохранив,
Я понимаю, что с твоей красой
Согласовать преклонный возраст мой
Не так легко. Поэтому тебя
Всегда держу я при себе. Любя
Я это делаю, жена, поверь.
Покрепче поцелуй меня теперь».
Такой ответ на мужнины слова
Она дала, пролив слезу сперва:
«Я озабочена не меньше вас.
Честь берегу свою превыше глаз,
А также женственности нежный цвет,
Вам посвященный до скончанья лет
С того мгновения, когда вдвоем
Мы с вами стали перед алтарем.
Поэтому вам так, о господин,
Отвечу я. Горчайшей из кончин
Пусть жизнь мою создатель пресечет,
Пусть он как грешницу меня убьет,
Коль опорочу я когда-нибудь
Свой пол предательством и обмануть
Осмелюсь вас. А если обману,
В мешке меня, негодную жену,
Вы бросьте в воду. Уверяю вас,
Я женщиною честной родилась.
Зачем вы говорите так со мной?
Вы все, мужчины, неверны душой,
А нас в неверности корите вечно,
Хотя б себя вели мы безупречно».
Тут Мая, к Дамиану обратясь,
В предупрежденье кашлянула раз
И пальцем подала тотчас же знак,
Чтоб он на грушу влез. Он сделал так,
Как милая ему велела Мая,
Ее все знаки лучше понимая,
Чем Январий, ни на миг из рук
Жену не выпускающий супруг.
О том, что делать, ряд предуказаний
Она ему в письме дала заранее.

Итак, на груше он сидит, а Мая
С супругом развлекаются, гуляя.
Был ясный день, лучи златые Феба
Лились потоком с голубого неба,
И с радостью купались в них цветы.
Феб в Близнецах стоял, близ высоты,
Которая названье носит Рака,
Близ мощного Юпитерова знака.
И в это утро, полное услады,
В одном из уголков далеких сада
Владыка сказочных краев Плутон,
Толпою фей прекрасных окружен,
Сидел с женой своею Прозерпиной,
Им взятой с сицилийской луговины,
Когда она цветы сбирала там.
(О том, как он ее похитил, нам
Рассказано подробно Клавдианом.)
На свежем дерне сидя перед станом
Прекрасных фей, к жене своей Плутон
Вдруг обратился так: «Я убежден:
Никто не будет отрицать всечасной
Измены жен своим мужьям. Прекрасный
Тому свидетель не один рассказ,
Что обличает как изменниц вас
И обвиняет в похоти проклятой.
О Соломон, премудрый, пребогатый
И славою затмивший всех царей!
Бесспорны для разумных всех людей
Твои слова о разнице большой
Между породой женской и мужской.
«Средь тысячи мужчин один хорош,
А женщины хорошей не найдешь»,—
Так говорит он, подлость вашу зная.
Не лучше думает, я полагаю,
О женщинах Исус, Сирахов сын.
За то, что вы терзаете мужчин,
Пускай пожрут вас пламя и чума!
Там рыцаря, достойного весьма,
Вы видите? Он зренье потерял
И стар уже. Так вот его ж вассал
Ему рога сейчас наставит,— там,
На дереве, сидит, подлец! Но вам
Своим величеством клянусь, что зренье

Супругу возвращу я в то мгновенье,
Когда жена его затеет блуд;
Воочию он убедится тут,
Как низок и развратен женский нрав».
Фей королева, это услыхав,
Воскликнула: «Пусть будет так, по мне!
Но знайте, что внушу его жене
И впредь всем женщинам ответов кучу.
Им никакой не будет страшен случай.
Хотя б их грех был выведен на свет,
Найдет любая правильный ответ;
За ним нам не придется лезть в карман,
Хоть ясен будет мужу наш обман,
Мы с наглым видом будем отрекаться,
Рев подымать, слезами заливаться,
И будет муж стоять, как глупый гусь.
Ученых ваших ссылок не боюсь.
Что Соломон? Пусть мудрый сей еврей
И вправду в жизни не встречал своей
Достойных женщин — их зато немало
Ведь множество других людей встречало.
Не так уж беден ими белый свет.
О мученицах забывать не след,
Чья добродетель — всем нам назиданье.
О добрых женах «Римские деянья»
Упоминают тоже ведь не раз.
Не гневайтесь, прошу об этом вас!
Хотя бы даже прав был Соломон,
Что не видал хороших женщин,— он
Хотел сказать, что совершенен бог,
А смертный без различья пола плох.
Клянусь вам, не могу понять никак,
За что вы Соломона чтите так.
За то, что богу он построил храм?
За то, что был богат? Но ведь богам
Языческим он тоже храм поставил
И тем себя навеки обесславил.
Нет, если говорить тут без прикрас,
В распутстве он и в ереси погряз,
А в старости о господе забыл.
Когда б его всевышний не щадил
Из-за отца покойного, то, право,
Давно б он учинил над ним расправу.

Наветы все его на женщин — ложь!
Я утверждаю, что цена им грош.
Как женщина, я не могу молчать,—
Чтоб успокоиться, должна кричать.
Покуда на моей макушке волос
Еще не выпал, буду в полный голос
До хрипоты того разоблачать,
Кто нас трещотками посмел назвать».
«Сударыня,— сказал Плутон в ответ,—
Вам уступаю. Но я дал обет
Вернуть почтенному супругу зренье,
И приведен он будет в исполненье.
Король я,— лгать не дело королей».
«А я, мой сударь, королева фей,—
Ответила на это Прозерпина.—
Жену снабдить ответом не премину».
«Пусть будет так»,— сказал в ответ Плутон.
Теперь мы к рыцарю вернемся. Он
Все продолжал бродить с прелестной Маей
И напевать не хуже попугая:
«Люблю тебя, ты жизни мне милей!»
И вот они одною из аллей
К той самой груше подошли обратно,
Где на ветвях с надеждою приятной
Сидел средь свежих листьев Дамиан.
Тут Мая вдруг свой изогнула стан
И начала стонать, как бы от боли:
«О господин, всего на свете боле
Желательно мне груш поесть сейчас,
Не то умру я, уверяю вас.
Ах, ради пресвятой Марии-девы,
Вас умоляю, помогите мне вы.
Ведь к зелени подобный аппетит
Беременных нередко так мутит,
Что отказать им было бы опасно».
На это Январий: «Ах, напрасно
Слугу не взял я из дому с собой!
Сам не могу помочь,— ведь я слепой!»
«Большой беды тут нет,— сказала Мая.—
Ствол только обхватите (я ведь знаю,
Что нет ко мне доверия у вас),
И влезу я на дерево тотчас,—
Мне только бы на вас поставить ногу».

«Пожалуйста! — ответил муж.— Ей-богу,
Согласен я и кровь пролить за вас».
Он наклонился, Мая оперлась
И, сук схвативши, поднялась на грушу
(Простите, дамы, если я нарушу
Приличья,— безыскусствен мой язык);
Рубашку поднял Дамиан и вмиг
Проник,— куда, вам всем небось известно.
Поступок этот увидав бесчестный,
Плутон супруга сделал зрячим вдруг,
И тот, глазами обведя вокруг,
Почувствовал в душе блаженство рая,
Но скоро мысль ему пришла о Мае.
Он устремил на дерево свой взор
И вдруг увидел: так ее припер
Там Дамиан, что молвить неприлично.
Он издал крик отчаяния зычный,
Как мать кричит, чей сын навек уснул:
«Сюда, сюда, на помощь, караул!
Ты что там делаешь, я знать желаю!
Да что же это, дева пресвятая?»
На это Мая молвила в ответ:
«Сэр, выдержки у вас, я вижу, нет.
Мне рассказали,— я не лгу, ей-ей! —
Что, коль хочу вернуть вам свет очей,
На дереве вступить в борьбу мне надо
С мужчиною, и я была так рада,
Что мне устроить это удалось».
«Ты вздор молоть,— ответил рыцарь,—
брось!
Ведь собственными видел я глазами,
Какая шла борьба там между вами.
Позор вам!» Мая же ему в ответ:
«Так, значит, в этом средстве прока нет,
Увы, вполне мне ясно, в самом деле,
Что вы, о господин мой, не прозрели.
Густая мгла вам застилает взор».
«Да нет же,—крикнул Януарий,— вздор!
Вполне прозрел я и, тебе на срам,
Заметил, чем вы занимались там».
На это Мая: «Сударь, вы больны.
Не знаю за собой иной вины,
Опричь желанья возвратить вам зренье».

«Прости,— ответил муж, придя в
смущенье,—
Коль я тебя обидел чем-нибудь.
Спустись ко мне и обо всем забудь.
Но мне казалось, что я вижу ясно,
Как Дамиан к груди твоей прекрасной
Склонился, вверх задрав рубашку».— «Ах,—
Вздохнула Мая,— мгла у вас в глазах.
Как человек, проснувшийся недавно,
Предметы видит не совсем исправно,—
Всегда пройти какой-то должен срок,
Чтоб он отчетливо их видеть мог,—
Так точно и слепой, который зренье
Обрел внезапно, в первое мгновенье
Предметы видит как бы сквозь туман,
Ему еще грозит самообман;
Не раньше он, как через день-другой,
Проститься может с прежней слепотой.
Не забывайте, сударь, ради бога,
Что на земле таких людей премного,
Которым кажется не то, что есть.
Им в заблужденье долго ли забресть?».
Развесил старый Януарий уши,
И только соскочила Мая с груши,
Он стал ее с восторгом целовать,
Живот ей гладить, всячески ласкать;
Потом пошел с ней вместе во дворец.
Тут длинной повести моей конец.
Здоровья и веселья вам желаю,—
Храни нас бог и дева пресвятая.

Здесь кончается рассказ
Купца

ЭПИЛОГ
К РАССКАЗУ КУПЦА

«Спаси нас боже от такой жены! —
Вскричал трактирщик.— Женщины полны
Обмана, лжи и всяческих уловок.
Ведь как бы ни был муж злосчастный ловок,
Они, как пчелы, трудятся весь день,
Мед собирая; ты ж стоишь, как пень,
Опорой улья и глядишь печально,
Как лакомится медом гость нахальный.
Иль вот: верна, как сталь, моя жена,
Но не похвалится умом она.
Придирчива, горласта и сварлива,
Она не даст мне выпить кружки пива
С приятелем. Да что и говорить.
Всегда найдешь, за что жену бранить.
И, знаете, скажу вам по секрету,
Скорблю нередко, что обузу эту
Взвалил я на плечи, себя связал,
Когда жену свою я в жены взял.

Но, видит бог, какой дурак я был бы,
Когда жены злонравие хулил бы.
Скажу по опыту — про то б узнала,
И крику было бы тогда немало;
А передал бы кто-нибудь из вас,—
Кто именно, неважно (всякий раз
Кого-нибудь найдет, кто б рассказал ей).
Поэтому молчу. Я слово дал ей
Молчать про то, что деется у нас.
Вот, стало быть, друзья, и весь мой сказ».

ПРОЛОГ СКВАЙРА

Слова Трактирщика Сквайру

«Сэр сквайр,— сказал трактирщик,— надлежало б
Теперь, когда стенаний столько, жалоб
Мы слышали, чтоб первый ваш рассказ
Был о любви, порадовал бы нас,
Заставив позабыть про все напасти».
«Поверьте, сэр, что я почту за счастье,
Коль мой рассказ по вкусу будет вам
И всем достопочтенным господам».

РАССКАЗ СКВАЙРА

Здесь начинается рассказ Сквайра

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В татарском граде Сарра проживал
Царь, что нередко с Русью воевал,
Губя в ожесточенных этих войнах
Немало юных витязей достойных.
Он звался Камбускаком, и полна
Молвой о нем была в те времена
Вселенная,— везде народ привык
В нем видеть лучшего из всех владык.
Хотя в язычестве он был рожден,
Но свято чтил им принятый закон;
К тому же был отважен, мудр, богат,
Всегда помочь в беде любому рад,
Был крепко верен слову своему
И волю подчинять умел уму.
Красив и молод, он превосходил
Всех юных родичей избытком сил.
Во всем его сопровождал успех,
И роскошью, что чаровала всех,
Любил он украшать свой царский сан.
Двух от жены Эльфаны Камбускан
Имел сынов, и Альгарсифа имя
Носил их первенец, а младший ими
Был прозван Камбало. И дочка тоже
Была у них, тех двух детей моложе,
По имени Канака. Рассказать

Про красоту ее мне не под стать,
Задача эта слишком высока
Для моего простого языка;
Тут нужен ритор опытный,— лишь он,
В искусство красноречья посвящен,
Сумел бы описать такое диво
Внушительно и вместе с тем правдиво.
Такого у меня таланта нет.
Так вот, когда минуло двадцать лет
С тех пор, как начал Камбускан правленье,
Он приказал в день своего рожденья,
Как повелось уже из года в год,
Созвать на праздник верный свой народ.
Вновь иды мартовские наступили.
Феб в эти дни в своей был полной силе,—
На Марса глядя, весело сверкал
И по лазури путь свой направлял
В жилище зной несущего Овна.
Погода сладости была полна,
И в солнечных лучах сверкали птицы;
Из глоток их не уставала литься
Песнь благодарности за свежий луг
И за спасение от тяжких мук
Зимы, в чьей длани острый, хладный меч.
Царь Камбускан, о коем шла уж речь,
В роскошной мантии, в златой короне,
Средь приближенных восседал на троне
И задавал такой богатый пир,
Какого не видал дотоле мир.
Дня летнего мне б не хватило, верно,
На описанье роскоши безмерной
Разнообразных и несчетных блюд.
Считаю я за бесполезный труд
Вам говорить о цаплях, лебедях
И необычных рыбах на столах;
Премногое, что не в чести у нас,
У них считалось лакомством как раз.
Не мог бы, думаю, никто на свете
Подробно описать все блюда эти.
Напрасно утомлять не стану вас —
Тем более что уж не ранний час —
Подробностями лишними и сразу,
Не медля, к своему вернусь рассказу.

Так вот, когда уж третье блюдо съели
И Камбускан игрою менестрелей
Пленительною слух свой услаждал,
Какой-то рыцарь у преддверья в зал
На медном скакуне вдруг появился.
На пальце перстень золотой светился,
В руке держал он зеркало высоко,
И обнаженный меч висел у бока.
К столу подъехал этот рыцарь вдруг,
И воцарилась тишина вокруг.
Все, кто присутствовал,— и стар и млад,
В него вперили изумленный взгляд.
А незнакомый рыцарь на коне,
Весь, кроме головы одной, в броне,
Поклон царю отвесил, а затем
Его супруге и дворянам всем
С таким изяществом и знаньем правил,
Что сам Гавейн его бы не поправил,
Когда б вернуться снова к жизни мог
Сей рыцарских обычаев знаток
Из царства полусказочных преданий.
И вслед за тем, свой взор на Камбускане
Остановив, на языке родном
Он громко сообщил ему о том,
С каким к нему явился порученьем.
Блестящим поразив произношеньем
И всех своих движений красотой,
Он показал, что мастер он большой
В искусстве трудном выступать с речами.
За ним угнаться, вы поймете сами,
Не в силах я; то, что сказал он, вам
Я безыскусной речью передам.
Насколько помню, рыцарь так сказал:
«Я государя славного вассал,
Которому Аравия подвластна,
А также Индия. В сей день прекрасный
Он вас приветствует через меня
И просит медного принять коня,
Который подо мною. Конь за сутки,
Легко и не просрочив ни минутки,
Куда угодно вас перенесет.
Будь день погожим иль, наоборот,
Пусть дождь холодный хлещет неустанно,

Вас этот конь доставит невозбранно
В любое место, выбранное вами,
А если, как орел, над облаками
Вы захотите совершить полет,
Он, не пугаясь никаких высот,
По воздуху домчит вас, верьте мне
(Хотя б вы спали на его спине).
Когда в обратный захотите путь,
Вам стоит лишь иголку повернуть.
Усердно изучался ход светил
Тем, кто коня такого сотворил,
И разных тайных чар он знал немало.
А в это, что держу в руке, зерцало
Лишь взглянете,— узнаете тотчас,
Когда несчастье ждет ваш край иль вас,
И кто вам друг, и кто вас ненавидит.
Еще в нем дева чистая увидит,
Коль в человека подлого она
Всем сердцем беззаветно влюблена,
Какой он совершает грех пред нею,
И образ той, которую своею
Отрадой ныне называет он.
Сюда, под этот вешний небосклон,
Я прислан зеркало и перстень сей
Вручить Канаке, госпоже моей
И вашей дочери, отменно милой.
А в перстне этом вот какая сила:
На пальце он сверкай у госпожи
Иль в кошелек она его вложи,
Язык понятен станет ей всех птах,
Летающих над лугом и в кустах;
Она проникнет в тайну их бесед,
По-птичьи сможет им давать ответ;
И дар познанья трав ей будет дан,
Она сумеет каждую из ран
Излечивать особою травой.
На обнаженный меч взгляните мой,
Висящий тут. Любой рукой взнесен,
Броню крепчайшую разрубит он,
Хотя б она была, как дуб, толста.
И тела пораженные места
Одним лишь средством можно излечить —
Клинок плашмя на раны положить;

Когда клинок плашмя ударит вновь
По тем местам, откуда брызжет кровь,
Тотчас закроется любая рана.
Я сообщаю правду без изъяна,—
Послужит вам на пользу этот меч».
Когда свою закончил рыцарь речь,
Он зал покинул и сошел с коня.
Сверкая ярко, как светило дня,
Среди двора недвижно конь стоял,
А рыцарь все свои доспехи снял.
И в предназначенный покой ушел,
Где для него уже накрыт был стол.
Его подарки — зеркало с мечом —
Отрядом слуг отнесены потом
На самый верх высокой башни были.
А перстень чудодейственный вручили
Еще сидевшей на пиру Канаке.
Меж тем — и это правда, а не враки —
Конь медный словно бы к земле прирос.
Как ни пытались, все ж не удалось
Громаду сдвинуть хоть бы на вершок,—
От лома и колодок мал был прок.
Никто не знал, как завести его,
И он до часа простоял того,
Когда им рыцарь рассказал, как надо
Пустить в движенье медную громаду.
Перед конем толпился стар и млад,
В него вперивши восхищенный взгляд.
Так был высок он, длинен и широк,
Так дивно строен с головы до ног,
Что на ломбардских походил коней,
А взор его был жарче и живей,
Чем у пулийских скакунов, и люди
Считали, что природа в этом чуде
Исправить не могла бы ничего,
Что этот конь — искусства торжество.
Но высшее будило изумленье
То, что способен приходить в движенье
Лишенный жизни медный истукан.
Казалось, это — сказка дальних стран.
Всяк с домыслом особым выступал,
И, словно шумный улей, двор жужжал.
В умах носился рой воспоминаний

Из старых поэтических преданий:
Пегаса называли, в небосвод
На крыльях совершавшего полет,
И пресловутого коня Синона,
Который погубил во время оно,
Как знаем мы из книг, троянский град.
«Боюсь,— сказал один,— что в нем отряд
Вооруженных воинов сокрыт,
Который нам погибелью грозит.
Быть начеку должны мы!» А другой
Шепнул соседу: «Разговор пустой!
Скорее это чар волшебных плод,
Подобный тем, которыми народ
Жонглеры тешат в праздничные дни».
И так предолго спорили они,
Как спорить неучам всегда привычно
О том, что для ума их необычно:
Они не разбираются в вещах,
Их домыслами руководит страх.
Дивились также многие немало
Еще не унесенному зерцалу,
В котором столько можно увидать.
И вот один пустился объяснять,
Что дело тут не боле и не мене,
Как в угловой системе отражений,
Что в Риме зеркало такое есть
И что об этом могут все прочесть
У Альгасена и Вителлиона,
Что знал зеркал и перспектив законы,
И говорил о них уж Стагирит.
С не меньшим изумлением глядит
Народ на дивный всерубящий меч.
И о Телефе тут заходит речь
И об Ахилле, что своим копьем
Мог поражать и исцелять потом,
Как всякий тем мечом, с которым вас
Недавно познакомил мой рассказ.
И вот о том, как раны исцелять,
Как и когда металлы закалять,
Беседа завязалась вдруг живая.
Я в этом ничего не понимаю.
Затем возник о перстне разговор,
И все признались в том, что до сих пор

О невидали этакой слыхали
Одно, а именно, что толк в ней знали
Лишь Моисей и Соломон-мудрец.
Все стали расходиться наконец,
И тут один сказал, что для стекла
Весьма пригодна ото мха зола.
Хотя стекло и мох ничуть не схожи,
Все согласились, ибо знали тоже
Об этом кое-что. Так гром, туман,
Прибой, сеть паутинок средь полян
Нас лишь тогда ввергают в изумленье
Когда не знаем мы причин явленья.
Пока меж них беседа эта шла,
Поднялся Камбускан из-за стола.
Полдневный угол Феб уже покинул,
И с Альдираном Лев бесшумно двинул
Свои стопы на горний перевал,
Когда из-за стола владыка встал
И, окружен толпою менестрелей,
Которые под инструменты пели,
Прошествовал в приемный свой покой.
Я полагаю, музыкой такой
Слух услаждается на том лишь свете.
И в пляс Венерины пустились дети:
Их госпожа в созвездье Рыб вошла
И вниз глядела — ласкова, светла.
Царь Камбускан на троне восседал,
И незнакомый рыцарь сразу в зал
Был приглашен, чтоб танцевать с Канакой.
Великолепье празднества, однако,
Кто в состоянье описать? Лишь тот,
Чье сердце, словно юный май, цветет
И кто в делах любовных искушен.
Кто описал бы нежных лютней звон,
И танцы, и роскошные наряды,
И юных дев прельстительные взгляды,
И полные лукавства взоры дам,
Ревнивым нестерпимые мужьям?
Лишь Ланселот, но он лежит в могиле.
Поэтому, не тратя зря усилий,
Скажу одно: дотоле длился пляс,
Покуда к ужину не пробил час.
Вино и пряности дворецкий в зал

Принесть под звуки лютней приказал.
Прислуга бросилась к дверям проворно
И через миг в приемный зал просторный
Внесла вино и пряности. Потом,
Поев, попив, пошли все в божий дом,
А после службы вновь к столу присели.
Подробности нужны ли, в самом деле?
Известно каждому, что у владык
Запас всего роскошен и велик.
Чтоб яства все назвать, день целый нужен.
Как только был закончен царский ужин,
На двор отправился с толпой дворян
И знатных дам преславный Камбускан
На медного коня взглянуть. Со дня,
Когда дивились так же на коня
Троянцы осажденные, едва ли
Какие-либо кони вызывали
Такое изумленье у людей.
Царь попросил, чтоб рыцарь поскорей,
Как заводить коня, дал объясненье.
Конь заплясал на месте в то мгновенье,
Как рыцарь под уздцы его схватил.
И тут же рыцарь вот что сообщил:
«Чтоб, государь, на нем пуститься в путь,
Иглу тут в ухе надо повернуть
(Ее вам с глазу на глаз покажу я),
А вслед за тем назвать страну, в какую
Попасть желаете, и конь тотчас
В желанную страну доставит вас.
Тогда необходимо повернуть
Иглу другую (в этом-то вся суть),
И остановится скакун мгновенно.
Уже никто тогда во всей вселенной
Его не сможет сдвинуть,— будет он
Стоять на месте, словно пригвожден.
А если скрыть его вы захотите
От глаз людских,— то эту поверните
Иглу, и он, исчезнув, словно дым,
До той поры останется незрим,
Пока его не позовете снова
(Я нужное для этой цели слово
Потом вам с глазу на глаз передам).
Все о коне теперь известно вам».

Когда царю все части скакуна
И все приемы объяснил сполна
Приезжий рыцарь, царь, отменно рад
И светел духом, к трапезе назад
Вернуться поспешил, в свой круг домашний.
В сокровищницу царскую, на башню,
Уздечку слуги отнесли тотчас,
А конь — не знаю как — исчез из глаз.
О нем я больше говорить не стану,
А только пожелаю Камбускану
Пропировать средь рыцарей двора
Ночь напролет, до самого утра.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Пищеварения помощник сон,
К ним близко подойдя, сказал, что он
Советует передохнуть часок:
Веселью, как работе, отдых впрок.
Потом он всех поцеловал, зевая,
И так промолвил: «Власть теперь большая
У крови,— да не будет ей препон».
Зевая, все благодарили сон,
Потом отправились на боковую,
Покоя безмятежного взыскуя.
Не буду вам описывать их снов:
Ведь сновидения хмельных голов
Всегда бессмысленны и бестолковы.
Проспали все до той поры, как новый
День воссиял. Среди ночного мрака
Прекрасная лишь не спала Канака.
Как только вечер наступил, она,
Благоразумья женского полна,
С отцом простилась и ушла, чтоб очи
Не замутились от бессонной ночи.
Заснувши вмиг, она проснулась скоро.
Ее духовному предстали взору
Два образа — зерцала и кольца.
Сто раз менялся цвет ее лица.
Еще во сне чудесное зерцало
Ее покой виденьем взволновало:
Пред тем как на небо взошло светило,

Она свою служанку разбудила
И заявила, что желает встать.
Принцессу принялась увещевать
Старуха умная, сказав в ответ:
«Куда вы, государыня, чуть свет?
Все спят еще глубоким сном». Однако
Стояла твердо на своем Канака:
«Я выспалась, мне хочется пройтись».
И скоро перед нею собрались
Прислужницы все остальные — то ли
Их десять было, то ль немного боле.
Канака встала, свежести полна,
Подобно солнышку, что в глубь Овна
Свершить успело лишь десятый шаг,
И вышла из дому, одевшись так,
Как для весенней надобно поры,—
Удобно для прогулки и игры.
Пять-шесть девиц ее сопровождало,
И прямо в парк дорога их лежала.
Хоть поднимавшийся от почвы пар
Закутал в мглу багровый солнца шар,
Природа так была прелестна все же,
Что сердце в сладкой трепетало дрожи
От утра вешнего и пенья птах
В одетых свежей зеленью кустах.
Канака понимала их язык,
Ей внятен был и щебет их и крик.
Коль туго развивается рассказ
И те, что слушают уж целый час,
К его охладевают содержанью,—
Рассказ свое теряет обаянье.
Многоречивость докучает нам,
Поэтому я понимаю сам,
Что нужно мне продолжить свой рассказ,
Не утомляя мелочами вас.
Бродя по просекам густого леса,
Вдруг набрела на дерево принцесса,
Совсем сухое, наподобье мела.
Там самка сокола вверху сидела,
Лес оглашая жалобной мольбой,
И крыльями обоими с такой
В грудь била силою, что вновь и вновь
Бежала по стволу на землю кровь.

Терзая клювом собственное тело,
Она стонала громко то и дело,
И, право, прослезился бы над ней
Любой из кровожаднейших зверей.
Когда бы слезы лить он только мог.
Тот, кто в делах сокольничьих знаток,
Признаться должен был бы без сомненья,
Что стана лучшего и оперенья
У сокола не видел он доселе.
Породы иноземной, в самом деле,
Казалась птица эта. Каждый миг,
Пред тем как жалобный издать свой крик,
Она без чувств упасть была готова.
Канаке перстень рыцаря чужого,
Сверкавший ярко на ее руке,
Все делал ясным в птичьем языке.
Стал говор всякой птицы ей знаком,
И отвечать могла она на нем.
Услышав стоны бедной соколицы,
Она, готова плачем разразиться
От состраданья и в душе своей
Участье нежное питая к ней,
К стволу сухому быстро подошла
И на бедняжку взор свой возвела.
Потом подол подставила, чтоб птице
Кровоточащей насмерть не убиться,
Упав на землю. Так ждала она,
Невыразимой жалости полна,
И наконец решила обратиться
С такою речью к бедной соколице:
«Скажите, если можете сказать,
Что заставляет вас так зло страдать?
Смерть друга иль любовная кручина?
Они одни — жестокая причина
Страшнейших наших горестей и бед,
Других причин, пожалуй что, и нет.
Вы столь безжалостны к себе самой,
Что, верно, ревность или страх лихой
Вас принуждают разъяряться так.
Я, право же, не вижу, кто вам враг.
Ах, вы к себе не будьте так жестоки!
Мне ни на западе, ни на востоке
Такого зверя встретить не дал рок,

Который был бы так к себе жесток.
Скажите мне, чем можно вам помочь?
Страданья ваши видеть мне невмочь,
В моей груди к вам жалости так много.
Скорей спуститесь наземь, ради бога,
И я, татарского владыки дочь,
Пока еще не наступила ночь,
Вас излечу от вашей злой кручины.
Не утаите лишь ее причины.
Я верю, что поможет мне господь.
Найду и травы я, что вашу плоть,
Истерзанную быстро исцелят».
Тут птица дважды вскрикнула подряд
И камнем наземь рухнула. Однако
Ее с земли подобрала Канака,
И та, очнувшись в ласковой руке,
Промолвила на птичьем языке:
«Что благородная душа к несчастью
И горю ближнего полна участья,
Мы это видим в жизни каждый миг
И знаем не один пример из книг.
Присуща жалость душам благородным.
Я вижу, о принцесса, что природным
Вы свойством доброты одарены
И что ко мне вы жалости полны.
Вам расскажу я про свою беду
Не потому, что облегченья жду,
Но идя вашей доброте навстречу.
Еще затем подробно вам отвечу,
Чтоб оградить других от лишних слез
(Как льва предупредил когда-то пес).
Послушайте же исповедь мою,
Покуда жизнь в себе еще таю».
Пред тем, как птица начала рассказ,
Канака так слезами залилась,
Что попросила та пресечь рыданья
И приступила так к повествованью:
«В пещере мраморной, где родилась
На белый свет я в злополучный час,
Жизнь ясно улыбалась мне вначале;
Не знала я ни горя, ни печали,
Пока не воспарила к небесам.
Недалеко от нас жил сокол там,

Который мне казался благородным,
Хотя на деле был лжецом негодным.
С таким искусством этот подлый тать
Умел свой нрав предательский скрывать,
Такое мне оказывал вниманье,
Что избежать его очарованья
Никто б не мог. Как змей из-под цветов
Подстерегает, укусить готов,
Так этот обольститель лицемерный,
Личиной вежливости беспримерной
И послушания всегда покрыт,
Хранил обманный благородства вид.
С красивым гробом был он схож, в котором
Смердящий труп лежит, не зримый взорам.
Его вся внешность так всегда полна
Была притворства, что лишь сатана
Проникнуть мог бы в смысл его речей,
Понять, что в нем скрывается злодей.
Столь долго якобы в меня влюблен,
Мне плакался и жаловался он,
Что пожалела я его за муки
И, опасаясь, что наложит руки
Он на себя, решила уступить
Обманщику лихому, наградить
Его своею верною любовью
На веки вечные, при том условье,
Чтобы при людях и наедине
Всегда почет оказывал он мне.
Я сердцем отдалась ему в полон
(Тому свидетели — господь и он)
И думала, что он мне предан тоже.
Но, говорят недаром, что не схожи
Своими помыслами подлый вор
И тот, кто чист душой. Когда мой взор
Ему сказал, что мною он любим,
Что мы сердцами обменялись с ним,
Что для него, как я уже сказала,
Жертв никаких я не страшусь нимало,
Жестокий этот тигр и лицедей
О преданности говорить своей
Мне на коленях стал в припадке дрожи,
Столь с трепетом любовной страсти схожей,
Что ни Парис троянский, ни Ясон,

Никто другой на свете с тех времен,
Как Лемех возлюбил двоих впервые,
О чем преданья говорят седые,
Никто с тех пор, как создан этот свет,
Искуснее не мог бы страстный бред
Изобразить, обман в душе тая.
Никто не мог бы, повторяю я,
В притворстве с ним сравниться отдаленно.
Ко мне свой взор направив восхищенный,
Меня благодарил с такою страстью,
Что в этот миг быть мной почла б за счастье
Любая и умнейшая из жен.
Представился таким покорным он,
И я с такой неколебимой верой
Внимала лживым клятвам лицемера,
Что умерла б охотно,— лишь бы он
Душой спокоен был и огражден
От неприятности, пусть самой малой.
И очень скоро я послушным стала
Орудием в его руках,— один
Мне стал он безграничный властелин.
Хочу сказать, что я своею волей
Располагать уже не смела боле,
Поскольку то совместно с честью было.
Так никого я в жизни не любила,
И полюбить мне не придется, нет!
Со мной он прожил около двух лет,
Не вызывая у меня упрека,
Но вот в конце указанного срока
Собрался он лететь куда-то вдаль.
О том, какая горькая печаль
Мной овладела, говорить не стану,—
Сердечную ведь не опишешь рану.
Скажу одно: тогда я поняла,
Что́ значит смерть — так несказанно зла
И нетерпима мнилась мне разлука.
Прощаясь с ним, я думала, что мука
Его терзает также,— так уныл
И взор, слезою замутненный, был,
И звук любого сказанного слова.
Я ничего не чуяла дурного.
Себе я говорила, что домой
Вернется скоро ненаглядный мой,

Чтобы зажить опять со мною вместе,
И что отлет его есть дело чести.
Так, сделав добродетель из нужды,
Я не роптала против злой беды.
Скрыть от него тоску стараясь, я
Ему сказала: «Видишь, я твоя,
Тому свидетель Иоанн святой.
Будь верен мне и ты, желанный мой!»
Что он ответил, повторять не буду:
Шептал он сладко, поступил же худо.
Он обласкал меня и прочь пошел.
Да, с длинной ложкою садись за стол,
Коль хочешь супа с сатаной хлебнуть.
Итак, в далекий он пустился путь
И там, на новом месте, очень скоро
Почувствовал, что к вору тянет вора,
Что каждый быть среди подобных рад
(Ведь так как будто люди говорят).
Разнообразье люди любят тоже,
Они весьма, весьма на птиц похожи,
Которых в клетках держат у себя.
Пекись о птице день и ночь, любя,
Ей устилай хотя бы шелком клетку,
Давай ей мед и сахар на заедку,
Но лишь открылась дверца — и тотчас,
Ногами чашку сбросивши, от вас
Она умчится в лес искать червей.
Нужна, как воздух, перемена ей.
Птиц даже самой благородной крови
Манит и радует лишь то, что внове.
Мой сокол точно так же поступил;
Хоть он высок был родом, юн и мил
И обольстителен чертою каждой,
Но самку коршуна ему однажды
Случилось встретить на своем пути,
И голову он потерял почти,—
Влюбился так, что все забыл на свете
И крест поставил на своем обете.
Погибла я в тот злополучный миг».
Тут соколица, вдруг издавши крик,
На грудь Канаки жалобно упала,
И та со свитою своей немало
Слез пролила над ней, не находя

Утешных слов. Немного погодя,
Принцесса птицу отнесла домой
И наложила нежною рукой
Примочки и припарки ей на раны;
Потом пошла в леса и на поляны
Искать разнообразных трав целебных,
Для заживленья ран ее потребных.
Она о бедной день и ночь пеклась,
Ее не покидая ни на час.
Воздвигла клетку ей она засим,
Всю бархатом устлавши голубым
В знак верности супруги этой редкой.
Зеленою была снаружи клетка
С фигурами пернатых всех лжецов —
Чижей и соколов, сычей и сов.
Чтоб делать им визгливые попреки,
Написаны тут были и сороки.
Канаку покидаю я сейчас
До той поры, как поведу рассказ
Про горькое раскаянье и стыд,
Велевшие — преданье говорит —
Вернуться соколу к своей супруге,
Что было также и плодом услуги
Знакомого нам принца Камбало.
Теперь как раз мне время подошло
К боям кровавым перейти, к сраженьям
И к разным небывалым приключеньям.
Сперва остановлюсь на Камбускане
С его успехами на поле брани,
Потом пойдет об Альгарсифе речь,
Кому жену булатный добыл меч,—
О том, как принца этого к победе
Сквозь бедствия привел скакун из меди;
И наконец, вам расскажу о том,
Как за Канаку Камбало копьем
Сразил обоих братьев. Мой рассказ
К событьям этим перейдет сейчас.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ЭПИЛОГ К РАССКАЗУ СКВАЙРА

Следуют слова Франклина Сквайру
и слова Трактирщика Франклину

«Ну, что ж! Ты, сквайр, нам рассказал
на славу
И джентльменом ты слывешь по праву,—
Сказал Франклин.— Хоть молод ты, а все ж
Разумника такого не найдешь
Средь юношей; не можем пренебречь мы
Такою памятью и красноречьем.
Будь счастлив, сквайр, но только во все дни
Свою ты скромность, друг мой, сохрани.
Родил я сына и скажу вам прямо,
Такой дурашливый он и упрямый,
Что лучшей пахоты своей кусок
Я уступил бы, лишь бы мой щенок
Был скромностью такою наделен.
Мой сын — дурак. Уверен я, что он
Мое богатство без ума растратит.
А умному своих сокровищ хватит,
Хотя б не получил он ничего
В наследство. Часто я браню его,
Что к добродетели он не привержен.
Все в кости бы играть да ставить верши,—
Не рыб, красоток разных уловлять.
Так жизнь свою он хочет провождать,
С пажами болтовню затеять рад,
Хотя полезней было б во сто крат

Вращаться среди знатных кавалеров,
Чтоб перенять язык их и манеры».
«К чертям манеры знатные и знать!
Вы, сэр франклин, должны бы сами знать,
Что ждут от каждого из нас рассказа,
Потом другого,— по второму разу.
А вы...» — «Сэр, погодите, не сердитесь,
Так усладил мой слух сей юный витязь,
Что я не мог не высказать того...»
«Да начинай, и больше ничего!»
«Охотно, сэр хозяин, не перечу
Я вашей воле, вам же я отвечу
Одним лишь словом: бога я прошу
Меня наставить; если угожу —
Я буду знать, что мой рассказ хорош,
А если нет, цена рассказу — грош».

ПРОЛОГ ФРАНКЛИНА

Бретонцы славные в былые дни
Слагали песни. Песни те они
Прозвали лэ по складу и напеву
Старинному. Их складывали девы
Бретонские, и распевал их бард.
И хоть я сам еще не очень стар,
А помню их. Но только не взыщите,
Коль что забуду, и меня простите.

Я неученый человек, простой
И не люблю красивости пустой.
Риторике, наукам не обучен,
Но постараюсь рассказать получше.
Не изучал речей я Цицерона,
И не бывал я на парнасских склонах.
Я красноречия цветов не знаю,
Лишь на полях цветы я различаю
Иль на узорных тканях и парчах,
И нет учености в моих речах.
Цветы риторики мне непривычны,
И к пению негоден голос зычный,
Но хоть не мастер я в сем трудном деле,
Рассказ начну, коль вы того хотели».

РАССКАЗ ФРАНКЛИНА

Здесь начинается рассказ
Франклина

В Арморике, года́ тому назад,
Жил некий рыцарь, книги говорят,
Который щедро лил в сраженьях кровь,
Чтоб заслужить вниманье и любовь
Прекрасной госпожи, чей дивный лик
Бессилен описать людской язык.
К тому ж и род ее был так высок,
Что рыцарь наш осмелиться не мог
В мечте признаться, коей был объят.
Но, наконец, его душевный склад
И преданность, которой чужд расчет
В ней состраданье вызвали, и вот
Она решила повенчаться с ним,
Владыкой сделавши его своим
(Поскольку в браке верх имеет муж).
Чтоб укрепить союз их тел и душ,
Поклялся рыцарь в том, что никогда
Не будет он в грядущие года
Над нею власть супруга проявлять,
Ей ревностью обидной досаждать:
Нет, как любовник госпожи своей,
Намерен он служить покорно ей,

Владыкой называясь лишь для виду,
Чтоб от людей не потерпеть обиду.
Она ему промолвила в ответ:
«Я благодарна вам за ваш обет
Быть, как досель, почтительным ко мне.
Даю вам слово: по моей вине
Меж нами ссор не будет никогда.
Женою верной буду вам всегда,
Пока дышу». И жизнь их потекла
Спокойно, радостно, не зная зла.
Скажите мне, какое в том сомненье,
Что к дружбе ключ — взаимоподчиненье.
Друзья должны в согласье полном жить,—
Насилье может дружбу задушить.
Его не терпит бог любви: тотчас,
Его почуяв, покидает нас.
Как все духовное, любовь вольна,
И всякая достойная жена
Свободной хочет быть, а не рабыней.
Мила свобода ей, как и мужчине.
Быть снисходительным велит любовь,
Себе не портить раздраженьем кровь,
Высокой добродетелью, по мненью
Людей ученых, надо счесть терпенье:
Оно сильнее строгости стократ.
Кто слово каждое поставить рад
Другому в строку, счастья недостоин.
Ты должен в обращенье быть спокоен.
Найдется ли на свете человек,
Который не споткнулся бы вовек?
Недомоганье, гнев, планет стеченье,
Хмель, плотского состава измененье
Ошибку нам внушают не одну;
Нельзя же все их ставить нам в вину.
Кто властвовать желает над собой,
Тот должен чувства сдерживать порой.
Чтоб не нанесть взаимной дружбе вред,
Наш рыцарь госпоже свой дал обет,
И та супругу с самого начала
Примерной быть женою обещала.
Вот образец содружества для нас!
Стал господином и слугой зараз
Достойный рыцарь,— господином в браке,

Слугой в любви. Но понимает всякий,
Что он по существу владыкой стал,
Раз госпожи любовь завоевал.
Хотя и госпожа ему она,
Но вместе с тем, однако, и жена.
И вот, счастливый, с молодой женой,
Наш рыцарь в путь отправился домой.
Вблизи от Пенмарка он зажил с ней,
И потекла чреда блаженных дней.

Сказать сумеет ли, кто не женат,
Какой полна отрадой из отрад
Супружеская жизнь? Блаженный год
Мелькнул, как сон прекраснейший, и вот
Наш рыцарь (Арвирага из Кайрруда
Носил он имя) вздумал, что не худо
Ему бы в Англию на год-другой
Отправиться за славой боевой
(Он этой славой дорожил всемерно).
Мой автор сообщает, что примерно
Два года прожито там было им.

Теперь от Арвирага поспешим
К его жене, прекрасной Доригене.
Любя супруга своего не мене,
Чем жизнь свою, о нем и день и ночь,
Своей тоски не в силах превозмочь,
Она рыдает и клянет разлуку,
Доставившую ей такую муку,
Что белый свет ей кажется не мил.
Друзья бедняжки, не жалея сил,
Стараются развлечь ее, утешить,
Советуют ей голову не вешать,
Твердят о том, что оснований нет
Ей жизнь свою губить в расцвете лет.
Чтоб излечить ее от злой тоски,
Им все усилья кажутся легки.

Мы знаем, что настойчивым трудом
И с камнем можно совладать, на нем
Глубоко образ начертав иль знак.
Слова друзей подействовали так,
Что в душу Доригены утешенье
Проникло наконец, и облегченье
Ее больная ощутила грудь;
Могла от тяжкой муки отдохнуть.

Да и супруг писал, что он здоров
И двинуться в обратный путь готов.
Когда б не эти письма Арвирага,
Она бы умереть сочла за благо.
Друзья, лишь отошла она немного,
Просить тотчас же стали, ради бога,
Прогулку вместе с ними предпринять,
Чтоб мрачные все мысли разогнать.
Она сочла, что возражать не след,
И приняла в конце концов совет.
Над самым морем замок их стоял,
И Доригена вдоль прибрежных скал
В кругу друзей бродила взад-вперед,
Глядя на то, как над пучиной вод
Под парусами плыли корабли,—
Одни к земле, другие от земли.
И вот суда, что бороздили море,
В ней бередили боль. «О горе, горе! —
Она вздыхала.— Где же мой супруг?
Излечит сердце он один от мук».
Порою же, в раздумье погрузясь
И с волн вспененных не спуская глаз,
Она сидела. Вид опасных скал
Ее внезапно страхом потрясал;
Мутился ум у бедной, над травой
Она бессильно никла головой
И с ужасом шептала, мутный взор
Вперив в обманчивый морской простор:
«О вечный боже,— ты, что над вселенной
Царишь извечно волей неизменной,
Ты создал лишь благое, говорят.
Но этих черных скал унылый ряд,
Что кажется зловещим привиденьем,
А не благого господа твореньем,
Тобою создан, господи, к чему
Наперекор и сердцу и уму?
Ни человек, ни зверь от века тут
Найти прокорм не могут и приют.
К чему нужны, о боже, скалы эти?
Они лишь зло плодят на белом свете.
Людских немало сотен тысяч тел
Их острый гребень погубить успел,
Меж тем не человек ли, о творец,

Прекраснейший творения венец,
И должен был бы ты его любить
Превыше всех. Так чем же объяснить,
Что ты, к погибели людей стремясь,
Такие средства создал против нас?
Ах, знаю я,— ученые найдут
Тьму доказательств, что на свете тут
Отлично все. Я с ними не согласна.
Тебя, благой господь, молю я страстно:
Ты, ветрам указующий пути,
Мне моего супруга возврати.
Ученые свое пусть говорят,—
Ты, боже, сделай так, чтоб черный ад
Все эти скалы поглотил навеки».
И льются слез ее горячих реки.
Тут поняли друзья, что берег моря
В ней только раны бередит от горя,
И стали уводить ее к ручьям,
К источникам, с ней появляться там,
Где пляской забавлялись иль игрой
За шахматной или другой доской.
Однажды утром в близлежащий сад
Они пошли, куда заране взят
Яств и напитков разных был запас,
С тем чтоб домой вернуться в поздний час,
Наполнив день веселою игрой.
А было это в мая день шестой,
И юный май раскрасил нежно сад
Своим дождем, несущим аромат.
Людскими же руками так прелестно
Сад разукрашен был, что на небесный
Он походил своею красотой.
С ним не сравнился б ни один земной.
Так свеж он был и так благоухал,
Что у любого, кто в него вступал,
На сердце легче делалось мгновенно.
Коль не был он подавлен совершенно
Тоской, которой исцеленья нет.
И вот, когда окончился обед,
Все танцевать под звуки песен стали;
Лишь Доригена, полная печали,
Одна блуждала взорами вокруг
И думала: «Где милый мой супруг?»

Но ей, смирившись, надо было ждать
И боль души надеждой облегчать.
Среди танцующих пред ней мужчин
Был юный паж, красивый дворянин,
Что, яркой платья пестротой блистая,
Затмил, сказал бы ты, все краски мая.
Он так отлично пел и танцевал,
Что тут соперников себе не знал.
И вообще, коль правду вам сказать,—
Из наилучших лучшим был под стать.
Отважен, доблестен, богат, умен —
Любовью общей пользовался он.
Вам нужно знать еще, что сей юнец,
Венеры преданный слуга и жрец,
По имени Аврелий, к Доригене —
Она не ведала его мучений —
Любовью года два уже пылал,
Но тщательно любовь свою скрывал.
Он не решался высказаться ей
И пил из кубка яд тоски своей.
Отчаяньем томимый, но немой,
Он только в песнях выдавал порой
Свою тоску,— в них говорил, что им
Бесчувственный предмет любви любим.
И этой темой наполнял Аврелий
Ряд песенок, элегий и ронделей;
Скрывать, мол, должен он свою беду
И мучиться, как фурия в аду;
Как Эхо, что свою таила страсть,
Он принужден под грузом тайны пасть.
Таким лишь способом решался он
Сказать, как безнадежно он влюблен.
Во время танцев лишь, когда девицы
Имеют случай втайне порезвиться,
Он ей в лицо заглядывал порой
С безмолвной и загадочной мольбой,
Которую она не понимала.
И вот теперь, когда смеркаться стало,
Меж ними завязался разговор.
С ним будучи знакома с давних пор,
Его привыкла уважать она,
Была к нему доверия полна.
И разговор их так повел Аврелий,

Чтоб подойти к своей заветной цели.
«Сударыня,— сказал он,— если б вас
Порадовало это, в день и час,
Когда отплыл отсюда Арвираг,
Отплыл бы на чужбину я, и так,
Чтоб не вернуться никогда домой.
Напрасен, вижу, пыл душевный мой.
Одна лишь мука за любовь мне плата.
О, смилуйтесь! Как лезвием булата,
Меня убить вы властны иль спасти.
О, если бы при вас мне в гроб сойти!
Не буду больше тратить лишних слов,
Ваш приговор я выслушать готов».
Она его спросила: «Неужели
У вас такие помыслы, Аврелий?
Я этого не знала никогда,
Теперь все стало ясно мне,— о да!
Но господом клянусь, творцом вселенной,
Что никогда блудницею презренной
Не сделаюсь. Останусь я верна
Тому до гроба, с кем обручена.
Вот окончательный мой вам ответ».
Но тут, за этими словами вслед,
Сказала в шутку: «Если в самом деле
Вы так по мне страдаете, Аврелий,
Навстречу вам я, может быть, пойду.
Мне удалите этих скал гряду,
Что высится вдоль берега Бретани,
Грозя судам, блуждающим в тумане,
И в тот же день, как скроются из глаз
Утесы эти, обещаю вас
Я полюбить, Аврелий, всей душой.
Клянусь вам: я обет исполню свой.
Но на успех у вас надежды нет,
Поэтому любовный бросьте бред.
Какая радость, объясните мне,
Пылать любовью к мужниной жене?
Другому ведь она принадлежит».
Аврелий, огорчением убит,
Спросил: «От вас другого не дождусь?»
«Нет,— молвила она,— творцом клянусь».
Услышав это, издал стон Аврелий
И прошептал: «Сударыня, велели

Мне сделать сверхъестественное вы,—
Лишь умереть осталось мне, увы!»
Сказавши так, он отошел тотчас.
И подоспели тут друзья как раз
И увлекли ее бродить в аллеи
(Понятья о беседе не имея).
Вновь игры, танцы начались, пока
На небе не померкли облака
И с горизонта свет не скрылся прочь,—
Покуда, проще, не настала ночь.
Все двинулись, веселые, домой;
Аврелий лишь, снедаемый тоской,
С лицом унылым вышел вон из сада.
О смерти мысль — одна его отрада,
На сердце у него как будто лед.
Воздевши к небу руки, он бредет
И падает внезапно на колени
Под тяжестью неслыханных мучений.
Следя безумным взором за луной,
Молитву к ней возносит, сам не свой,
Сперва призвав богини брата, Феба.
«Владыка,— молвит он,— земли и неба,
Животворишь на этом свете ты
Все травы, все деревья и цветы;
По небосводу свой свершая бег,
Им всем даруешь ты цветенья век,
Зависимый от твоего вращенья.
Взгляни, владыка, на мои мученья.
Пришел конец моих печальных дней!
Из уст жестоких госпожи моей
Услышал я свой смертный приговор.
Ко мне направь твой милостивый взор!
Ведь, кроме госпожи моей, лишь ты
Меня бы мог спасти от маеты.
О, разреши мне указать тебе,
Как можешь ты помочь моей судьбе.
Твоей сестры, божественной Люцины,
Власть признают морские все глубины;
Хотя Нептун их божество, но он
Ее верховной власти подчинен.
Ты знаешь, Феб, что так же, как она,
Желая быть тобой озарена,
Всегда стремится за тобой вослед

И убегающий твой ловит свет,
Так все моря бегут вослед за ней,
Верховною владычицей своей.
Услышь, владыка, крик моей души,
Мне во спасенье чудо соверши:
В свиданья вашего ближайший час —
Оно случится в знаке Льва как раз —
Уговори сестру поднять такой
У берега Арморики прибой,
Чтоб самая высокая скала
Два года скрыта под водой была.
Тогда скажу я госпоже: «Обет
Исполни свой,— гляди: утесов нет».
Уговори сестру, владыка дня,
Тебя не обгонять. Из-за меня
Заставь ее держать с тобою шаг
И двигаться два целых года так.
Тогда, сильна своею полнотой,
Она сумеет удержать прибой.
А если не угодно будет ей
Над тяжкой мукой сжалиться моей,
То этих черных скал унылый ряд
Пусть погрузит она в свой мрачный ад,
Где царствует Плутон. Иначе — ах! —
Моя мечта развеется, как прах.
Босой пойду я в твой дельфийский храм,
О Феб! Гляди, как по моим щекам
Струятся слезы. Сжалься надо мной!»
И с этими словами, сам не свой
От муки, вдруг упал без чувств Аврелий.
Потом, больной, метался он в постели,
Куда был братом отнесен (тот знал,
Как он безмерно от любви страдал).
Аврелия оставлю я в бреду
И вам рассказ свой дальше поведу.
Здоров и славой рыцарской богат,
Вернулся юный Арвираг назад,
С ним вместе рыцарей отважных цвет.
Предела счастью Доригены нет:
В ее объятьях — славою венчанный
Супруг возлюбленный и долгожданный,
Которому она милей, чем свет.
У Арвирага даже мысли нет,

Что кто-нибудь за эти годы с ней
Смел о любви беседовать своей.
Душой спокоен, он проводит дни
В турнирах, в танцах. Пусть теперь они
Блаженству предаются и веселью,
А я вернусь к несчастному Аврелью.
Два года с лишним он лежал больной,
Томимый неизбывною тоской,
Прикованный и день и ночь к кровати;
Он утешенье находил лишь в брате,
Который ведал тайну братних мук
И, кстати, сведущ был насчет наук.
Да, поверял Аврелий лишь ему
Свои страданья, больше никому,—
Памфила молчаливей и скромнее,
Пылавшего к прекрасной Галатее.
Была снаружи грудь его цела,
Но в ней засела глубоко стрела,
А раны нет, как всем известно, хуже,
Чем та, что подлечил ты лишь снаружи,
Стрелы же смертоносной не извлек.
Брат плакал, но ничем помочь не мог.
И вдруг ему одно воспоминанье
Пришло на ум: то было в Орлеане,
Где он учился и всегда готов
Был, по примеру прочих школяров,
Увлечься всем, что странно, незнакомо,
Как, например, волшебных чар приемы.
Он вспомнил, что однажды там зашел
К товарищу и, посмотрев на стол,
Тотчас увидел, что на нем, раскрыт,
Учебник белой магии лежит.
(Товарищ книгу эту, знать, читал,
Хоть вообще он право изучал.)
В ней автор объяснял луны значенье,
К ней двадцати восьми жилищ влеченье,
И мало ли еще что было там,
Что кажется лишь болтовнею нам:
Святая вера ограждает нас
От наваждения и обмана глаз.
Когда об этой книге вспомнил он,
В нем дух взыграл, надеждой окрылен,
И он подумал: «К брату исцеленье

Теперь придет,— не может быть сомненья,
Что с помощью таинственных наук
Возможно зренье одурачить вдруг;
Как делают волшебники. Слыхал
На праздниках нередко я, что в зал
Они обильно воду напускали,
И, как по озеру, в обширном зале
Скользили лодки тихо взад-вперед.
Иль вдруг казалось, грозный лев идет,
Иль расцветает благовонный сад,
Иль со стены свисает виноград,
Иль замок высится, как исполин,—
И вдруг все исчезает в миг один.
Так был искусен зрения обман.
Отправиться нам надо в Орлеан,
Где школяра, быть может, мы найдем,
Что с лунными жилищами знаком
И сведущ в магии. Он, безусловно,
Избавит брата от тоски любовной.
Уверен я, что может волшебство
Утесы эти, все до одного,
От зрения людского отвести
И все преграды кораблям смести.
Коль берег будет чистым год-другой,
То брат от мук своих найдет покой.
Придется ей исполнить свой обет
Иль срам принять,— пути другого нет».
Что много говорить,— к постели брата
Он поспешил, надеждою объятый,
И тот, послушавши его рассказ,
Вскочил с постели и решил тотчас
Отправиться в далекий Орлеан
Искать лекарство от любовных ран.
Когда пред городом они уж были,—
До стен осталось меньше трети мили,—
Школяр им повстречался средних лет.
К ним по-латыни обратив привет,
Он вдруг сказал: «Я знаю, господа,
Причину, вас приведшую сюда».
И тут же им на месте показал,
Что и беду их и надежды знал.
Бретонец про товарищей спросил,
С которыми когда-то он дружил,

И тот сказал, что все уже в могиле;
Бретонца эти вести огорчили.
С коня Аврелий слез, и все втроем
К всеведущему орлеанцу в дом
Отправились, где этот чудодей
Их принял, как любимейших друзей.
Все в преизбытке там они имели;
Дивился этой роскоши Аврелий.
Пред тем как ужин подан был на стол,
Хозяин пред глазами их возвел
Чудесный парк, где под зеленой сенью
Паслись рогатые стада оленьи;
От псов охотничьих и острых стрел
Немало полегло оленьих тел.
Когда же дичь убитую убрали,
На берегу прелестном — там, подале,—
Затравлен кречетами аист был.
Потом турнир им зрение пленил.
И наконец, всем зрелищам на смену,
На луг волшебник вывел Доригену
Танцующей с Аврелием. И вдруг
В ладони хлопнул он, и все вокруг
Вмиг побледнело и совсем пропало,
Всей роскоши как будто не бывало.
Меж тем они не покидали дом
И точно так же и теперь втроем
Сидели, как и прежде, в кабинете,
Покуда зрелища сменялись эти.
Хозяин пажу своему сказал:
«А как же с ужином? Я приказал
Его подать уж час тому назад.
Час целый эти господа сидят
Со мною тут за письменным столом.
Когда ж мы к ужину их поведем?»
«Когда угодно вам,— ответил паж,—
Все подано, приказ исполнен ваш».
«Пойдемте же,— воскликнул он любезно,—
Влюбленным людям отдохнуть полезно».
Когда убрали со стола приборы,
Тотчас пошли о мзде переговоры
За то, чтоб маг гряду бретонских скал
От устья Сены до Гаронны снял.

Он дорожился, ссылкою на бога,
Что тысячу за это взять немного;
За тысячу и то охоты нет.
Аврелий радостно ему в ответ
Сказал: «Что тысяча? Весь шар земной,
Будь он моим,— клянусь вам головой,—
Охотно отдал бы тотчас же я.
Готова сделка. Вот рука моя
В том, что я честно оплачу ваш труд.
Но вы нас не задерживайте тут,
На родину нам надо поскорей».
«С зарею в путь»,— ответил чародей.
Аврелий, приготовившись в поход,
Проспал спокойно ночь всю напролет.
Усталость вместе с милою надеждой
Ему смыкали до рассвета вежды.
Свет на востоке лишь успел блеснуть,
Тотчас в Бретань направили свой путь
Аврелий с чародеем, по ночам
Привалы делая то там, то сям.
Из книг я вычитал, что шли они
В морозные рождественские дни.
Бог Феб, который летнею порой
Сверкал на небе чашей золотой,
Стал ныне стар и головой поник;
Светился, как латунь, увядший лик.
Стоял он низко в знаке Козерога,
И наземь посылал лучей немного.
Дождями смыло зелень всю долой,
И Янус, бог с двойною бородой,
Близ очага из рога тянет хмель,
Закусывая ветчиной. «Ноэль!» —
Веселый по округе клич идет.
Аврелий уваженье и почет
Оказывал волшебнику все время
И умолял с него мучений бремя
Скорее снять, иль он себя убьет.
И жалостью такой проникся тот,
Что день и ночь спешил, как только мог,
Своих искусных чар приблизить срок —
Путем отвода глаз иль наважденья
(Астрологические выраженья
Мне незнакомы) сделать поскорей,

Чтоб всем казалось, в том числе и ей,
Что убрана прибрежная гряда
Бретонских скал иль, может быть, вода
Ее своей покрыла пеленой.
В конце концов он выбрал час такой,
Когда, решил он, применить возможно
Все изощренье мудрости безбожной.
Исправленных таблиц толедских том,
Как и всегда, был и теперь при нем.
Там, расположены в столбцы, стояли
Года, их суммы, корни и так дале;
Затем пропорции к его услугам
Там были вычислены к центрам, дугам,
Чтоб сразу уравненья составлять.
Чрез восемь сфер умел он рассчитать,
Как далеко Альнат удалена
От головы подвижного Овна;
В девятой расположенного сфере,—
Искусен в этом был он в высшей мере.
Путем пропорций все дома луны
По первому им были найдены;
Потом разведал он луны восход,
В каком квадрате то произойдет,
И вот узнал он, как свою задачу
Так выполнить, чтобы иметь удачу.
Ему отлично были ведь знакомы
Все колдовства ухватки и приемы,
Что были приняты у басурман.
И вот однажды, в ход пустив обман,
Он сделал так, что вдруг весь берег стал
Как будто бы очищенным от скал.
Надежду потеряв себе помочь,
В мучениях Аврелий день и ночь
Все ждал, когда же совершится чудо!
И вот, когда он увидал, что груда
Унылых скал исчезла вдруг из глаз,
Он, низко пред волшебником склонясь,
Воскликнул: «Вас и чудную богиню
Любви благодарю за благостыню.
Своею жизнью я обязан вам».
И с этими словами прямо в храм
Направился, чтоб свидеться с любимой.
Там к госпоже своей неумолимой

Он со смятенной подошел душой
И с речью обратился к ней такой:
«Сударыня, я чту вас так высоко
И вас люблю так нежно и глубоко,
Что огорчить вас — мука для меня.
Когда б не страсть, которой болен я,
Которая мне душу отравила,
Пред вами я молчал бы до могилы.
Чтоб не погибнуть, должен я стонать.
Мне без вины доколе же страдать?
Пусть жалости ко мне у вас и нет,
Но вспомните про данный мне обет.
Не обрекайте вы меня на ад,
Единственно в любви я виноват.
Вы помните, как мне сказали раз,—
Я ничего потребовать от вас
Не смею, милости лишь вашей жду,—
Вы мне сказали, помните, в саду,
Что разделить любовь мою готовы,
И в этом честное мне дали слово.
Хоть этого достоин я едва ли,—
Свидетель бог, тогда вы так сказали.
Я вам клянусь: мне ваша честь важней,
Чем исцеление души моей.
Сударыня,— исполнен ваш приказ,—
Проверить это приглашаю вас.
Мою судьбу я в руки вам отдам,—
Жив или мертв, вас буду ждать я там.
От вас теперь зависит жребий мой,
Но нет скалы там больше ни одной».
Из храма вышел он. Меж тем она,
Вдруг сделавшись бледнее полотна,
Подумала: «Не приходила мне
Тень мысли о подобной западне;
Считала я, что не было и нет
Таких чудес, пока стоит наш свет.
Нарушен этим ведь природы ход».
И горестно домой она бредет,
От страха голову неся едва.
Так день проплакала она иль два,
Упасть все время в обморок готова,
Но не сказала никому ни слова
О том, что приключилось,— Арвираг

В отъезде был. Наедине же так,
Уставивши в пространство взор усталый,
Она свои мученья изливала:
«Увы, о рок, в ужасные тиски
Меня ты взял. Мне от твоей руки
Спасенья где искать? Ах, знаю я:
Смерть иль позор отныне ждут меня.
Меж них должна я выбрать. Но клянусь:
Я лучше с милой жизнью разлучусь,
Чем тело дам свое на осквернение
Иль соглашусь на клятвопреступленье.
Пусть будет смертью рок преодолен.
Немало благородных дев и жен
Себя ударом умерщвляли смелым,
Чтоб согрешить не довелось им телом.
Примеров много от седых времен.
Когда в Афинах был убит Фидон
В покоях, где шумело празднество,
Тираны злые дочерей его
Велели привести совсем нагими,
Чтоб любострастно насладиться ими.
В крови отца плясать несчастных дев
Заставили,— сразу их божий гнев!
Но те, страшась бесчестье перенесть,
Свою девичью охраняя честь,
В пруд бросились и утонули там.
Об этом книги сообщают нам.
Пытались и мессенцы пятьдесят
Спартанских дев схватить и на разврат
Обречь тела их чистые, — с собой
Тогда покончили все до одной,
Предпочитая раннюю кончину
Покорству перед похотью мужчины,
И сохранили девственность свою.
Пред страхом смерти я ль не устою?
А что о Стимфалиде говорит
Преданье? В ночь, когда отец убит
Был по приказу гнусного тирана,
Она спастись бежала в храм Дианы;
Прильнувши к образу богини, так
В него впилась, что оторвать никак
Ее от образа не в силах были.
Так бедную на месте и убили.

Коль защищались девушки с такой
Отвагою от похоти мужской,
Тем более замужняя жена
Смерть осквернению предпочесть должна.
Примеров тьма: супруга Газдрубала,
Когда про взятье города узнала,
В костер метнула всех своих детей
И смерть приняла от руки своей.
Милее вечное ей было тленье,
Чем жадных римских рук прикосновенье.
А разве не покончила с собой
Лукреция, позор смывая свой?
Ту плоть, что осквернить дерзнул Тарквиний,
Она отважно обрекла кончине.
Семь дев милетских тоже смерть избрали,
Чтоб галлы, что на город их напали,
Девичью их не осквернили честь.
Примеров мужества не перечесть,
Которые тут можно привести.
Когда убит был Абрадат, прости
Последнее жена ему сказала
И с кровью мужниной свою смешала,
Шепнувши: «Верная тебе жена,
Никем не буду я осквернена».
Примеры множить надо ли? Когда
Столь многие в цветущие года
Предпочитали жизнь свою пресечь,
Чем плоть на поругание обречь,
Прикончить жизнь свою и я должна.
Коль не могу супругу быть верна,
Себя убью я, как во время оно,
Бежа позора, дочь Демотиона
Себя убила. Грустен, о Седаз,
Про бедных дочерей твоих рассказ.
При случае таком же все они
Свои пресекли молодые дни.
А девушка-фиванка, смерть которой,
Прията ею из-за Никанора,
Бедняжку от бесчестия спасла?
И та, другая, что на смерть пошла
Затем, что честь ее была распята
На ложе македонского солдата?

Супруга Никерата, ты себя
Убила тоже, честь свою любя.
Любимой девушке Алкивиада
Смерть добровольная была отрадой,
Чтоб не видать, как, бездыханный, он
Лежит, в святой земле не схоронен.
Альцеста, Пенелопа! Нам не надо
Вам славу петь,— вас знает вся Эллада.
Когда под Троей пал Протесилай,
С собой покончила, в загробный край
За ним решив уйти, Лаодамия.
Так поступили многие другие.
Брут Порцией так нежно был любим,
Что в гроб она сошла бок о бок с ним.
Все знают Артемизию,— она
Повсюду в варварских краях славна.
Царица Тейта чистотой своей
Пример для верных жен вселенной всей».
Так Доригена день, другой стонала
И мысль о смерти без конца ласкала.
На третью ночь вернулся Арвираг;
Заметив, что она печальна так,
Ее спросил он, в чем тому причина,
И воплем прорвалась ее кручина:
«Будь проклят моего рожденья час!
Я так и так — о горе! — поклялась».
И рассказала мужу то, о чем
Слыхали вы. Итак, вперед пойдем.
С улыбкой ласковой и ясной так
Жену спросил прекрасный Арвираг:
«Все, Доригена, рассказали вы?»
«Да, Арвираг, но этого, увы,
Достаточно!» Тогда сказал он ей:
«Не плачьте! Утро ночи мудреней.
Быть может, недалек счастливый час;
Но слову верной быть прошу я вас.
Клянусь творцом! За вас, моя любовь,
Скорей пролью я всю до капли кровь,
Чем допущу, чтобы покрыло тенью
Вам светлый образ клятвопреступленье.
Быть верным слову — высший нам закон».
И вдруг, заплакав, так продолжил он:
«Под страхом смерти запрещаю вам

Кому б то ни было, хотя б друзьям,
Об этой сообщать беде. А я
Жить попытаюсь, боль в душе тая.
Еще одно: пускай не выдаст вас
Ни складка губ, ни выраженье глаз».
Затем служанку с пажем он позвал.
«Супругу отведите,— им сказал,—
Туда, куда она укажет вам».
И те, покорствуя его словам,
Пошли,— куда, не ведая нимало,
Им госпожа ни слова не сказала.

И вот Аврелий молодой, тот самый,
Который так пленен был этой дамой,
Ее случайно встретил на пути,
Когда по людной улице пройти
Она в условленный спешила сад.
Он шел туда же. Уж с утра свой взгляд
Не отрывал он от ее окна
И все следил, не выйдет ли она.
Случайностью была ль их встреча эта
Иль рок,— но, радостно слова привета
К ней обратив, спросил Аврелий так:
«Куда вы направляете свой шаг?»

Она ответила, как бы в бреду:
«По приказанью мужа в сад иду,
Чтоб выполнить — о горе! — свой обет».

Аврелий, услыхав ее ответ,
Был изумлен, и чувство состраданья
В нем вызвали она, ее стенанья
И муж ее, достойный Арвираг,
Жену пославший в сад,— столь ярый враг
Он был измене клятвенному слову.
И вот Аврелий,— выхода иного
Найти не в силах, кроме одного,—
Решил от вожделенья своего
Отречься, чтобы рыцарский закон
Поступком подлым не был оскорблен.

Он обратился к Доригене так:
«Сударыня, я вижу: каждый шаг,
Что делаете вы, для вас постыл,
И столько благородства проявил
Ваш муж, которому страшней укор
Жене во лжи, чем собственный позор,

Что я готов страдать всю жизнь до гроба,
Чтоб только вы в согласье жили оба.
Все обязательства, что я от вас
В какой бы ни было год, день и час
Доселе получил,— вам, дорогая
Сударыня, я ныне возвращаю.
О вашем обещании клянусь
Навек забыть и с этим удалюсь
Из вашей жизни. Я жены честней
И лучше в жизни не знавал своей.
О, если бы все жены поступали
Подобно вам и слово бы держали!
Тогда бы повод для красивых дел,
Достойных рыцаря, и паж имел».
К его ногам она в слезах упала,
Потом пошла домой и рассказала
Все мужу, что сказал Аврелий ей.
Я затрудняюсь описать, ей-ей,
Как счастлив Арвираг был. Что же дале
Скажу про них? Как прежде, продолжали
В согласии взаимном жить они;
Блаженно, радостно текли их дни.
В их браке места не было ни гневу,
Ни ревности,— ее, как королеву,
Он чтил, она была ему верна.
Все этим сказано про них сполна.
Аврелий, потерявший деньги даром,
Жизнь предавал свою проклятьям ярым:
«Зачем философу в недобрый час
Я столько фунтов уплатить зараз
Пообещал? Продать я принужден
И вотчину. Увы, я разорен,
И предстоит мне, край покинув свой,
Чтоб не срамить родню, пойти с сумой.
Коль не удастся мне добиться льгот.
Рассрочить попытаюсь я расчет.
Философ согласится, может быть,
Свой гонорар частями получить.
Я, благодарность чувствуя глубоко,
В годах не пропущу ни разу срока».
Он к сундуку пошел, давясь от слез,
И золото философу отнес —
Всей суммы половину, остальное

Рассрочить попросив. К нему с такою
Он обратился речью: «Господин,
Людей спросите,— скажут, как один,
Что никогда не нарушал я слова.
Как мне ни трудно, выхода иного
Нет для меня, как долг отдать вам свой,
Хотя б я по миру пошел с сумой.
Но если года на три долг рассрочен
Мне будет под залог,— меня вы очень
Обяжете, иначе — не таю —
Я должен вотчину продать свою».
Философ, обратив спокойный взор
К Аврелию, спросил: «Наш договор
Не выполнил я разве?» Тот в ответ:
«Он выполнен отлично, спора нет».
«Добился ты своей заветной цели?»
«О нет!» — вздохнувши, прошептал Аврелий.
«Да почему же? Право, не пойму».
Тогда Аврелий рассказал ему
Подробно все, что вам уже известно
И повторять как будто неуместно.
Он рассказал, что Арвираг скорей
Готов был мучиться остаток дней,
Чем допустить, чтобы жена измену
Свершила клятве, и про Доригену
Он рассказал, что мужу изменить
Ей было хуже, чем себя убить.
Она не знала об отводе глаз
И по неведенью лишь поклялась.
«Так жаль их стало мне, что я от мужа
Ее приняв, нетронутой к нему же
Тотчас послал, велев идти домой,
И это — все; рассказ окончен мой».
Философ так ответил: «Милый брат,
Поступки ваши громко говорят
О благородстве. Рыцарь он, ты — паж.
Но упаси отец небесный наш,
Чтоб муж науки не был в состоянье
Вступить в подобное соревнованье.
Свой долг считай отпущенным, Аврелий.
Мы словно бы не виделись доселе
И в первый раз встречаемся с тобой,—
Я от тебя полушки ни одной

Взять не хочу за весь мой сложный труд.
С меня довольно, что оплачен тут
Мой стол. Прощай!» И после этих слов
Он на коня вскочил и был таков.
Вам, господа, вопрос один задам:
Скажите, самым благородным вам
Кто показался? Повесть же моя
Пришла к концу, поставил точку я.

Здесь кончается рассказ
Франклина

РАССКАЗ ВТОРОЙ МОНАХИНИ

Здесь начинается рассказ Второй монахини

Пестунья всех грехов — ее народ
То называет Праздностью, то Ленью —
Всех смертных к адовым вратам ведет;
Лишь тот окажет ей сопротивленье,
Кто в силах ей противоставить Рвенье.
И к этому стремиться мы должны,
Чтоб избежать засады сатаны.

Опутать нас он может постоянно
Бесчисленными тысячами пут;
Предайся праздности — и окаянный
Уж подстерег тебя, он тут как тут.
Тебя за ворот он — жесток и лют —
Хватает, и дрожат твои колени.
Не предавайся ж праздности и лени.

Хоть нас угрозы смерти не страшат,
Однако разум говорит нам ясно,
Что праздностью рождается разврат,
Всех мерзостей источник преопасный.
Кто власти подчинен ее ужасной,
Весь день лишь есть, и пить, и спать готов,
И пожирать плоды чужих трудов.

Чтоб оградить себя от этой власти,
Которая нас к гибели ведет,
Решил я житие твое и страсти
Пересказать, дав близкий перевод.
Речь о тебе, Цецилия, идет,
Святая мученица, что к могиле
Пришла с венком из дивных роз и лилий.

Тебя, всех дев наичистейший цвет,
О ком святой Бернард писал так чудно
И без кого нам утешенья нет,
Прошу я просветить мой разум скудный
И мне про путь поведать многотрудный
Той, что снискала рая благодать,
О чем в легенде можно прочитать.

О дева-мать, рожденная от сына,
Что грех нам помогаешь побороть,
Всех милостей источник и причина,
В чьем лоне воплотился сам господь!
Так взнесена тобой людская плоть,
Что сына своего творец вселенной
В нее облек для этой жизни бренной.

В твоей утробе вечная любовь
Обличие приобрела людское;
Она, одета в нашу плоть и кровь,
Царит над морем, небом и землею,
Что ей хвалу поют без перебоя;
Девичьей не утратив чистоты,
Творца всех тварей породила ты.

Величие в себе соединила
Ты, дева дев, с такою добротой,
Что — совершенства дивное светило —
Взор благодатный обращаешь свой
Не только к тем, кто с жаркою мольбой
Лежит у ног твоих,— ты милосердна
К тем даже, чьи уста замкнула скверна.

Так помоги же, чудо естества,
Мне, твари, брошенной в юдоль печали!
Припомни хананеянки слова:

«Щенки себе все крохи подобрали,
Что со стола господнего упали».
Хоть грешен я, меня не оттолкни,
Мне в доблесть веру жаркую вмени.

Без дела вера не мертва ль, однако?
Даруй мне силу труд исполнить мой,
Чтоб мог я вырваться из царства мрака,
О доброты источник неземной!
Будь мне, молю, заступницей святой
Там, где творца все славит неустанно,
О мать Христа, о дочь блаженной Анны!

Твой свет небесный в душу мне пролей,—
Она лежит больной в темнице тела,
Придавленная тяжестью страстей,
Томясь в тенетах плотского удела,
К тебе, благая, прибегаю смело:
Ты для страдальцев — пристань и приют,
Благослови меня начать мой труд.

У вас, читатели, прошу прощенья
За то, что неискусен мой рассказ,
Что он не вызывает восхищенья
Разнообразием своих прикрас.
Но я его пересказал для вас,
Легенде следуя, ее словами.
Коль плох мой труд, его исправьте сами.

Смысл имени Цецилии святой
Истолковать сначала тут уместно.
Перевести на наш язык родной
Его мы можем «лилией небесной».
Душою целомудренной и честной
И чистотой, прозрачною до дна,
Не заслужила ли его она?

А можно в этом имени «Дорога
Для тех, кто слеп», пожалуй, прочитать,
Ведь многим помогла она у бога
Снискать себе навеки благодать.
Позволено еще предполагать,
Что рядом с небом названа здесь Лия —
Стремленье совершать дела благие.

Отсутствие душевной слепоты,
Быть может, это имя означает:
Что взор ее был полон остроты
И мудрости, об этом кто не знает?
Да нет же, имя дивное включает
Словечко Леос, и не зря народ
Святую небом всех людей зовет.

С народом равнозначно слово это,
И как нам с неба солнце, и луна,
И хор созвездий льют потоки света,
Так, бесконечной святости полна,
Всем людям в душу свет лила она
Своею мудростью, своею верой
И добротой, не ведающей меры.

Как наделяет мудрецов чреда
Свод неба быстротою и гореньем,
Так и Цецилия в делах всегда,
Сердечно каждым дорожа мгновеньем,
Неутомимым отличалась рвеньем
И пламенной горела добротой.
Вот объясненье имени святой.

В семействе благородном, в граде Риме,
Цецилия узрела божий свет;
Евангелья лучами неземными
Был в колыбели дух ее согрет.
Богобоязненная с юных лет,
Она молила небо неустанно
Оставить девственность ее сохранной.

Когда година в брак вступить пришла
И в храм она, на радость прихожанам,
Венчаться с женихом своим пошла,—
Он молод был и звался Валерьяном,—
Она, охваченная пылом рьяным,
Под белым платьем с золотой каймой
Во власяницу стан одела свой.
Внимая пенью музыки органной,
Цецилия молилась богу так:
«Остаться чистой дай, чтоб окаянный
Не мог мной овладеть навеки враг».

Дабы распятому любви дать знак,
Пред свадьбой через день она постилась
И горячо всевышнему молилась.

Когда же новобрачные для сна
В опочивальню удалились вместе,
Шепнула мужу на ухо она:
«О милый мой, внемли своей невесте!
Я тайну некую тебе по чести
Должна поведать, но прошу тебя
Ее не разглашать, меня любя».

Поклялся Валерьян, что тайны этой
Он никогда не выдаст никому,
Нигде, ни за какие блага света,
И молвила тогда она ему:
«И днем, и сквозь густую ночи тьму
С собою ангела я чую рядом
С пылающим любовью горней взглядом.

Заметь он, что тебя ко мне влечет
Нечистое, земное вожделенье,
Чтоб защитить меня, он пресечет
Младую жизнь твою без сожаленья.
Но если чистое в тебе горенье
Увидит он, то, как и я, любим
За чистоту души ты будешь им».

В ответ, руководим господней волей,
Воскликнул Валерьян: «Твоим словам
Я не могу довериться, доколе
Лик ангела я не увижу сам.
Узрев его, я тайны не предам,
Но если мил тебе другой мужчина,
Вас ждет обоих горькая кончина».

Цецилия промолвила в ответ:
«Его увидишь, и Христовой славы
Прольется на тебя небесный свет.
Дорогой Аппиевой от заставы
Пройдя три мили, в хижине дырявой
Ты бедняков найдешь. Поведай там
То, что сейчас тебе я передам.

Скажи, что к ним затем ты послан мною,
Чтобы святой Урбан тебе помог
Найти стезю к душевному покою,
И только переступит он порог,
Все расскажи ему в кратчайший срок.
Когда очистит он тебя от скверны,
Тебе предстанет ангел, страж мой верный».

И Валерьян в дорогу поспешил,
Как только свет забрезжил, утром рано,
И за заставой средь святых могил,
Нашел святого старика Урбана.
Тот, выслушав признанье Валерьяна,
Весь просиял, и руки вверх простер,
И увлажненный поднял к небу взор.

«Исусе,— он воскликнул,— боже правый
Всех страждущих опора и оплот,
Бессмертной веры сеятель и славы,
Прими из рук моих созревший плод
Посева, что в Цецилии живет.
Подобна рвением пчеле примерной,
Она тебе рабыней служит верной.

Ее супруг, что словно гордый зверь,
Готов был прежде драться с миром целым,
Явился от нее сюда теперь,
Как агнец, мирен и душой и телом».
Тут некий старец вдруг в наряде белом
Вошел и рядом с Валерьяном стал;
В руках он книгу дивную держал.

У Валерьяна помутилось зренье,
И он упал, а тот, подняв его,
Из досточтимой книги начал чтенье:
«Един господь, создавший естество,
Един завет и пастырь у всего,
Что в мире этом, бездной зла объятом».
Начертаны слова те были златом.

Прочтя их, старец вопросил: «Сему
Ты веришь или нет,— я жду ответа».
И Валерьян ответствовал ему:

«Да, верю, ибо правды выше этой
На свете нет и нет за гранью света».
И старец вдруг исчез, как некий сон,
И Валерьян Урбаном был крещен.

Домой вернувшись в полдня час пригожий,
Жену застал он в комнате своей,
И два венка прекрасных ангел божий
Пред ней держал — из роз и из лилей.
И вот один венок он подал ей,
Другой же юному ее супругу;
Потом обоих их подвел друг к другу.

«Венки храните эти,— молвил он,—
Ни тел своих, ни душ не оскверняя.
Не страшен увядания закон
Цветам, что я принес для вас из рая.
Им смертью не грозит зима седая.
Но зримы лишь для тех они, чей дух
Пороку враг, к земным соблазнам глух.

Ты, Валерьян, за то, что назиданью
Святому не противился, открой,
Какое в сердце ты таишь желанье».
«Есть у меня,— тот молвил,— брат родной,
Которого люблю я всей душой.
Я буду счастлив, если и на брате
Почиет дух небесной благодати».

И ангел рек: «Войдете в райский сад
Вы оба; вам, за муки в небо взятым,
Там предстоит отрада из отрад».
Тут брат Тибурций вдруг предстал пред братом,
Чудесным пораженный ароматом
Лилей и роз, дивился в сердце он
Благоуханию со всех сторон.

«Откуда, молвил, в это время года
Такое благовоние лилей
И роз могла еще найти природа?
Когда б я их держал в руке своей,
Их благовонье не было б сильней.
Я в сердце благовонье это чую,—
Оно в меня вдыхает жизнь иную».

«У нас венки,— услышал он в ответ,—
Из алых роз и белоснежных лилий;
От глаз твоих сокрыт их нежный цвет,
Хоть запахом они тебя пленили.
Но если ты, не пожалев усилий,
Отыщешь путь, ведущий к небесам,
Ты будешь видеть их, подобно нам».

Тибурций молвил: «Наяву ль, во сне ли
Твои слова я слышу, брат родной?»
«Во сне,— ответил Валерьян,— доселе
Мы жили, голос истины живой
Теперь нас пробудил».— «О брат, открой,—
Вскричал Тибурций,— слов твоих значенье».
И тот в ответ: «Внемли же объясненью.

Мне ангелом указан к правде путь;
Отринув идолов душою честной,
Ты тоже можешь на него свернуть».
Венки созданием любви небесной
Считал святой Амвросий, как известно.
Вот как учитель благородный сей
О нем глаголет в повести своей.

Чтоб заслужить страстной венец нетленный,
Цецилия, всевышнему верна,
Отринула соблазны плоти бренной;
В признаньях и Тибурций и она
Нам подтвердили это все сполна.
С небес тогда создатель всеблагой им
Чрез ангела послал венки обоим.

Был обращен супруг и брат его
Младою девственницей для начала.
Вот чистоты святое торжество!
Тибурцию Цецилья доказала,
Что идолы глухие стоят мало,
Что им живое слово не дано
И бросить их пора уже давно.

«Кто думает иначе,— тот ничуть,—
Ответил юноша,— не лучше зверя».
Она его поцеловала в грудь

И молвила: «Мне братом будь по вере!
Перед тобой открыты в небо двери».
Потом, к нему приблизившись на шаг,
Она ему еще сказала так:

«Как мне стать брата твоего супругой
Велел закон Христовой доброты,
Так я в тебе нашла сегодня друга,
Когда от идолов отрекся ты.
Себя смирив обетом чистоты,
Прими крещенье — и прозревшим взглядом
Увидишь ангела с собою рядом».

Тибурций молвил: «Дорогой мой брат,
Куда пойду я, перед кем предстану?»
А тот в ответ: «Спокоен будь и рад,
Я к папе поведу тебя Урбану».
Тибурций, подошедши к Валерьяну,
Воскликнул: «Странны мне твои слова,
И верю я ушам своим едва.
Ты не о том ли говоришь Урбане,
Что, к смерти осужденный столько раз,
Живет в норах,— подобно дикой лани,
От человеческих скрываясь глаз?
Его бы на костре сожгли тотчас,
Когда б могли найти, и в это пламя
Мы, как сообщники, попали б сами.

Покуда, в небеса вперяя взор,
В глуби мы ищем истинного бога,
Тут, на земле, поглотит нас костер».
Цецилия его прервала строго:
«Поверь, тогда лишь стоила бы много
Земная жизнь, исполненная зла,
Когда б она единственной была.

Но есть иная жизнь в ином пределе,
Которая не ведает конца.
Нам к этой жизни, как к блаженной цели,
Путь кажет сын небесного отца,
Благого вседержителя-творца,
Чей дух святой бессмертною душою
От века наделяет все земное.

Благая и торжественная весть
Принесена на землю божьим сыном,
Что, кроме этой, жизнь иная есть».
«Сестра,— вскричал Тибурций,— ты единым
Не назвала ли бога властелином?
Я понял, что один над нами бог,—
А ты мне говоришь теперь о трех».

Она на это: «Слушай разъясненье:
Как состоит разумный дух людской
Из памяти, ума, воображенья,
Так может быть присущ состав тройной
И божеству, Тибурций дорогой».
Затем ему Цецилья в поученье
Про жизнь Христа, про все его мученья

Поведала, про гибель на кресте:
О том сказала, как людскому роду,
Погрязшему в грехе и суете,
Сын божий вечную предрек свободу.
И вот Тибурций, что впервые сроду
О сыне божьем услыхал рассказ,
К Урбану с братом двинулся тотчас.

Урбан, вознесши господу молитву,
Крестил его и рыцарем дал стать,
Всегда готовым на святую битву.
На юношу такая благодать
Тогда сошла, что мог он созерцать
Всечасно ангела; ни на мгновенье
Его не покидало провиденье.

Всех знамений, что дал им свет Христов,
Не перечислить,— было их немало.
Но день пришел, когда в конце концов
Их городская стража разыскала.
Префект Алмахий, допросив сначала,
Их к статуе Юпитера послал
И слово им в напутствие сказал:
«С тех головы долой, кто богу Рима
Не пожелает жертву принести».
Потом, корникулярия Максима
Призвав, ему велел их отвести;

Святых на их страдальческом пути
Сопровождая, тот душой умильной
Им сострадал и слезы лил обильно.

Когда он слово услыхал святых,
От них велел он катам отступиться,
Затем позвал к себе он на дом их.
И не успело солнце закатиться,
Как светом веры озарились лица
У катов и Максима,— их сердца
Очистили святые до конца.

Цецилья позже, под ночным покровом,
Священников к Максиму привела
И вновь крещенным именем Христовым
Промолвила, душою весела:
«Оставьте ваши темные дела,
Оружьем света препояшьтесь ныне,
О рыцари небесной благостыни!

Вы можете гордиться, о друзья,
Одержанной победою отменной.
Вам в небе справедливый судия,
Все видящий из глуби сокровенной,
Венец готовит радости нетленной».
Как только голос девственницы стих,
На площадь братьев повели святых.

На площади они ни воскурений,
Ни жертвы идолу не вознесли;
Благочестиво преклонив колени,
Они беседу с господом вели,
Далекие от помыслов земли,
И отсекла их головы секира,
И души их взнеслись к владыке мира.

Потом Максим, присутствовавший там,
В слезах сказал, что видел, как вспарили
Бессмертные их души к небесам
Под сенью светлых ангельских воскрылий.
И те слова премногих обратили.
Префектом к бичеванью присужден,
Под плетью отдал богу душу он.

Цецилия его похоронила
Под камнем, где покоился супруг
И где Тибурция была могила.
А вслед за тем велел Алмахий вдруг
Отряду воинов своих и слуг
Цецилью привести для воскуренья
Пред идолом и жертвоприношенья.

Но воины и слуги, как один,
Уверовали все в ее ученье
И, плача, восклицали: «Божий сын —
Бог истинный, и только в нем спасенье.
В него мы верим, раз он в услуженье
Таких рабынь имеет, как она;
Отныне пытка нам уж не страшна».

Префект потребовал, чтобы святая
Пред ним тотчас предстала, и едва
Она вошла, он, голос возвышая:
«Ты что за женщина?» — спросил сперва.
«Патрицианка родом и вдова»,—
С достоинством Цецилья отвечала.
«Да нет же, веру назови сначала!»

«Зачем же ты вопрос поставил так,
Чтоб им предполагалось два ответа?
Так задает вопросы лишь простак».
Префект Алмахий, в гордости задетый,
Спросил ее: «Откуда резкость эта?»
«Откуда? — молвила Цецилья.— Внушена
Мне совестью и верою она».

«А не страшит тебя,— спросил Алмахий,—
Префекта власть?» Она ж ему в ответ:
«Земная власть держать не может в страхе
Того, кому открылся правды свет.
Ведь ничего в ней, кроме спеси, нет,
Как в пузыре: проткни его иглою —
И сморщенный комок перед тобою».

«Ты на плохом пути стоишь сейчас,—
Он молвил,— и упорствуешь напрасно;
Про августейший слышала приказ?

Рассказ купца

Смерть христианам! — говорит он ясно.
В том только случае, коль ты согласна
Немедленно отречься от Христа,
Жизнь у тебя не будет отнята».

«И государи могут в заблужденье
Впасть, как и все,— ответила она.—
Несправедливы ваши обвиненья.
Скажи, в чем наша состоит вина?
Не в том ли, что душа у нас полна
Любви к Христу, что мы всегда готовы
Святое имя защищать Христово?

Дороже жизни имя это нам».
Префект ответил, помолчав немного:
«Иль нашим жертву принести богам,
Или от вашего отречься бога
Должна ты,— вот к спасению дорога».
С улыбкой, осветившей ей уста,
Ответила любимица Христа:

«Судья мой, принуждая к отреченью
От горней чистоты, меня ты сам
На тяжкое толкаешь преступленье.
Лукавит он,— ужель не ясно вам?
Ведь это видно по его глазам».
«Молчи! — вскричал префект,— ни слова боле!
Про власть мою ты не слыхала, что ли?

Что воле ты подчинена моей,
Тебе — скажи! — ужели неизвестно?
В моих руках и жизнь и смерть людей.
Гордыню брось,— гордыня неуместна».
Она в ответ: «Я говорила честно,
Не гордо,— ибо гордости порок
Нам ненавистен и от нас далек.

Коль не боишься правды, то скажу я
Тебе во всеуслышанье, судья:
Сейчас изрек ты похвальбу пустую,
Сказав: «И жизнь и смерть дарую я».
Не так уж безгранична власть твоя.
Что жизнь отнять ты можешь, я согласна,
Но в остальном ты хвастаешь напрасно.

Скажи, что смерть в руках своих несешь,
И прав ты будешь; все же остальное —
Лишь похвальба бесстыдная и ложь».
Префект сказал: «Смирись передо мною
И жертву принеси! Глаза закрою
На то, что ты со мной груба была;
Закон философа — не помнить зла.

Но не стерплю, чтоб ты мне поносила
Богов, которыми гордится Рим».
Она ответила: «Судья немилый,
За время, что с тобой мы говорим,
Ты каждым словом убеждал своим,
Что как чиновник ты годишься мало
И быть тебе судьею не пристало.

Поражены, должно быть, слепотой
Твои глаза. Тому, кто видит,— ясно,
Что это камень, камень лишь простой,—
Беспомощный, недвижный и безгласный,
А для тебя он божество, несчастный!
Слепец, к нему рукою прикоснись
И в том, что это камень, убедись.

Смеются над тобою повсеместно,
Ах, не позор ли это и не стыд?
Ведь даже простолюдину известно,
Что в небе бог от взора смертных скрыт.
А идол, что на площади стоит,—
Он и себе и людям бесполезен
И лишь безумцу может быть любезен».

Разгневала префекта эта речь,
И он тотчас же отдал приказанье
Домой святую отвести и сжечь
Ее в натопленной отменно бане.
И в пекло, раскаленное заране,
Была Цецилия заключена,
Чтоб задохнулась там в чаду она.

Однако ночь прошла и день за нею.
А страшный банный жар бессилен был
Осуществить преступную затею;
На лбу ее и пот не проступил.

Но все же рок ей в бапе смерть судил:
Убийцу подослал Алмахий злобный,
Чтоб тот ее отправил в мир загробный.

Ей шею трижды полоснув, рассечь
Ее не смог он — не хватило силы
Снять голову мечом кровавым с плеч.
А власть в те дни недавно запретила
Удар четвертый, если пощадила
Три раза смерть, и потому злодей
Из страха не дерзнул покончить с ней.

Цецилию, всю залитую кровью,
Оставил он и удалился прочь,
А христиане, движимы любовью,
В платки сбирали кровь ее всю ночь.
Три дня ей удавалось превозмочь
Боль страшную; собой пренебрегая,
Любить Христа учила их святая.

Она им отдала добро свое
И молвила, их приведя к Урбану:
«Услышал бог моление мое,
Дал мне три дня сносить тройную рану,
И, прежде чем дышать я перестану,
Их дупи в руки я тебе отдам:
Мой дом да будет превращен во храм».

Ее Урбан и причт похоронили,
Когда спустилась ночь на землю, там,
Где прах других святых лежит в могиле.
Стал дом ее — святой Цецильи храм,
Где и поныне, как известно нам,
Христу и всем святым его усердно
Молитвы люд возносит правоверный.

Здесь кончается рассказ
Второй монахини

ПРОЛОГ
СЛУГИ КАНОНИКА

Когда святой Цецильи житие
Пришло к концу (случилось же сие,
Когда от Боутон-андер-Блийн пройти
Успели мы не больше миль пяти),
Стал нагонять нас спутник. Весь был взмылен
Конь серый в яблоках; его три мили,
Должно быть, гнал хозяин, и бока
Ходили ходуном. Стан седока
Сутана черная совсем скрывала,
Лишь стихаря белел кусочек малый.
А конь слуги был пеною покрыт,
И заморен, и плеткою избит,
И весь от пены был он белобокий,—
Расцветка, что идет одной сороке.
Вся в белых клочьях сбруя обвисала,
А переметные сумы болтало.
Одежду я не сразу распознал
И долго бы, наверное, гадал,
Когда б того случайно не заметил,
Как сшит был капюшон; по той примете
Вмиг, что каноник он, я догадался.
И правда, он каноник оказался.
Болталась на шнурочке за плечом
Большая шляпа. Толстым лопухом
Прикрыл он темя, капюшон надвинул
Так, что накрыл и голову и спину,

И под двойной защитой их потел он,
Как перегонный куб, что чистотелом
Иль стенницей лекарственной набит
И сок целебный, словно пот, струит.
Коня пришпорил он, нас нагоняя,
И на скаку кричал: «Да охраняет
Вас крест Христов; я вас хотел догнать,
Чтоб в Кентербери путь свой продолжать
В приятном обществе совместно с вами».
Его Слуга был также вежлив с нами:
«Лишь только поутру я увидал,
Что собрались вы, тотчас я сказал
Хозяину, что надо вас догнать бы,—
И скуки, сэр, во всю дорогу знать вы
Не будете,— а он скучать не любит».
«Да, верно. Скука хоть кого погубит,—
Сказал трактирщик.— Ты же, друг мой, прав,
Такой совет разумный преподав.
Твой господин, видать, веселый малый,
И если человек к тому ж бывалый,
Быть может, нас рассказом позабавит?»
«Кто, сэр? Хозяин мой? Да он заставит
Кого угодно праздность позабыть.
Коль привелось бы вам с ним год прожить,
Вы б убедились: мастер на все руки
Хозяин мой. С ним не узнаешь скуки.
Он над своей ретортой ночь не спит,
Поесть забудет — знай все мастерит.
Он много дел таких теперь задумал,
Что вы лишь рот разинете: к чему, мол,
Такое деется? Вы не глядите,
Что он так прост; знакомство заведите,
И я готов хоть об заклад побиться,
Что предпочтете золота лишиться,
Чем дружбы с ним. Вот видите каков?
О нем рассказывать — не хватит слов».
«Вот как,— сказал трактирщик,— расскажи же,
Кто господин твой? Выше нас иль ниже,—
Но он, должно быть, человек ученый,
К тому ж священным саном облеченный».
«Он больше, чем ученый; в двух словах
Не рассказать вам о его делах.
В таких премудростях он преуспел,

Что, если бы я даже захотел
Вам их поведать, не нашел бы слов
(Хоть я свидетель всех его трудов).
Когда бы пожелал, он всю дорогу
До Кентербери вашего, ей-богу,
Устлать бы мог чистейшим серебром
Иль золотом. Не верите? Пусть гром
Меня настигнет, пусть накажет небо,
Пусть не вкушать мне ни вина, ни хлеба!»

«Хвала Христу,— трактирщик тут сказал,—
Но если господин твой путь узнал
К премудрости такой, к богатству, силе,
Что ж о себе, друзья, вы позабыли?
Грязна его одежда и ветха.
Конечно, может быть, и нет греха
В таком смирении, но все ж скупиться
Всесильному как будто не годится.
Что ж, он неряха, что ли, твой ученый,
Раз он дорогой, серебром мощенной,
Чуть ли не в рубище готов скакать?
Того причину нам прошу сказать».

«Увы, не спрашивайте вы меня!
Хотя бы вся прославила земля
Хозяина, богатым он не станет,
Коль мудрствовать и впредь не перестанет;
Лишь вам скажу, и строго по секрету,
Что ненавижу я всю мудрость эту.
Переборщишь — не выйдет ничего,
Сказал мудрец, милорда ж моего
Не убедишь; упрется на своем он,
Когда и я, на что уж темный йомен,
По смыслу здравому подвох пойму.
Но как мне это втолковать ему?
Пошли господь хозяину прозренье,
Одна надежда в том, одно спасенье.
Мне тяжело об этом говорить».

«Ну, полно, друг, скорбь надо разделить.
Уж если знаешь ты премудрость эту,
Так преступления большого нету,
Коль нам о ней поведаешь. Как знать,
Быть может, кто-нибудь из нас понять
Хозяину поможет заблужденье.
Скажи, живете где, в каком селенье?»

«В предместьях городских или в трущобах
Живем, как воры, как бродяги, оба.
Мы днем не смеем носу показать.
Вот как живем, коль правду вам сказать».
«Зачем ты словно вымочен весь в синьке,
Зачем в лице твоем нет ни кровинки?»
«Всю выжгло кровь, и сам я весь зачах,
Плавильный разжигаючи очаг;
А в зеркало мне некогда смотреться,—
Слежу весь день, чтоб горн мог разгореться
И сплавил нам неоценимый сплав.
В огне сжигаю жизнь свою дотла.
Вотще! Не думаю достигнуть цели,
Хотя бы без остатка мы сгорели.
И скольких соблазняем мы мечтой;
Тут крону мы займем, там золотой,
А то и сразу фунтов десять, двадцать.
И заставляем дурней дожидаться,
Покуда фунт не обратим мы в два.
У нас самих кружится голова:
Их обманув, себя надеждой тешим,
Свои ошибки повторяем те же.
Опять, как прежде, ускользает цель.
Похмелье тяжкое сменяет хмель.
А завтра простаков мы снова маним,
Пока и сами нищими не станем».
Рассказ слуги каноник услыхал,
Подъехал ближе; всех подозревал
В злом умысле он и всего боялся,
Поэтому и тут перепугался.
Катон сказал, что тот, кто виноват,
Все на свой счет принять готов; но рад
Свалить на ближнего свою вину.
Слуге каноник крикнул: «Прокляну!
Молчи, ни слова больше, плут коварный!
Меня порочишь ты, неблагодарный.
Кричишь о том, что должен был скрывать.
Смотри, заставлю я тебя молчать».
«Да что он в самом деле кипятится? —
Спросил трактирщик.— Пусть его позлится.
А ты, дружок, без страха продолжай».
«Да я и не боюсь его; пускай
Грозится он»,— сказал слуга, и сразу

Капоник понял, что его рассказу
Ничем теперь не сможет помешать,
И со стыда пустился прочь бежать.
«А, вот ты как! — вскричал слуга.—
Трусишка!
Тогда я обо всех твоих делишках
Всю правду выложу. Будь проклят час,
Когда судьба свела с тобою нас!
Клянусь, теперь уж больше не заставишь
Служить себе. Угрозой, что отравишь,
Меня пугаешь ты. Ну, нет, шалишь.
Ведь сколько раз, бывало, говоришь:
Уйду от черта! А уйти нет силы,
Хоть он тащил меня с собой в могилу.
Пускай господь меня бы вразумил
И рассказать о чарах научил.
Таиться нечего. Мне все равно,
Ведь душу погубил я с ним давно».

РАССКАЗ СЛУГИ КАНОНИКА

Здесь Слуга каноника начинает свой рассказ

Почти семь лет с каноником я прожил,
А чтоб ума я нажил — непохоже.
Все, что имел я,— потерял напрасно,
И сколькие той участи ужасной
Со мной подверглись. Прежде свой наряд
Я в чистоте держал, и, говорят,
Видней меня средь слуг и не видали.
Теперь чулок, случалось, надевали
Мы с ним на голову; румянец щек,
Свинцом отравленных, совсем поблек.
Кто в том погряз, хлебнет, бедняк, он горя,
Увы, хоть я и понял это вскоре,
Но мне застлал глаза как бы туман —
Мультиплицирования дурман.
А скользки выгоды такой науки
И не даются человеку в руки.
И вот в кармане нет и медяков,
А за спиною всяческих долгов
Такая ноша, что до самой смерти
Нам с ними не разделаться, поверьте.
Моя судьба — неопытным урок.
Начать лишь стоит, а потом игрок
За ставкой ставку без конца теряет,
Пока дотла всего не проиграет.

Никто ему не восстановит разум,
Теряет кошелек и ум свой разом.
И не подняться уж ему вовек,
И конченый совсем он человек.
Когда ж свое богатство промотает,
К тому же и других он подстрекает,
Ведь злому человеку в утешенье
Чужие горести и разоренье.
Мне так один ученый объяснил,
И вот на что я жизнь свою убил!

К дурацкому занятью приступая,
Мы мудрецами кажемся, блистая
Ученейшими терминами; печь
Я раздуваю так, как будто сжечь
Себя самих в ней думаем. Напрасно
Вам объяснять все то, что все ж неясно
Останется: пропорции, и дозы,
И вещества, которых под угрозой
Жестокой мести не могу назвать.
Пять или шесть частей вам лучше брать
В сплав серебра, иль олова, иль ртути;
Какой осадок будет вязкой мути,
Как надо опермент, кость и опилки
Стирать в мельчайший порошок, в бутылке
Настаивать определенный срок,
Потом ссыпать все в глиняный горшок,
Солить и перчить и листом стеклянным
Прикрыть, полив раствором окаянным.
Перевязать горшок кишкой ослиной
И наглухо кругом обмазать глиной,
Чтоб воздух доступа не находил
И чтоб горшка огонь не раскалил
Нагревом длительным и постепенным.
И вот трясешься над горшком бесценным,
А там до одуренья кальцинируй,
Выпаривай, цеди, амальгамируй
Меркурий, в просторечье он же ртуть.
А дело не сдвигается ничуть.
Берем мы тот меркурий со свинцом
И в ступке трем порфировым пестом,
Примешиваем серу и мышьяк,
Отвешиваем части так и сяк —

И все напрасно, ни к чему наш труд.
Какие б газы ни вмещал сосуд,
Как ни сгущай на дне его осадок,
А результат по-прежнему не сладок.
И снова черт какой-то нам назло
Подстроит так, чтоб прахом все пошло:
И труд, и время, и затраты наши.
Да, смерть и то такой надежды краше.
Как на себя не наложил я рук!
Жаль, не силен я в тонкостях наук
И не умею толком объяснять,
Не то я мог бы много рассказать
Того, что вам вовеки не измыслить.
Попробую так просто перечислить
То, что само собой на ум придет,
А тот, кто ведает, пусть разберет.
Цветные земли, сера и зола,
Сосуды из графита и стекла,
Реторты, колбы, тигли и фиалы,
Сублиматории и уриналы,
Куб перегонный, волоски к весам
И прочий никому не нужный хлам.
Орех красильный, мочевой пузырь,
Мышьяк и сера, ртуть и нашатырь,
Четыре элемента свойств летучих,
Непознанных, коварных и могучих.
А разных трав, так тех не перечесть,
Когда бы захотел я все привесть.
Но валерьян, репей и лунный корень
Упомяну — они смягчают горе.
Мы тигель калим день и ночь, реторту,
А там, глядишь, опять наш сплав ни к черту.
И вот опять до света кальцинируй,
Подцвечивай, цеди и дистиллируй
Сквозь глину, мел, а то и сквозь белок,
Сквозь соль, буру, поташ, золу, песок,
Сквозь реальгар, вощеную холстину
И с волосами смешанную глину,
Сквозь разный уголь, воск, сухой навоз;
Подмешивай селитру, купорос,
Сурьму и сурик, серу и мышьяк,
Иль винный камень, бурый железняк,
Иль сплавы всякие, коагулаты,

Которые металлами богаты.
Как будто дело и к концу подходит,
Смесь зашипит, забулькает, забродит —
Тогда мешай, болтай и цементируй
И серебром составы цитринируй.
А выплавишь, испробуешь — и вот
В итоге новый припиши расход.
Еще скажу, что существуют в мире
Семь твердых тел, летучих же четыре.
Хозяин мой так часто их твердил,
Что наконец и я их заучил.
Летучие — мышьяк, ртуть, также сера
И нашатырь. Иная твердых мера
И знак иной: у злата — солнца зрак,
У серебра — луны ущербной знак;
Железо — Марс, Меркурий — это ртуть
(Он и в металле хочет обмануть),
Сатурн — свинец, а олово — Юпитер,
И медь — Венера. Сотни колб я вытер,
И хоть бы зернышко одно на дне,
Хоть отблеск солнечный увидеть мне.
И кто ввязался в наше ремесло,
Тому конец. С собою унесло
Оно богатств и жизней очень много.
В нем к разоренью верная дорога.
И кто безумство хочет проявить,
Пускай начнет он золото варить.
Кого к себе обогащенье манит,
Пускай философом несчастный станет.
По-вашему, нетрудно изучить
Искусство это? Нет! И можно быть
Каноником начитанным иль братом,
Священником, иль клерком, иль прелатом,
А этого искусства не постичь —
Такая в нем нелепица и дичь.
А неученому так и подавно
Ввек не понять науки своенравной.
Но будь он книжник или будь невежда,
Добиться цели — тщетная надежда.
Исход трудов, увы, сравняет всех.
Недостижим в алхимии успех.
Забыл еще сказать я о бутылках,
О едких водах, кислоте, опилках,

О растворении сгущенных тел
И о сгущенье, коль осадок сел,
О разных маслах, о заморской вате,—
Все рассказать, так Библии не хватит
И самой толстой; эти имена
Забыть хотел бы. Всем одна цена.
Об этом всём я зря разговорился,
От этих дел и черт бы сам взбесился.
Ну, дьявол с ним! Еще хочу сказать,
Что философский камень добывать
Стремимся все, а этот эликсир
Помог бы нам перевернуть весь мир.
Но дело в том, что, сколько мы ни бьемся
(Иной раз кажется, что надорвемся),
А эликсира в колбах нет следа.
Но нас не покидает никогда
Надежда, что на дне он заблестит
И все расходы наши возместит;
А не надейся мы, наш труд и горе
С ума свели бы нас, несчастных, вскоре.
И, на беду, надежда та крепка,
До самой смерти манит дурака.
И ремесло свое он не клянет:
Он сладость в горечи его найдет.
Алхимиков уж таковы замашки,—
Они постель заложат и рубашку
И плащ последний лучше продадут,
Чем скрытые мечтанья предадут.
Скорей они кого-нибудь задушат,
Чем хоть на сутки печь свою затушат.
Не успокоятся, пока до нитки
Их не обчистит поставщик их прыткий.
Узнать легко их: щеки впалы, серы,
Всегда от них исходит запах серы,
Они грязны, вонючи, что козел;
Хотя бы за версту любой прошел —
И то зловонием вам в нос ударит
От копоти, кислот и всякой гари.
По запаху, по нищенской одежде
Узнаете алхимика вы прежде,
Чем слово молвит. Если же их спросят,
Зачем они такие тряпки носят,
Они тотчас вам на ухо зашепчут,

Что так секрет они сокроют крепче
И что, мол, если б их подстерегли,
Они б и жизни не уберегли.
Так и дурачат разных простаков.
Эх, вспомнить тошно, что и сам таков!
Но свой рассказ хочу в русло направить.
Пред тем как на огонь горшок поставить
С известной порцией цветных металлов
Иль жидкостей, а иногда кристаллов,
Хозяин смесь ту составляет сам,
И — должное хозяину воздам —
Чтобы обязанность исполнить эту,
Искуснее его на свете нету.
Но хоть о том уже молва идет,
А каждый раз в беду он попадет.
И знаете, как это с ним бывает?
Вот он сосуд как следует взболтает
И в печь поставит, а тот трах — и вдрызг
Расплещется на миллионы брызг.
В металлах тех такая скрыта сила,
Что лишь стена бы их остановила,
И то из камня, на крутом растворе.
Ту силу нам не удержать в затворе.
Насквозь стена и настежь потолок,—
И эликсира драгоценный сок
Разбрызнут по полу, впитался в щели,
А твердые частицы улетели
В проломы стен иль облепили свод.
Таков обычный опытов исход.
Хоть сатана и не являлся нам,
Но думаю, что пребывает сам
Он в это время где-нибудь в соседстве.
Где сатана, там жди греха и бедствий.
В аду, где он хозяин и владыка,
Не больше муки, и тоски великой,
И гнева, и попреков, и раздоров,
И бесконечных бесполезных споров.
Чуть разорвется на огне горшок,
Бранятся все, хотя какой в том прок?
Одни твердят, что виноваты печь
И тот, кто не сумел ее разжечь
Как следует, другой винит меха,
Меня винит, что я не без греха

(Оно, конечно,— я ведь раздуваю):
«Бездельники! Я вас предупреждаю
Который раз, что надо смесь мешать
Особым образом и не держать
Ее на медленном огне сверх меры».
Кричит нам третий: «Дурни! Маловеры!»
Вопит четвертый: «Это все слова.
Всему виной сосновые дрова.
За дело, сэры, не жалейте рук.
Но надо жечь в печи один лишь бук».
Ну, споров всех мне ввек не передать,
Но только не кончали бушевать
Они всю ночь, и прекращал тот спор
Хозяин мой словами: «Уговор
Припомните. Не вышло? Вновь за дело!
По твердости не то попалось тело.
И нам на будущее всем урок.
Но главное — был с трещиной горшок.
Друзья мои, за дело поскорее.
Пол вымести, и будьте пободрее!»
Мы сор сгребали с пола на холстину,
Ссыпали через сита и в корзину,
И долго ковырялись, чтоб найти
Зерно желанное или спасти
Хоть часть затраченного матерьяла.
«Вот видите, не все у нас пропало.
Пусть не удался опыт в этот раз,
Но сберегли мы смеси про запас.
Рискнем и плавку проведем другую.
Купец ведь тоже кое-чем рискует,
Не каждый год кончает с барышом;
То жертвует своим он кораблем,
Погибшим в море, то сгоревшим складом,
Но относиться к неудачам надо
Спокойней,— убеждает мой патрон.—
Как бы серьезен ни был наш урон,
Но ничего не делайте без спроса.
Теперь иной испробую я способ.
А не удастся, весь ответ на мне.
Ошибку понял я». И, как во сне,
Мы принимаемся за дело снова.
И спрашивает вновь один другого:
«Не слишком ли огонь в печи был слаб?»

Силен иль слаб, но только не могла б
Удачно завершиться та затея.
Теперь об этом говорить я смею,
А много лет и я был бесноват.
Готов напялить мудрости наряд
Любой из нас, тягаясь с Соломоном,
Но и теперь, как и во время оно,
Мысль мудрого об этом так гласит:
«Не злато многое, хоть и блестит».
И что б ни говорил нам идиот,
Невкусен часто и красивый плод.
Так и средь нас: на вид дурак умен,
Правдив обманщик, немощный силен.
И прежде чем окончу повесть эту,
Поймете вы, что в том сомнений нету.

Был среди нас один каноник в рясе.
Он в гнусности своей был так ужасен,
Что погубить он мог бы Ниневию,
Афины, Трою, Рим, Александрию —
Семерку всю великих городов,
И нрав коварный был его таков,
Что и в сто лет проделок не опишешь.
И лжи такой на свете не услышишь,
Какой каноник обольщал людей.
Лукавой лестью, хитростью своей
Он собеседника так одурачит,
Что лишь тогда поймешь, что это значит,
Когда от злых его заплачешь дел;
Не перечтешь, скольких он так поддел.
И продолжать он будет тем же сортом,
Пока не встретит похитрее черта.
Все ж вкруг него ученики теснились
И за советом все к нему стремились
Верхом, пешком из разных городов,—
На свете много всяких простаков!

Почтенные каноники, на вас
Не бросит тени этот мой рассказ.
И среди вас греховный брат найдется,
Но орден весь незыблем остается,
И не хочу я никого порочить,
Мне добродетель хочется упрочить.
Среди апостолов Иуда был:
Его пример других не соблазнил,

Рассказ франклина

Один из всех он поступил так худо.
Зато в ответе был один Иуда.
Но если есть Иуда среди вас,
Его не потерпите и тотчас
Исторгните, чтоб он не портил поля
Своими плевелами. Божья воля
Так повелела людям поступать.
Теперь рассказ свой буду продолжать.

Жил в Лондоне на службе панихидной
Один священник, нравом безобидный.
Он так услужлив был и так приятен
И за столом так весел и опрятен,
Что ни гроша хозяйка не брала;
К тому ж одежда от хозяйки шла,
В деньгах карманных не было отказа.
Отвлекся я, не в этом смысл рассказа
О том, как плут священника провел.

Каноник некий как-то раз пришел
К священнику и попросил учтиво
Взаймы дать марку. Говорил он льстиво:

«Через три дня я вам верну свой долг,
Я дружбой дорожу и в людях толк
Отлично знаю. Дней же через десять
За шею можете меня повесить,
Коль этот долг не будет возвращен».

Священник просьбой этой был польщен
И тотчас вынес золотую марку.
Его благодарил каноник жарко
И с тем ушел, и в точности в свой срок
Он деньги воротил сполна. Не мог
Священник гостем честным нахвалиться.

«С таким всегда готов я поделиться.
Не страшно нобль-другой тому мне дать,
Кто срок умеет точно соблюдать».

«Помилуйте! Я не пойму, что значат
Слова такие. Разве мог иначе
Брат поступить? А я, по крайней мере,
Раз слово дал — всегда я слову верен.
Вы ж так учтивы, так щедры и милы,
Что благодарен буду до могилы
И вам хочу секрет один открыть,
Как можно денег множество добыть.
Я философии не зря учился,

Мне тайный смысл вещей сполна открылся.
Я мастерство свое вам покажу
И вас, наверно, этим поражу».
«Нет, в самом деле, сэр? Готов я слушать,
Но не хотите ли со мной откушать?»
«Нет, слушайте, коль слушать вы хотите,
Но никому о том не говорите».
Так мастерски каноник тот, злодей,
Обхаживал доверчивых людей.
Но только правду мудрый говорит,
Что злое дело издали смердит,
И вы увидите тому пример,
Каноник этот, мерзкий изувер,
По наущенью сатанинской злобы
Старался всячески нашкодить, чтобы
Ввести людей в соблазн и в тяжкий грех.
Избави бог от злобы той нас всех.
Не знал священник, с кем имеет дело,
Секрет каноника узнать хотел он.
Глупец! Глупец! Корыстливый простак!
Кто б обмануть себя позволил так?
Слеп ко всему, не ведая беды,
Сам в пасть лисицы напросился ты.
Ты лестью усыплен, скорей проснись,
Чтоб от когтей лисы тебе спастись.
Но нет, напрасно, их не избежать.
И надо мне рассказ мой продолжать.
О безрассудстве, слепоте твоей.
О том, как обманул тебя злодей.
Вам может показаться, мой патрон
Каноником был тем? Да нет, не он.
Он во сто крат искусней и хитрее,
В обманах опытней и в мести злее.
О нем мне просто тошно говорить.
Лишь вспомню, и меня начнет душить
И от стыда желчь ударяет в щеки,
Не кровь: она иссохла. Но уроки
Не зря прошли: меня не обмануть.
«Для наших опытов нужна нам ртуть,—
Сказал каноник.— Вы слугу пошлите
И ртути унца три приобретите.
Лишь только ртуть слуга нам принесет,
Как вещь чудесная произойдет».

Ртуть получив, он попросил углей,
Чтоб опыты начать ему скорей.
Когда слуга и уголь им добыл,
Каноник ящик небольшой открыл,
И, вынув тигель, начал объяснять он,
Хотя язык его был непонятен
И не касался он при этом сути.
«Возьми сосуд и положи унц ртути.
Все сделай сам, и божья благодать
Тебе философом поможет стать.
Немногим я свой дар открыть решаюсь,
Но, кажется, в тебе не ошибаюсь.
Один состав я в тигель опущу
И в серебро всю ртуть я обращу,
Ничуть не худшее, чем у торговки
В ее мошне. Металл добудем ковкий,
Без примеси, а нет — так, значит, лгал
Тебе я все и мерзкий я нахал.
Всей силою я порошку обязан,
Но за услугу так к тебе привязан,
Что силу эту показать готов,—
Хоть и боюсь досужих глаз и ртов».
И слуг они тотчас же отпустили,
Прикрыли ставни, двери затворили.
В каморке темной крепко заперлись
И за работу тотчас принялись.
Усвоив тут же уйму всяких правил,
Священник тигель на очаг поставил;
Раздул огонь, над ним захлопотал,
А друг его свой порошок достал.
Не знаю точно я его состава,
Но в ящике любого костоправа
Подобным зельям хитрым несть числа:
Не то истертый мел, не то зола.
Коль мнение мое узнать хотите,—
Ни фартинга не стоят порошки те,
Но вам скажу, довольно было крошки
Или какой-нибудь ничтожной мошки,
Чтоб жаждущего чуда ослепить.
Потом каноник стал его учить,
Как обращаться надобно с жаровней:
«Смотри, чтоб угли покрывали ровно
Весь тигель твой, и убедишься сам,

Какой секрет тебе я в руки дам».
«Ах, grand merci»,— хозяин отвечал
И все старательней мехи качал.
Без памяти подарку был он рад.
Тем временем каноник (злобный гад,
Не знал он жалости к врагу ли, к другу ль)
Достал из ящичка древесный уголь,
В котором углубленье просверлил
И серебра немного положил
(Не больше унца там опилок было);
Дыру надежно воском залепил он.
А чтобы не попасться в том обмане,
Он серебро припрятал там заране,
Что втайне от священника припас.
Все в свой черед откроет мой рассказ.
Он свой обман давно уже замыслил
И каждый шаг свой наперед расчислил.
От замысла не мог он отступить.
(Об этом тошно мне и говорить.
Когда я мог, я б отплатил злодею.
Но я его настигнуть не умею:
Лишь только нападу на вражий след,—
Глядишь, а там его помину нет.)
Но слушайте, что было дальше, сэры.
Запрятав уголь за обшлаг свой серый,
Он к очагу вплотную подошел
И много всяких промахов нашел.
«Так все испортить, друг мой, вы могли!
Смотрите, как вы уголь загребли.
Мне жалко вас, и я вас не оставлю,
Постойте-ка, сейчас я все исправлю.
С вас так и льет, вы слишком суетитесь.
Вот вам платок,— возьмите, оботритесь».
Пока священник пот с лица стирал,
Каноник мой — чтоб черт его побрал! —
Свой уголь положил как раз над тиглем
И, чтоб его за этим не застигли,
Как будто для того, чтобы помочь,
Огонь раздул мехами во всю мочь.
«Ну, а теперь, мой друг, нам выпить надо.
Вино нам будет за труды наградой.
В порядке все, но лучше обождать
Из очага наш тигель вынимать».

Меж тем с начинкой уголь прогорел,
И серебро, по свойству твердых тел,
Хоть и расплавясь, в тигель все ж упало.
Как будто бы обмана не бывало,
Каноник пил, хозяин же не знал,
Какой с ним плут, и с нетерпеньем ждал.
Когда алхимик увидал — пора:
Не видно больше в угле серебра,—
Сказал он весело: «Сэр, поднимайтесь,
Кончать работу с богом принимайтесь.
У вас, я вижу, формы нужной нет,
Но это не беда, и мой совет:
Кусок известняка вы принесите
И чан с водой немедля припасите.
Слеплю я форму: сплав в нее мы выльем,
И нашим тут придет конец усильям.
А чтоб меня ни в чем подозревать
Вы не могли, я вас сопровождать
Пойду повсюду». Так и порешили.
Дверь на замок, а ставни все закрыли,
Все принесли и заперлись опять —
Готовый сплав из тигля выливать.
Весь мел столкли, с водою замесили
И форму нужную потом слепили.
Чтобы рассказ не затянуть до ночи,
Как можно постараюсь быть короче,
Коль подберу пригодные слова.

Но как тайком достал из рукава
Листок серебряный каноник снова,
Как смял его по форме мелового
Вместилища, как снова не заметил
Того священник,— чтоб я не отметил?
Ну нет! Каноника не пощажу,
О всех его проделках расскажу.

А он листок в рукав запрятал снова,
Снял тигель с пламени, сказал: «Готово!»
Слил в форму сплав и погрузил все в чан,
И никому не ведом был обман.
«Смотри, мой друг, рукою сам попробуй,
Не надо ждать, пока другою пробой
Определят, что это серебро.
Пусть даже это сплав, и то добро.
От примеси его потом очистим

Да из него монету сами тиснем».
Когда в воде остыл тяжелый сплав,
Каноник в воду обмакнул рукав,
Спустил пластинку и опять достал.
«Хвала Христу,— священник закричал.—
И слава вам, каноник благородный!
Пусть буду вечно проклят я, негодный,
Когда, познания усвоив эти,
О них скажу кому-нибудь на свете».
«Так что ж, мы опыт повторим сейчас,
Чтобы наглядней способ был для вас,
Чтоб без меня могли бы добывать
Металлы благородные и стать
Алхимиком. Добавьте эту ртуть.
Пожарче надо нам огонь раздуть.
И сызнова мы повторим урок.
Как видно, вам пошла наука впрок».
Не чуя ног, священник заметался:
Вот наконец богатства он дождался.
Очаг раздул и добыл ртути снова,
Каноник же, не говоря ни слова,
С вниманием великим наблюдал.
Потом он палочку свою достал,
А палочка та полая была,
Унц серебра в себе она несла,
И тщательно залеплен был кругом
Конец ее с сокрытым серебром.
Когда священник выбился из сил,
Ему каноник снова подсобил.
Он в тигель высыпал свой порошок
И угли палочкой своей загреб,
И воск от пламени тотчас растаял.
Уловка эта удалась простая,
И в тигель серебро скользнуло так,
Что не заметил ничего простак.
Не знаю, как и рассказать вам, сэры,
Но он обрадован был свыше меры,
Когда его и в этот раз опять
Каноник обманул. Он стал кричать,
Что весь его, и телом и душою.
«Что ж,— отвечал каноник,— я не скрою,
Что хоть и беден, но искусен я,
Но вы еще не знаете меня.

Скажите, нет ли в доме этом меди,
А нет, так, может быть, дадут соседи».
«Да нет, зачем, в кладовку я пойду
И медное там что-нибудь найду».
Принес он меди; ровно унц отвесил
Каноник тотчас, говорлив и весел.
(Его грехи устал я вспоминать:
Язык мой слаб — не может передать
То возмущенье, что меня волнует,
Но пусть со мною всякий негодует.
Я, может быть, смогу предостеречь
Несчастных тех, которых, тщась завлечь,
Каноник лестью подло обольщает
И мастерством коварным завлекает.)
Каноник медь в свой тигель положил,
Сосуд по горло в угольки зарыл,
Засыпал порошок и вылил ртуть
И приказал огонь сильней раздуть.
Каноника искусны были руки.
И всякие проделывал он штуки:
Который раз священник в дураках
Оказывался. Вот и тут монах
Сплав вылил в форму, опустил все в воду
И замутил ее, насыпав соду.
Потом, с молитвою над чаном встав,
Он засучил широкий свой рукав
И, руку опустив на дно сосуда,
Достал пластинку медную оттуда
И незаметно спрятал, а туда,
Пока мутна была вокруг вода,
Из рукава серебряную плашку
Вмиг опустил. Потом, схватив бедняжку
Священника, как бы шутя, за грудь:
«Да что же вы? Помочь хоть чем-нибудь
Вам не мешало б. Руку опустите
И, что на дне там, сами поглядите».
Вздохнул священник от волненья тяжко
И вытащил серебряную плашку.
Сказал каноник: «Вы скорей меня
Орудуете. С этими тремя
Пластинками мы к ювелиру сходим,
И серебро, как месяц на восходе,
В огне калильном лик свой обнажит.

И пусть душа моя в аду горит,
Коль тот металл не чист, не полновесен».
От радости весь мир казался тесен
Священнику, он был на все готов,
И оба, не теряя лишних слов,
Пошли испытывать металл добытый,
Еще от гари ими не отмытый.
У ювелира он испытан был
Огнем и молотом, и подтвердил
Им ювелир: товар вполне добротный.
Он купит серебро у них охотно.
Не описать мне радость дуралея.
Так пел, болтал он, глотки не жалея,
Как не встречают птицы дня приход,
Как соловей весною не поет,
Как не щебечут у камина леди,
Когда придут на огонек соседи,
О красоте, турнирах, о любви,
О страсти, полыхающей в крови.
Так рыцарь не упорствует в борьбе,
Чтоб дамы милости снискать себе,—
Как мой священник в мысли утвердился,
Что благородному искусству научился,
И стал просить он напоследок гостя:
«Пусть нас хранят от зла Христовы кости!
В алхимии великий вы адепт.
Ну что вам стоит мне продать рецепт
Тех порошков, которыми все это
Вы сделали? Не выдам я секрета».
«Секрет не дешев. В Англии лишь двое
Владеют им. Но вам его открою».
«Так в чем же дело? Говорите —сколько?
Напрасно время мы теряем только».
«Я не забыл, мой друг, услуги вашей,
И, верьте совести моей монашьей,
Я лишнего от друга не хочу,
И если сорок фунтов получу,
То лишь издержки я свои покрою,
А я ведь беден, этого не скрою».
Священник отдал сорок фунтов плуту
(Описывать я сделку не могу ту,
А лишь скажу: то был сплошной обман).
Каноник, деньги положив в карман,

Сказал хозяину: «Похвал не надо,
Молчанье будет лучшая награда.
Когда узнают про такой секрет,
Поверьте, друг, тогда спасенья нет.
Преследовать они меня начнут.
А то, не дай бог, вовсе изведут».
«Да что вы, сэр? Ни слова никому.
Чтоб навредил я другу своему?
Да лучше я с деньгами распрощусь
Иль даже головою поплачусь!»
«За доброе желание — успех
Пошли господь вам,— подавляя смех,
Сказал каноник.— А теперь прощайте,
И лихом вы меня не поминайте».
Ушел каноник, след его простыл.
И вскорости священник приуныл:
Как он ни бился, от утра до света,
Ни серебра, ни золота все нету.
Был одурачен поделом дурак.
А плут других доверчивых зевак
Пошел дурачить, стричь и разорять.
Что мне еще осталось вам сказать?
Вот золото, что нас манит все боле.
С людьми борьбу ведет оно, доколе
Людей в борьбе совсем не побеждает,
Само ж от нас бесследно исчезает.
Мультиплицированьем нас слепят,
И так темно адепты говорят
О мастерстве своем, что обучиться
Тому немыслимо. Когда ж случится
Поговорить им — заболтают вдруг,
Как будто дятлы поднимают стук
Иль как сороки вперебой стрекочут,—
Знай термины и так и эдак точат.
Но цели не достигнуть им никак.
Зато легко обучится дурак,
Мультиплицируя, добро терять.
Себя и близких быстро разорять.
Вот он, алхимии гнилой барыш!
На ней всего вернее прогоришь,
И радость в злость и в слезы обратится,
Никто взаймы дать денег не решится,
А давший деньги трижды проклянет.

Когда же наконец простак поймет:
Обжегшись, на воду нам лучше дуть,
Чем дать себя на том же обмануть.
И кто из вас ввязался в это дело,
Тем мой совет: кончать, пока не съело
Оно последнего у вас гроша.
Пословица куда как хороша:
Чем никогда — так лучше хоть бы поздно.
Ах, «никогда», как это слово грозно.
А вам, забившимся в подвал, в потемки,
Вам не исполнить обещаний громких,
Вам никогда успеха не достичь,
А «никогда» — страшнее есть ли бич?
Упорны вы! Кобыла так слепая
Бредет вперед, и не подозревая,
Где смерть ее. Что в храбрости такой?
На камень прет с разбега конь слепой,
И так же храбро он его обходит,
Ведь он всю жизнь свою в потемках бродит.
Так и алхимики. Уж если глаз
Вам изменил и соблазняет вас —
Пусть разума не засыпает око.
Но как бы разум ни глядел далеко,
Вам не придется, верьте, сохранить,
Что удалось награбить и нажить.
Огонь залейте, если ж разгорится —
Он против вас же грозно разъярится.
Бросайте ремесло свое скорей,
Чтоб не проклясть его самим поздней.
А вот как о своем проклятом деле
Философы иные разумели:
Вот, например, Арнольда Виллановы
Смотри Розарий — «Химии основы»:
«Не обратить меркурия вам в злато
Без помощи его родного брата».
То первым молвил первый алхимист
Гермес, а по прозванью Трисмегист.
«И не умрет, не пропадет дракон,
Пока не будет братом умерщвлен».
Меркурий разумел он под драконом,
А серный камень брат ему законный.
Все порождают, сами ж рождены:
От солнца — сера, ртуть же от луны.

Кто терминов не знает и секретов
Искусства нашего, тот пусть совета
Послушает и с миром отойдет.
Иначе он погибель в том найдет.
Кто ж все постигнет, тот всему хозяин:
В науке той — тайнейшая из тайн.
Иль вот еще пример: во время оно
Раз ученик так вопросил Платона:
«Скажи, учитель, имя Эликсира?»
«Титан — вот вещество и корень мира».
«Что есть Титан?» — «Магнезия иначе».
«Учитель, но ведь ты же обозначил
«Ignotum per ignotius?» [1] — «Ну, да».
«Но суть ее?» — «То некая вода,
Слиянье элементов четырех».
«Ты так скажи, учитель, чтоб я мог
Понять и изучить то вещество».
«Нет, нет,— сказал Платон,— и существо
Его останется навеки тайной.
И мы, философы, без нужды крайней
Открыть не можем тайну никому.
Она известна богу одному.
Лишь избранным он тайну открывает,
А чаще доступ к тайне преграждает».
Вот чем я кончу: если бог всесильный,
На милости и на дары обильный,
Философам не хочет разрешить
Нас добыванью камня научить,—
Так, значит, думаю я, так и надо.
И кто поддастся наущенью ада
И против воли господа пойдет,—
Тот в ад и сам, наверно, попадет.
Пускай до смерти будет волхвовать он,
Не сможет никогда счастливым стать он.
Хоть не сухим я вышел из воды,
Но бог меня избавил от беды
Еще лютейшей. Отягчен грехами,
В спасенье не отчаиваюсь. Amen.

Здесь кончается рассказ
Слуги каноника

---

[1] Неизвестное неизвестнейшим *(лат.)*.

ПРОЛОГ ЭКОНОМА

От леса Блийн проехали мы прямо
Через селенье «Горбыли да ямы»
(Так Горблдаун паломники зовут).
И расшутился наш трактирщик тут:
«А ну, друзья, потянем дружно репку,
Она в грязи, видать, застряла крепко.
Да разбудите же того лентяя,
Того пропойцу, олуха, слюнтяя,
Его любой сумеет вор украсть,
Когда поспать задумает он всласть.
Смотрите, как клюет наш повар носом,
Смотрите, как в седле сидит он косо.
И это повар лондонский? Позор!
Толкните в бок его. Какой бы вздор
Он нам ни рассказал, черед его.
Нам повара известно мастерство:
Рыгали мы не раз, обед откушав.
Эй, повар! Стыдно, друг. Проснись! Послушай!
Не рано ли с полудня отдыхать?
Иль ночью блохи не давали спать?
Иль с потаскушками ты колобродил?
Иль, может, пьян ты? При честном народе
Ты подбодрись, нельзя ж так раскисать».
Весь бледный, повар стал тут бормотать:
«Ох, сэр хозяин! — мямлил он, икая,—
Такая малость... вот напасть какая...
Еще соснуть бы... не хочу вина...
И без того башка моя пьяна...»

«Плоха надежда,— молвил эконом,—
Куда ему теперь! Лишь об одном
Он думать может, так давайте вам
Рассказывать сейчас я буду сам.
Смотрите-ка, лицом белей он мела
И выпучил глаза, как угорелый.
Потухли очи, еле дышит он,
И вкруг него весь воздух заражен
Зловоньем тяжким, это знак болезни.
Тебя жалеть? Ну нет! Да хоть ты тресни
От перепою, пьяница, чурбан!
Пусть лопнет твой луженный водкой жбан.
Чего зеваешь, рот вовсю разиня,
Закрой скорее пасть свою, разиня,
Не то влетит тебе в утробу бес.
Сиди ты смирно! Ну, куда полез?
Мутит тебя небось, вонючий боров,
И от вина, и от моих укоров.
Вы посмотрите на него, друзья,
Вот цель для лука или для копья.
Его вспороть, как чучело с трухою,
Занятно было бы. Увы, с какою
Дубиною судьба связала нас!
Ну, что, дурак, с меня не сводишь глаз?
Ну хоть напился б ты «до обезьяны»,
А то ты, как баран иль боров пьяный».
Хоть повар ярости не мог сдержать,
Но не способен был он отвечать.
Не в силах выбраниться, с перепою
Он замотал тяжелою башкою.
Потом, как куль, с седла свалился в грязь.
Его встряхнули, со смеху давясь:
«Эх, повар! Всадником быть захотел.
Сидел бы в кухне, в очаге вертел
И жарил дичь, а то полез туда же».
Весь вымазанный, был свиньи он гаже,
Когда с трудом назад его в седло
Старанье общее приволокло.
И поднялись тут аханья да охи,
Ехидный смех и сожаленья вздохи.
«Его, видать, упорно держит хмель! —
Сказал хозяин эконому.— Эль
Ему попался крепкий или слаб он,

Но только весь блевотиной закапан,
Перхает, кашляет, бормочет в нос,
А то еще проймет его понос.
Ему как будто стало много хуже,
Как бы ему не выкупаться в луже,
Тогда опять тащить придется нам
Его из грязи. Как гиппопотам,
Он грузен и тяжел. Пусть протрезвится.
С него рассказом нам не поживиться.
Ну, что ж. Рассказывай. Но чересчур уж
Ты строг к нему. Как сам набедокуришь
И счетец на провизию подашь
С надбавкой, что тогда? Обычай ваш
Я хорошо, мой друг, прекрасно знаю.
Так не пришлось тогда бы краснобаю
И повара подачкой подкупать,
Чтоб он обид не вздумал вспоминать».
«Ну мыслимо ль злопамятство такое? —
Тут эконом сказал.— Да, коль не скроет
Моих уловок повар, я впросак
Могу попасть. Хотя он и дурак,
Я бы готов деньжат ему добавить,
Когда бы этим мог себя избавить
От неприятностей. Ведь я бранил
Его по-дружески. Я с ним шутил.
Да разве я такого молодца
Мог выбранить? Купил я тут винца
Хорошего и крепкого баклажку.
Вы видите, бедняге очень тяжко,
Со мной он не откажет разделить
Баклажку ту и мир восстановить.
Вы все свидетели, что мировую
Мы выпьем с ним, чтоб не браниться всуе».
И впрямь к баклажке повар приложился,
Но он не в первый раз опохмелился
Уже в то утро, и вино не впрок
Ему пошло; испивши сколько мог,
Он благодарность промычал по-бычьи,
Тем примиренья выполнив обычай.
Тут с хохотом трактирщик закричал:
«Смотрите, а ведь только что рычал,
Теперь я знаю, как мирить буянов,
Как врачевать любой обиды раны.

С собой в дорогу бочку буду брать —
Вином вражду и ссоры заливать.
Великий Бахус! Вот кому хвала!
Вот с кем ни скуки нет и нету зла.
Печаль и скорбь в веселье обращает,
Врагов мирит и жажду утоляет.
Но будет нам о пустяках болтать,
Сэр эконом, извольте начинать».

РАССКАЗ ЭКОНОМА

Здесь начинается рассказ
Эконома о вороне

Жил Феб когда-то на земле средь нас,
Об этом в книгах старых есть рассказ.
Он был красавец рыцарь, весельчак.
Его стрелы боялся злобный враг.
Убил Питона он, когда тот змей
На солнце выполз из норы своей.
И много подвигов и славных дел
Он луком страшным совершить успел.
Умел играть на лютне он, на лире,
И го́лоса во всем подлунном мире
Такого звонкого не услыхать.
Вот Амфион, царь Фивский, ограждать
Умел свой город сладкогласным пеньем,
Но Феб пел лучше, звонче, без сомненья,
И был к тому же строен он, пригож.
Нет в мире никого, кто с ним бы схож
По вежеству и красоте считался,
А в благородстве с ним бы не сравнялся
Славнейший рыцарь всех времен и стран.
И в знак того, что змей им был попран,
Носил в руке он лук свой смертоносный,
Благоуханный, словно ладан росный.
Так вот держал тот Феб ворону в доме,
И в самой лучшей Фебовой хороме
Стояла клетка. В ней же много лет

Ворона та жила. Таких уж нет.
Вся белоснежна, словно лебедь белый,
Она не хуже соловья свистела
И щелкала, а Феб ее любил,
По-человечьи говорить учил,
Как говорят иной раз и сороки.
И уж не знаю я, в какие сроки,
Но научилась птица говорить
И речь людей могла передразнить.
Еще жила жена у Феба в доме,
Все в той же самой расписной хороме.
Любил ее супруг и баловал
И сутки круглые ей угождал,
Но только, если правду вам сказать,
Затеял он супругу ревновать.
Держал ее, бедняжку, под замком
И никогда гостей не звал он в дом,
Страшась, что ими может быть обманут.
Хоть ревновать мужья не перестанут,
Но им скажу: друзья, напрасный труд.
Вас все равно супруги проведут,
Как бы ни заперли вы клетку прочно.
Когда в делах и мыслях непорочна
Жена, зачем ее вам запирать?
Развратницу ж не тщитесь охранять,
Всегда найдется для нее лазейка.
А там поди-ка укори, посмей-ка.
Чем жен стеречь... да лучше прямо в ад!
Вам это все преданья подтвердят.
Но я вернусь к тому, с чего я начал.
Достойный Феб, о том весь свет судачил,
Любил без памяти свою жену.
Из всех страстей он знал лишь страсть одну —
Ей угождать до самой до могилы.
И не жалел своей мужской он силы,
Лишь бы с супругою в приятстве жить
И навсегда единственным пребыть.
Но ничего снискать не удается,
Когда природа в чем-нибудь упрется.
К упрямству склонна вся живая тварь
Теперь не меньше, чем когда-то встарь.
Из коршуна не сделаешь наседку.
Возьмите птицу и заприте в клетку,

Ее кормите золотым пшеном,
Поите не водой, а хоть вином
И содержите в чистоте и холе —
Но захиреет пленница в неволе.
Стократ дороже клетки золотой
Простор полей или шатер лесной,
Где в скудости, в опасности и в страхе
Жить доводилось этой бедной птахе,
Где в пищу ей лишь червяки, да гады,
Да нечисть всякая. А птицы рады,
Когда из клетки могут упорхнуть,
Опять свободно крыльями взмахнуть.
Возьмите кошку, молоком поите,
Иль мясом, рыбой вы ее кормите,
А под вечер укладывайте спать
С собою рядом в теплую кровать —
Но пусть услышит мышь она в норе
Или увидит птицу на дворе,
Вмиг позабудет сливки, молоко,
Глаза свои раскроет широко
И на охоту тотчас побежит,
Такой у ней к охоте аппетит.
Коль угнездилась от природы страсть,
Ее ничем непобедима власть.
А то еще смотрите: вот волчица,
Когда придет пора совокупиться,
Своею похотью ослеплена,
Самца такого выберет она,
Что, поглядеть, нет хуже,— и довольна.
Но, кажется, примеров уж довольно.
Я о мужчинах только говорю,
А к женщинам почтением горю.
А вот мужчины, верно, похотливы,
Непритязательны, нетерпеливы,
Готов мужчина похоть утолить,
Хотя б жену пришлося оскорбить
Уж самым выбором подруги низкой,
Которую он сам не пустит близко
К жене красивой, ласковой и верной.
Ах, плоть сильна, и только пламень серный
Искоренит в нас любострастья грех.
Да, новизна так привлекает всех,
Что в добродетели и постоянстве,

Как в повседневном тягостном убранстве,
Никто из нас не может долго жить.
И нечего об этом говорить.
Был Феб, измены не подозревая
И от жены беды себе не чая,
Обманут легкомысленной женой.
Всю страсть свою, весь пыл любовный свой,
Не устрашась и не стыдясь нимало,
Она другому втайне отдавала,—
Он с Фебом рядом так же стать достоин,
Как живодер с вонючих скотобоен.
Себе получше выбрать не могла:
Но от худого только больше зла.
Феб надолго однажды отлучился,
И вмиг с женою хахаль очутился.
Неблагозвучно, подло это слово —
Сказал его я, не желая злого.
Платон-мудрец так написал однажды:
«Со словом в лад верши поступок каждый».
И если точным словом говорить,
То слово с делом так должны дружить,
Чтоб не было меж ними расхожденья.
Я грубый человек, и, к сожаленью,
Я грубо говорю. Но в самом деле,—
Когда миледи согрешит в постели,
Меж ней и девкой разница в одном:
Ее любовника зовут «дружком»,
Когда прознают, самое же «милой»,
А девка с хахалем сойдут в могилу
Позоримы прозванием своим.
Не лучше ль словом грубым и одним
Равно обеих грешниц называть
И в слове том поступок их сравнять?
Так точно и короны узурпатор,
Тиран воинственный иль император
С разбойником, как брат родимый, схож,
Ведь нрав у них по существу все то ж.
Раз Александр от мудреца услышал,
Что если, мол, тиран всех прочих выше
И может он законом пренебречь
И целый город для забавы сжечь
Или стереть с лица земли народец,—
Тогда он, значит, вождь и полководец;

Лишь от разбойника поменьше зла,—
Ведь шайка у разбойника мала,—
Но Каина на нем лежит печать:
Он для людей — отверженец и тать.
Мне книжная ученость не пристала,
Я не хочу, чтоб речь моя блистала
Цитатами, вернусь скорее вспять,
Чтоб попросту рассказ мой продолжать.
Ну, Фебова жена дружка позвала
И долго страсть в постели утоляла.
Ворона в клетке видела все это
И, Фебу верная, была задета.
Когда вернулся Феб к себе домой,
Он изумлен был песенкой такой:
Она закаркала: «У-крал! У-крал! У-крал!»
«Я от тебя такого не слыхал,—
Феб удивился.— Ты ж умела петь.
Так отчего ж ты стала так хрипеть?
Ведь прежде ты певала так приятно.
Что значит этот возглас троекратный?»
И Фебу тут ворона так сказала:
«Не зря я столь зловеще распевала.
О Феб! Твоей не ценят красоты,
Учтивости, душевной чистоты,
Твоих забот и твоего таланта,
Того, что ты бесценней адаманта.
Мерзавец низкий честь твою украл
И в грязь ее кощунственно втоптал.
Он, этот червь в сравнении с тобою,
Бесчестил ложе здесь с твоей женою».
Чего ж вам больше? Фебу все сказала
И грубыми словами описала
Все в точности, как совершалось зло
И от кого оно произошло.
И отшатнулся Феб, и помертвел он,
И боль ужасная пронзила тело,
И в приступе невыразимых мук
Он взял стрелу, согнул могучий лук
И наповал жену свою убил,
Которую без памяти любил.
Так сделал он. Ну, что еще сказать?
Червь сожалений стал его глодать,
Кифару, лютню, арфу, псалтирьон

Разбив, свой лук сломал и стрелы он.
Потом, к своей вороне обратясь,
Сказал с презрением: «Послушай, мразь,
В твоих речах змеиный яд разлит.
Убита не жена, а я убит.
Увы! Что сделал я? И нет возврата.
За тяжкий грех тягчайшая расплата.
Подруга верная тяжелых дней,
Жена моя, жемчужина ночей,
Что мне всегда так сладостно светила,—
Не может быть, чтоб ты мне изменила!
Теперь лежишь бескровна, холодна,
Злосчастная, невинная жена.
Рука проклятая, как ты решилась?
Как мысль в мозгу змеею угнездилась?
Поспешный гнев, разящий наповал!
О, подозрений горестных фиал!
Едва его доверчиво испил я,
Как существо чистейшее убил я.
Где был рассудок и сужденье где?
Когда клевещет мстительный злодей,
Возможно ль без улики непреложной
Вине поверить явно невозможной?
Да не разит виновного стрела,
Коль не докажут достоверность зла.
И зло великое ты совершаешь,
Когда с возмездием столь поспешаешь,
Как я, злосчастный, ныне поспешил.
Слепящий гнев, скольких он погубил.
Увы! Что жизнь теперь мне? Умираю!»
И, обратясь к вороне: «Знаю, знаю,
Чем наказать тебя за клевету,
Была бела ты, как жасмин в цвету,
И пела ты всех соловьев звончей,
И речь твоя журчала, как ручей.
Отныне ты всего навек лишилась:
В последний раз в словах твоих струилась
Отрава, коей корень сатана.
Как сажа, будешь ты теперь черна,
Нахохлившись, людское сердце хмуря,
Ты каркать будешь, если дождь иль буря
Приблизится. Ты и твое потомство
Поплатитесь навек за вероломство».

И он схватил завистливую птицу,
Вмиг перья ощипал, и, как черницу,
Он в рясу черную ее одел,
И отнял речи дар, и повелел,
Чтобы не пела никогда отныне,
Кичась пред птицами в своей гордыне.
И вышвырнул ревнивицу за дверь,
Чтоб презирал ворону всякий зверь,
Как верную служанку сатаны.
Вот почему вороны все черны.
Друзья мои. Из этого примера
Вы видите: во всем потребна мера.
И будьте осмотрительны в словах.
Не говорите мужу о грехах
Его жены, хотя б вы их и знали,
Чтоб ненавидеть вас мужья не стали.
Царь Соломон, как говорит преданье,
Оставил нам в наследство назиданье —
Язык держать покрепче под замком,
Но я уже вам говорил о том,
Что книжной мудростью не мне блистать.
Меня когда-то поучала мать:
«Мой сын, вороны ты не позабудь
И берегись, чтоб словом как-нибудь
Друзей не подвести, а там, как знать,
Болтливостью их всех не разогнать.
Язык болтливый — это бес, злой враг,
И пусть его искореняет всяк.
Мой сын! Господь, во благости своей,
Язык огородил у всех людей
Забором плотным из зубов и губ,
Чтоб человек, как бы он ни был глуп,
Пред тем, как говорить, мог поразмыслить
И беды всевозможные исчислить,
Которые болтливость навлекла.
Но не приносит ни беды, ни зла
Речь осмотрительная и скупая.
Запомни, сын мой, в жизнь свою вступая:
Обуздывай язык, пускай узда
Его не держит только лишь тогда,
Когда ты господа поешь и славишь.
И если хоть во что-нибудь ты ставишь
Советы матери — будь скуп в словах

И то ж воспитывай в своих сынах,
Во всем потомстве, коль оно послушно.
Когда немного слов для дела нужно,
Губительно без устали болтать».
Еще сказала мне тогда же мать:
«Многоглаголанье — источник зла.
Один пример привесть бы я могла:
Топор, он долго сучья отсекает,
Потом, хвать, руку напрочь отрубает,
И падает рука к твоим ногам.
Язык так разрубает пополам
И дружбу многолетнюю, и узы,
Связующие давние союзы.
Клеветники все богу неугодны.
Про это говорит и глас народный,
И Соломон, и древности мудрец —
Сенека, и любой святой отец.
Прочтите хоть псалмы царя Давида.
Коль слышал что, не подавай ты вида,
Что разобрал, а если при тебе
Предался кто-нибудь лихой божбе,
Речам опасным,— притворись глухим.
Сказал народ фламандский и я с ним:
«Где мало слов, там мир и больше склада».
Коль ты смолчал, бояться слов не надо,
Которые ты мог не так сказать.
А кто сболтнул — тому уж не поймать
Спорхнувшей мысли. Коль сказал ты слово,
То, что сказал,— сказал. Словечка злого,
Хотя б оно и стало ненавистно,
Нельзя исправить. Помни днесь и присно,
Что при враге не надобно болтать.
Ты раб того, кто сможет передать
Слова твои. Будь в жизни незаметен,
Страшись всегда и новостей и сплетен.
Равно — правдивы ли они иль ложны;
Запомни, в этом ошибиться можно.
Скуп на слова и с равными ты будь
И с высшими. Вороны не забудь.

Здесь кончается рассказ
Экономa о вороне

ПРОЛОГ СВЯЩЕННИКА

Когда рассказ закончил эконом,
Уж не палило солнце так, как днем,
А в градусе двадцать девятом было,
И пятый час, наверное, пробило.
Сужу я по тому, что тень от нас
При росте шестифутовом в тот час
Равнялася одиннадцати футам
(Ее измерил я примерно прутом).
Сатурн уже поднялся в знак Весов,
И слышен был трезвон колоколов.
Хозяин наш, как первый в хороводе,
И в этот раз в своем обычном роде
Сказал нам речь: «Друзья мои, еще
Один рассказ — и мы закроем счет,
Мое исполним этим повеленье
И наше общее о том решенье:
Мы слышали людей различных званий,
И го́спода молю о том заране,
Чтоб он настроил на веселый лад
Того, кто заключит наш длинный ряд.
Ты, что плетешься на кобыле карей,
Быть может, сэр, прелат ты, иль викарий,
Иль попросту священник приходской,
Но только до сих пор рассказ ты свой
Таил от нас. А что ты обещал?
Из всех теперь один ты задолжал.
Так вот — суму скорее развяжи
И басню нам сейчас же расскажи.

Я по лицу веселому сужу,
Что басней этой всех разодолжу.
Уж больно скромен ты, Христовы кости!
Застенчивость излишнюю отбрось ты».
И отвечал священник: «Погоди
И вымыслов ты от меня не жди.
Нарушить назидание не смею,
Которое преподал Тимофею
Апостол Павел, он же порицает
Того, кто правдою пренебрегает,
Чтоб пустяки и басни сочинять.
К чему же плевелы мне рассевать,
Когда пшеницу я могу посеять?
Веселость вашу не хочу развеять,
Но если есть у вас, друзья, терпенье,
Прослушать днесь благое поученье,
Извольте; преподать его готов,
И смысл моих приятен будет слов
Для тех, кто слово праведное чтит,
Кому и добродетель не претит.
Южанин я, и очень сожалею,
Что рэм, рам, руф низать я не умею,
По буквам звонкий складывая стих.
Я рифмы сладость тоже не постиг.
Так слух я ваш не буду щекотать,
И в прозе мне позвольте рассказать.
Быть может, ты хотел рассказа звонче,
Чтоб пиршество сегодня им закончить,
Но выслушай смиренный мой рассказ —
В нем с божьей помощью хочу я вас
Провесть по ступеням того пути,
Которым в град небесный привести
Господь сулит нам. Не судите строго,
Коль приведу примеров слишком много.
И если буду в текстах я неточен,
Меня поправить я прошу вас очень.
Я не начитан, в букве не силен,
Держусь я смысла, был бы верен он,
И с книжниками я не соревнуюсь,
Но внять поправкам вашим обязуюсь».
И тотчас же мы все на том сошлись,
Что раз на богомолье собрались,
Свой путь пристойной речью завершить

Уместно нам; и стали мы просить
Священника начать благое слово.
И, увидав, что выбора иного
Нет у него, хозяин наш сказал:
«Ну, сэр священник, так, как ты желал,
Пусть будет. Слушать мы тебя готовы».
Потом, смягчив слегка свой тон суровый:
«Что ж, начинай, пожалуй, наставленье.
Но солнце скоро сядет, к сожаленью.
Пускай господь тебе укажет путь,—
Будь поучителен, но краток будь».

И тут Священник начинает в прозе
свою поучительную, но длиннейшую проповедь
о семи смертных грехах и способах искупить их,
на чем и обрывается незавершенная Чосером книга
Кентерберийских рассказов

ПРИМЕЧАНИЯ

Датируемых XIV веком рукописей произведений Чосера до нас не дошло. Однако имеется ряд доказательств того, что творчество его было широко известно современникам. Сам Чосер устами юриста в «Кентерберийских рассказах» говорит о себе как об известном поэте, усердном и плодовитом, хоть порою и не очень умелом стихотворце. Но прижизненную славу доставили Чосеру не «Кентерберийские рассказы», а перевод «Романа о Розе» и «любовные песнопения», как называл раннюю куртуазную лирику, а также поэмы Чосера его друг поэт Джон Гауер. Вплоть до начала XVI века английские литераторы видели в любовной поэзии Чосера образец совершенства и свободно черпали из нее, позволяя себе и прямые заимствования.

Но если современники восхваляли «любовные песнопения» Чосера, а также отмечали его широкую эрудицию (в латинской эпитафии на надгробье Чосера в Вестминстерском аббатстве он даже сравнивается с Сократом), наступившая затем эпоха Возрождения по достоинству оценила и «Кентерберийские рассказы».

Пятнадцатый век оставил нам шестьдесят рукописных списков «Кентерберийских рассказов» (включая отрывки). В 1478 году «Кентерберийские рассказы» напечатал первый английский книгоиздатель Уильям Какстон; в 1483 году он предпринял второе издание «Кентерберийских рассказов». В 1492 году их напечатал Пинсон, в 1498-м — де Уорд. В 1532 году Уильям Тинн выпускает собрание сочинений Чосера, в 1561 году это начинание подхватывает Джон Стоу, а в 1598 году сочинения Чосера выходят снабженные биографией поэта, а также рядом высказываний о Чосере «ученых мужей». Издание 1598 года было пересмотрено и вышло вновь в 1602 году.

О «Кентерберийских рассказах» восторженно отзывались известные поэты английского Возрождения Филип Сидней и Эдмунд Спенсер. Последний видел в них чистейший источник английской речи.

Литераторы и критики XVII—XVIII веков, отдавая должное реализму «Кентерберийских рассказов» и мастерству их создателя, пытались «выправить» язык Чосера. Так, Джон Драйден «переписал» рассказы батской ткачихи и рыцаря, а Александр Поп — рассказ купца. В 1737 году пролог «Кентерберийских рассказов» и рассказ рыцаря анонимно издал Томас Морелл, как писал издатель, «по наиболее достоверным рукописям». В 1775—1778 годах первое научное комментированное издание «Кентерберийских рассказов» было предпринято Уильямом Тируиттом.

Новую волну интереса к Чосеру принес с собой XIX век. Чосера изучали поэты-романтики начала века В. Скотт, Ч. Лэм, Байрон, У.-С. Лендор и др. Много сделал для пропаганды его творчества Альфред Теннисон. В 1868 году в Англии было основано Чосеровское общество, целью которого стало издание научно проверенных текстов сочинений Чосера и изучение жизни и творчества поэта. Общество опубликовало ряд отдельных сочинений Чосера и монографий о нем.

В России имя Чосера, хотя и в ошибочной транскрипции, впервые было упомянуто в журнале «Полезное увеселение» в 1762 году в рассуждении «О стихотворстве». В первой половине XIX века оно встречается в русских журнальных статьях и книгах по иностранной словесности. О Чосере имел представление и Пушкин.

Первые русские переводы отрывков из «Кентерберийских рассказов» были осуществлены Шау («Библиотека для чтения», 1859, №№ 1, 4 и 7) и Д. Минаевым (в издании Н. В. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образцах». СПб., 1875). В наше время творчество Чосера изучал видный советский литературовед и переводчик И. А. Кашкин. Предпринятый им совместно с О. Б. Румером перевод «Кентерберийских рассказов» вышел в Гослитиздате в 1946 году. Этот перевод, а также вступительная статья и комментарии И. А. Кашкина воспроизводятся в настоящем издании.

От редакции

Основная часть «Кентерберийских рассказов (все прологи и шестнадцать рассказов) написана пятистопным ямбом и парнорифмованным двустишием со свободным чередованием мужских и женских рифм. Впоследствии эта форма получила название «героического куплета». Этот стих встречается уже у французских поэтов XIV в. (Машо и др.), но Чосер первый развил его и применил в Англии для произведения такого масштаба, как «Кентерберийские рассказы». У Чосера для этого стиха характерны большая гибкость, изобилие enjambements, он насыщен разговорными интонациями и прекрасно приноровлен к реалистическому характеру его стихотворных новелл.

ОБЩИЙ ПРОЛОГ

Стр. 33. *...А солнце юное в своем пути // Весь Овна знак успело обойти...* — Чосер обладал значительными по его времени познаниями в области астрономии. Он написал для сына «Трактат об астролябии». По словам одного исследователя, «он предпочитал циферблат звезд и календарь Зодиака». Для него характерно не прямое обозначение времени, а косвенные астрономические указания, определяющие время. Все они, по изысканиям позднейших исследователей, безошибочно указывают точную дату. (Ср. рассказ рыцаря, пролог юриста, рассказ капеллана и пр.) По вычислению самого Чосера в его «Астролябии», солнце выходит из знака Овна после 11 апреля, а паломничество в Кентербери, по указанию в прологе к рассказу юриста, приурочено к 16—20 апреля (вероятнее всего — 1387 г.).

Фома Бекет (1118—1170 гг.) — архиепископ Кентерберийский, канцлер Генриха II, боролся с королем за независимое положение церкви и был убит слугами короля. Позднее канонизирован католической церковью.

Табард — расшитая гербами безрукавная епанча, которую носили поверх вооружения как отличительный знак в бою. Позднее стала одея-

нием парламентеров и герольдов. Изображение такой епанчи, укрепленное на горизонтальном шесте, служило вывеской таверны Гарри Бэйли, в которой произошла встреча паломников Чосера. В книге 1598 г. (Speght, «Glossary to Chaucer» — «Глоссарий к Чосеру») таверна эта упоминается как существующая еще под старым названием. До конца XIX в. она была известна под искаженным названием «Харчевни Тальбот» (на Хай-стрит, в предместье Лондона Соуерк).

Стр. 34. *Тот рыцарь был достойный человек.*— По мнению Лаунсбери («Studies in Chaucer», 1892), Чосер, описывая рыцаря, имел в виду Генри Болингброка, графа Дарби, герцога Герфордского, позднее короля Генриха IV. В юности он участвовал в крестовых походах, в 1390 г. двадцатичетырехлетним рыцарем воевал с маврами и участвовал в походах Тевтонского ордена на Литву. Хотя возраст и нрав рыцаря и Болингброка далеко не совпадают, весьма правдоподобно предположение Лаунсбери, что Чосер, стремясь косвенно изобразить подвиги Генриха, сына своего покровителя герцога Ланкастерского, соединил воедино его образ с образом деда его — первого графа Дарби.

Он с королем Александрию брал...— По упоминанию французского летописца Фруассара, Александрия была взята в 1365 г. кипрским королем Петром Лузиньяном, который «освободил от неверных» также Саталию (ныне Адалия, в Малой Азии) в 1352 г. и Лайас (ныне Айас, в Армении) в 1367 г., «равно как многие другие города в Сирии, Армении и Турции».

Алжезир (ныне Алхесирас) был взят у мавров в 1344 г., причем в осаде его участвовали английские рыцари, графы Дарби и Солсбери. Таким образом, боевая деятельность рыцаря охватывает около двадцати пяти лет.

Бельмария (испорченное Бен-Марин) и *Тремиссен* (ныне Тлемсэн, город в Алжире) — по указанию Фруассара, существовавшие в его время мавританские королевства.

Великое море.— Так в средние века по библейской традиции именовалось Средиземное море. Чосер так же называет и Черное море.

Стр. 35. *Сквайр* — оруженосец.

Фландрия, Артуа и Пикардия были ареной многих сражений Столетней войны между Англией и Францией.

...Наряд его расшит был, словно луг... Был в талию камзол, и по колени // Висели рукава.— Сквайр одет по моде придворных Ричарда II, которые прославились своей безрассудной расточительностью.

Приходский священник общего пролога так обличает в своем рассказе-проповеди грех роскошества: «Главный порок роскошного платья не только в изобилии вышивок, фестонов, оборок, нашитых полос, зубцов и прочих геральдических знаков, но и в одеяниях, подбитых дорогим мехом и столь изуродованных прорезными буфами и узорами, а также

в непомерной длине оных одеяний, волочащихся в грязи и навозе не токмо при ходьбе пешком, но и при верховой езде... И все это роскошество идет прахом и пропадает, истертое и вывалянное в грязи, в то время как бедный люд нуждается в одежде. И чем больше растрачивается богатого платья, тем дороже и недоступнее для бедного и его простая одежда. А если бы бедные и получили эту изрезанную и пробитую узорами одежду, она не могла бы служить потребностям их и защитить их от холода и непогоды. С другой стороны, мы можем говорить об ужасной и непристойной скудости этого богатого одеяния». Священник жалуется далее, что «эти короткие куртки и камзольчики» не прикрывают нижней части туловища, обтянутой разноцветным трико, «и делается это злонамеренно»; что ноги, «разделенные белой и розовой штаниной, кажутся обнаженными наполовину»; что «когда исподнее делают из разных штанин других цветов — белого и черного, белого и синего, черного и красного, то вследствие этой пестроты кажется, что половина человека поражена антоновым огнем, либо раком, либо иным подобным недугом».

Стр. 36. *С ним Йомен был...*— Йомен — лично свободный хлебопашец, обязанный службой своему сюзерену, которого он сопровождал на войну.

С ним был его большой могучий лук...— Когда в эпоху Столетней войны англичане ввели нечто вроде общеобязательной военной службы и организовали против французской рыцарской конницы пехоту как главный род оружия, именно йомены, вооруженные «большим луком», составили основной костяк этой пехоты. Стрелы йоменов гораздо больше, чем рыцарские копья, помогали англичанам побеждать французов.

«Большой лук», изготовленный из испанского тиса, размером больше роста стрелка, был настолько легок, гибок и удобен, что английские лучники выпускали по двенадцати стрел в минуту. По свидетельству очевидца боя при Креси, итальянца Джиованни Виллани, эти луки стреляли втрое, а по другим источникам, и вшестеро скорее массивных французских и генуэзских арбалетов. Эта скорострельность и дальнобойность лука (250—300 м), меткость английских лучников и сила, с какой их метровые стрелы пробивали лучшие кольчуги и поражали коней, заставляя рыцарей спешиваться и падать под тяжестью вооружения,— вот что в значительной степени определило исход сражений при Креси, Пуатье и Азенкуре.

Лик святого Христофора.— Образок св. Христофора, патрона лесников, был в средние века очень распространен как своего рода амулет, ограждающий от опасностей на войне и охоте.

Страж знатных послушниц и директриса.— Усиленное подчеркивание Чосером образованности и хороших манер аббатисы указывает, что

ее аббатство, подобно известному аббатству св. Марии в Винчестере, было своего рода институтом благородных девиц и убежищем для знатных дам.

«Клянусь святым Элуа».— Существует предание о том, что св. Элигий (фр. Элуа, род. ок. 588 г.) решительно отказался дать клятву королю Дагоберу. Таким образом, выражение Чосера «клянусь св. Элигием» некоторые исследователи толкуют как идиоматический оборот, обозначающий, что аббатиса вовсе не клялась; другие (Лоуэс и Мэнли) считают, что она клялась самым модным и фешенебельным святым того времени.

...И по-французски говорила плавно..— Очевидно, на том грубоватом англо-норманнском языке, который долго сохранялся в Англии как язык двора, суда и монастырей. Язык этот сильно отличался от живого французского (парижского) говора.

...Чуть окуная пальчики в подливку...— Нужно иметь в виду, что в Англии вилки вошли в обиход только в середине XVII века, и поэтому за обедом особенно ясно обнаруживалось хорошее воспитание в манере ловко и опрятно орудовать ножом и пальцами.

Стр. 37. *«Amor vincit omnia».*— Этот девиз, очевидно, заимствованный из стиха 69 эклоги X Вергилия «Omnia vincit amor», возможен был на застежке четок (фермуаре) монахини как двусмысленный вариант евангельского текста «Превыше всего любовь» (I посл. к Коринфянам, XIII, 13).

Устав Маврикия и Бенедикта.— Постановления св. Маврикия и св. Бенедикта Нурсийского, основателя ордена бенедиктинцев (V—VI вв.), были старейшими монастырскими уставами католической церкви. Здесь мы имеем косвенное указание на то, что перед нами сановный монах-бенедиктинец, в отличие от кармелита, монаха нищенствующего ордена. Почти каждая деталь в описании образа жизни и одежды бенедиктинца (охота, пирушки, дорогой мех, золотая застежка, сапоги, уздечка с колокольчиками и пр.) является вопиющим нарушением не только монастырского устава, но и многочисленных светских постановлений того времени, направленных против роскоши.

Стр. 38. *Монах без кельи — рыба без воды.*— Сжатый перевод текста из декреталий Грациана: «Sicut piscis sine aqua caret vita, ita sine monasterio monachus»,— который дан в «Видении о Петре Пахаре» современника Чосера Лэнгленда в более развернутом виде: «Григорий, великий ученый, велел написать в книгах следующее наставление для правильной и послушной духовной жизни: точно так, как рыбы, когда после водополья не станет воды, погибают от жажды, лежа на сухом берегу, и духовные лица гниют и издыхают, когда хотят жить вне своих обителей и монастырей».

Он лебедя любил с подливкой кислой.— Лебедь упоминается здесь как изысканное блюдо (ср. в русских былинах).

«Любовный бант» — застежка в форме сложного банта или розетки.

Кармелит — представитель одного из четырех орденов нищенствующих монахов-миноритов (кармелиты, августинцы, францисканцы и доминиканцы). Основанные в середине XII и начале XIII в. в целях религиозной пропаганды среди неимущих слоев, ордена эти в первое время требовали от своих монахов выхода из затвора, подвижнической жизни, отречения от всяких земных благ, помощи прокаженным, нищим и больным. Однако очень скоро, и, во всяком случае, ко времени Чосера (XIV в.), нищенствующие братья выродились в обычных монахов-тунеядцев, прихлебателей и лентяев, не заглядывавших в городские трущобы и больницы, но ставших завсегдатаями богатых купеческих и дворянских домов.

Брат сборщик был он... — Чосеров кармелит был «лимитур», брат сборщик с ограниченными правами, позволявшими ему собирать милостыню только в определенном круге, во избежание столкновений с соперниками, сборщиками других монастырей.

Стр. 39. *Франклин* — представитель зажиточных земельных собственников, главным образом из старых деревенских англосаксонских родов. Наследственные поместья франклинов были свободны от налогов и феодальных повинностей, которыми король облагал поместья, дарованные им своим норманнским вассалам.

Рота — инструмент вроде скрипки.

Стр. 40. *Он требовал, чтоб охранялись воды...* — Восьмидесятые годы XIV столетия были временем упадка недавнего могущества Англии. Враг стал угрожать ее морским путям. Не мудрено, что это волновало нарождающееся английское купечество и что оно приняло свои меры. Для охраны морских путей (par la saufgarde et custodie del mer) уже в 1359 г. был установлен сбор с «тоннажа и веса» в шесть пенсов с фунта перевозимых товаров. Деньги эти шли на построение военного флота, и налог был, в сущности, платой королю за охрану.

...В пути из Миддлбурга в Оруэлл. — Одна из главных дорог морской торговли того времени из голландского порта Миддлбург (на о. Вальхерен) в Оруэлл (на месте теперешнего Гарвича на восточном побережье Англии).

Охотно деньги в рост купец давал... — По средневековым воззрениям, это считалось прямым грехом и преступлением.

Прервав над логикой усердный труд... — Следовательно, студент преодолевал лишь второе из семи «свободных искусств» подготовительного курса, которые обычно проходились в средние века в таком порядке: 1. Грамматика, 2. Логика, 3. Риторика. И второй концентр: 1. Арифметика, 2. Геометрия, 3. Музыка, 4. Астрономия. Все эти семь предметов считались общеобразовательными, а далее шла специализация

по отраслям: богословие, юриспруденция и медицина (которая обнимала все естественные науки, в том числе и астрологию).

Стр. 41. *Полено клал он в изголовье койки.*— «Наши отцы (да и мы сами также) часто спали с хорошим круглым поленом под головою вместо подушки... Подушки, говорили нам, нужны только роженицам»,— писал В. Гаррисон еще в 1580 г. («Description of England»).

Ему милее двадцать книг иметь...— Цифра немалая для того времени, если вспомнить, что библиотека самого Чосера, разносторонне образованного человека, насчитывала шестьдесят книг и составляла большую ценность.

...И клерк их клянчил, грешная душа...— Парламентским указом 1388 г. студентам позволялось нищенствовать, и на это давалось особое разрешение университета.

Юрист.— Речь идет о докторе прав (Sergeant of Law) — юристе высшей квалификации, со стажем не менее шестнадцати лет, которого специальный королевский патент уполномочивал председательствовать в судах присяжных и защищать интересы короны в особо важных случаях, давая также право вести процессы в палате общин. Таких юристов во времена Чосера насчитывалось не более двадцати человек.

...На паперти...— Во времена Чосера лондонские суды среди дня закрывались, и юристы вместе со своими клиентами собирались для совещаний и консультаций на паперти собора св. Павла, которая служила своеобразной юридической биржей.

...И часто на объезды назначаем.— Периодически от короны назначались особые судьи на объезды провинциальных городов «pour oyer et terminer», то есть рассматривать накопившиеся нерешенные дела и «очищать тюрьмы».

Клиенты с «мантией» к нему стекались...— Мантия, то есть дорогостоящая судейская тога. Здесь как обозначение повышенного гонорара, который давали клиенты юристу, чтобы обеспечить себя от подкупа его противной стороной (франц. les épices — пряности, итал. guanti — перчатки, примерно в этом же значении).

Он знал законы со времен Вильяма...— То есть все англо-норманнское законодательство со времен Вильгельма Завоевателя. Еще в XIX в. в ходу был юридический термин: «A temp. Reg. Will.».

Стр. 42. *...Был в том достойным сыном Эпикура...*— В фигуре франклина Чосер рисует те черты англосаксонского лэндлорда (гостеприимство, чревоугодие, веселый и открытый нрав), которые открывают традицию этого образа вплоть до сквайра Вестерна у Фильдинга («История Тома Джонса, найденыша») и англосаксонских танов Вальтера Скотта.

Святой Юльян (Юлиан) — Странноприимец, или Милостынник, был патроном путников и гостеприимства.

Сессии — в данном случае: судебные.

...Не раз в палате графство представлял.— Сам Чосер в 1386 г. представлял в парламенте графство Кент в качестве «рыцаря графства», что не надо понимать как дворянское звание, а просто как выборную должность. При обязательном цензе для депутата в сорок фунтов годового дохода это дает представление об имущественном положении Чосера в эти годы.

Шериф — представитель королевской власти в графстве.

Стр. 43. *...заседать в Гилдхолле.*— То есть быть олдерменом, членом лондонского самоуправления. Гилдхолл — гильдейский дом, ратуша.

...И разрешали б шлейф носить длинней.— Жены олдерменов, причисленных к джентри (мелкому дворянству), получали право именоваться «мадам», занимать почетное место в церкви и носить шлейф определенной длины. Не следует забывать, что костюм был строго регламентирован; так, «Законы о роскоши» разрешали людям низших званий носить только грубое сукно стоимостью не выше двенадцати пенсов и полотняные ткани и запрещали, в частности, серебряную оправу ножен («Status of the Realm» — I, 378).

...Умел огонь как следует разжечь...— В те времена существовала целая наука о том, как и какими дровами следует разжигать печь для приготовления различных блюд.

Эль лондонский.— Лондонский эль славился в XIV в. и стоил на пять шиллингов за бочку дороже кентского эля.

Был Шкипер там из западного графства.— Речь идет о графстве Южный Дэвон и о порте Дартмут, который, согласно данным о наборе кораблей Эдуардом III для осады Кале, по числу выставленных судов стоял на третьем месте, ниже Ярмута, но значительно выше Лондона. В частности, из Дартмута в 1181 г. отплыли первые английские крестоносцы.

Бордо — в период Столетней войны принадлежал англичанам и снабжал Лондон своим вином.

...Всех пленников, едва кончался бой, // Вмиг по доске спроваживал домой.— Распространенный в XIV в. и позже способ расправляться с пленными, которых заставляли с завязанными глазами проходить по доске, выставленной за борт.

Стр. 44. *...От Готланда до мыса Финистера...*— Рейс: ганзейские города в Балтийском море — северо-запад Испании.

...От Гулля и до... Картахены...— Рейс: Восточная Англия — средиземноморское побережье Испании.

...Горяч иль холоден, мокр или сух // Больного нрав...— По представлению медиков средневековья, нрав (темперамент) человека определялся сочетанием четырех элементов, находящихся под воздействием животного жара. «Жар, влияя на мокрое и холодное, порождает флегму (лимфу) флегматика; влияя на горячее и мокрое — кровь сангвиника;

на горячее и сухое — желчь холерика; наконец, на холодное и сухое — черную желчь меланхолика». Способы лечения зависели от положения звезды больного и от времени года, месяца, недели или даже часа, когда они применялись, потому что, вне зависимости от темперамента, в организме человека, по мнению врачей-астрологов, «шесть часов до полуночи господствует флегма, шесть после полуночи — кровь, шесть часов до полудня — желчь, шесть после полудня — черная желчь».

...Он Эскулапа знал и Гиппократа...— Перечень медицинских авторитетов средневековья Чосер не без иронии открывает именем патрона медицины — бога Эскулапа. Гиппократ — греческий медик III в. до н. э., «отец медицины», автор шестидесяти сохранившихся врачебных трудов. *Диоскорид* — греческий медик I в. н. э. родом из Киликии, автор пятитомного труда «Materia medica». *Цельс* Авл Корнелий — римский ученый I в. до н. э., автор энциклопедии античной медицины «De Medicina Libri Octo», в которой изложены все достижения александрийской школы медиков. *Гильбертин* — Гильбертус Англикус — один из первых в Англии ученых медиков XIII в. *Руф* — греческий медик из Эфеса, современник Траяна, писал по вопросам анатомии. *Аверройс* — Ибн-Рошд (1226—1298 гг.) — известнейший из арабских ученых, жил в Испании и Марокко. Философ-материалист, последователь и комментатор Аристотеля, он подвергался преследованиям мусульманского духовенства за ересь. Аверройс обосновал свои медицинские теории в трактате «Система» (Colliget). *Константин* — Константин Афер (XI—XII вв.) — уроженец Карфагена, монах-бенедиктинец из Монте-Кассино. Один из основателей знаменитой в свое время Салернской школы врачевания. *Дамаскин* — Иоанн Дамаскин — арабский медик и богослов IX в. *Гали* — арабский комментатор Галена, XI в. *Галиен* — иначе Гален, Клавдий (120—210 гг. н. э.) — греческий медик из Пергама, врач Марка Аврелия, автор до двухсот сохранившихся работ; и до сих пор в ходу термин: «Галеновская фармакопея». *Авиценна* — Ибн-Сина (980—1037 гг.), родом из Бухары, арабский философ и медик, «князь медицины», автор «Канона медицины», энциклопедии врачебных знаний того времени. Мусульманским духовенством был предан проклятию как еретик. *Гатисден Джон* — оксфордский ученый начала XIV в., придворный врач Эдуарда II, первый в Англии автор медицинского трактата «Rosa Anglica», в котором он, в частности, уверял, что вылечил одного пациента, прописав ему семь головок жирных летучих мышей.

Стр. 45. *...Со дней чумы...*— Чосер имеет в виду, очевидно, великую чуму 1348—1349 гг., которая поразила и Флоренцию времен Боккаччо, или, еще вероятнее, чуму 1369 г., во время которой умерли многие покровители Чосера. За 1348—1349 гг., когда чума впервые поразила Англию, от «черной смерти» вымерло больше половины населения страны. Прежняя цифра, в 4 млн. населения, была достигнута лишь

при Елизавете. С перерывами чума свирепствовала в Англии до начала XVIII в.

...И золото — медикамент целебный...—Золото считали во времена Чосера незаменимым лекарством при лечении ряда болезней, так что каламбур Чосера имел и реальные основания.

...Ткачихам гентским впору подивиться.— Тогда как Ипр и Гент славились сукнами на континенте, Западная Англия и особенно окрестности города Бата поставляли лучшее английское сукно.

Священник приходской.— По контрасту с развращенным монашеством и епископатом, Чосер идеализирует фигуру бедного приходского священника, «младшего брата» пахаря (см. ниже). Образ жизни и воззрения священника совпадают со взглядами современника Чосера знаменитого реформатора английской церкви Уиклифа и его последователей — «бедных проповедников». В прологе шкипера есть косвенное указание на то, что паломники рассматривали священника как уиклифита: это — восклицание трактирщика Гарри Бэйли: «По запаху лолларда узнаю» (стр. 182).

Стр. 46. *Десятина* — налог, взимавшийся в пользу церкви, размером в одну десятую дохода.

Стр. 47. *С ним ехал Пахарь — был ему он брат.*— Так же как и священник, идеализирован Чосером и «брат его» пахарь. Современник крестьянских восстаний 1381 г., он, однако, лишен боевых черт последователей Уота Тайлера или даже Петра Пахаря Лэнгленда.

На замореннной ехал он кобыле.— Признак крайней бедности. Ездить на кобыле считалось унижением для почтенных людей того времени.

...И приз всегда — барана — получал.— Баран был традиционным призом в кулачных состязаниях (ср. «Рассказ о сэре Топасе», стр. 199: «...в борьбе всегда барана брал»).

Стр. 48. *...Судейского подворья Эконом.*— Речь идет об одном из иннов (общежитий) Темпля, бывшего здания ордена тамплиеров, в котором ко времени Чосера расположился своего рода вольный юридический факультет со своими общежитиями.

...Всегда так ловко бирки он сочтет...— Эконом забирал товар в кредит «by taille», то есть на бирки. При этом палочки с определенными нарезками, обозначающими количество купленного товара, раскалывались по длине на две части и при расчете предъявлялись продавцом и покупателем, которые часто бывали неграмотны. Совпадение нарезок при наложении бирок свидетельствовало о правильности расчетов. Английское казначейство вплоть до начала XIX в. вело расчеты именно таким образом и хранило в подвалах парламента огромное количество подобных деревянных оправдательных документов.

Мажордом — управитель богатого поместья.

Виллан — поселянин, обязанный барщинными повинностями помещику.

Стр. 49. *«Скотт»* — и до сих пор излюбленная кличка рабочих коней в северных графствах Англии, в смысле «Шотландка».

Тан.— Этим старым англосаксонским термином в Англии (особенно в северных графствах Англии и в Шотландии) долго обозначали мелких беспоместных дворян, которые приобретали личное дворянство службой у сеньора.

Церковного суда был Пристав с нами.— Пристав был блюстителем нравов, он обладал правом налагать взыскание за несоблюдение поста, неуплату десятины, женитьбу родных, прелюбодеяние и вообще за нарушение нравственности. Виновных в более серьезных проступках он вызывал на суд архидиакона (викарного помощника епископа). Ненавистный взяточник и вымогатель, пристав — излюбленная фигура английских народных представлений.

Стр. 50. *«Questio quid juris?»* («А что говорит закон?») — формула, которой начиналось судопроизводство.

Викарий — здесь: помощник епископа, в частности, по дисциплинарным и брачным делам, по вопросам наследования, по вопросам семейного права и всем преступлениям против религии и морали. В Англии эту должность часто занимали так называемые архидиаконы, которых так ненавидели за их вымогательства, что Фома Бекет называл современного ему архидиакона Джеффри Риделя «archidiabolus noster» (наш архидьявол). «Ибо если дьявол крадет душу человека, то архидьявол (архидьякон) крадет его деньги».

«*Significavit* (nobis venerabilis pater)» («Указал нам досточтимый отец») — первые слова формулы, произносимой при заточении отлучаемого от церкви грешника.

Диоцез — епископский округ.

...венок надет... словно с вывески пивной.— Вывеской английским средневековым пивным служил горизонтальный шест с большим ивовым венком.

Братство Ронсеваля.— Странноприимный дом для паломников в Ронсевале (Наварра) имел в Лондоне отделение (госпиталь Ронсевальской божьей матери), которое, как и все заведения этого рода, торговали всякими реликвиями и индульгенциями.

Стр. 51. *Поросячья ляжка* — один из целебных амулетов (ср. с «плечом Авраамовой овцы» в прологе продавца индульгенций, стр. 244).

Стр. 52. *Хозяин наш...*— Образ хозяина «Табарда», трактирщика Гарри Бэйли, считают прототипом многих аналогичных персонажей английской литературы, в том числе и хозяина «Подвязки» в «Виндзорских проказницах» Шекспира. О Гарри Бэйли напоминает и общий облик шекспировского трактирщика, и отдельные детали, вплоть до любимого при-

словья: «А хорошо ведь сказано», которое, точно так же выраженное, встречается в эпилоге к рассказу врача.

РАССКАЗ РЫЦАРЯ

Предположительно датируется 1384—1386 гг., однако под другим заглавием он ранее упоминается в прологе к «Легенде о Добрых Женах». Рассказ рыцаря — это сильно сокращенное и значительно переработанное переложение «Тезеиды» Боккаччо, причем из 9896 строк сделано 2250 строк, из них переведено, в сущности, только 270, а из прочих 374 похожи, а 132 лишь отдаленно напоминают соответствующие стихи Боккаччо.

Стр. 56. *Славный женский стан* — царство Амазонок.

Стр. 68. *...когда был Аргус усыплен.*— Хитроумный Меркурий убаюкал своей музыкой стоокого стража Аргуса и, усыпив, умертвил его.

Стр. 70. *...Снотворных трав и опия из Фив...*— Здесь: Фивы египетские.

Стр. 72. *Рондель* — вид стихотворения в тринадцать строк с двумя повторяющимися рифмами.

Стр. 81. *Киферон.*— Чосер, по-видимому, спутал Венерин остров Киферу (Цитеру) с горой Киферон, посвященной Вакху и музам.

Турн — противник Энея.

Стр. 84. *Дочь Пенея, по прозванью Дана.*— Дана — это Дафна, уклонившаяся от объятий Аполлона и обращенная им в лавр.

Стр. 85. *Люцина* — имя Дианы, как богини-родовспомогательницы.

Стр. 86. *Чистейший шелк из Тарса.*— Тарс здесь — вместо «Татария». Китайский шелк привозили в Европу через владения татар.

Стр. 88. *Адон* — Адонис, по преданию, прекрасный юноша, любви которого добивалась Венера.

Стр. 89. *Стаций* Публий Папиний (61—96 гг. н. э.) — римский поэт, автор двух больших эпических поэм: «Фиваида» и «Ахиллеида».

Стр. 90. *Во имя сущности твоей трехликой!* — Диана — богиня трехликая: Луна на небе, Диана, или Люцина, на земле, Геката, или Прозерпина, в подземном царстве.

РАССКАЗ МЕЛЬНИКА

Предположительно датируется 1391 г.

До последнего времени не обнаружено источника заимствования, и рассказ считают самостоятельным измышлением Чосера. Грубоватость рассказа — в духе той эпохи, а мотивы лобзанья невпопад и припечатывания каленым железом — распространенные мотивы средневековых

фаблио, фацеций и новелл (Мазуччо, новелла XXX, «Декамерон», III, 5, и др.). Рассказ мельника по своей композиции наиболее развернутый из всех реалистических рассказов Чосера. В нем даны три законченных портрета (Душка Николас, Алисон и Абсолон) и две переплетающиеся любовные интриги.

Стр. 112. *Альмагест* — «Величайшая книга». Арабское название главного труда греческого астронома Птолемея «Великая система».

Он всем семи искусствам обучился.— То есть кончил или кончал подготовительный курс, на котором проходились «семь свободных искусств», и избрал своей специальностью астрономию.

Стр. 113. *«Ангел к пречистой»* — английский духовный гимн XIII в.

Стр. 117. *Абсолон* — простонародное искажение имени Авессалом.

Стр. 119. *Святая Фридесвида* и до сих пор считается патронессой одного из приходов в Оксфорде.

Астроломия — у Чосера шуточное искажение — astromye.

...астролом // Ходил вот этак ночью, в небо пялясь...— Намек на известный анекдот о греческом философе и астрономе Фалесе, рассказанный Платоном в диалоге «Теэтет».

Стр. 121. *...Тогда б без драки уцелели оба.*— В одном из популярных мираклей Ноева жена отказывается войти в ковчег без своих приятельниц, а когда ее волокут в ковчег насильно, она бьет Ноя по голове.

Стр. 125. *«Листок любовный»* — ароматная трава.

РАССКАЗ МАЖОРДОМА

Предположительно датируется около 1388 г. В рассказе разработан бродячий сюжет («Декамерон», IX, 6) и ряд фаблио, в частности, фаблио «De Gombert et des Deux Clercs» Жана де Бове. Позднее тот же сюжет разработал Лафонтен в своем «Le Berceau». Однако вся реалистическая детализация заимствованной фабулы принадлежит Чосеру. Рассказ этот особенно удобен для сравнения скупой манеры «Декамерона» и объемной, детализующей манеры Чосера.

Стр. 137. *...Когда его лягнула в лоб кобыла...*— Намек на 91-ю новеллу сборника «Сто новелл древности», где речь идет о том, как ослица убеждала волка, что имя ее написано у нее на копыте. Когда же волк попытался прочесть имя, она лягнула его в лоб, на что присутствовавшая при этом лисица отозвалась приведенной сентенцией про грамотея и мудреца. Вариант того же см. в «Рейнеке Лисе».

Стр. 139. *Пустите в ход ученые приемы...*— Мельник высмеивает ученые споры об объективной реальности мысли, которые шли между виднейшими учеными схоластами того времени — Дунсом Скоттом и Оккамом.

РАССКАЗ ПОВАРА

Стр. 147. *Чипсайд* — улица близ собора св. Павла в Лондоне. До большого пожара 1666 г. была ярмарочной площадью, на которой происходили празднества и народные гулянья.

Стр. 148. *Свидетельство* — об окончании ученичества у мастера.

ПРОЛОГ ЮРИСТА

Датируется предположительно 1394 г.

Стр. 151. *Пример Овидия его прельстил.*— Чосер имеет в виду «Метаморфозы» Овидия.

...Кейка он воспел и Альциону...— Переложение мифа о Кейке и Альционе по «Метаморфозам» Овидия, кн. XI, открывает Чосерову «Книгу Герцогини», написанную в 1368 г., когда Чосеру было двадцать восемь лет.

...Весь сонм святых угодниц Купидона...— Юрист имеет в виду «Легенду о Добрых Женах» Чосера. Работа эта Чосером не окончена, в ней нет, в частности, повести о страданиях «великомучениц Купидона»: Деяниры, Гермионы, Елены, Брисеиды, Пенелопы, Лаодамии, Геро и Альцесты. Зато юрист не упоминает о Клеопатре и Филомеле, «жития» которых написаны Чосером.

Стр. 152. *Не рассказал про Канацеи грех...*— История о «Канацее и Аполлоне Тирском пересказана в «Confessio Amantis («Исповедь влюбленного») современника Чосера — Гауера; упоминание об этой поэме, появившейся в 1393 г., дает основание для датировки пролога юриста.

Пириды.— В «Метаморфозах» Овидия рассказывается о кичливых дочерях Пиера, состязавшихся с музами, побежденных ими и обращенных в сорок.

...Я прозой говорю, а он — в стихах...— То есть Чосер. Здесь явная неувязка, так как пролог юриста тоже написан в стихах. Примеры подобных неувязок см. на стр. 184, где шкипер причисляет себя к замужним женщинам, или там, где вторая монахиня говорит не о слушателях, а о читателях. Объясняются эти неувязки чаще всего тем, что рассказы и прологи к ним написаны были в различное время и иногда предназначались не для тех рассказчиков, которым Чосер доверил их в последней редакции. В частности, существует предположение, что юристу предназначался прозаический рассказ про Мелибея.

РАССКАЗ ЮРИСТА

Предположительно датируется 1390 г., по намекам на сарацин. Рассказ юриста заимствован из англо-норманнского прозаического переложения Николаем Триве (ум. в 1334 г.) староанглийской были, действие

которой приурочено к IV в. н. э. Из тысячи стихов этого рассказа больше трети представляют добавления Чосера к сухому аллегорическому и нарочито назидательному повествованию бретонской хроники.

В первых четырех строфах много заимствований из XVI гл. трактата папы Иннокентия III «De contemptu mundi» («О презрении к миру»). Трактат этот, по собственному указанию Чосера, был переведен им, но перевод до нас не дошел.

Стр. 153. *О бедность, мать бесчисленных обид!* — Аналогичное обращение к бедности встречается в драматической поэме Барри Корнуолла «Сокол». Соответствующий монолог этой пьесы послужил источником фрагмента Пушкина «О бедность, как я затвердил урок твой горький».

Стр. 158. *Атизар* — в астрологии дурное влияние планеты.

Стр. 161. *Лукан* Марк Анней — римский поэт (39—67 гг.), автор эпической поэмы «Фарсалия» о борьбе Цезаря с Помпеем.

Стр. 163. *...От голода святую деву спас...* — Имеется в виду Мария Египетская, которая, по преданию, сорок семь лет прожила в пустыне.

Стр. 175. *Джебальтар* и *Септа* — Гибралтар и Сеута.

Стр. 180. *«Деянья римские»* — «Gesta romanorum». Сборник на латинском языке, составленный в конце XIII или начале XIV в. неизвестным автором. Задуман как материал для проповедника и носит наставительный характер. Сборник послужил источником для многих писателей, в нем в зачаточной форме можно найти тему рассказа Чосерова юриста, мотивы Шекспирова «Лира», «Фридолина» Шиллера и т. п.

Рассказ юриста написан так называемой «Чосеровой станеой». Это семистрочная строфа при схеме рифм ababbcc со свободным чередованием мужских и женских окончаний.

ПРОЛОГ ШКИПЕРА

Стр. 182. *По запаху лолларда узнаю.* — Лолларды — последователи Уиклифа, известные своей строгостью в жизни и в речи.

РАССКАЗ ШКИПЕРА

Во многих рассказах Чосера (например, в рассказе пристава церковного суда и т. п.) мы находим многочисленные галлицизмы и целые французские выражения, как следы французского влияния и влияния придворного англо-норманнского языка. В рассказе шкипера,

действие которого происходит во Франции, кроме таких галлицизмов, встречаем и французское написание ряда имен и географических названий.

Стр. 184. *...Он кормит, одевает нас...*— Рассказ шкипера Чосер, по-видимому, предназначал для батской ткачихи, и следы этого остались в стихах (14 — 23), где рассказчик причисляет себя к замужним женщинам.

Стр. 186. *Мальвазия* — сорт кипрского вина, позднее производившийся в Южной Франции. *Вернейское* — сорт итальянского вина.

Стр. 188. *Ганелон* — один из персонажей французского героического эпоса «Песнь о Роланде», рыцарь, предавший Роланда в битве в Ронсевальском ущелье.

РАССКАЗ О СЭРЕ ТОПАСЕ

Этот явно пародийный шуточный рассказ осмеивает рыцарский роман своего времени. Рассказ написан так называемыми доггерелями (см. ниже).

Стр. 201. *...Не то — свидетель Термаган...*— Термагаунт, или Термаган — мифическое существо, которое в английских «моралите» было олицетворением буйного разгула (ср. Шекспир, первая часть «Генриха IV», акт V, 4, 114; «Гамлет», акт III, 2, 15).

ЭПИЛОГ К РАССКАЗУ О СЭРЕ ТОПАСЕ

Стр. 205. *Доггерель* — неравностопная строфа с добавочными, так называемыми хвостовыми, рифмами («rime couée»), применявшаяся в шуточных жанрах; распространительно — всякий ковыляющий, плохой стих.

Одну безделку в прозе я слыхал...— Подобную характеристику «Рассказа о Мелибее», этого длиннейшего трактата, занимающего свыше пятидесяти страниц (922 строки) убористой прозы, можно воспринимать лишь как ироническую. «Рассказ о Мелибее», один из многочисленных вариантов притчи о долготерпеливом Иове, в настоящем издании опускается.

ПРОЛОГ МОНАХА

Стр. 208. *Гексаметр.*— Вместо обещанного в прологе гекзаметра, то есть, вероятно, не дактилического стиха Гомерова эпоса, а шестистопного ямбического стиха, все «трагедии» монаха написаны обычным у Чосера пятистопным ямбом.

РАССКАЗ МОНАХА

Рассказ монаха, состоящий из четырнадцати «трагедий», в настоящем издании представлен выборочно семью, наиболее характерными. «Трагедии» написаны французской балладной октавой, то есть восьмистрочной строфой пятистопного ямба с чередованием рифм ababbcbc. Большинство «трагедий» написано, вероятно, между 1370—1380 гг., на основе «Истории знатных мужей и женщин» Боккаччо, «De consolatione Philosophiae» («Об утешении философией») Боэция, «Романа о Розе» и Библии. Но о современниках своих — Педро Жестоком, Петре Лузиньяне и Барнабо Висконти — Чосер писал на основании живых рассказов, а не по литературным источникам. Эти «трагедии» написаны Чосером около 1386 г.

Стр. 211. *Ветилуя* — крепость в Иудее, долго не сдававшаяся Олоферну. *Крез.*— Рассказ о Крезе заимствован из «Романа о Розе» Жана де Мен и «Speculum Historicale», III, 17, Винсента де Бове.

Стр. 212. *Педро Жестокий* — король Кастилии и Леона (1334—1369), воевал со своим побочным братом Энрике Трастамара, претендовавшим на корону. Последний пользовался поддержкой папы, французского короля Карла V и принца Эдуарда Уэльского (так называемого Черного Принца). Разбитый наголову, Педро попал в ловушку и был заколот в поединке своим царственным соперником. Об обстоятельствах этого убийства Чосер мог узнать от своей жены Филиппы, которая была фрейлиной дочери короля Педро, когда та вышла замуж за герцога Ланкастерского.

На сук багровый пойманный орел...— Намек на двух участников убийства Педро Жестокого, двух бретонских рыцарей: Бертрана Дюгеклена и его племянника Оливье. Герб Дюгеклена — черный орел на серебряном поле с красной поперечной чертой, напоминающей ветку.

«Гнездовье зла» — по догадкам, Оливье де Мони.

Стр. 213. *Петро Кипрский* — Петр I Лузиньян, король Кипра, был умерщвлен своими вельможами в 1360 г.

Варнава (Барнабо) *Висконти* — герцог Миланский, «бич Ломбардии», был низложен своим племянником и умер в тюрьме в 1385 г. Чосер лично знал Барнабо, так как в 1378 г. ездил в Ломбардию по поручению короны заключать с ним договор о дружбе.

Уголино — умер в темнице голодной смертью в 1289 г.

Стр. 214. *...К поэме обратиться бесподобной, // В которой Дант...*— Чосер ссылается на песнь XXXIII Дантова «Ада».

ПРОЛОГ МОНАСТЫРСКОГО КАПЕЛЛАНА

Так как монах похвалялся, что накопил в своей келье сотню «трагедий», то положение для слушателей создалось действительно угрожающее, и монаха прерывает даже скромный и воспитанный рыцарь.

Стр. 216. *...Наш простодушный, добрый наш сэр Джон.*— «Сэр Джон» — простак, в старину фамильярное прозвище священников.

РАССКАЗ МОНАСТЫРСКОГО КАПЕЛЛАНА

Судя по упоминанию о Джеке Стро, сподвижнике Уота Тайлера, предводителя крестьянского восстания в Англии, рассказ написан не раньше 1381 г. Зерном рассказа большинство комментаторов, вслед за Тируиттом, считает тридцать восемь строк басенки писательницы Марии Французской (начала XIII в.) «Dou Coc et dou Werpil». Мария Французская, в свою очередь, перевела эту 51-ю басню своих «Лэ» («Lais») из англосаксонского сборника басен короля Альфреда. Басенное зерно сказывается в подчеркнутом морализировании, сведенном в три поучения: 1) нарочито наивное, бытовое — «не болтай, когда не надо», 2) серьезное, социально заостренное против угодливых льстецов и падких на лесть владык, и 3) пародийно-сатирическое — «не верь снам». Они подкреплены множеством примеров из средневекового и античного репертуара толкования снов.

Некоторые комментаторы с не меньшим основанием подчеркивают связь этого рассказа с народным французским эпосом «Роман о Лисе» (в частности, с пятой его ветвью «Si comme Maistre Renart prist Chanticler le Coc»).

Но старый, одряхлевший Лис совсем не похож у Чосера на пронырливого Ренара. Он почти не способен на хитрости, действует больше силой, его дурачит даже петух,— словом, он скорее напоминает типичного неудачника Волка позднейших вариантов.

При всех этих сопоставлениях надо иметь в виду, что по-своему окрашенный Чосером пересказ традиционного басенного или эпического материала занимает менее 200 строк, а более 400 строк приходится на совершенно самостоятельную разработку этой темы самим Чосером.

Это он внес, по своему обыкновению, весь реализм детальных описаний, комизм супружеских бесед птичьей четы, сатирическое высмеивание толкователей снов, куртуазной придворной поэзии, туманных богословских споров.

Чосер открыто пародирует и издевается над выспренной риторикой куртуазных стихов Джеффри де Винсофа. А толкование снов и

богословские споры он пародирует уж тем, что заставляет птиц обсуждать, скажем, вопрос о предопределении, долгие годы волновавший средневековую Европу и расколовший ее на два враждующих лагеря.

Птицы Чосера — очень ученые господа. Они цитируют Катона, Цицерона, Гиппократа, Боэция и средневековую схоластическую премудрость; но то, как Чосер заставляет их все это произносить, обнаруживает в нем жизнерадостный дух истинного поэта Возрождения.

Стр. 217. *Дом курной.*— Еще в 1580 г. (то есть почти через 200 лет после смерти Чосера) Гаррисон пишет о том, что: «начинают входить в употребление печи, и жители испытывают неизвестное до тех пор наслаждение сидеть в теплой комнате», тогда как «в дни нашей молодости было не больше двух-трех каминов на целый город».

Стр. 219. *«Где ты, моя девица?»* — начало популярной песни.

Стр. 220. *...Обжорством порождается дурман...*— Английский писатель Роберт Бертон (1577—1640 гг.) в своей «Анатомии Меланхолии» еще в 1621 г. говорит об «испарениях, порожденных обжорством и пьянством и подымающихся из желудка в мозг».

Катон — Дионисий Катон, писатель древности, автор «Двустиший о нравах» («Disticha de Moribus»), откуда Пертелот приводит дистих 32 (ч. I, кн. 2). Эта книга — собрание нравоучительных изречений и поговорок, широко распространенных в средние века и фигурировавших тогда в каждой учебной книге.

Стр. 221. *Два дня не нужно ничего вкушать,— // Одних червей...*— диета, предлагаемая Пертелот Шантиклэру, приноровлена к птичьим вкусам, но основана она на рецептуре средневековой медицины, которая следовала Диоскориду, рекомендовавшему в своем трактате «Materia medica» (II, LIX, в главе «De vermibus Terrae») земляных червей как средство против перемежающейся лихорадки.

В одной из книг рассказывает он...— Рассказы о вещих снах взяты у Цицерона — «О прорицании» («De Divinatione», lib. I).

Стр. 224. *Блаженный Кенельм.*— Сын мерсийского короля, в 819 г. до н. э., семи лет от роду, он наследовал отцу, но был убит своим воспитателем по наущенью тетки.

Макробиев «Сон Сципиона».— Макробий (ок. 400 г.) переиздавал и комментировал Цицеронов «Сон Сципиона».

Стр. 225. *Король лидийский Крез* — пародийный вариант «трагедии» о Крезе (см. рассказ монаха, стр. 211).

Стр. 227. *Ланселот.*— Известнейший из рыцарей Круглого стола, любовник королевы Джиневры.

Грек Синон убедил троянцев перетащить деревянного коня в город («Энеида», II, 259).

Стр. 228. *Боэций* Аниций — римский философ (ок. 475 — 526 гг.) неоплатоник, комментатор Аристотеля и Цицерона. Чосер перевел его трактат «De Consolatione Philosophiae» («Об утешении философией»), обсуждающий учение о предопределении.

Епископ *Бродвардин* (ум. в 1349 г.) возглавлял Оксфордский университет. Автор трактата «De Causa Dei contra Pelagium», в котором он вслед за блаженным Августином защищает учение о предопределении.

«Бестиарий» — «Physiologus de naturis XII Animalium» («Физиолог о природе двенадцати животных») Теобальда — книга, полная всякого рода выдумок о сиренах и прочих чудищах.

Стр. 229. *Боэций так не ощущал искусство...* — Намек на трактат Боэция «De Musica» («Пять книг о музыке»), единственный источник по музыкальной науке античности и раннего средневековья.

...Я в книжице «Сэр Лопоух-Осел»... — «Brunnelus seu Speculum Stultorum» («Осел, или Зерцало глупцов») — латинская книга, написанная кентерберийским монахом Нигелем Вирекером около 1190 г. Герой ее, осел, недоволен своим хвостом; надеясь удлинить его, он пускается странствовать. Он посещает медиков Салерно и Парижа, и по пути ему, между прочим, рассказывают историю о петухе, который, в отместку за обиду, не разбудил обидчика своим пением в день рукоположения в священники, вследствие чего тот лишился отцовского прихода.

Стр. 230. *Ужель в твой день...* — Пятница (лат. «dies Veneris») Венерин день.

Джеффри — Джеффри де Винсоф — придворный поэт; вскоре после смерти Ричарда I, смертельно раненного в пятницу 26 марта 1199 г., опубликовал свой трактат «Nova Poetria» («Новое стихотворчество»), в котором в качестве примера плачевной оды на смерть героя он дает свое латинское стихотворение на смерть Ричарда.

...Свирепый Пирр, царя Приама... пронзил мечом... — «Энеида», II, 550 — 3 (ср. сцену с актерами в «Гамлете»).

Стр. 231. *Газдрубал* — полководец Карфагена, в 146 г. до н. э. был захвачен в плен римлянами и, по Орозию (IV, 13, 3), сожжен. По другим источникам, Газдрубал спасся (Ливий, XLIX и L, и Евтропий).

Тальбот, или Тибальд — традиционная кличка кота в английском животном эпосе.

Джек Стро. — В 1381 г., во время восстания Уота Тайлера, лондонские ремесленники под предводительством Джека Стро учинили погром фламандским купцам, торговые привилегии которых наносили английским ремесленникам большой ущерб. Джек Стро на суде дал показания (так называемая «Исповедь Джека Стро»), которые формулировали намерения и цели восстания. Джек Стро был обезглавлен, а голова его была выставлена на позорище рядом с головой Уота Тайлера.

Стр. 232. ...*Победу побежденному дарует.*— Неудача Лиса представляет пародийный вариант обычного у Чосера мотива (ср. соперничество Паламона и Арситы в рассказе рыцаря).

РАССКАЗ ВРАЧА

По указанию проф. Лаунсбери, фабульная сторона рассказа заимствована не непосредственно из Тита Ливия, а из «Романа о Розе».

Стр. 240. *Иевфай* — один из судей израильских, обрекший смерти свою единственную дочь в знак благодарности богу за одержанную победу над аммонитами.

ЭПИЛОГ К РАССКАЗУ ВРАЧА

Стр. 243. *Что? Хорошо ведь сказано?* («Said I not well») — это присловие Гарри Бэйли четыре раза повторено хозяином «Подвязки» в «Виндзорских проказницах» Шекспира (I, 3, 11; II, 1, 226; III, 3, 93 и 99).

ПРОЛОГ ПРОДАВЦА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ

Хорошая выпивка делает пролог и рассказ продавца индульгенций цинично откровенной исповедью. Но и во хмелю он не забывает своего профессионального искусства: и пролог и рассказ построены по всем правилам традиционной проповеди.

Стр. 244. ...*Авраамовой овцы плечо.*— В рассказе священника, в отделе «О Гневливости», есть упоминание о грехе волхвования с овечьей лопаткой.

Стр. 245. ...*Я марок сто сбираю сей торговлей.*— Марка равнялась тринадцати шиллингам четырем пенсам; следовательно, годовой заработок продавца индульгенций составлял 66 фунтов. Это были по тому времени значительные деньги.

РАССКАЗ ПРОДАВЦА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ

Аналогичные рассказы встречаются еще в индийском эпосе, в восточном фольклоре (Гарин, «Корейские сказки». СПб., 1904, № 2), а в Европе — в сборнике «100 новелл древности», LXXXII, у Ганса Сакса — «Der Dot im Stock» и в многочисленных позднейших вариантах — вплоть до Киплинга («King's Ankus»), Уэллса «Сокровище в лесу» и Джека Лондона («Just meat» — «Ради золота»).

Ряд поучений рассказа заимствован из второй книги «De contemptu mundi» папы Иннокентия III.

Стр. 249. *...И тленья избежать никто не может...* — На одной из рукописей отметка: I Коринфянам, VI, 13.

Стр. 251. *Лепе* — местность в Испании близ Кадикса.

Ла-Рошель и *Бордо* во времена Чосера были под властью англичан и поставляли легкие вина, тогда как Испания (Лепе) производила крепкое вино.

Лемуил — легендарный царь, упоминаемый в притчах Соломона (гл. XXXI, ст. 1 и 4).

Рассказы о Стилбоне и Деметрии взяты из сборника Джона Солсбери, епископа Шартрского, «Polycraticus», I, 5 (ср. Шекспир, «Генрих V», I, 2).

Стр. 253. *...кровью Хэйлскою...* — В аббатстве Хэйл, Глостершир, в качестве реликвии хранился фиал с «кровью спасителя», которую будто бы мог увидеть лишь человек, с помощью приношений и купленных индульгенций освободившийся от всех смертных грехов.

...колокольчика протяжный звон... — Имеется в виду колокольчик, который несли перед гробом, призывая прохожих помолиться об усопшем.

Стр. 255. *И вот бреду, отверженец господень...* — Отголоски легенды об Агасфере.

Стр. 256. *Петля по нас давно тоскует.* — Вплоть до 1829 г. воровство каралось в Англии смертной казнью.

Стр. 259. *Нобль* — первая в Англии золотая монета ценностью в 6 шиллингов 8 пенсов; отчеканена в 1339 г., при Эдуарде III.

ПРОЛОГ БАТСКОЙ ТКАЧИХИ

Стр. 262. *...На паперти я верной быть клялась.* — На паперти у церковных дверей совершалась первая часть венчального обряда.

Но для завистников ведь всяк порочен; // Они твердят... — Далее следует более сотни стихов полемики ткачихи с трактатом св. Иеронима о целомудрии, известным под названием «Иероним против Йовиниана». Йовиниан — миланский монах IV века, ересиарх, оспаривавший обрядность, посты и ряд положений христианской морали.

Стр. 263. *Ламех,* по библейскому преданию, первым ввел многоженство (Книга Бытия, IV, 19).

Стр. 268. *Дэнмауский окорок.* — В Дэнмау, графство Эссекс, супружеской чете, которая никогда не ссорилась, выдавали премию в виде окорока.

Сорока. — Намек на ходячий анекдот о болтливой сороке, которая выдает секрет своей госпожи (ср. рассказ эконома).

Стр. 269. *Послушайте, как речь свою веду...* — Следующие сто строк развивают мысли из отрывка «О браке», приписываемого Теофрасту и

сохранившегося в упомянутом выше трактате св. Иеронима. Теофраст — знаменитый греческий ученый (372—287 гг. до н. э.).

Стр. 275. *...Метеллий, от венца // Едва вернувшись...*— Упоминается у Валерия Максима «Factorum et dictorum memorabilium libri», IX, кн. VI, гл. III. Этот исторический труд древности, представляющий богатейший сборник анекдотов, был очень популярен в средние века.

Стр. 276. *С гробницей Дария нельзя сравнить...*— Гробница персидского царя Дария была сооружена Апеллесом по повелению победителя Дария Александра Македонского.

Стр. 281. *Теофраст Валерий.*— Ткачиха мешает в одно Валерия Максима с Теофрастом, о котором см. выше.

Сочиненья Тертульяна.— Тертулиан — знаменитый богослов II в.

Хризипп (281—207 гг. до н. э.) — глава школы стоиков.

Тротула — упоминается в «Les Lamentations de Matheolus» как некая римская императрица, предлагавшая не доверять женщинам.

Хэловиса — Элоиза, аббатиса монастыря в Параклете, любившая выдающегося французского философа, богослова и поэта Абеляра (1079—1142).

«А кем, скажите, нарисован лев?» — Намек на басню Эзопа, в которой скульптор указывает льву, что человека всегда изображают побеждающим льва. Лев спрашивает: «А кто это изобразил? Человек? Ну, так если бы это изобразил лев, все было бы иначе».

РАССКАЗ БАТСКОЙ ТКАЧИХИ

С фабульной стороны рассказ перекликается с Артуровым циклом («The Knight and the Loathy Lady» и др.). Вольтеровским переложением этого рассказа Чосера («Ce qui plaît au dames», очевидно, навеяны наброски Пушкина: «Короче дни, а ночи доле» и «Из Рима ехал он домой», как начало рассказа про Доброго Роберта.

Стр. 294. *...редко от корней // Доходит добрый сок до всех ветвей...*— См. Данте, «Чистилище», VII, 121—123.

Стр. 295. *...как то Валерий описал.*— Тот же Валерий Максим, кн. III, гл. 4.

«С ворами хоть бедняк идет — // Он беззаботно пляшет и поет».— Ювенал, «Сатиры», X, 22.

Ах, людям бедность горько хороша...— В диалоге Адриана и Секундуса у Винсента де Бове («Speculum Historicale», I, 10, гл. 71; «Какова бедность? Горько хороша, матерь здравия» и т. д.

РАССКАЗ КАРМЕЛИТА

Рассказ кармелита характеризует отношение Чосера к притеснению бедного люда всякого рода феодальными грабителями, не последними из которых были духовные отцы, епископы-феодалы. Еще определеннее взгляды Чосера выражены в проповеди священника.

Стр. 300. *...Чтоб посохом их уловлял епископ.*— Проповедники поясняли своей пастве, что крюк на рукоятке епископского посоха предназначен для того, чтобы тянуть грешников на путь истины, а острие — чтобы расправляться с ослушниками.

Стр. 302. *Бэйлиф* — пристав гражданского суда.

Стр. 303. *...Живу я, друг, на севере далеко...*— По древнегерманской мифологии, ад — «царство хлада и мрака» — был на севере. Там же было, по представлению средневековья, и обиталище Люцифера (Мильтон, «Потерянный рай», стихи 755—760).

Стр. 305. *Пифониса* — первоначально жрица храма Дельфийского оракула, построенного на месте победы Аполлона над змеем Пифоном; позднее всякая прорицательница, в данном случае — Эндорская колдунья.

ПРОЛОГ ПРИСТАВА ЦЕРКОВНОГО СУДА

Пародируя здесь распространенный в средние века жанр «видений», Чосер вместе с тем зло высмеивает распространенное среди монахов представление о том, что в раю им уготовано место в складках мантии богоматери или в прободенном боку спасителя.

РАССКАЗ ПРИСТАВА ЦЕРКОВНОГО СУДА

Рассказ пристава — лучший образец того, как фабула может быть подчинена целям построения характерного образа. В облике монаха многозначителен каждый штрих: то, как он галантно целуется с хозяйкой, как привычным жестом завсегдатая сгоняет со скамейки кота и занимает насиженное, самое теплое местечко у печки. А далее все отступления служат к добавочной его характеристике. Он прикидывается постником и восхваляет бескорыстие и воздержание монахов. Чтобы подольститься к хозяйке, он тут же сочиняет, что видел, как возносилась в рай душа ее умершего сына; чтобы склонить хозяина к щедрым дарам, красноречиво обличает скупость; чтобы заручиться поддержкой хозяйки, громит гневливцев, и т. д. Словом, к тому времени, как наступает цент-

ральный, кульминационный пункт фаблио, все основное Чосером уже сказано, и он, легко скользнув по рискованной ситуации, весело хохочет над ней в концовке.

Стр. 313. *...а не по мессе в день...*— Иногда монахи умудрялись прочитывать весь сорокоуст (в католической церкви тридцать заупокойных служб) в один день, уверяя, что этим они избавляют усопших от двадцати девяти дней из тридцати положенных на пребывание в чистилище.

Стр. 314. *Таблички* — дощечки из слоновой кости с нанесенным на них слоем воска. Писали на них, выводя буквы острой палочкой — стилем и заглаживая ранее написанное ножом.

Стр. 317. *...За милостыней им без провожатых... // Ходить повсюду разрешил приор...*— По монастырским правилам, братья сборщики всегда ходили попарно. Право ходить в одиночку давали возраст и заслуги.

Стр. 319. *Глосса* — комментарий, толкование.

Стр. 320. *Фартинг* — самая мелкая английская монета в одну четвертую пенса.

Апостол *Фома.*— Апостол Фома, согласно апокрифическому преданию, проповедовал в Индии и, будучи зодчим, обратил деньги царя Гондофоруса, предназначенные для постройки дворца, на построение церкви Христовой на небесах.

Стр. 321. *Говорит Сенека...*— Сенека Луций Анней (ум. в 65 г. н. э.) — римский философ. Здесь имеется в виду его диалог «О гневе», I, 16.

Стр. 323. *«Ходить ты должен пред лицом владыки».*— 114-й псалом царя Давида, ст. 9.

Стр. 324. *...Мы со времен пророка Илии.*— Кармелиты возводили начало основания своего ордена ко времени, когда пророк Илья удалился на гору Кармель.

Я ведь брат, не так ли? — Нищенствующие монахи снабжали своих благодетелей особыми письмами, в которых они обещали жертвователям духовное братство и вечное блаженство.

Стр. 327. *...И в задометрии ответа нет...*— По аналогии: в геометрии; у Чосера каламбурное arsmetric, по аналогии с arithmetic.

Стр. 328. *Тринадцать братьев — полная обитель.*— По монастырскому уставу, обитель состояла из двенадцати монахов, по числу апостолов, с тринадцатым монахом (приором) во главе, а более крупный монастырь составлялся из ряда обителей.

Мотив унижения и осмеяния монаха был очень распространен в средние века (см., например, Legrand d'Aussy, «Fabliaux ou contes du XII—XIII siècle», также легенды о Тиле Уленшпигеле и пр.).

Насмешка здесь подчеркнута ссылками на Евклида, Птолемея и наукообразностью изъяснения теории распространения звука, о которой Чосер подробно говорит в своем «Храме Славы».

ПРОЛОГ СТУДЕНТА

Стр. 331. *Муж ученый.*— Петрарка жил близ Падуи в 1373 г.; возможно, что, будучи в это время в Генуе с дипломатической миссией, Чосер посетил Петрарку.

...огонь его потушен.— Петрарка умер в 1374 г., до написания «Кентерберийских рассказов».

РАССКАЗ СТУДЕНТА

Рассказ этот — стихотворное переложение прозаического латинского перевода новеллы Боккаччо о Гризельде, сделанного Петраркой. Рассказ написан Чосером, вероятно, сразу же после возвращения из Падуи, в 1374 г.

Стр. 332. *Весул* — Монте Визо.

Стр. 346. *Графиня Да Панико* — графиня Павийская.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ЧОСЕРА

Рассказ студента написан Чосеровой строфой, а послесловие Чосера — как бы сдвоенной терциной со сквозной рифмой.

Стр. 362. *Чичвача.*— Существует старофранцузская басня о чудовищно тощей корове, которая питалась лишь терпеливыми женами и потому-то и была так тоща, и о втором чудище — корове Бикорн, которая питалась терпеливыми мужьями и, имея вдоволь корма, была всегда упитанна.

РАССКАЗ КУПЦА

Эпизод на груше в другом варианте встречается в «Декамероне» (VII, 9), но общий источник обоих вариантов, так же как и древнерусского «Сказания об иерусалимском купце», исходит, вероятно, из Византии. Впервые на это было указано Александром Веселовским в его работе «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине. Из истории литературного общения Востока и Запада». СПб., 1872, стр. 102, 103 и сл.

Пространные рассуждения о браке заимствованы из книг: «Miroir de mariage» («Зерцало брачное») Эсташа Дешана, «Liber consolationis»

(«Книга Утешения») и «Liber di Amore et Dilectatione Dei» («Книга Любви и Почитания бога») Альбертино ди Брешиа.

Стр. 371. *Плацебо* — означает «подхалим»; от лат. «placebo» — «я тебе угожу».

Стр. 377. *Марциан* — Марциан Капелла, жил во второй половине V в. Его «De Nuptiis Philologiae et Mercurii» («О венчании Филологии и Меркурия») — одно из популярнейших произведений средневековья.

РАССКАЗ СКВАЙРА

По догадкам комментаторов, материал рассказа взят Чосером, вероятно, у Марко Поло. Рассказ не закончен.

Стр. 396. *Сарра.*— Комментаторы сближают это название с «Сарай» — местность около теперешней Сарепты, где была ставка Батыя.

Камбускан.— Комментаторы сближают это имя с Чингисханом.

Стр. 398. *Гавейн* — в «Артуровом цикле» — племянник короля Артура, слывший образцом галантности и рыцарского вежества.

Стр. 400. *Пулийские скакуны* — вместо: Апулийские.

Стр. 401. *Альгасен* — арабский астроном XI в.

Вителлион — польский математик XIII в.

Стагирит — уроженец Стагира в Македонии, прозвище Аристотеля.

Телеф — по греческой мифологии, король Мизии, был ранен копьем Ахиллеса, но, когда оракул указал, что грекам потребуется помощь Телефа, он был вылечен ржавчиной с того же Ахиллесова копья.

Стр. 402. *Альдиран* — по астрологическим представлениям, звезда, образующая как бы передние лапы созвездия Льва.

Стр. 410. *Да, с длинной ложкою садись за стол, // Коль хочешь супа с сатаной хлебнуть.*— Поговорка эта дважды встречается у Шекспира: в «Комедии ошибок», IV, 3, 64, и в «Буре», II, 102.

ПРОЛОГ ФРАНКЛИНА

Стр. 414. *Лэ* — небольшая стихотворная повесть, излагающая легенду или происшествие.

РАССКАЗ ФРАНКЛИНА

В этом рассказе есть некоторые совпадения с новеллой X, 5, «Декамерона» и с поэмой Боккаччо «Филоколо».

Стр. 420. *Эхо* (греч. миф.) — нимфа, которая никогда не заговаривает первой. Овидий рассказывает в «Метаморфозах» (I, 3), что нимфа

Эхо своей болтовней отвлекала внимание Юноны от любовных проказ Юпитера и была наказана ею. Эхо лишилась дара речи и сохранила только способность повторять последние из обращенных к ней слов. Позже, отвергнутая Нарциссом, она, тоскуя, бродила по уединенным местам. После смерти обратилась в скалу, откликающуюся на человеческий голос.

Стр. 423. *...Пусть погрузит она в свой мрачный ад...* — Диана под именем Гекаты была богиней подземного царства.

Стр. 427. *Знак Козерога.* — По этому астрономическому указанию время действия определяется как 13 декабря.

Ноэль — рождественский гимн; также восклицание радости.

Стр. 428. *Толедские таблицы* — астрономические таблицы, составленные по приказу Альфонса X Кастильского в середине XIII в. коллегией испанских и мавританских ученых. Таблицы были приноровлены к широте и долготе города Толедо, где и были впервые применены в 1252 г.

Альнат — по астрологическим представлениям, звезда, отмечающая рога созвездия Овна.

Стр. 430. *Примеров много от седых времен.* — Все последующие примеры заимствованы из трактата «Иероним против Йовиниана».

РАССКАЗ ВТОРОЙ МОНАХИНИ

Рассказ этот написан Чосером задолго до прочих «Кентерберийских рассказов». Первоначальная его редакция под заглавием «Житие святой Цецилии» относится к 1373 г. Фактическая сторона этого жития заимствована Чосером из латинской «Золотой легенды» доминиканца Иакова из Вираджо, архиепископа Генуэзского (XIII в.). Первые строфы о праздности заимствованы из Пролога французского переводчика «Легенды» — Жеана де Винье.

Рассказ второй монахини написан Чосеровой строфой.

Стр. 439. *Хоть грешен я, меня не оттолкни...* — Очевидно, этот стих предназначался Чосером вначале не для монахини. Стих «У вас, читатели, прошу прощенья» подсказывает предположение, что рассказ был первоначально обращен к читателям, а не к «слушателям» «Кентерберийских рассказов».

Стр. 440. *Леос* — народ (греч.).

Стр. 446. *Корникулярий* — секретарь или писец римского префекта.

ПРОЛОГ СЛУГИ КАНОНИКА

Стр. 452. *Канониками* называли себя полумонашествующие представители черного духовенства. Они жили в миру или в общежитиях с нестрогим уставом.

Длинноты, повторения и явные стилистические шероховатости этого позднее других написанного рассказа заставляют предположить, что либо он недоработан, либо же показывает творческую усталость Чосера.

Критика отмечает влияние этого рассказа на пьесу Бена Джонсона «Алхимик».

Алхимия была в центре внимания средневековья. Под этим названием с IV до XVI в. таились зачатки химической науки.

Алхимики не могли добиться поставленных перед собою целей (скажем, получения всемогущего философского камня), но, проделывая тысячи опытов, они осваивали многие химические процессы, разрабатывали лабораторную аппаратуру и попутно делали много нечаянных открытий и изобретений. Жажда легкой наживы и обогащения зачастую превращала алхимию в шарлатанство, в средство беззастенчивого обмана и вымогательства.

Основные процессы алхимии определены были в четырехчленной формуле: «sta, coagule, multiple, solve» — «настаивай, сгущай, приумножай, возгоняй».

В рассказе описан процесс получения золота, но только сусального.

Стр. 458. *Оперме́нт* — orpimentum (от л а т. auri pigmentum) — золотая краска — желтый сернистый мышьяк.

Кальцинировать (х и м.) — прокаливать на медленном огне с поддуванием.

Стр. 459. *Сублиматории* — возгонные сосуды.

Уриналы — мочеотстойники.

Лунный корень — Botrychium lunarium, разновидность папоротника; по колдовским функциям — «разрыв-трава», которую собирали при лунном свете.

Реальгар — красный сернистый мышьяк.

Стр. 460. *Цементировать* — сгущать, прибавлять вяжущие вещества.

Цитринировать — от л а т. citrus — лимон. Серебро придавало сплаву золотисто-лимонный цвет, что служило знаком того, что процесс мультиплицирования подходит к концу.

...Пускай философом несчастный станет.— Алхимики величали себя философами, то есть людьми, владеющими секретом философского камня.

Стр. 461. *...этот эликсир // Помог бы нам перевернуть весь мир.*— По представлениям алхимиков, было три основных разновидности философского камня (растительный — лечебный, минеральный — преобразующий неблагородные металлы в благородные, и животный — обостряющий и обновляющий чувства и органы человека). Существовало множество раз-

ных обозначений философского камня; так, например: эликсир, красный лев, панацея и т. п.

Стр. 465. *Жил в Лондоне на службе панихидной // Один священник...*— По-видимому, это был один из тех капелланов, которые не имели прихода и служили лишь ежегодные поминальные службы в соборе св. Павла.

Стр. 472. *Адепт* — посвященный; в первоначальном значении — нашедший философский камень.

Стр. 474. *Арнольд Вилланова* — испанский врач, теолог, астролог и алхимик (1235—1314), автор алхимического трактата «Rosarium Philosophorum».

Гермес Трисмегист — мифический зачинатель алхимии. По его имени алхимия получила название герметического искусства.

...От солнца — сера, ртуть же от луны.— По представлению алхимиков, солнце (золото, сера) — отец, а луна (серебро, ртуть) — мать философского камня и всего сущего.

Стр. 475. *Тайнейшая из тайн* — намек на «Secreta Secretorum» — апокрифическое наставление Аристотеля Александру Македонскому.

...Раз ученик так вопросил Платона...— Чосер ошибочно или шутя приписал Платону апокрифический диалог царя Соломона, приведенный в «Theatrum Chemicorum».

Слиянье элементов четырех.— Алхимия основывалась на убеждении, что все сущее состоит из четырех элементов, причем термины эти понимались широко: вода — всякая жидкость вообще, воздух — всякий газ, земля — все твердые вещества, а огонь — все виды тепла.

Поход Чосера против алхимиков-шарлатанов произвел в свое время глубокое впечатление; считали, что статут 1403 г., запрещавший «умножение золота и серебра», был принят отчасти и под впечатлением рассказа Чосера.

ПРОЛОГ ЭКОНОМА

Стр. 476. *...потянем дружно репку.*— Намек на старую игру «Dun in the Муге», упоминаемую у Шекспира в «Ромео и Джульетте» (I, 4, 40 — 41).

Стр. 477. *...Вот цель для лука или для копья.*— Quintain — чучело для рыцарских упражнений, упоминается у Шекспира в «Как вам это понравится» (I, 2, 263). Обычно на один конец подвижного горизонтального шеста укрепляли щит или чучело, а на другой конец мешок с песком. При неверном ударе копья шест поворачивался вокруг своей оси, и подвешенный мешок ударял промахнувшегося по спине.

...ты, как баран иль боров пьяный...— Существовало предание, что, когда Ной посадил виноградную лозу, сатана окропил корни кровью

овцы, льва, обезьяны и свиньи, которым и уподобляется пьяница. Сообразно темпераменту пьющего, в средние века различали четыре вида или степени опьянения: лев (холерик), обезьяна (сангвиник), баран (флегматик), свинья (меланхолик). Упоминанием о веселом «обезьяньем» хмеле собеседник подчеркивает состояние повара, упившегося до образа свиньи.

РАССКАЗ ЭКОНОМА

Сюжет рассказа многократно использован до Чосера от Овидия, «Метаморфозы» (II, 534, 632), до Гауера. Однако только Чосеру принадлежит пародийная окраска этого сюжета; он переносит лучезарного бога Аполлона, его лук и прочие атрибуты, в обстановку домашнего очага почтенного буржуа — под стать представлениям самого эконома.

Стр. 484. *...Лишь от разбойника поменьше зла...*— Развитие этого мотива см. в сатирическом романе Фильдинга «The History of Jonathan Wild the Great» (1743), в «Четвертом Послании» известного французского драматурга XVII в. Ж. Реньяра и т. д.

Псалтирьон (псалтирион) — музыкальный инструмент. Рассуждения об опасности болтовни взяты из работы Альбертино ди Брешиа «De arte loquendi et tacendi» («Об искусстве говорить и молчать»).

ПРОЛОГ СВЯЩЕННИКА

Стр. 489. *...рэм, рам, руф низать я не умею...*— Священник критикует распространенный в англосаксонской поэзии аллитерационный стих, в котором обычно трижды повторялась одна и та же предударная согласная.

Рассказ священника — это длиннейшая, написанная в прозе проповедь о семи смертных грехах и способах избежать или искупить их, основанная на трактатах «О покаянии» двух монахов-доминиканцев XIII в., Раймонда Пеннафорте и Гуильельмо Перальдуса, а также на «Somme de Vices et de Vertus» («Собрание пороков и добродетелей») брата Лорана (XIV в.).

В целом рассказ повторяет обычные мотивы проповеди, но разделы «О гордости» и «О скупости» содержат ряд мыслей о взаимоотношении богатых и бедных, господ и слуг, которые показывают глубокое недовольство Чосера феодальным строем угнетения. По балладе Чосера «Былой век» мы знаем, что поэт, ужасаясь войнам, насилиям и обманам своего века, предпочитает ему идеализированное первобытное состояние и естественное право.

Рассказ священника кончается так называемым отречением. Его принадлежность Чосеру подвергалась сомнению; во всяком случае, для

«Кентерберийских рассказов» это неорганичный привесок. В нем писатель отрекается от всех своих переводов и писаний, «исполненных земной суетности»: «И от книги о Троиле, и от книги Молвы, и от книги о Двадцати пяти Дамах, и от книги Герцогини, книги о Валентиновом Дне и Собрании Птиц, и от книги Кентерберийских рассказов, и от всех других книг, исполненных греха, названия которых и сейчас не припомню, и от многих греховных песен и сказаний, за которые Христос в своей неизреченной милости да простит меня».

Весь характер и способ выражения, совсем не похожие на Чосера и близкие к церковным шаблонам, очень напоминают традиционные покаяния того времени. Возможно также, что «отречение» приписано Чосеру каким-нибудь благочестивым переписчиком, скорбевшим о душе автора нечестивых рассказов. Во всяком случае, если оно даже и принадлежит Чосеру, то вряд ли можно принимать всерьез это старческое покаяние.

И. Кашкин

СОДЕРЖАНИЕ

Иван Кашкин. Джеффри Чосер 5

КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ

Общий пролог. *Перевод И. Кашкина* 33
Рассказ рыцаря. *Перевод О. Румера* 56
Пролог мельника. *Перевод И. Кашкина* 109
Рассказ мельника. *Перевод И. Кашкина* 112
Пролог мажордома. *Перевод И. Кашкина* 131
Рассказ мажордома. *Перевод И. Кашкина* 133
Пролог повара. *Перевод И. Кашкина* 145
Рассказ повара. *Перевод И. Кашкина* 147
Пролог юриста. *Перевод И. Кашкина* 150
Рассказ юриста. *Перевод О. Румера* 153
Пролог шкипера. *Перевод И. Кашкина* 182
Рассказ шкипера. *Перевод И. Кашкина* 184
Эпилог к рассказу шкипера. *Перевод И. Кашкина* 196
Пролог к рассказу о сэре Топасе. *Перевод И. Кашкина* . . 197
Рассказ о сэре Топасе. *Перевод О. Румера* 198
Эпилог к рассказу о сэре Топасе. *Перевод И. Кашкина* . . 205
Пролог монаха. *Перевод И. Кашкина* 206
Рассказ монаха. *Перевод О. Румера* 210
Пролог монастырского капеллана. *Перевод И. Кашкина* . . 215
Рассказ монастырского капеллана. *Перевод И. Кашкина* . . 217
Эпилог к рассказу монастырского капеллана. *Перевод И. Кашкина* 234

Рассказ врача. *Перевод О. Румера* 235
Эпилог к рассказу врача. *Перевод И. Кашкина* 242
Пролог продавца индульгенций. *Перевод И. Кашкина* . . . 244
Рассказ продавца индульгенций. *Перевод И. Кашкина* . . 248
Пролог батской ткачихи. *Перевод И. Кашкина* 262
Рассказ батской ткачихи. *Перевод И. Кашкина* 287
Пролог кармелита. *Перевод И. Кашкина* 298
Рассказ кармелита. *Перевод И. Кашкина* 300
Пролог пристава церковного суда. *Перевод И. Кашкина* . . 311
Рассказ пристава церковного суда. *Перевод И. Кашкина* 313
Пролог студента. *Перевод И. Кашкина* 330
Рассказ студента. *Перевод О. Румера* 332
Послесловие Чосера. *Перевод О. Румера* 362
Пролог купца. *Перевод И. Кашкина* 364
Рассказ купца. *Перевод О. Румера* 366
Эпилог к рассказу купца. *Перевод И. Кашкина* 394
Пролог сквайра. *Перевод И. Кашкина* 395
Рассказ сквайра. *Перевод О. Румера* 396
Эпилог к рассказу сквайра. *Перевод И. Кашкина* 412
Пролог франклина. Перевод *И. Кашкина* 414
Рассказ франклина. *Перевод О. Румера* 415
Рассказ второй монахини. *Перевод О. Румера* 437
Пролог слуги каноника. *Перевод И. Кашкина* 452
Рассказ слуги каноника. *Перевод И. Кашкина* 457
Пролог эконома. *Перевод И. Кашкина* 476
Рассказ эконома. *Перевод И. Кашкина* 480
Пролог священника. *Перевод И. Кашкина* 488

Примечания *И. Кашкина* 495

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 30

Джеффри Чосер

КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ

*

Редактор Е. Осенева

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Платонова

Корректоры
Т. Кузина и Т. Кибардина

*

Сдано в набор 11/VIII 1972 г. Подписано к печати 16/I 1973 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 33 печ. л. 30,79 усл. печ. л. 28,065 уч.-изд. л. + 1 вкл. + 6 накидок = 28,697. Тираж (153 001—303 000) экз. Заказ № 2092. Цена 1 р. 65 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16